УМБЕРТО

ЭКО

ПРАЖСКОЕ КЛАДБИЩЕ



Пражское кладбище
Умберто Эко

Аннотация
Умберто Эко. Пражское кладбище
От переводчика
Пражское кладбище
1. Прохожий, в то серое мартовское утро
2. Кто я?
3. В «Маньи»
4. Дедовы времена
5. Симонино – карбонарий
6. На службе у служб
7. В гарибальдийской «Тысяче»
8. «Геракл»
9. Париж
10. Далла Пиккола в затруднении
11. Жоли
12. Однажды ночью в Праге
13. Далла Пиккола пишет, что Далла Пиккола – это не он
14. «Биарриц»
15. Далла Пиккола воскрес
16. Буллан
17. Дни Парижской Коммуны

18. Протоколы
19. Осман-бей
20. Русские?
21. Таксиль
22. Дьявол в XIX веке
23. Двенадцать правильно истраченных лет
24. Однажды ночью во время мессы
25. Привести в порядок мысли
26. Окончательное решение
27. Недописанный дневник
Бесполезные ученые комментарии

Аннотация

Действие романа «Пражское кладбище» разворачивается почти целиком во Франции, но последствия этой интриги трагически поразят потом целый мир. В центре событий довольно скоро окажется Россия, где в 1905 году была впервые напечатана знаменитая литературная подделка «Протоколы сионских мудрецов». В романе документально рассказано, чьими усилиями эта подделка была создана. Главный герой очень гадок, а все, что происходит с ним, и ужасно, и интересно. Автор, строя сюжет в духе Александра Дюма, протаскивает затаившего дыхание читателя по зловонным парижским клоакам и по бандитским притонам, вербует героя в гарибальдийское войско, заставляет его шпионить на все разведки и контрразведки мира, в том числе и на русскую охранку, укрощать истеричек из клиники доктора Шарко, распивать пиво с Зигмундом Фрейдом, форсить бок о бок со Свободой на баррикадах и даже участвовать в сатанинской мессе. Одновременно, как всегда, Умберто Эко выдает читателю в

оболочке приключенческого романа огромный заряд знаний и идей.

Умберто Эко
Пражское кладбище

От переводчика

Добравшись до завершающей фазы своего шестого романа, Эко состриг бороду, отрастил развесистые усы и стал похож на французских буржуа мопассановского времени в жилете, с брюшком и с тростью. На запечатленных художниками «Отверженного салона» господ, которые после долгой государственной прыготни из монархии в республику, из республики в монархию, от пораженчества к реваншизму, от бунтарских кокард к шапоклякам и гардениям в петлице наконец остепенились и своими вальяжными манерами и гурманством, жовиальностью, эгоистичным жизнелюбием явно взялись воспроизводить невыветриваемый образ Александра Дюма-отца, то есть того, кто и есть в общепринятом международном представлении эталон Франции.

У Дюма Умберто Эко позаимствовал и в самом деле немало. Не только внешнюю атрибутику. Эко — такой же обольститель читательских масс, выдающий в оболочке приключенческого романа заряд знаний и идей, которого хватает читателям на целую жизнь. Он, как Дюма, живо-

писует то, чего сам вроде бы и не видел, потому что лихо использует документ.

Имеется, однако, между этими гигантами пера одна серьезная разница, кроме той явной, что Умберто Эко не мулат и на него не работают «негры».

Умберто Эко пишет романы нравственного содержания.

Развлекательность авантюрная (для всех) и интеллектуальная (для любителей) в романах Эко — на службе крепкой моральной программы.

«Имя розы» — роман об умственной свободе, «Маятник» — о необходимости умственную свободу окорачивать здравым смыслом. «Остров накануне» — о том, что человеческая жизнь осмысленна тогда, когда ум мобилизуется на борьбу со страхом смерти. «Баудолино» — о том, как превосходно, что человечество свою глухую борьбу за выживание разрисовывает веселыми красками исторического вымысла и из героического, полумифического прошлого черпает силы для новой борьбы. «Таинственное пламя царицы Лоаны» — тоже о выстраивании истории, но истории индивидуальной, причем частная судьба плотно привязывается к судьбе общества узами ответственности и морали.

И вот, наконец, дописано давно задуманное «Пражское кладбище». И в нем центральная мысль — как из психопатического суеверия зачалось и явилось в человеческий мир, пройдя по родовым путям словесности, как и другие судьбоносные тексты — Тора, Евангелие, Коран, «Марсельеза», «Декларация прав человека и гражданина», «Коммунистический манифест», цитатник Мао, — еще одно руководство к действию, раскрепостившее убийственную силу, которая послала на гибель миллионы.

Это как фильм «Жизнь прекрасна»: предложен дивертисмент на тему материала, который ну совсем уж нисколько не смешон.

Действие происходит именно-таки во Франции, на душевной родине писателя, в стране, которая первая возвела на вершину общественной престижности интеллектуализм, где впервые сумели церковь отгородить от государства, где впервые с высшей государственной трибуны утвердили лозунги свободы, равенства и братства, где поэзия звучна, проза остроумна, диалоги быстры, а порнографические виньетки изящны.

Эко до того влюблен во Францию, прожив в своей парижской квартире многие месяцы, и, наверно, если посчитать, годы, что имеет полное

право крикнуть: именно Франция, эта тонкая умственная среда, была тем ателье, где слепили пробный макет конструкции, которая потом попала в руки темных неулыбчивых людей и в особенности — одного бездарного австрийского художника и позволила ему загнать в вонючие теплушки с полами, залитыми негашеной известью, в бараки-отстойники, в газовые душевые с «циклоном Б» по одной только Европе не менее шести миллионов людей. Франция, принято считать, была изобретательницей этой мерзости. Россия — рекламным агентом и продюсером: именно в русских журналах и издательствах эта мерзость в 1905 году была впервые напечатана. Печатается и продается она в России до сих пор. Литературная композиция, о которой пойдет речь, носит одиозное название «Протоколы сионских мудрецов». Мировой бестселлер, так сказать. В рейтингах самых продаваемых на свете книг эта занимает второе место после, ну, иначе не могло быть, Библии. За счет читателей с территорий, где исповедуется ислам.

Вот еще раз речь в романе пойдет о книге, которая убивает (помните сюжетную завязку «Имени розы»?). Эко, узнавший и высказавший о книгах все, что можно сказать, не удержался от соблаз-

на — развинтить адскую машинку, понять, как устроена она.

Как? Ну а как? А устроена так же, как и остальные книги. Поддается литературоведческому анализу. Историко-литературному разбору. Мы его в романе, без обмана, в полной мере, к нашему превеликому удовольствию, и получим.

Но не бесстрастная любовь к курьезам осенит собой это интересное культурное занятие. Читатель ни на минуту не перестанет помнить, что за прелестную вещицу он созерцает. Для этой цели особо выписан центральный герой — Симонини. По сюжету, он поддельщик документов, изобретатель «Протоколов». Этот хитрюга и пачкун — противнейшее порождение литературного пера, на какое только Умберто Эко оказался способен.

С первой же строки Эко ставит себе трудную задачу: писав книгу как монолог от первого лица, вызвать в читателе по отношению к герою отчетливую рвотную реакцию. Нелегко пришлось и переводчику.

У писателя это получилось. Будем надеяться, получилось и по-русски. А так как читать интересно именно о злодеях, можно сказать, здесь Умберто Эко снова выигрывает соревнование с самим со-

бой. Держа читателя на крючке занимательности, через приключения в стиле того же Дюма (Дюма во плоти — в романе среди действующих лиц!) автор протаскивает затаившего дыхание читателя по зловонным парижским клоакам. Эта канализация и постоянно присутствующая в сюжете вонь — еще одна метафора, чтобы не забывать, из какого материала вылеплена литературная мистификация. Эко гоняет героя по рыгаловкам и притонам, вербует в полубандитское гарибальдийское войско, заставляет шпионить на все разведки и контрразведки мира, в том числе и на русскую охранку, укрощать истеричек из клиники доктора Шарко, распивать пиво с Зигмундом Фрейдом, форсить бок о бок со Свободой на баррикадах и даже участвовать в сатанинской мессе с включенной в расписание би– и гомоэротичной педофил-оргией. Сочинять вместе с проходимцем Лео Таксилем «Занимательную Библию» и «Занимательное Евангелие», те самые, которые, распубликованные в «Политиздате» пятимиллионными тиражами, красовались в каждом втором советском доме на чешских с раздвижными стеклами книжных полках или внутри гарнитуров «Хельга», демонстрируя, что прощелыге Таксилю посмертно и без всякого для себя

коммерческого толку удалось-таки околпачить громадную государственную пропагандистскую махину. Не во Франции, так в СССР. Ведь Таксиля действительно воспринимали в советском политпросвете как невесть какого убежденного борца с религиозным ретроградством.

Напридумывал Эко с три короба, сказал бы неподготовленный читатель. Теперь не скажет! Он у нас сейчас станет подготовленным: пусть читатель с самого начала знает, что придуманных героев и историй в этом романе нет. Все, что описано, основано на фактах. Это мы сами видим по Таксилю (в Европе Таксиля опознать никто не может, Таксиль в Европе начисто неизвестен).

Сплошные факты — свидетельствует и Умберто Эко в своем послесловии. Единственный выдуманный герой, добавит он, это сам Симонино Симонини. Да и тот, увы, похоже, до сих пор существует, он, похоже, все еще среди нас.

Симонини злодей, и поэтому следить за ним интересно. Он еще и со всех точек зрения кошмарен: жирен, труслив, неопрятен, лжив, вороват, агрессивен, подобострастен, нагл, подл, неспособен к дружбе, неспособен к любви, неспособен к сексу, невротик, страдает раздвоением личности. Одной только неприятной черты в этом авторе

«Сионских протоколов», как ни крути, не доищешься. Симонини не антисемит!

Вот до какой степени Эко любит парадоксы. Вернее сказать, вот до какой степени Эко понимает, что в жизни всегда есть место парадоксу.

Симонини не знает евреев, почти не общался с ними. За что же ему их ненавидеть? Так автор подводит нас к изумительной ситуации, которая не раз и не два повторялась в частной и общественной жизни. Антисемитизм, разъедающий изнутри многие людские общества, породивший океаны насилия, моря жертв, довольно часто имеет место как явление чисто головное. Эмоциональность в него приходится привносить дополнительными средствами, зачастую — лживыми подтасовками. Это верно по отношению к истории европейского антисемитизма, который по характеру — феномен религиозной, а не расовой неприязни. Италия, где живет и работает Эко, — тому пример. Та иудеофобия, которая встречается в Италии, она в основном умственная.

А расового, нутряного антисемитизма в Италии отродясь не знавали.

Религиозный — имеется. В его насаждении католическая церковь преуспела. Относительно

идеальной цели — процентов на сорок пять. Но все-таки, факт есть факт, преуспела.

У того же Эко в многочисленных интервью, данных по случаю выхода этого романа, прослеживается его постоянная идея: что для единения масс потребен не совместный идеал, а совместный противник. По принципу «против кого дружить». Только что вышел сборник публицистики Эко с красноречивым названием «Сотвори себе врага». Много напряжения, конфликтов, геноцидов, ересей, церковных преследований и заурядных преступлений в человеческой истории как раз на сотворении врага и зиждилось. В романе «Пражское кладбище» рассмотрен один из вариантов параноидальной зацикленности на «враге» — антисемитизм.

Термин «антисемитизм» был введен в обиход относительно недавно (в 1879 году) венским заштатным журналистом Вильгельмом Марром. Неприязнь же христиан к евреям имеет далекие корни и возникла в пятом веке, как только новая модификация иудейской доктрины — христианство — стала официальной религией империи Рима. Первые христиане считали именно себя «правильными» евреями. Евреи же, конечно, думали наоборот, то есть что христиане — опасные

еретики. В русле этого первого внутрипартийного конфликта у христиан возникла тенденция интерпретировать разрушение Иерусалимского храма в 70 году н. э., а также всего Иерусалима в 135 году н. э. как божие наказание уклонистам. Тогда же возникли первые разговоры о богоубийстве руками иудеев. Взаимное раздражение нарастало. В девятом веке в литургию христианской пасхальной мессы в тот стих, где возносились молитвы за язычников и иудеев, была введена зловредная поправка: «за евреев молиться не преклоняя колен». Вот он, первый случай, когда вредность уже начала походить на анекдот. А дальше стала отпадать охота смеяться.

Тысячный год, коллективная истерия в ожидании конца света. Первые крестовые походы принимали в себя, наряду с регулярными армиями, и бандитскую вольницу. Подобной ораве нужно же было кого-то грабить! Грабили язычников, грабили политических оппонентов, а то и ни в чем не виноватых христиан — например, жителей Константинополя в 1204 году (что Умберто Эко выразительно описал в начале романа «Баудолино»). Но, естественно, грабить еврейские кварталы было логичнее всего.

Церковь должна была срочно приспосабливаться к действительности и как-нибудь оправдывать мародеров, чтобы не пришлось своих же вояк показательно вешать. В 1179 году Третий Латеранский собор ввел законоположение, в силу которого клятва еврея стала иметь меньшую юридическую силу, нежели клятва христианина (что было очень удобно для полевых судов). В 1215 году Четвертый Латеранский собор ввел особую форму одежды для евреев. Опять же это упростило развитие событий в любом уличном конфликте и в полицейском его улаживании.

До тринадцатого века евреи в Европе говорили, питались и одевались так же, как их соседи-христиане, и вообще со времен религиозного распутья это положение длилось чуть ли не тысячу лет! А тут вдруг, нате вам, вводятся правила, явно показывающие — вот он, тот, кого ты искал, вот он, погляди на него, это же Другой.

Жизнь в условии запретов побуждает людей вырабатывать соответствующие привычки. Запрет на владение землей и постоянная гонимость евреев выработали у них готовность к переселениям, легкость в овладевании языками и традицию вкладывать сбережения в единственную форму, легко перемещаемую (хотя и

легко отнимаемую), — драгоценности. Церковь в средневековой Европе препятствовала развитию грамотности в массах, желая бесконтрольно управлять народами во всех аспектах: экономическом, общественном, нравственном и семейном. Католицизм не способствовал демократизации книжной культуры. Особенно же церковь опасалась проникновения в Европу аристотелевских идей через аверроэсову арабскую культуру (об этом Эко написал в романе «Имя розы»), равно как и через иудейскую (через сочинения Маймонида). У христиан не бывало книжек дома — у евреев книги имелись в каждой семье. Классический обратный стереотип: христиане чураются книг — евреи обожествляют их. Ну а национал-социалисты, еще раз демонстрируя протестное поведение, на площадях Германии в тридцатые годы сооружали из книг костры.

Неученые европейцы даже думали, будто еврейские книги полны кощунственного колдовства (это при том, что Талмуд — помесь настольного календаря с «Домоводством»!). Раз так, евреи работали в образе и доходили до шаманства, создавая вокруг себя видимость, будто да, книги у них заколдованные, знание — надмирное. Рождалась вся бутафорика Каббалы. (Мысль о гораздо

более поздней, но интересной ситуации: азбука языка идиш, который — жаргонное отпочкование от немецкого, не именно ли для создания таинственной волшебной атмосферы продолжала использовать древнееврейские письмена?)

Средневековое общество Европы передало евреям функцию ростовщичества потому, что христианам церковь прямо запрещала эту профессию. Талмудом, кстати, ростовщичество тоже запрещается, но раввины по необходимости применяли к запретам мягкое истолкование. Как реакция на этот род занятий, в сочетании с евангельским мотивом тридцати сребреников сформировался антипатичный и опасный миф о «еврейском стяжательстве», который мы встречаем повсеместно в классической литературе. Шейлок — один из самых стойких стереотипов спонтанной неприязни и даже ненависти.

Реакция еврейских сообществ на выталкивание их из цивилизации Европы была достаточно адекватной, ударом на удар, а иногда бывала даже и чрезмерной. На фоне гигантской коллективной травмы абсолютизировалась идея собственной культурной ни-начто-не-похожести, чего последствия всем известны: обособление языковое, поведенческое, территориальное (иврит, идиш,

кошер, гетто).

В четырнадцатом веке в Европе формировались современные нации. В противостоянии имперскому и папскому универсализму формировалось европейское самосознание в виде суммы национальных менталитетов. Процесс этот шел через глубокий кризис и через катастрофы. Столетняя война, крестьянские восстания, голод 1315–17 гг. и, наконец, чума 1347–48 гг. выбили треть населения Европы. Представить это себе можно через картинку: мир после ядерной войны. Естественно, не могло не возникнуть чувство, что подобная беда сама по себе явиться не может. Все активнее общество нацеливалось на отыскание злоумышленника, владеющего сверхъестественной силой. Ясно, что на эту роль превосходно подходили евреи с их непонятным языком, необъяснимым стилем жизни и колдовскими книгами. Так церковная инквизиция получила возможность удобного выхода из любого тупикового процесса. В народную мифологию накрепко вошли фигуры вредителей: дьявол, ведьма и еврей. Нередко в искусстве, особенно в Италии, еврей изображался в образе скорпиона. В 1495 году Испания, мобилизуясь для освоения Америк, привела в порядок свою внутреннюю

обстановку очень радикально. Дабы перестать с евреями ссориться, применили окончательное решение. Дали выбор: отъезд, крещение или смерть. Гуманнее, нежели нацисты, которые выбора не то что тройного, а и двойного не давали.

Эко разместил события в Европе в веке, наступившем после крупных политических революций. И именно осмысляя опыт сильной перетряски — Французской революции — и опасаясь его повторения, буржуазная культура снова взялась истолковывать историческую катастрофу как козни закулисного агента, нарочно переводящего стрелки истории. Врага сотворяли по тому принципу, что явно он или колдун, или тайный заговорщик. В одних версиях оккультная регулировка истории выступала основным механизмом, в других второстепенным. Но верили: ничто само не делается, за всем что-нибудь тайное да скрыто. Так и рождались байки то о заговоре двенадцати колен, то о розенкрейцерах, то о тайном комитете работающих в подполье тамплиеров, то о масонах, то о иезуитах. Вот только до пришельцев из космоса они тогда не додумывались, оставили следующему веку. А тут еще Наполеон в 1807 году созвал еврейский Большой Синедрион. Ну и аббат Баррюэль с Жо-

зефом де Местром вовремя выдвинули полезную и изящную идею: за всякой революционной заварухой скрываются заговорщики — евреи.

Надо сказать, что при воспроизведении бредовых домыслов и чужих мыслей автор строит повествование настолько сложно, что порой его обвиняют в недостатке политкорректности.

«Читая столько гадких фраз против евреев, читатель перепачкивается антисемитской грязью, и можно предположить, что некоторые способны в конце концов и поверить этим поклепам. […] Зло в книге описано, но не заклеймлено. Отсутствуют положительные герои, читателю не с кем отождествиться, в результате выходит какой-то аморальный вуайеризм…»

А мы-то думали, подобная критика бывала только в советской печати! Нет, это пишет о «Пражском кладбище» главный раввин города Рима Риккардо Ди Сеньи: «Полагаю, смысл книги Эко неясен. […] Что вынесет читатель из нее? Правда или неправда — то, что в ней сказано про еврейский заговор, масонские, иезуитские? Ведь читатель так и не поймет: намерены или не намерены евреи разрушить цивилизованное общество и захватить полную власть над миром?»

Говорить такое — не доверять читателю. А ведь

не кто иной, как Эко создал теорию Идеального читателя, посвятил ему целую книгу. И точно: читатель книг Эко, как говорили в советских школах, растет над собой. При этом и хохочет, и огорчается, и сопереживает читаемому. Радость увлекательного текста — и радость от работы собственной мысли.

Думается, во многих странах содержание этого романа Эко расшифруют без ошибок. Во-первых, именно в Италии, сколько бы ни беспокоился раввин. В Италии неспроста уже продано семьсот тысяч экземпляров. Очевидно, читателям в этой стране хочется и узнать много нового, и развлечься, и обдумать собственную историю — поведение католической церкви, позорные расовые законы.

Книгу с трепетом и довольно неоднозначно восприняли в Германии — ну, тут и пояснения не нужны.

Франция? Целый год после выхода «Пражское кладбище» — главный бестселлер во Франции, хотя, если задуматься, мрачноватое зеркальце Умберто Эко им преподнес.

Ну а теперь Россия. Опять-таки, разве требуется разжевывать? Здешний еврейский вопрос не упишешь и на бумагу, превышающую длиной

даже и сам эковский роман. Кто слово «погром» ввел в чужие языки? Да сами-то протоколы кто сочинил — не вымышленный же романистом Симонини? Поди, какой-нибудь русский крушеван или другая аналогичная сволочь. Не случайно цитируются в романе и Достоевский, и идеологи царизма, и шефы Третьего отделения. С другой стороны, не евреи ли после революции преимущественно сформировали первые большевистские комитеты, расстреливали, проводили коллективизацию, сшибали кресты и колокола с церквей? Сталин, мы помним, со вкусом вещал: «Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма. Антисемитизм опасен для трудящихся, как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть последовательными и заклятыми врагами антисемитизма». Как всегда, обман с точностью до наоборот. На деле-то что было? Этим «заклятым врагам антисемитизма» пришло же в голову (после Освенцима!) лазить в трусы врачам и знаменитым литераторам и расшифровывать псевдонимы?

В общем, напрасно беспокоится римский раввин. Читатели в самых разных странах, увы, подготовлены по теме антисемитизма довольно, чтобы не колебаться, решая, на чьей же стороне находится автор.

Хотя все же, думается, раввин и вправду подметил опасное место.

Так как Эко читает множество книг и постоянно забавляется самыми удивительными толкованиями истории и общества, он, да, дал повод некоторым критикам подумать, будто и к данному материалу автор отнесся как к интересному интеллектуальному курьезу. Равноправному с другими курьезами.

В романе не слышно громогласных порицаний, проклятий. Моральных проповедей. Нет ожидаемого болевого надрыва, нет разговора о последствиях, о том, что же случилось дальше, после опубликования выдуманных Симонини по заказу царской охранки «Протоколов». Нет, это кратко проговорено, но в приложении.

А что, разве требуется перечислять последствия? Разве мир не помнит историю Германии и Европы начиная с 1924 года, когда Гитлер, сидя в уютной тюремной камере после неудавшегося мюнхенского путча, проработал с карандашом

этот интересный текст, попутно надиктовав свою во многом «Протоколами» навеянную «Майн Кампф»?

Пожалуйста. Вот — последствия.

Двадцать шестого апреля 1933 года, через три месяца после прихода к власти, Гитлер принял католических епископов и сказал им: «Меня упрекают в предвзятом подходе к еврейскому вопросу. В течение 1500 лет католическая церковь считала евреев зловредными существами *(Schaedlinge),* содержала их в гетто и так далее, потому что известно, что такое евреи. Вот я и воспринимаю их как вредные элементы для государства и церкви и тем самым оказываю христианству неоценимую услугу»[1].

Это он с епископами так. А перед толпой на площадях Гитлер говорил иначе. Он перед толпой не переставлял акценты с расового аспекта на религиозный. Двадцатый век придал всем предшествовавшим антисемитизмам острую складку. Он, двадцатый век, как в пещерной доистории, шел с дубиной не на религию, а на расу. Убивали не за веру, а за кровь. И учились этому

[1] Примечания: 1

Г. Мюллер, «Католическая церковь и национал-социализм», документы 1930–1935, Мюнхен, 1963, с. 118.

по «Протоколам».

Мы не забываем о последствиях в нацистском, германском мире, и мы не забываем также, что жертвы «Протоколов» многочисленны и в Италии, и во Франции, и в США, где «Протоколами» пользовался ку-клукс-клан. И конечно же в России. И во всем исламском мире. Шествие «Протоколов» по человеческим костям победой над Гитлером отнюдь не закончилось. И покамест этому шествию не видно конца.

В книге Эко прямо не сказано об этом. Сюжет просто замер на рубеже двадцатого века. Но ведь это не монография, а роман.

Даже и после Гитлера, после Освенцима и Треблинки, после того как союзники все это нечеловеческое, что там оказалось, запротоколировали, описали, засняли, зафотографировали и распространили информацию по всему миру — даже и тогда на мировом уровне с необходимой громкостью не прозвучал приговор этой книге («Протоколы…») и пропагандируемому в ней античеловеческому бреду.

До поры до времени молчала христианская церковь.

На ее совести много чего в этом смысле накоплено. Один из идеологов итальянского фашизма

Роберто Фариначчи не случайно говорил: «Если мы как католики стали антисемитами, к тому вели проповеди церкви за прошедшие двадцать веков. […] Не получится у нас за несколько недель отказаться от антисемитских принципов, внедрявшихся церковью в ходе тысячелетий».

В 1899 году, после дела Дрейфуса во Франции, но еще до дела Бейлиса в России, когда уже опасно забродила эта острая тематика в странах Европы, кардинал Воган и несколько других авторитетных представителей английского католицизма обратились к Ватикану с требованием опровергнуть легенду о ритуальных еврейских убийствах с кровопусканием. В сущности, предлагалось, чтобы церковь дала задний ход по линии своего же собственного утверждения о святом страдании некоего младенца из Тренто, якобы замученного евреями, а звали младенчика Симонино — вот, оказывается, как объясним выбор имени главного героя в романе.

Церковь тогда навета не опровергла, публично не отмежевалась.

Когда в Италии, при нулевой поддержке населения, Муссолини, подстрекаемый Гитлером, вынудил короля ввести несозвучные духу этой страны расовые законы против евреев (расовый

подход, повторю, неспецифичен для Италии), папа не протестовал. Мы говорим о Пии Двенадцатом. О папе, на чей понтификат пришлись Вторая мировая война и геноцид. Его предшественник Пий Одиннадцатый, видя, как дегенерирует мировая обстановка, судя по архивным находкам, готовил протестную энциклику *Humani Generis Unitas* против расизма и антисемитизма (хотя и исполненную религиозного антииудаизма). Энциклика должна была быть опубликована 15 мая 1939 г. Но папа не вовремя скончался, и созданную им энциклику запрятали, не опубликовали. Танец разоблачений, контрразоблачений, пропагандистских заявлений по вопросу об этой «утаенной энциклике» длится и по сегодняшний день.

Пий Двенадцатый робко высказался против расовых преследований в 1939 году. Один только раз: «Пусть властители народов, у которых в руках меч, памятуют, что не должны располагать жизнью и смертью людей по причине их национальности или происхождения, а единственно в силу закона божьего, от Бога же на земле всякая власть». Эта фраза — все, что было сказано Пием XII против уничтожения евреев и цыган, дискриминации африканцев и славянских наро-

дов. Риббентроп через посла в Ватикане пугнул папу даже за этот вялый звук: «Проинформируйте его, что Германия не потерпит подобного и найдет способ заставить к себе прислушаться». Пий XII ни разу публично не произнес слово «еврей», слово «нацизм». Немецкому писателю Хохгуту принадлежит часто цитируемая формула: «Никогда в истории такое количество людей не платило жизнью за пассивность всего лишь одного отдельного исторического лица».

Речь об официальной партийной позиции. Конечно, на уровне личностей, простого духовенства, рядовых прихожан порядочных людей было множество, да и героев; мало ли было героев. Мало ли людей в Европе рискнуло жизнью и даже приняло смерть, оказывая помощь уничтожаемым. В Аллее праведников в Яд-Вашеме сколько деревьев шумит листвой в память о них!

А официальная тогдашняя позиция церкви восторга не вызывает. Архиепископ Мюнхена Михаэль фон Фаульхабер высказывался в 1933 году, еще до принятия нюрнбергских «Закона о гражданине Рейха» *(Reichsbürgergesetz)* и «Закона об охране германской крови и германской чести» *(Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre),* но уже при появлении законода-

тельных актов в духе арианства, защиты расы, стерилизации, недопущения браков: «Подобное отношение к евреям, — писал архиепископ, — до такой степени нехристианское, что любой христианин, не говорю уже любой священник, обязан быть предубежден против него». Однако дальше архиепископ развивал свою мысль в немилосердную и циничную сторону: «Тем не менее для церковной среды существуют и более насущные проблемы. Школа и защита католических общин на нашей Родине еще важнее, а поскольку мы имеем основания полагать, и это уже проявляется на практике, что евреи в состоянии постоять за себя сами, следовательно, у нас нет никаких причин давать правительству повод переходить от антиеврейской ненависти к ненависти антииезуитской». С подобными же речами в том же году выступил и архиепископ Линца.

Для глубокого понимания романа «Пражское кладбище» эти исторические факты необходимо знать. И непременно надо знать, как поменялась позиция высшего духовного руководства христианской церкви по вопросу об этой мировой трагедии. В тридцатые и сороковые годы она выглядела как пассивное приятие. А вот к концу семидесятых годов зазвучала совершенно иная

огласовка.

Папа Иоанн Павел Второй, сделавший тему памяти центральной темой своего понтификата, начал работу в новой должности с официального посещения Освенцима (1979 г.), побывал в Маутхаузене в 1998 г. и в Майданеке в 1999 г. В 1995 году, выступая с балкона перед толпой, собравшейся на площади Святого Петра, папа торжественно призвал почтить память варшавского гетто и сказал: «Страшная память Катастрофы — ночь истории, в нее вписаны невиданные преступления против Бога и человека». 13 апреля 1986 года — первый понтифик после святого Петра — Иоанн Павел переступил порог римской синагоги и назвал евреев старшими братьями христиан. И что самое существенное, в воскресном «Ангелусе» 14 января 1994 года папа попросил у евреев прощения за «предрассудки и псевдотексты [...], послужившие в качестве предлога для долгой ненависти в отношении братьев-евреев», повторив ту же формулу и на торжественной церемонии в базилике Святого Петра 12 марта 2000 года. Войтыла имел в виду под «псевдотекстами» в первую очередь то самое, о чем и это наше предисловие и весь увлекательный приключенческий роман Эко, — тот самый

фальшивый текст, из-за которого заполыхал весь планетарный сыр-бор.

Вот, похоже, самое эффективное, чем удастся с этой ползучей дрянью бороться: прямой речью руководителей христианской церкви с высоких трибун. Здесь прямые высказывания уместны. А в романе прямым высказываниям не место. Как и прямой исторической полемике. Трудно передать, сколько было уже за минувший век предъявлено аргументов против этой подделки. Охотник на провокаторов легендарный Владимир Львович Бурцев, один из свидетелей на Бернском процессе 1934–1935 гг. о ложности «Протоколов», выпустил в 1938 г. известнейшую книгу «Протоколы сионских мудрецов. Доказанный подлог», где все по полочкам разложил, поясняя, что «Протоколы» являются сфабрикованной фальсификацией и не имеют исторической достоверности. За этой книгой были опубликованы еще десятки книг и статей.

Но в ответ появились контркниги и контрстатьи, часто безграмотные, но дико нахрапистые. Если уж даже такие, казалось бы, рассудительные практические люди, как Генри Форд, в своих коммерческих интересах седлали этого опасного тигра! В 1920 году в США Генри Форд спонсировал

издание «Протоколов» тиражом пятьсот тысяч экземпляров, опубликовав также в 1920–1922 гг. в газете *The Dearborn Independent* серию антисемитских статей, озаглавленных «Международное еврейство. Важнейшая проблема мира», и писал: «Протоколы вписываются в то, что происходит. Им 16 лет, и вплоть до настоящего времени они соответствовали мировой ситуации».

В странах, где нет запрета, «Протоколы» выходят большими тиражами и находят благодарных читателей. Разве справишься с этим методом ученого опровержения? Упорно бубня, что ложь — это ложь? Еще поди убеди! Ведь существуют группы обученных азбуке людей, и даже защитивших диссертации и хорошо играющих в шахматы, которым не втемяшишь, что Иван Грозный и Генрих Восьмой — не одна и та же историческая фигура.

Можно сколько угодно доказывать, что «Протоколы» — подделка. Плохо именно то, что любое опровержение работает на рекламу темы. Так устроена массовая информация. Пусть упоминают ругательно, обличают с пеной у рта — лишь бы упоминали. Гитлер писал в «Майн кампф»: «“Франкфуртер цайтунг” постоянно плачется перед публикой, что “Протоколы” якобы пред-

ставляют собой подделку; это как раз и является самым надежным доказательством их подлинности». Что еще можно добавить? Полемика против — не прием.

Печатать эту бредятину, ясно, не надо бы. Жаль, однако, что российская государственная цензура наградила титулом правомочного этот лживый и погубивший много жизней текст. В России в январе 2006 года члены Общественной палаты и правозащитники выступили за внесение в законодательство поправок, предполагающих создание списка запрещенной к распространению в России экстремистской литературы, в который были бы включены и «Протоколы». Но по состоянию на январь 2011 года «Протоколы» не включены в Федеральный список экстремистских материалов.

Как же можно переагитировать широкие массы, что сионских мудрецов на свете нет? Да еще в эпоху интернета, когда все, что высказано, становится свято, а высказываться имеет право любой, и писучесть этого «любого» пропорциональна его неграмотности?

Только средствами художественной литературы. Не крича, а высмеивая, реконструируя, развлекая. Задействуя специальные приемы

работы с опасными веществами. Без драматизма. Без боязни оказаться понятым превратно.

Эко доверяет своим читателям. Перед ними нет необходимости вопить и бить в набат. Эко привык действовать средствами сильнейшего на свете оружия, которое «металлов тверже» — средствами литературного слова.

Пускай моральное предостережение, заключенное в оболочку романа-фельетона, у Умберто Эко и не широковещательно, не крикливо, но тем громче оно «выстреливает» на причудливом фоне, казалось бы, легкомысленных мелочей, интриг, рецептов, анекдотов и бытовых штрихов. Этому автору подвластны и игристое французское острословие, и британский невозмутимый юмор (вспомним шуточки Вильгельма Баскервильского). Предостережение звучит пусть негромко, ну а смысл сообщения — оглушителен. Так «выстреливает» бесстрастная реплика английского дворецкого, когда в Лондоне потоп и бешеной водой выбивает двери холла: «Темза, сэр».

Елена Костюкович

Пражское кладбище

Поскольку и отступления важны, и даже они основное в историческом романе, мы включили повешение ста мирных жителей на площади, сожжение живыми двоих монахов, прохождение кометы. Каждое такое отступление неоценимо, оно замечательно отвлекает читающего от смысла.

Карло Тенка, «Дом псов»

1. Прохожий, в то серое мартовское утро

Прохожий, в то серое мартовское утро 1897 года переходящий на свой страх и риск площадь Мобер, или Моб, как зовется это место у разного жулья, — в Средневековье это было сердце университетского Парижа, где кишели школяры с факультета свободных искусств, что на Соломенной улице, а потом место казни вольнодумцев, например Этьена Доле, — оказался бы в одном из считанных уцелевших, не снесенных бароном Оссманом средневековых кварталов, в гуще зловонных переулков, пересекаемых рекою Бьеврой, которая тогда еще не была убрана в подземную трубу и бурлила, извиваясь и рыча, на сливе в близко протекавшую Сену. Около площади Мобер, незадолго до того изуродованной бульваром Сен-Жермен, сохраняются старые переулки: Мэтра Альбера, Святого Северина, Галандова улица, Дровяная (Бушри), Святого Юлиана Странноприимца (Сен-Жюльен-Ле-Повр). Переплетаясь, они тянутся до самой улицы Квашни (Юшетт). Все эти улочки в те поры были истыканы сквалыжными

притонами. Хозяева их были обыкновенно из Оверни, азартной алчности, и просили за первую ночь по меньшей мере франк, за прочие по сорока сантимов плюс еще двадцать сантимов, если постоялец требовал простыню.

Поверни путник на улицу, впоследствии получившую имя Фредерика Сотона, а тогда, когда происходили события, звавшуюся улицей д'Амбуаз, приблизительно на ее середине, меж борделем, замаскированным под пивную, и таверной, предлагавшей с гадчайшим вином закуску стоимостью в два су (плата уже и тогда посильная для студентов соседней Сорбонны), путник попал бы в закоулочек или тупичок, по нашим сведениям переименованный в 1865 году в Моберов, а в предшествовавшие времена носивший имя Амбуазова тупика и приютивший в себе кабак «тапи-франк», то есть из таких самых разничтожных, что ни на есть отпетых питейных заведений, где хозяйствует какой-нибудь уголовщик, а сходятся там бандиты и ворье. Место это печально известно среди прочего тем, что в восемнадцатом веке там варили свои зелия три знаменитые отравительницы, сами же и задохнувшиеся от смертоносных испарений собственного производства.

В торце тупика неприметное оконце лавки старьевщика объявляло слеповатыми буквами о торговле «хотя подержанными, но пристойными мебелями». При этом стекла, густо и мутно перемазанные изнутри чем-то пыльным, не позволяли видеть ни товары, ни внутренность магазина, поскольку были по двадцати сантиметров в деревянном частом, будто тюремная решетка, переплете. Возле окна располагалась и дверь, постоянно запертая, а рядом со шнурком звонка висела записка, гласившая, что хозяин на минуточку вышел.

Если же — редкий случай — дверь была бы не затворена, вошедший смог бы в неясном освещении разглядеть внутренность трущобы. На немногих и шатких этажерках и на таких же валких столах громоздилось множество безделушек вроде бы и привлекательных, но при внимательном рассмотрении непригодных для порядочного коммерческого оборота, даже если на них указывались бы столь же трепаные цены: фигурные изложницы для поленьев, способные обезобразить любой на свете камин, ходики с облупленной синею эмалью, подушки, в незапамятное время ярко вышитые, цветочницы с ангелками из керамики в трещинах, переко-

шенные тумбы неопределенного мебельного стиля, ржавая железная записочница, шкатулки, украшенные выжиганием, отвратительные перламутровые веера с китайцами, ожерелье под янтарь, белые валяные шлепанцы с яркими пряжками, украшенными «ирландскими брильянтами» — то есть горными хрусталями, выщербленный Наполеон в виде бюста, коллекция насекомых под расколотым стеклом, фрукты пестрого мрамора, еле различимые сквозь утратившие прозрачность колпаки, кокосы, старые альбомы с непритязательными акварельками (сплошные цветочки), несколько обрамленных дагеротипов (это было время, когда в дагеротипах не было ничего антикварного). Так что ежели посетитель сдуру и польстился бы на эти мизерные рукоделия, из которых любое — последний ломбардный заклад нищенствующего семейства, и приценился бы, подойдя к подозрительнейшей наружности старьевщику, то услышал бы в ответ такую сумму, от которой всякое желание продолжать торги начисто улетучилось бы даже и у самого закоснелого ловца антикварных монструозностей.

Все-таки ежели бы, не удовлетворившись, посетитель, в силу невесть откуда взявшегося права,

двинулся через вторую дверь на лестницу, то есть захотел бы пойти на верхний этаж, — тогда раздрызганные винтовые ступени, обычные в подобных парижских домах, фасад у которых не шире собственного дверного проема, скоса лепящегося к тесно приближенным порталам соседских дверей, привели бы его в гостиную, украшавшуюся уже не пошлой кустарщиной, как в нижней лавке, а обстановкой совершенно другого сорта: о трех ногах, и с орлиными головами на этих ногах, ампирным столиком; консолью на крылатом сфинксе; шкафом семнадцатого века; стеллажом красного дерева, приютившим сотню книг в замечательном сафьяне; секретером, называемым «американским», под роликовой крышкой и с кучей ящичков. Перейди он из этой гостиной в спальню, его взору открылась бы пререскошная кровать под балдахином. Рядом на простых стеллажах размещались сервиз севрского фарфора, турецкий кальян, алебастровая чаша, хрустальная ваза. На дальней стене виднелись живописные панно на мифологические сюжеты. Это были два больших холста с изображениями муз истории и комедии. Добавим, что по стенам там и тут был развешан марокканский текстиль и какие-то еще арабские одеяния из кашемира,

рядом с пилигримской походной флягой. Еще там стоял старинный умывальник, нагруженный туалетными принадлежностями заботливой выделки. В общем, причудливый интерьер, полный редких и недешевых предметов, что, быть может, не свидетельствовало о продуманном и тонком вкусе собирателя, но, несомненно, выдавало его тягу к бравированию роскошью.

Возвратившись в гостиную, посетитель увидел бы перед окном, через которое мог поступать только самый незначительный свет, потому что света было очень мало вообще в этом переулке, пишущего за столом в халате пожилого человека. То, что удалось бы разглядеть через плечо, мы и читаем сейчас. Время от времени Рассказчик будет сжато пересказывать куски дневника, чтобы Читатель не соскучивался.

Не ждите, что Рассказчик эффектно опознает сейчас же в пишущем известного… Рассказ только начат, и никого известного в нем еще не было. Рассказчику совершенно неведомо, кто этот непонятный текстописатель, и Рассказчик сам интересуется это узнать, как и вы, почтенная публика. Поэтому теперь всем нам предстоит доискиваться и разгадывать скрытые смыслы тех знаков, которые перо повествующего при нас

накладывает на бумагу.

2. Кто я?

24 марта 1897 г.

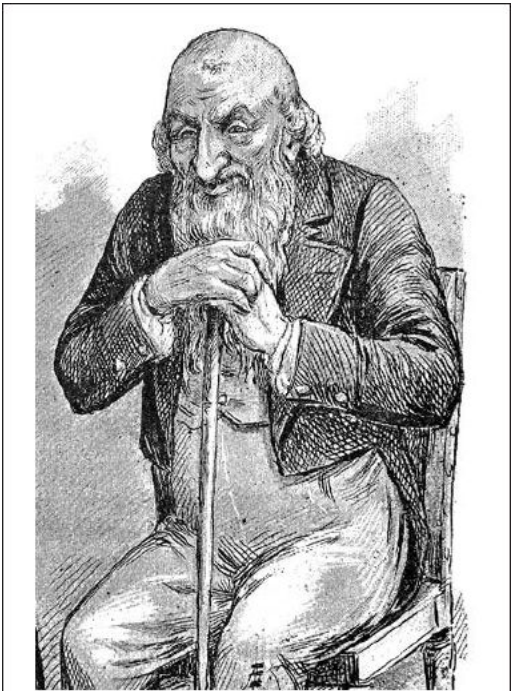
Вовсе и не тянет меня начинать эти страницы, душу на них оголять по велению — проклятие! нет — по подсказке! окаянного немецкого еврея (австрийского вообще-то, но ведь это все равно). Меня — то есть кого? Кто это — «я»? Думаю, ответить можно, перечислив, что и кого любит человек. Так кого люблю «я»? Никаких людей любимых я бы назвать не мог. Люблю поесть. Это да. При одном упоминании «Серебряной башни» («Ля Тур д'Аржан») я весь дрожу. Если это любовь — то вот. Кого я ненавижу? Евреев, ответил бы с ходу. Но моя готовность раболепно потакать австрийскому доктору (а хоть бы и немецкому!) доказывает, что, в сущности говоря, я ничего не имею против растрепроклятых евреев. О евреях я знаю только то, чему научил меня дедушка. Евреи — народ до мозга костей безбожный. Евреи думают, что добро проявляет себя не на том, а на этом свете. Поэтому они желают этот наш белый свет захватить. Все мое отрочество омрачил этот жупел, евреи. Дедушка описывал прозорливые иудейские очи, лицемерием несказанным

доводящие людей до посинения. Описывал их нечистые ухмылки, их раззявленные гиеньи пасти, зубы торчком, взоры тяжелые, развратные и скотские, носогубные складки подвижные, усугубляемые ядовитостью, и носы, крючковатые, наподобие клювов южных птиц… Что ж до глаз — о, их глаза! Лихорадочно вращаются в орбитах у евреев их зрачки цвета горелых гренков, знак заболевания печени, где накопилась вся их желчь за восемнадцать столетий. Вокруг зрачков — размякшая кожа нижних век, испещряемая тысячью морщин каждый год, и уже в двадцать лет иудей выглядит потасканным, почти старик. При ухмылке его напухшие веки прижмуриваются, оставляя еле проницаемую щель, и это примета лукавства, как расценивают некоторые, или же гримаса похоти, как утверждал мой дед. Когда я подрос и стал понимать больше, дед добавил еще одну подробность. Евреи, сказал он, мало того что спесивы, как испанцы, неотесаны, как хорваты, алчны, как левантинцы, неблагодарны, как мальтийцы, наглы, как цыгане, немыты, как англичане, сальны, как калмыки, надуты, как пруссаки, и злоязыки, как уроженцы Асти, они еще и прелюбострастники по причине безудержного приапизма, причиненного обрезанием, в

чем великое несоответствие между их плюгавыми фигурами и громадностью пещерного тела внутри срамного их недокалеченного выроста.

Мне эти евреи вечно снились по ночам.

Благословение случаю, что я не сподобился наяву знакомиться с ними. Исключая однажды, в юности, ту потаскушку в туринском гетто. Но меж нами и двух-то слов, считай, сказано не было. Второй еврей в моей жизни — вот этот самый лекаришка, не то австрийский, не то немецкий. Я, откровенно говоря, не ощущаю разницы.



...Мне эти евреи вечно снились по ночам...

Немцев же я видал и даже делал с ними дела. Они — самая низкая ступень человеческого развития. Немец в среднем выделяет вдвое больше кала, чем француз. Гиперактивность его ки-

шечной функции вредит работе мозга. Тем и объясняется их физиологическая второсортность. Во времена варварских орд пути германских полчищ, как правило, обрастали несоразмерными кучами фекалий. Да и в последующие столетия путник-француз понимал, что перешел за эльзасскую границу, чуть только он встречал из ряда вон выходящие габариты оставленных около дороги экскрементов. Мало того: немцам как нации свойствен повышенный бромгидроз (смердячий пот). Доказано, что немецкая урина содержит не менее двадцати процентов азота, в то время как у других народностей содержание азота в моче не превышает пятнадцати.

У немцев постоянно засоряется желудок из-за безудержного употребления пива и тех типичных свиных колбас, которые они поглощают. Поглядел я на них в свою мюнхенскую поездку. На протабаченные, как английский портовый склад, эти их кабаки… Ни дать ни взять пышные храмы, где вместо ладана сало и шпик. Туда они ходят парами, немецкие херры с их самками, и трясут на высоте пивными кружками (скорее, кадками), которые сгодились бы для водопоя слоновьих стад. И эти пары тварей трясут и чокаются, и снюхиваются, как псы при случке, нос к носу над

пеной, лакая с ликованием, и грязно и похабно надсаживаются гортанным хохотом в своем допотопном горлобесии. На щеках и на лицах их бликует масляный пот. Так лучились оливковым маслом тела атлетов в античных цирках.

Это они себе заливают в глотки «Гейст». Вообще-то это слово значит спиритус, спиритуальность, а также духовность. Но в ихнем случае — дух пьяный и поганый, смолоду отупляющий немцев. Чем и объясняется, отчего по ту сторону Рейна никогда не бывало истинного искусства. Разве что несколько картинок с изображением непривлекательных людей и кое-какие стишата смертельной нудности. А уж их музыка! О чем там говорить? Не о трескучем же и замогильном Вагнере, забившем памороки нашим нынешним французам? Мне сказывали, что и у хваленого их Баха творения вовсе лишены гармонии, холодны, как зимние ночи. А уж симфонии, с которыми они носятся, сочиненные Бетховеном, прошу вас, увольте: что касается безвкусия, так это просто апофеоз.

Злоупотребление пивом лишает немцев способности хотя бы в малейшей мере почувствовать свою вульгарность. Наивысшее выражение их вульгарности — что они не стесняются соб-

ственной немецкости. Хвалятся чревоугодником Лютером, безнравственным монахом (он призывал жениться на монахинях?), и радуются, что он испаскудил Священное Писание, переведя его на немецкий язык. Кто-то сказал о них, только кто это был — не помню, что немцы дурят себя двумя главными европейскими наркотиками — алкоголем и христианством.

Тщеславятся своей глубиной. А вся-то глубина-то, что язык их мутен, не имеет ясности, как французский, и не выражает того, что полагалось бы сказать. И поэтому ни один германец сам не знает, что он хотел сказать и что сказал. Эта вязкость, по их мнению, — глубина. С немцами, как с женщинами, нельзя дойти до дна. К сожалению, их маловыразительный язык, в котором глаголы, пока читаешь, нервно выискиваешь глазами, потому что они никогда не бывают там, где им следовало бы быть, мне пришлось выучить по требованию деда в раннем отрочестве. Нечему удивляться. Дед все, что мог, обезьянничал с австрийцев. До чего я ненавидел этот паскудный язык, а с ним и иезуита, приходившего учить меня, немилосердно наказывая указкой по пальцам.

После того как Гобино написал о неравенстве

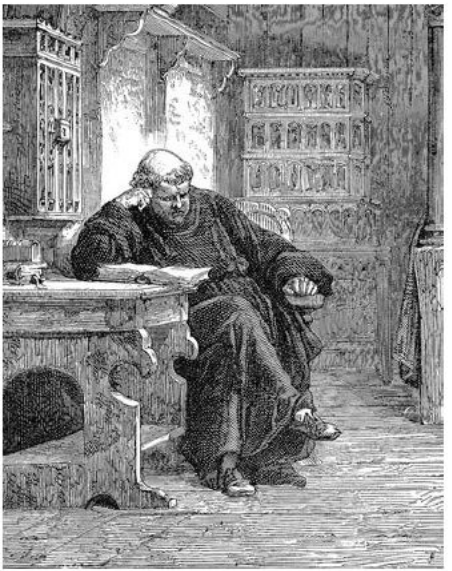
человеческих рас, принято считать, что ругают инородцев те, кто провозглашает превосходство собственного племени. Мне такие предрассудки не сродни. С тех пор как я окончательно стал французом (наполовину быв им от рождения, по матери), я осознал, до чего мои новые соотечественники ленивы, кляузны, злопамятны, завистливы, самонадеянны до убежденности, будто всякий, кто не француз, — дикарь, и не способны выносить замечания. Но я и понял, каким образом охмурить француза, чтоб он признал недостатки французской нации. Достаточно при нем сказать, к примеру: «поляки знамениты таким-то безобразием», и, поскольку француз никогда не поступится первенством, он моментально возразит: «ну нет, у нас во Франции много хуже». А дальше как уж понесет своих родных французов, покуда не опамятуется и не скумекает, что это его таким манером одурачили.

Француз не поможет ближнему, даже когда ему это выгодно. Кто неучтивей французского трактирщика! Он с виду ненавидит посетителей (и на деле тоже) и желает, чтоб они провалились сквозь землю (на деле не вполне так, ибо француз еще и ужасно меркантилен). *Ils grognent toujours.* Они брюзжат. Попробуйте спросить о чем-то

— выпучат губы: *sais pas, moi,* препохабно, будто газы выпустят.

Французы злы. Они убивают шутя. Они единственные, кто несколько лет подряд для потехи рубили головы друг другу. Счастье французов, что Наполеон поворотил их злобу на иноплеменников и всех погнал уничтожать Европу.

Они кичатся государством и хвалят его мощь, но сами заняты сотрясением устоев государства. Никто не перещеголяет французов в искусстве строительства баррикад по поводу и без повода, сплошь и рядом не зная зачем. Они выходят на улицы по призыву какой ни попадя наихудшей канальи. Француз не очень понимает, чего ему надо. Он знает только одно: то, что есть в наличии, не по нем. Чтоб выразить протест, француз поет.



...Хвалятся чревоугодником Лютером, безнравственным монахом (он призывал жениться на монахинях?), и радуются, что он испаскудил Священное Писание, переведя его на немецкий язык...

Французы думают, что все на свете разговаривают по-французски. С десяток лет назад произошла история с одним таким Люка. Большого таланта был человек, три тысячи документов

подделать сумел, и все на настоящей старой бумаге. Пройдоха выстригал чистые форзацы томов в Национальной библиотеке. Он навострился воспроизводить почерки, хотя и хуже, чем умею это делать я. И продал таких бумаг огромное количество за невообразимые цены этому недоумку Шалю… Серьезный математик, говорят, и член Академии наук, но, как мы видим, совершеннейший тютя. Не только Шаль, но и другие высокоученые академики приняли за чистую монету письма знаменитых личностей, Калигулы, Клеопатры и Цезаря, написанные по-французски! Равно как и переписку на французском языке между Паскалем, Ньютоном и Галилеем! А между тем даже школьникам известно, что в старину образованные люди переписывались на латыни. Ученые мужи, академические старцы не ведают, что у других народов в заводе были и иные языки, помимо их ненаглядного французского! Но из поддельных писем Паскаля вытекало, будто он открыл всемирное тяготение за двадцать лет до Ньютона: ну, и этого с походом хватило, чтобы обмишулить сорбоннцев, отуманенных патриотической спесью.

Возможно, невежество развивается в них от скупости. Скупость — национальная чума, ко-

торую они зовут добродетелью и уточняют: «не скупость, а бережливость». Только во Франции могли посвятить целую комедию скупому. И не будем забывать также о папаше Гранде.

Скаредностью дышат их пыльные квартиры, где никогда не меняют обои, а тазики наследуются от прабабок. Корыстность и мелочность французов видна и по их деревянным закрученным лестницам с непрочными ступенями — во что бы то ни стало экономится пространство. Ежели привьют, как, случается, прививают черенок к дереву, к французам еврея (предположим, немецкого еврея), то получится именно то, что мы сейчас имеем в наличии. Получится Третья республика.

Я, конечно, сам стал французом. Но стал я им только из-за того, что итальянцем оставаться было нестерпимо. Пьемонтец по рождению, я явственно чувствовал, что я — карикатура на галла, но еще ограниченней, чем галлы. Пьемонтцы! От всякой новости пьемонтцы столбенеют. От неожиданностей цепенеют. Чтоб затащить их в Сицилийское королевство (тех немногих пьемонтцев, которые были в гарибальдийском войске), понадобились двое лигурийцев: энтузиаст Гарибальди и зануда Мадзини.

А уж то, что я выяснил в тот раз, когда меня послали в Палермо! Когда это было? Восстановить бы…

Только фанфарон Дюма любил италийские народы. Наверное, потому, что они превозносили его. Не то что французы. Французы прежде всего видели в нем мулата, а уж во вторую очередь — писателя. Нравился же Дюма неаполитанцам и сицилийцам, которые сами помеси, и не по оплошности гулящих родительниц, а по своей истории. Все они выродки от неверных оттоманцев, от немытых арабов и от вырожденцев-остроготов, унаследовавшие самое худшее от разношерстных прародителей: от сарацин нерадивость, от свевов свирепость, от греков безалаберность и крючкотворство. Впрочем, достаточно разок взглянуть на неаполитанских босяков, как они прилюдно напихиваются макаронами, вталкивая их грязными пальцами в хайло и обмазываясь прокисшим помидорным соусом. Я сам, по-моему, этого не видел, но мне рассказывали.

Итальянцы коварны, лживы, подлы, они предатели, предпочитают кинжалы честным дуэлям, предпочитают яды лекарствам, ускользчивы в переговорах и верны только одному принципу — принципу двурушничества, чему пример —

бурбонские военачальники и как они повели себя при первом же появлении босяков из войска Гарибальди под командой пьемонтских генералов.

Все оттого, что итальянские военные сделаны из того же теста, что итальянские священники, — а именно священники, только они одни, и управляли Италией с тех пор, как этого дегенерата, последнего римского императора, оприходовали (сам подставил задницу) лихие варвары за то, что он дозволил христианству подорвать боевитость гордой нации.

Священники… Когда я соприкоснулся с ними? А в дедовом доме, думаю. Как сквозь туман, вспоминаю их скошенные взоры, испорченные зубы, нечистое дыхание и влажные от пота ладони, которыми они норовили погладить меня по головке. Вот гадость. Эти бездельники относятся к таким же опасным классам, как бродяги и воры. Тот, кто хочет стать священником или монахом, просто не хочет работать. Работать попам не приходится уж в самую силу их количества. Будь их, ну скажем, по одному на тысячу голов паствы, они бы не рассиживались по суткам за жирными каплунами. Среди самых никудышных из попов правительство отбирает глупейших и рукополагает их в епископы.

Святоши повсюду. Рождаешься — они тебя крестят. Идешь учиться — учат, если родители были ханжами и заслали тебя в религиозный интернат. И они же занимаются твоим причастием, катехизисом, конфирмацией. Священник в день свадьбы тебя учит, что ты должен делать с новобрачной в постели, а наутро требует исповеди, сколько же раз ты это сделал, чтоб самому повозбуждаться под прикрытием занавеси за решеткой. Попы стращают плотью, плотью, плотью, а сами неприкрыто, каждоденно встают с кровосмесительного ложа, и, даже руки не помыв, идут себе кушать и пить своего Господа и, соответственно, потом идут себе Господом мочиться и испражняться.

Поминутно бубнят, будто царствие их — не от мира сего, и, однако, силятся наложить лапу на все, чем только можно поживиться. На свете не будет достигнуто совершенство, покуда последняя церковь не рухнет на голову последнего попа и мир не освободится от поповского семени.

От коммунистов пошло выражение «религия — опиум народов». Это правильно, поскольку религия сдерживает искушения подданных. Кабы не религия, было бы вдвое больше народу на баррикадах. А так во время Коммуны восставшим

явно недостало людей, и всех удалось перехлопать без проволочек. После того как я узнал от австрияка-врача о пользе одного колумбийского снадобья, я подумал: религия — это и кокаин народов, потому что религия подстрекает народы к военным действиям, к резне, истреблению неверных, она подстрекает и христиан, и мусульман, и прочих идолопоклонников. Тех негров из Африки, которые прежде ограничивались междоусобными кровопролитиями, миссионеры обратили в христианство и понабрали себе из негров-христиан колониальных солдат, идеальных для геройской смерти на передовой и для изнасилования белых женщин при взятии городов. Никогда люди с таким энтузиазмом и полнотою не творят зло, как когда они его творят во имя религии.

Хуже остальных, ясно, иезуиты. Вроде бы я им когда-то устроил веселую жизнь… А может, это они мне подгадили, не удается припомнить… Или, кто знает, это могли быть кровные братья иезуитов, масоны. Масоны то же самое, что иезуиты, только бестолковее. У иезуитов по крайней мере только одна богословская теория, и они умеют ею пользоваться, а масоны таскаются со множеством теорий, но без царя в голове. О

масонах мне рассказывал покойный дедушка. Купно с евреями они отрубили голову королю. И пробудили к жизни карбонариев, то есть совсем дураковатых масонов, попадавших в старое время под расстрел, а в новое время — на гильотину за то, что не умели бомбу собрать по-человечески. Потом они становились социалистами, коммунистами и коммунарами. Всех их ставить к стенке. Правильно делал Тьер.

Масоны и иезуиты… Иезуиты — масоны в юбках.

Ненавижу юбки за то немногое, что мне о них известно. Я много лет проненавидел кабаки с девицами *(brasseries à femmes)*, куда сходятся презренные личности самого пакостного разбора. Они опасней явных борделей. Открытию борделей, как правило, противостоят жители соседних домов. А кабаки могут открываться где угодно: туда ведь ходят закусить и выпить. Но закусывают на первом этаже, а на втором и третьем греховодничают. У каждого кабака свой образец. Красотки наряжены на особый фасон. У нас в пивной разносят выпивку немецкие кельнерши, а рядом с Дворцом правосудия девки одеты в мантии, как адвокаты. По одним только названиям все понятно. «У Вертихвосток»! «У Марокканок»!

«Четырнадцать ягодиц», неподалеку от Сорбонны! Почти всегда содержатели кабаков — немцы. Вот так и подрывают французскую мораль. Меж пятым и шестым арондисманами подобных притонов не менее шестидесяти. А вообще по Парижу их наберется сотни с две. И вхожи туда зеленые юноши, они идут сперва из любопытства, а после по привычке, пока не схватят трепака, если не худшую какую-нибудь гадость. Злачные места соседствуют с учебными заведениями, стыдоба! После занятий ученики толпятся около дверей и смотрят на милашек. Я лично тоже прихожу. Но я-то прихожу пропустить рюмочку. И смотрю через дверь на этих молокососов около двери, которые с улицы, через дверь, заглядывают туда, где сижу я. Не только молокососы. Там можно набираться сведений и о привычках, и о сношениях всяких взрослых. А сведения могут пригодиться, и пригождаются, каждое в свой черед.



...Иезуиты – масоны в юбках...

Еще интересно подглядывать, что у них за сутенеры за столами. Одни — мужья, из тех, что кормятся за счет жениных красот. Прилично одетые, они сидят, курят и перекидываются в

картишки. Хозяин и девчонки зовут их «рогачи». А в Латинском квартале на подобных ролях в основном студенты-недоучки. Постоянно трясутся, как бы их не обдурили при расчетах, и хватаются за ножи. Самые спокойные — разбойники и убийцы. Они заходят ненадолго, потому что заняты своими убийствами и разбоями. А когда заходят, то понятно, что девчонки шутки шутить с ними не станут, если не хотят назавтра бултыхаться в грязноватой водичке в Бьевре.

Есть и моральные уроды. Заманивают извращенцев и извращенок для тошнотного разврата, зазывают их у Пале-Рояля или на Елисейских полях условными знаками. А их дружки, переодевшись полицейскими, готовятся нагрянуть в номер в самую сладкую минуту и пригрозить бесштанному клиенту немедленным арестом. На что, естественно, тот вытащит в ответ пачечку ассигнаций.

Я захожу в лупанарии с опаской, понимая, что это риск. Когда клиент по виду денежный, содержатель кивает. Одна из распутниц подсаживается и постепенно подзывает к столу остальных товарок, и вместе пьют и жрут самые дорогие яства (однако, бережась от опьянения, заказывают себе наливки анисовые, смородин-

ные — подкрашенную водичку, которую клиент оплатит нешуточными деньгами). Стараются растормошить клиента и на карточные игры. Конечно, перемигиваются… Ты в проигрыше… И тогда требуют платить за всех кто там ни на есть — за девок, трактирщика и трактирщицу. Стараешься уклониться — так уговаривают играть не на деньги, а в раздевалочку. На каждую проигранную ставку девчонка снимет что-нибудь из одежды. И с каждым спущенным кружевцом оголяются мерзостные молочные телеса, наливные груди и темные подмышки, пряный пот от которых разит мне прямо в душу.

Я ни разу не ходил на верхний этаж. Кто-то мне говорил: женщины — замена одинокого рукоблудия, только с ними нужно больше фантазии. Возвращаюсь к себе и вижу женщин по ночам. Я же тоже не железный. Они сами меня раздразнивают.

В книге доктора Тиссо я читал: женщины вредны даже на расстоянии. Неизвестно, одно ли и то же — жизненные ликворы и семенной сок. Но бесспорно, что у этих двух текучих сред наблюдается подобие. И после долгих ночных поллюций не единственно силы слабеют, но и тело худеет, бледнеет лицо, рассыпается память, туманится

зрение, охрипает голос, во сне витают тревожащие видения, ощущается боль в глазах, на лице проступают красные пятна. Люди начинают харкать сгустками, мучиться сердцебиениями, удушьем, обмороками, у иных появляется понос или зловонные извержения. В результате, как правило, слепота.

Допускаю, что все это преувеличено. По молодому возрасту у меня наблюдались угри, но, наверное, это вообще свойственно отрочеству, а может, дело в том, что все подростки балуются одними и теми же способами, и злоупотребляют, и предаются этому день и ночь. Так вот, я умею дозировать радости. Сны у меня тревожны только после питейного заведения. И мне не случается, как другим, ощущать подъем от одного лишь силуэта идущей женщины на улице. Мой труд отвлекает меня от порока.

Но зачем философствовать, если цель — восстанавливать события? Оттого, что, надо думать, мои цели — не только выяснить, чем я занимался до вчерашнего дня, но и определить, что у меня на душе. Конечно, если в принципе душа существует. Есть ведь мнение, что существенно только то, что имеет выход на внешнее действие. Не согласен! Коль скоро я кого-нибудь ненавижу

и коль скоро я в себе эту вражду вынашиваю, значит, дьявольщина, я вынашиваю вражду внутри в себе! То есть кое-что внутри у меня есть. Как сказал философ, как это? *Odi ergo sum.*

Вот только что было посещение. Позвонили в двери снизу. Ужаснувшись, не явился ли кто-то глупый до такого невероятия, чтобы хотеть у меня что-нибудь купить, я открыл. Нет, этот был опытный, он сразу сказал, что его посылает Тиссо. Отчего-то я использую именно этот пароль. Ему требовалось собственноручное завещание от имени некоего Бонфуа в пользу Гийо (а Гийо, держу пари, это он сам). Принес бумагу, которой пользуется или же пользовался Бонфуа, принес, конечно, образчик почерка. Я пригласил Гийо подняться ко мне в кабинет, подобрал перышко и подходящие чернила и без черновика сообразил ему документ. Вне всякой критики. Этот Гийо, по всему судя, знал мой тариф, он отсчитал правильную сумму, соответствующую количеству наследства.

Ну, так ли уж плохо мое ремесло? Приятно выкликнуть из небытия юридически совершенный документ, создать письмо, неотличимое от подлинного, произвести признание, бросающее тень на признающегося, сфабриковать бумагу,

несущую кому-нибудь погибель. В награду я пообещал себе «Кафе Англэ».

Ноздри хранят незабываемое воспоминание о тех яствах, но мне мерещится, будто целые века я не обонял ароматы их ассортимента: суфле по-королевски, филированная рыба соль на венецианский манер, нарезка из тюрбо в тертых сухариках, седло барашка с бретонским пюре. Забыл сказать про вводные блюда! Хорошо, там у них вводные блюда — пулярдка по-португальски, теплый перепелиный паштет, омары по-парижски, а вот возьму и закажу даже все вместе. Что же до блюда основного, пусть это будут утята по-руански или ортоланчики на канапе. Гарниры — баклажаны в испанской подливке, побеги спаржи, горшочки принцесс… Надо бы решить с вином. Предположим, Шато-Марго. Или Шато-Латур. Или Шато-Лафит. В зависимости от года. На сладкое, конечно, бомба глясе.

Кулинария меня манит куда сильнее, нежели радости пола. Это, по-видимому, умудрились насадить во мне попы.

Как-то я не в состоянии разглядеть былое. Что-то загораживает. Словно облако в мозгу у меня. Отчего вдруг всплыли сейчас в моей памяти вылазки в «Бичерин» под личиною падре Бер-

гамаски? Я о падре Бергамаски и думать забыл. Кто он? Хочется водить пером, повинуясь единственно инстинкту. Если верить австрийскому доктору, таким путем я дойду до болевого момента в сознании. И тогда пойму, отчего у меня вытеснилось из памяти такое множество вещей.

Вчера, если точно был понедельник, точно март и точно двадцать второе, то я пробудился с абсолютно четким знанием того, кто я есть: я капитан Симонини, шестидесяти семи лет, в замечательной форме, чуточку в теле, но именно настолько, чтобы считаться, как говорят, представительным мужчиной. В капитаны произведен во Франции в честь памяти деда и в награду за определенные неафишируемые заслуги (состоял в гарибальдийской «Тысяче»). Во Франции, где к Гарибальди относятся положительней, чем в Италии, подобный послужной список котируется.

Симоне Симонини. Родился я в Турине, отец мой туринец, мать моя была француженка, точнее, уроженка Савойи, но во время ее рождения Савойя была захвачена французами.

Я нежился в кровати и раздумывался. Учитывая сложности между мною и русскими (хотя что там у меня вышло с русскими?..), лучше не соваться в любимые рестораны. Я могу сам себе сготовить

что-нибудь. Потратить час или два на изысканное блюдо — ни в малой степени не в труд. Ну, скажем, телячьи ребрышки «Фуайо»: толсто нарезанное мясо, не менее четырех сантиметров, я сделаю двойную порцию… Две среднего размера луковицы, пятьдесят граммов мякиша, семьдесят пять граммов натертого сыра грюйер, пятьдесят граммов сливочного масла. Мякиш раскрошить, перемешать с тертым сыром, натереть на терке лук, растопить сорок граммов масла в небольшом сотейнике, одновременно на сковородке подрумянить тертый лук на оставшемся масле, уложить в судок на дно половину лука, на него мясо, сдобрив солью и перцем, и весь остаток лука сверху. Поверх же лука — сыр, перемешанный с мякишем, под него залить масло. Из сыра руками слепить подобие купола. Побрызгать запеканку крепким бульоном и вином и продержать в печи около получаса, добавляя по надобности вино и бульон. На гарнир рекомендую цветную капусту. Такая готовка отнимает время, но и растягивает удовольствие от кухни на большие сроки. Готовить — само по себе означает предвкушать. Чем я и занимался, еще не успев встать утром с кровати. Глупцам потребна женщина в постели или мальчишка, чтоб разгонять одиночество.

Глупцам, по-видимому, невдомек, что пускать слюни приятнее, чем вздымать плоть.

В доме имелось все, что нужно, кроме мяса и грюйера. Мясо, будь это другой день недели, нетрудно было бы купить на пляс Мобер. Однако по понедельникам невесть с которой стати моберовский мясник закрыт. Я знаю другого, он дальше на двести метров, на бульваре Сен-Жермен. Не важно, прогуляться полезно.

Оделся. Перед выходом на улицу, перед зеркалом, над умывальным тазом, я налепил обычные черные бороду и усы. Надел парик. Аккуратно провел посередине пробор, примачивая волосы влажным гребнем.

Оделся я в редингот. В карман жилета заложил серебряные часы, развесил поперек живота цепочку. Когда я капитан на пенсии, мне нравится при разговоре вертеть в руках черепаховую табакерку с лакричными палочками, под крышкой которой проглядывается портрет уродливой, с достоинством одетой дамы: типичная «незабвенная усопшая». Посасываю палочки и перекатываю их во рту языком, что мне дает возможность разговаривать помедленнее. Собеседники вглядываются в рот и не вслушиваются в слова. Цель моя — производить впечатление человека самого

дюжинного.

Выйдя, я усилием воли удержался от замирания перед кабаком, откуда даже ранними утрами доносятся вульгарные визги прелестниц. Хоть площадь Мобер уже не тот волчий угол, каким она была во времена моего вселения, тридцать пять лет назад, когда везде мельтешили перепродавцы табака, выковыренного из окурков. Крупно порезанный, из окурков сигар и из выбитых трубок табак стоил за фунт по франку и двадцати сантимов. А то, что добывалось из сигаретных окурков, стоило от франка пятидесяти до франка шестидесяти за фунт… Невелика коммерция, и, знать, поэтому никто из шустрых шнырял, чьей выручки хватало только на питье в кабаке, не ведал, куда ему голову приклонить с приходом вечера. Там околачивались и сводники, лишь в третьем часу пополудни вылезавшие из-под перин, а прочую часть дня курившие прислонившись к стеночке, как тихие пенсионеры, с тем чтобы преобразиться в свирепых волкодавов после того, как стемнеет и начнется работа. Слонялись унылые щипачи, с горя запускавшие вороватые ручонки друг другу в карманы, потому что ни один нормальный горожанин не шел по доброй воле на эту прожженную площадь. Я бы

мог быть для них лучшей добычей, не чекань я шаги по-военному, с грозным покачиванием трости — да, кроме того, местные карманники были со мною знакомы, здоровались, капитану почтение, наверно, думали, что я каким-то боком причастен к их колготне, а, как известно, рука руку моет… Ходили там и блудницы с обвисшими статями, которые, будь привлекательнее, подвизались бы в *brasseries à femmes*, но, потрепанные, они могли только предлагать себя старьевщикам, мазурикам и окурочным лотошникам. Завидев такого, как я, чистого господина, в выколоченном цилиндре, они, неровен час, норовили отважиться на прикасания и даже подсунуть свою под мою руку; их близость пахла бы отвратительным грошовым парфюмом, сливающимся с запахом их пота, и это было бы такое невыносимое амбре (не хотел бы я потом снова увидеть ту или иную во сне!), что при приближении подобной пропащей я лупил палкой по воздуху, выгораживал около себя пространство защищенное и недоступное. И они понимали с ходу. Их сестра привыкла, чтобы ею командовали, и палку уважает.

В толпе в былое время густо лавировали еще и соглядатаи из полицейской префектуры, подыскивая себе в том людском месиве «наседок», то

есть осведомителей, подслушивая существенные сведения о замыслах банд, об их намерениях и соглашениях, особенно когда кто-то шептал другому не очень тихо, надеясь, что слова потонут в оглушительном гомоне. Но лично я с первого же взгляда отличаю по внешнему виду шпика: он страсть до чего похож на преступника. А честные воры совершенно не похожи на воров. Так что шпиков издалека видать.

По этой площади теперь курсируют трамваи. Нет уже чувства, будто не выходишь из квартиры. Поубавилось занятных субъектов. Хотя, если уметь отличать, по-прежнему полезные людишки там обретаются, у неприметных углов, у двери в кафетерию «Мэтр Альбер» или в соседних закоулистых улочках. Но мы же все знаем: Париж стал не тот. С любого угла как ни глянешь, торчит и колет глаза нелепая карандашная точилка, *Tour Eiffel.*

Довольно. Я не сентиментален. Осталось немало других полезнейших мест, где можно наудить чего требуется. Вчера, например, мне требовались мясо и сыр. Сыр удалось купить на площади. Я двинулся дальше и увидел, что открыта лавка мясника. — Работаете в понедельник? — спросил я, зайдя. — Сегодня же вторник, капитан, — отве-

чал тот, осклабясь.

Я запнулся и извинился. Старею, говорю, засбоила память. Мясник ухмыльнулся: это ли старость, вы-де, ежели взглянуть, вообще мальчик, знали бы, у скольких в голове мешается по утрам, особенно с похмелья. Я выбрал мясо, уплатил и даже не поторговался. А ведь только этим и держу поставщиков в страхе…

Так, гадая, какой же сегодня день, я пришел домой. Как обычно, следовало снять бороду и усы. Я зашел в спальню. Тут-то я и изумился. С крючка на вешалке свисала сутана неподдельно священнослужительского вида. А рядом на комоде покоился каштановый, со светло-рыжим отливом густой парик.

Что за проходимец забрался ко мне в спальню? Подумав так, я моментально смекнул, что и сам загримирован. Значит, я переодеваюсь по очереди то в почтенного капитана, то в духовника? Может, у меня вытерто из сознания то, что относится к той, второй натуре? А может быть, по некоторой причине (ну, скажем, скрываясь от ареста) я клею бороду с усами и в то же время предоставляю кров кому-то переодевающемуся в аббата? Но если псевдоаббат (будь он подлинным, парик не надевал бы) живет со мной, то где

он спит? Ведь в комнате только одна кровать? А может, аббат здесь не живет, а только что сюда явился, провел вчерашний день, зачем-то избавился от реквизита и в новом облике отбыл бог знает куда и бог знает зачем?

Необъяснимая пустота в голове. Как будто я видел нечто, что надлежало бы помнить, но я не помнил. Вернее, помнил не я. За меня помнил кто-то другой. Думаю, что «за меня помнил» — самое точное выражение. Я ощущал себя кем-то иным, кто смотрит на меня со стороны. Кто-то смотрел со стороны на Симонини, который вдруг понял, что не до конца понимает, кто он есть.

Спокойствие, разберемся, сказал я себе. Тот, кто под видом старьевщика подделывает документы и живет в непрезентабельном квартале Парижа, вполне способен приютить знакомого, замешанного в определенные непохвальные махинации. Хотя то, что я, приютив, забыл — кого, когда и зачем, — вот это, по совести говоря, меня совершенно не радует.

Меня тянуло оглядеться. Собственный дом казался чужим и чуждым. Повсюду сюрпризы. Я стал осматривать квартиру как чужую. После кухни направо по коридору была моя спальня. Налево — зала с обычной меблировкой. Я выдви-

нул из письменного стола ящики. В них были принадлежности моего ремесла. Перья, бутылочки с разными чернилами, листы и белой и состаренной бумаги разных времен и форматов. На стеллажах, помимо книг, имелись коробки, где содержались мои документы, и старая ореховая шкатулка. Я силился припомнить, для какой цели эта шкатулка употребляется. Но тут позвонили снизу. Спускаясь, я готовился прогнать любого надоедалу. Ан нет, старуха, и вроде бы знакомая. Через стекло она прошамкала: «Я от Тиссо». Поэтому пришлось ей открыть. Не знаю, отчего вообще я выбрал паролем этого «Тиссо». Старуха вошла и развернула прижимаемый к груди сверток. В нем было десятка с два просфор.

— Аббат Далла Пиккола говорил, что вы интересуетесь. Я с удивлением услышал, что отвечаю «да-да». Затем я спросил:

— Почем?

— По десяти франков, — ответствовала старушонка.

— Вы, наверно, не в себе, — произнес я по торгашеской привычке.

— Это вы не в себе, если служите черные мессы. Думаете, легко обегать за три дня двадцать богослужений, причаститься, и постараться

не обслюнить товар, и в молитвенной позе на коленях, прикрывая лицо руками, аккуратно выплюнуть в платок, так, чтоб ни священник, ни соседи не заподозрили? Не говоря уж об осквернении святыни и о том, что теперь мне дорога в ад. Так что, ежели желаете, двести франков, а если нет, я иду к аббату Буллану.

— Аббат Буллан умер, по всему видать, вы давно не ходите за просфорами, — автоматически ответил я. Затем я сказал себе, что при такой сумятице, какая у меня в голове сейчас, предпочтительней действовать по наитию и не сильно умничать.

— Ладно уж, я возьму, — сказал я и заплатил. И припомнил, опять же по наитию, что припрятывать их надлежит именно в ту шкатулку, что на полке в кабинете. А потом — ждать ценителя. Работа как работа, не хуже прочих.

В общем, все казалось мне заурядным, все было привычно. И в то же самое время вокруг меня витало нечто зловещее, ускользающее и необъяснимое.

Я поднялся с просфорами в кабинет, запрятал их в тайник и обнаружил, что за драпри в глубине — потайная дверь. Открыл, соображая: ноги понесут меня в темный коридор, до того

непроглядный, что и фонарь не помешал бы. Он походил, тот коридор, на склад театральной бутафории или на кладовую тамплиерского тряпичника. По стенам развешаны были самые разные костюмы: крестьянский, карбонарский, посыльничий, побирушеский. Рядом — солдатский китель и форменные брюки. И тут же соответствующие парики, красовавшиеся с расстановкой на полке. Их была нахлобучена добрая дюжина на деревянные болваны. Именно таковы уборные комедиантов, уставленные белилами и румянами, заваленные карандашами черными и синими, и кроличьими лапками, и пуховками, и щеточками, и кисточками.

Коридор заворачивал за угол, в конце была видна на просвет другая дверь, а за дверью оказалась комната, освещенная ярче моих. Свет туда поступал определенно с улицы, а не с подслеповатого Моберова тупика. Подойдя к окну, я удостоверился, что оно выходит на улицу Мэтра Альбера.

Из комнаты на улицу спускалась лесенка. Больше там ничего не было. Вот и вся квартира, кабинет и спальня разом: мрачноватая мебель, стол, аналой, кровать. Около выхода — кухонька, на лестнице закуток, в нем умывальник.

Конечно, это обиталище священника. Причем

с которым я приятельствую — не случайно же наши квартиры имеют общий коридор. Но хоть и брезжило во мне какое-то воспоминание, я был так неподвижен, как будто впервые попал в эту отдельную комнату.

Там на столе лежала стопка писем с конвертами. Все адресованы «Достопочтеннейшему аббату Далла Пиккола». И тут же лежали листы, исписанные тонким кудреватым, как женский, почерком, совершенно непохожим на мой. Наброски несущественных писем. Благодарности за присланные подарки. Подтверждения встреч. Самое верхнее, однако, имело довольно неряшливый вид: записи для себя, мысли для обдумывания. Я с трудом разобрал начало записей:

Все мне кажется невсамделишным. Будто кто-то другой за мною подсматривает. Записывать — восстанавливать. Устанавливать, как и что было.

Сегодня 22 марта.

Где сутана с париком?

Что я делал вчера? В голове туман.

Не мог вспомнить, куда ведет дверь из комнаты.

Обнаружил коридор (впервые увидел?). В коридоре костюмы, парики, грим и гуммозы,

реквизитика актеров.

На крючке в коридоре отличная сутана. На полке я нашел прекрасный парик и кустистые брови. Наложил желтый грим, чуть подрозовил скулы, получилось то, что я считаю за «я». Бледный, экзальтированный. Аскетичный.

Это я. То есть я — это кто?

Я точно знаю: я — аббат Далла Пиккола. То есть миру я известен как аббат Далла Пиккола. Но конечно, я не аббат, потому что, чтобы стать аббатом, я кладу грим.

Куда ведет коридор? Боюсь идти до конца.

Перечесть эти записи. Если то, что записывалось, будет записано, значит, было на самом деле. Доверять только записям, документам.

Кто подлил мне в питье дурман? Буллан? С него станется. Или иезуиты?

Или же франкмасоны? Что у меня общего с франкмасонами?

Евреи! Вот кто подлил.

Я не в безопасности тут. Кто-то может забраться ко мне ночью и украсть мои костюмы. Даже хуже того, подглядеть мои записи. Кто-то рыщет по Парижу, выдавая себя за аббата Далла Пиккола.

Нужно мне лететь в Отей. Может быть, Диана знает. Кто это — Диана?

Записи аббата Далла Пиккола обрывались тут. Удивительно, что он не унес с собой столь компрометирующий документ. Это было доказательство, в каком смятении находился аббат. На этом кончалось все, что я мог знать об аббате.

Я возвратился в квартиру, выходившую на тупик Мобер, и уселся за стол. Каким образом жизнь аббата Далла Пиккола перекликивалась с моею?

Разумеется, в первую очередь напрашивалось объяснение: аббат Далла Пиккола и я — одно. Если принять эту гипотезу, все становилось на места, в том числе соединенные квартиры. Тогда, выходит, я вернулся переодетым в Далла Пиккола в квартиру Симонини, снял и сутану и парик и улегся спать. Но кое-что мешало принять эту гипотезу… Если Симонини — это Далла Пиккола, почему мне ничего не известно о Далла Пиккола? Почему я не аббат Далла Пиккола, который ничего не знает о Симонини? Почему, более того, мысли и чувства Далла Пиккола я узнаю лишь после чтения его помет? Если Далла Пиккола — это я, мне бы сейчас полагалось быть в Отее, в том доме, о котором аббат, похоже, знает все, а я (я — Симонини) не знаю ничего. И кто такая Диана?

Единственное, может быть… Если я — частично

Симонини, не помнящий о Далла Пиккола, и я же частично Далла Пиккола, не помнящий о Симонини… Это не так уж невероятно. От кого я слыхал о случаях раздвоения личности? Вроде это наблюдалось у Дианы? Но кто такая Диана? Я сказал себе: будем действовать по порядку. Я точно знаю, что веду тетрадь со списками дел. Мои записи на ближайшее время такие:

21 марта месса
22 марта Таксиль
23 марта Гийо – завещание Бонфуа
24 марта к Дрюмону (?)

С чего я должен был двадцать первого идти на мессу — не знаю. Непохоже, чтобы я был верующим. Верующий верит во что-то. Верю ли я? Навряд ли. Следовательно, я неверующий. Это по логике. Оставим на время. Бывает, что на мессу нужно пойти по множеству разных причин. И вера в подобных случаях ни при чем. Но вот в одном обстоятельстве сомневаться никак невозможно. Это в том, что я думал, будто был понедельник, а был вторник. Не 22-е, а 23-е марта. И действительно, приходил Гийо для составления завещания Бонфуа. Двадцать третьего. А я-то полагал, будто было двадцать второе. Как же я

провел двадцать второе? Кто такой или что такое Таксиль? Относительно того, чтобы в четверг видаться с Дрюмоном, не могло быть и речи. Как я мог встречаться с кем-либо, если даже не знал, кто такой сам я? Надо бы пересидеть, пока все это в голове не утрясется. Дрюмон… Я себя уговаривал, что прекрасно знаю, кто такой Дрюмон. Но как только я усиливался припомнить, кто это, голову как будто окутывал пьяный дым. Попробуем порассуждать, сказал я себе. Во-первых: Далла Пиккола — это кто-то другой, кто по непонятным причинам нередко загуливает ко мне, а наши квартиры связаны коридором, более или менее тайным. Вечером 21 марта Далла Пиккола явился в мои комнаты, что выходят на тупик Мобер, снял с себя сутану (но для чего он ее снял?) и перешел спать в собственную квартиру, а на следующий день пробудился в беспамятстве. И в том же самом беспамятстве проснулся и я на следующее утро после Далла Пиккола. И все-таки: чем именно я занимался в понедельник 22 марта, перед тем как пробудился в беспамятстве утром двадцать третьего? И почему аббат Далла Пиккола снимал свою сутану в моей квартире? И в каком же он виде, сбросив сутану, шел к себе по коридору? И в котором часу? Вдруг напал на меня ужас — а

не пролежал ли этот аббат первую часть ночи со мной в постели… Господи, женщины внушают, конечно, мне отвращение, но аббат — это ведь еще хуже. Я девственник, а не извращенец.

Или все-таки я и Далла Пиккола — одно? Как-никак его сутана висела у меня в опочивальне. По идее, я мог вечером в день мессы (двадцать первого) возвратиться через тупик Мобер в обличье Далла Пиккола (если я ходил на какую-то мессу, то, вероятнее всего, под видом аббата). Возвратившись, избавился от парика и сутаны и перешел в апартамент аббата (позабыв, что сутана осталась у Симонини). На следующий день, в понедельник двадцать второго марта, пробудившись в обличье Далла Пиккола, не только не сумел обрести свою память, но и сутаны не нашел в изножье кровати. Продолжая быть аббатом Далла Пиккола, потерявшим память, натянул запасную сутану, висевшую в глубине коридора, и прекрасно мог бы, как планировал, сначала отправиться в Отей, а ближе к вечеру передумать, отбросить страх и вернуться все-таки в Париж в квартиру на Мобер. Там снять сутану и повесить ее на крюк в спальной комнате. А с утра, наново лишившись памяти, но уже став капитаном Симонини, провести вторник, воображая его

себе как понедельник. В этом случае, старался я рассуждать, Далла Пиккола не держит в памяти событий 22 марта и обеспамятев проводит целый день, а на следующий, двадцать третьего, пробуждается как беспамятный Симонини. Это вовсе не удивительно, о подобном я уже слыхивал от… как зовут этого медика из той лечебницы, что в Венсенне?

Хотя нет, не получается. Я перечитал записи. Если бы все так и было, Симонини двадцать третьего утром должен был бы найти в своем спальном помещении не одну, а две сутаны. Ту, которую он снял вечером двадцать первого, и ту, которую он снял вечером двадцать второго. А нашел только одну.

Ох, да что за глупости. Далла Пиккола вернулся из Отея вечером двадцать второго на улицу Мэтра Альбера, снял сутану в той квартире, а потом перешел в квартиру на Моберовом тупике и улегся там спать до самого следующего утра. До утра двадцать третьего числа. Просыпаясь, он стал капитаном Симонини и увидел на крючке на вешалке только одну сутану. Правда, будь это так, утром двадцать третьего числа, придя в квартиру Далла Пиккола, я должен был бы найти у Далла Пиккола в комнате сутану, оставленную

там вечером двадцать второго… Но может быть, Далла Пиккола пошел и повесил сутану на место в коридор, туда же, откуда взял? Пойду-ка проверю…

Я вышел в коридор с фонарем и при этом сотрясался от страха. Если Далла Пиккола — это не я, говорил я себе, то не исключается, что он сейчас идет навстречу с другого конца коридора с таким же точно фонарем в руке. Слава небесам, ничего этого не было. На крючке в коридоре висела сутана.

И все-таки, и все-таки. Если Далла Пиккола вернулся из Отея и, повесив сутану, прошел по всему коридору вплоть до моей квартиры и улегся, ничтоже сумняшеся, почивать в мою кровать, это могло произойти лишь только при условии, что он обо мне имел понятие и понимал, что у меня он может располагаться как у себя дома, ибо он — это я и есть. То есть Далла Пиккола укладывался в кровать, понимая, что он Симонини. В то время как Симонини на следующее утро, проснувшись, вовсе не знал, что он — Далла Пиккола. Другими словами, Далла Пиккола потерял память, потом снова обрел ее, а своим беспамятством на следующее утро одарил капитана Симонини.

Беспамятство… Это значит «противополож-

ность памятливости»… Это слово внезапно открыло передо мной будто бы просвет в тумане. Что-то давно позабытое. Был ведь у меня разговор о беспамятных! Разговор был в «Маньи». Примерно около десятка лет назад. Собеседниками были я, Буррю и Бюро, Дю Морье и австрийский тот самый доктор.



...В прошлом она считалась сугубо женским феноменом, осложнением от расстройства функции матки...

3. В «Маньи»

25 марта 1897 г., на заре

Вообще-то я ценитель хорошей кухни, а в ресторане «Маньи» на улице Контрэскарпа Дофина, как мне помнится, плата была не больше десяти франков с человека. Так вот — по цене была и готовка. Но все же нельзя ведь каждый день посещать «Фуайо». В минувшие времена многие нарочно ходили в «Маньи», чтобы поглазеть изблизи на таких знаменитостей, как Готье и Флобер. А еще до того ходили любоваться на чахоточного пианиста, полячишку, жившего на содержании у бабы в штанах. Я однажды тоже глянул и предпочел уйти немедленно. Артистические личности даже издали — гадкая картина, то и дело озираются, чтоб убедиться, опознали ли мы их. Позднее «великие» покинули «Маньи» и переместились в «Бребан-Вашетт», что на Рыбном бульваре, где кормили лучше и платить надо было больше. По всему видно, что *carmina dant panem.* Песни дают хлеб. Так что в «Маньи», можно сказать, очистился воздух. И я стал охотно бывать у них с начала восьмидесятых.

Я заметил, что туда нередко ходят и ученые,

такие как знаменитый химик Бертло и врачи из больницы Сальпетриер. Она не вовсе рядом расположена, больница, но, думаю, врачам приятней пройти через Латинский квартал и пообедать в приличном месте, нежели тыкаться в скверные харчевни, где столуются родственники пациентов. Мне интересно слушать их разговоры, врачей. Они всегда обсуждают чьи-нибудь слабости.

В «Маньи» стоит гам. Все, перекрикивая соседей, кричат, и если хорошо настраивать уши, всегда удается словить любопытную беседу. Не обязательно заранее намечать себе, что именно ты хочешь услышать. Все на свете, даже самое незначительное, может обернуться выгодой. Важно знать о других то, что они не думают, что ты знаешь.

Литераторы и художники сбивались за общие столы, а люди образованные ужинали в одиночестве. В одиночестве и я. Тем не менее, отужинав несколько раз бок о бок со мной в полном молчании, они обычно созревали для знакомства. Первым пошел на сближение доктор Дю Морье. Наиотвратнейший тип. Просто недоумеваешь, как подобный психиатр (а он по профессии психиатр!) полагает снискать доверие пациентов

при таком несимпатичном лице. Зависть и пагуба отпечатаны на нем. Это лицо пасынка. И точно, он заведовал очень маленькой клиникой для нервнобольных в Венсенне и понимал превосходно, что его лечебное заведение никогда не принесет ни той славы, ни тех доходов, что лечебница более известного доктора Бланша. Даром что Дю Морье саркастически кривился, информируя меня, что-де тридцать лет тому назад в Бланшевой лечебнице некто по имени Нерваль (по его словам, небездарный поэт) получил такое медицинское вспоможение, что и вообще покончил с собой.

Были и еще сотрапезники, с которыми я сумел наладить отношения: медики Буррю и Бюро, вроде близнецов, одетые в черное, сходного покроя, с черненькими усиками и бритыми подбородками. И с несвежими воротничками, что неотвратимо, поскольку в Париж оба они попадали только наездами, состояли при медицинской школе в Рошфоре и в столице проводили только несколько рабочих дней в месяц для участия в экспериментах Шарко.

— То есть как порея нет? — выкрикнул однажды с гневом Буррю. И Бюро, за ним, тем же тоном:

— Нет порея, вы хотите сказать? Половой все

извинялся. Я вступил с соседнего столика:

— Но зато пастернаки у них превосходные. Лично я предпочитаю. — И с улыбкой промурлыкал: — Танцевала рыба с раком, а петрушка с пастернаком, сельдерея с чесноком, а индея с петухом… Сотрапезники рассмеялись и заказали по моему совету тушеный пастернак. От того и повелась наша дружеская привычка, на эту пару дней в месяц.

— Видите ли, дорогой Симонини, — рассказывал Буррю, — доктор Шарко занимается истерией. Истерия — форма невроза, проявляющегося в психомоторных, сенсорных и вегетативных нарушениях. В прошлом она считалась сугубо женским феноменом, осложнением от расстройства функции матки. Но Шарко высказал догадку, что истерические проявления равно присущи пациентам обоих полов и могут эволюционировать в паралич, эпилепсию, слепоту и глухоту, нарушения дыхания, речи и глотательного рефлекса.

— Коллега, — вмешался Бюро, — еще не сказал вам, что Шарко изобрел также терапию, излечивающую эти симптомы.

— Я как раз собирался, — раздраженно парировал Буррю. — Шарко разработал лечение гипнозом. Оно до вчерашнего дня считалось

уделом шарлатанов, ну, Месмера и компании. Под действием гипноза пациенты должны восстанавливать в памяти травматические эпизоды, приведшие к возникновению истерии, и через их осознание — выздоравливать.



...Шарко разработал лечение гипнозом. Оно до вчерашнего дня считалось уделом шарлатанов, ну, Месмера и компании...

— И выздоравливают?

— В том и закавыка, капитан Симонини, — ответил мне доктор Буррю. — По нашим понятиям, то, что делается в клинике Сальпетриер, больше походит на балаган, нежели на психиатрическую больницу. То есть я хочу сказать… Я не ставлю под сомнение квалификацию доктора Шарко как безошибочного диагноста…

— Мы не ставим под сомнение, — подтвердил Бюро. — Но сама по себе эта техника гипноза… Буррю и Бюро объяснили мне различные способы приведения пациента в гипнотический транс. От открыто шарлатанских, применявшихся аббатом Фариа (я насторожился, услышав фамилию, напомнившую мне героя Дюма, но потом сказал себе: конечно, ведь Дюма, как известно, имена и детали выискивал в газетах…), до кардинально новаторской системы доктора Брайда.

— В наше время, — рассказывал Бюро, — лучшие магнетизаторы используют самые простые приемы.

— Они же самые действенные, — поддакивал Буррю. — Перед глазами у больного мерно качают медаль или ключ, он пристально смотрит. Через одну, самое большее три минуты зрачки наблюдаемого начинают дергаться, пульс разре-

женный, глаза полузакрыты, лицо расслаблено. Этот сон может длиться до двадцати минут.

— Сказать еще, — добавлял Бюро, — что успех этого метода зависит от подопытного. Магнетизация сводится не к посылу таинственных флюидов, как утверждал шарлатан Месмер, а к самовнушению. Индийские дервиши получают аналогичный результат, рассматривая кончик носа. А афонские монахи — свой пуп.

— Мы не абсолютизируем перспективы такой аутосуггестии, — продолжал Бюро, — хотя на практике мы в основном применяем и проверяем догадки Шарко, датируемые еще тем временем, когда он не был привержен гипнозу. Мы занимаемся раздвоением личности, при котором больной то думает, что он один человек, то считает, что он совсем другой, и ни одна из двух личностей не знает вторую. В прошлом году к нам привезли одного такого, Луи…

— Да, — встрял Буррю, — у него были паралич, бесчувственность, окоченение, мускульный спазм, гиперестезия, мутизм, раздражения кожи, кровотечения, кашель, рвота, эпилептические припадки, кататония, сомнамбулизм, пляска святого Витта, расстройства речи…

— Он и собакой считал себя, — захлебывался

Бюро, — и паровозом. У него был бред преследования, сужение зрительного поля, вкусовые, обонятельные и зрительные галлюцинации, псевдотуберкулезная обструкция легких, головная боль, боль в желудке, запор, анорексия, булимия и летаргия, а также клептомания…

— Ну, в общем, — подвел итоги Буррю, — стандартный случай. Так мы с коллегой, не прибегая к гипнозу, приспособили стальную шину к правой руке пациента, и вот что мы увидели… Как волшебством переменился пациент! Паралич и нечувствительность исчезли из правой стороны его тела, дабы переместиться на левую.

— Мы просто увидели другого человека, — кивал Бюро, — и он не помнил ничего из того, что было с ним за несколько минут. В этом своем состоянии Луи являлся полным трезвенником. А в другом — почти склонялся к алкоголизму.

— Заметим, — не отставал Буррю, — что магнетическая сила вещества действует и на расстоянии. Например, при неведении испытуемого под его стул подставляли сосуд с алкогольсодержащей жидкостью. Приведенный в сомнамбулическое состояние испытуемый выказывал все симптомы опьянения.

— Вы, естественно, согласитесь, что наша

методика не нарушает психическую натуру пациента, — завершил Бюро. — Гипноз лишает чувств, в то время как магнетизм не приводит к бурному шоку отдельного органа. Он попросту дает возрастающую нагрузку на нервные центры. Из разговора я понял, что эти двое недоумков, Буррю и Бюро, истязают незадачливых сумасшедших чем только в состоянии придумать, и чем хуже, тем лучше. В этом убеждении укрепил меня и доктор Дю Морье. Он слушал наш разговор от соседнего столика и по ходу дела качал головой.

— Друг мой, — поделился он, снова оказавшись через два дня за соседним столиком, — и Шарко, и эта парочка из Рошфора вместо того, чтоб разобрать жизненный опыт пациента и задуматься, каков же исток раздвоения личности, заботятся о том, чем воздействовать на больного — гипнотизмом или стальною шиной. А загадка в том, что переход от одной к другой личности у многих пациентов происходит спонтанно и непредсказуемо. Это позволяет думать о самогипнозе. Мне кажется, Шарко и его ученики недооценивают опыт доктора Азана и случай Фелиды.

Феномены еще недостаточно изученные. Расстройство памяти может наступать по причине недостаточного кровоснабжения не локали-

зованного до сих пор участка коры головного мозга. То есть когда в наличии одномоментное сужение сосудов. В свою очередь, это может быть спровоцировано истерией. Да. Но где происходит недостаток кровоснабжения при потере памяти?

— То есть как где?

— Ну вот где? Разумеется, наш мозг состоит из пары полушарий. Может быть, у некоторых индивидов при мыслительном процессе задействуется одно полушарие полностью, а второе — не полностью? И потому нарушается воспоминание? У меня в клинике сейчас есть случай, удивительно сходный со случаем Фелиды. Девушка немногим более двадцати лет. Эта девушка, Диана…

Дю Морье замедлился, будто не хотел признаваться в каком-то деликатном деле. — …поступила от родственницы. Около двух лет назад. За это время родственница умерла. Естественно, прекратилась и оплата счетов. Но что мне делать? Выставить пациентку на улицу? Мне мало что известно о ее прошлом. Похоже, если верить ее собственным рассказам, что с возраста созревания она периодически испытывала, с интервалами в пять или шесть дней, при волнении, болевые ощущения в висках, после чего впадала в прострацию. Она предпочитает называть

это сном. Но это припадки истерии. Когда она пробуждается или успокаивается, она совсем не такая, какой была до припадка. После приступа больная входит в состояние, которое у доктора Азана называется «второй кондицией». В то время как в своей кондиции, скажем так условно, «нормальной» Диана ведет себя по типу адептов масонской секты… Сразу скажу, что сам я член ложи Великого Востока, масонской ложи для приличных людей. Но вы знаете, конечно, что существуют и объединения тамплиерского толка, с выраженной наклонностью к оккультизму. И даже некоторые их фракции (маргинальные, конечно, по счастью) тяготеют к сатанизму. В кондиции, увы, для Дианиного случая «нормальной» она считает себя обожательницей Люцифера. Что-то в таком роде. У нее распущенная речь с изрядной примесью скабрезностей. Она пытается соблазнять медицинский персонал, не исключая и меня. Мне неудобно признаваться, но это так. И тем конфузнее, что Диана, как говорится, женщина интересная. Для меня несомненно, что на этой «нормальной» кондиции Дианы сказываются травмы, перенесенные ею в пубертатный период. И что, спасаясь от этих воспоминаний, она периодически переходит в кондицию «вто-

рую». Тогда Диана превращается в мягкое чистое создание, в набожную христианку. Просит дать ей молитвенник, намеревается посетить мессу. Характерно для этого случая, как и для случая Фелиды, что во «второй» кондиции, когда она Диана добродетельная, Диана прекрасно помнит, какой была в «нормальной» кондиции, и терзается, отчего она была такой скверной, и налагает на себя взыскание — власяницу. «Вторую» кондицию она именует «благоразумным» состоянием, а свою «нормальную» кондицию считает мороком, следствием галлюцинации. В «нормальной» кондиции Диана не помнит, как вела себя во «второй». Эти два состояния чередуются. Пациентка пребывает в каждом по нескольку дней. Я солидарен с теорией доктора Азана о случаях «совершенного сомнамбулизма». Не только сомнамбулы, но и многие из тех, кто употребляет дурман, гашиш, белладонну, опиум, злоупотребляет алкоголем, по пробуждении не помнят своих поступков.

Не знаю отчего, но рассказ о клиническом случае Дианы заинтриговал меня. Помню, я сказал Дю Морье: «Я переговорю с одним господином, заботящимся о неблагополучных. Он должен знать, где может найти приют молодая сирота. К

вам обратится аббат Далла Пиккола. Это важное лицо в благотворительных учреждениях».

То есть, когда я беседовал с Дю Морье, я, безусловно, знал имя Далла Пиккола. Но почему я заинтересовался этой Дианой?

Я пишу уже несколько часов, палец у меня ноет. Поел я наскоро прямо за работой, бутерброд с паштетом и несколько бокалов доброго Шато-Латур, чтобы взбодрить ум.

Поэтому я заслуживаю награды. Например, обеда у «Бребан-Вашетт». Но это невозможно до тех пор, пока я все-таки не дознался, кто я. До того времени придется мне ограничиваться набегами на пляс Мобер, быстро закупать припасы и снова прятаться в домашние стены. Так что не думаем о ресторанах. Продолжим нашу работу с пером в руке.

В те годы (полагаю, был восемьдесят пятый или восемьдесят шестой) я познакомился в «Маньи» с человеком, которого не раз уж тут назвал австрийским доктором (или немецким). Сейчас я вспомнил даже его имя. Его звали Фройд (я не уверен, что правильно написана фамилия). Лет приблизительно тридцати, он, безусловно, посещал «Маньи» лишь оттого, что на лучшее у

него не хватало средств. Он был практикантом в клинике у Шарко. Он усаживался за соседний стол. Поначалу мы только вежливо кивали друг другу. Сперва я решил, что это личность меланхоличная, унылая, не уверенная в себе и робко ищущая, кому бы пожаловаться и кому излить хотя бы отчасти свои печали. Не раз и не два он пытался завести со мной разговор. Но я постоянно воздерживался. Фамилия Фройд, конечно, не настолько выраженная, как Штейнер или Розенберг, но все-таки мне хорошо известно, что все евреи, живущие и жиреющие в Париже, как правило, укрываются под немецкими фамилиями. К тому же у него и явственно крючковатый нос. Я перекинулся двумя словами на этот счет с Дю Морье. Тот развел руками:

— Вот сам не знаю, что вам сказать, но держусь от него подальше. Еврей, да еще немец — это такая смесь, которая меня не привлекает.

— Он вроде австриец? — возразил я.

— Какая же разница? Один язык, одна душа. Я не забыл, как пруссаки маршировали по Елисейским полям совсем недавно.

— Я слышал, что профессия врача одна из самых распространенных у иудеев. Конечно, после ростовщичества. Не приведи нас господь испы-

тать нужду в деньгах или в лечении. — Лечитесь у христиан, — отрубил Дю Морье. Да, это я неудачно ляпнул.

Некоторые ученые французы, прежде чем высказать отвращение ко всему еврейскому, обязательно подчеркнут, что у них у самих есть евреи-друзья. Это такое бытующее лицемерие. У меня нет евреев-друзей. Господь меня оборони от них. Я всегда чуждался евреев. Может, это выходило у меня самопроизвольно. Потому что еврея (аналогично, как и немца) отличает сильная вонь. Это и Виктор Гюго писал — *fetor judaica.* Поэтому их распознают. И есть еще другие признаки, как и у педерастов. Дедушка говорил, что евреи воняют. Спертый дух у них от поедания лука и чеснока, обильной баранины и утятины: тяжесть на желудке и потребляемые вязкие сахара являются причиной еврейской желчности. Да еще и сама по себе их порода. Их испорченная кровь, вялость внутренних органов. Все они коммунисты — Маркс, Лассаль. Тут уж, приходится признать, были правы мои иезуиты. Я евреев с успехом избегаю, потому что разбираюсь в фамилиях. Австрийские еврейчики, забогатев, покупали себе фамилии покрасивее. Названия цветов, драгоценных камней, металлов: сплош-

ные Зильберманы и Гольдштейны. Кто победнее, мог купить себе фамилию по полудрагоценным камням, например Грюншпан (по-немецки это малахит). Во Франции, так точно как и в Италии, евреи маскировались фамилиями, произведенными от городов или земель, — Равенна, Модена, Пикар, Фламанд. Черпали и из революционных якобинских святцев, где каждому дню было присвоено особое имя — Фроман (пшеничный), Авуан (от овса), Лорье (от лавра). Оно и понятно, потому что их отцы-то и были тайными зачинателями цареубийственного переворота. Да что фамилии! Имена тоже укрывают евреев. Морис — замена имени Моисей, Исидор — замена Исаака, Эдуарами прикидываются Ароны, Жаками Иаковы, Альфонсами Адамы…

Зигмунд. Еврейское это имя? Бог весть. Инстинкт подсказывал мне — подальше от этого лекаришки. Но как-то раз этот самый Фройд потянулся за солонкой и уронил ее. Между соседями по столам существуют определенные обязательства приличий. Я одолжил ему свою и сказал: «В некоторых странах просыпать соль — плохая примета». Он заулыбался и ответил, что в приметы не верит. И с того дня мы перекидывались фразой-двумя каждый обед. Он просил извинить

его дурной французский. Хотя на самом деле изъяснялся превосходно. Они ведь все, безродные, умело обезьянничают местные говоры. Я вежливо сказал: «Вам только надо поупражняться на слух».

Он благодарно улыбнулся. Подлейшее притворство!

Этот Фройд подлец и по отношению к собственной еврейской породе. Я знаю, им позволяется только какая-то особенная пища, вся специально приготовленная, и оттого-то они не покидают родные гетто. А этот Фройд уплетал за обе щеки все, что разносили по столикам в «Маньи», и запивал хорошей кружкой пива каждую трапезу.

Однажды он раздухарился больше обычного. И пива высосал не кружку, а две. И за десертом, нервно куря, потребовал снова принести ему пива. Говорил, махал руками, перевернул солонку, уже вторично. — Я не столько неловок, — заизвинялся он, — сколько взволнован. Вот уж три дня как нет мне писем от невесты. Она, конечно, не обязана писать каждый день, как ей пишу я, но и затишье для меня подозрительно. Она, знаете, очень хрупкого здоровья. Мне всякий раз боязно оставлять ее. Я без нее не могу, мне требуется поддержка во всех делах. Мне хотелось бы скорей

прочесть, что она думает о моем недавнем походе на ужин к господину Шарко. Потому что, знаете ли, месье Симонини, я ведь побывал на торжестве у этого великого человека. Побывал тут на днях. О, не всякому молодому доктору, к тому же приезжему, и вообще иностранцу, выпадает подобная честь. «Ага-га, — произнес я мысленно. — Маленький ты семитский выскочка. Хочешь втереться в порядочные семьи, сделать карьеру. А все твои аханья об этой невесте тоже признак сластолюбия, типично иудейского. У вас помыслы постоянно вращаются в сфере пола. Ты о ней ведь думаешь по ночам, ведь правда? Думаешь? Да еще и самоудовлетворяешься, воображая себе эту невесту? Тебе бы тоже полезно было прочесть Тиссо!» Однако следовало дать ему выговориться.

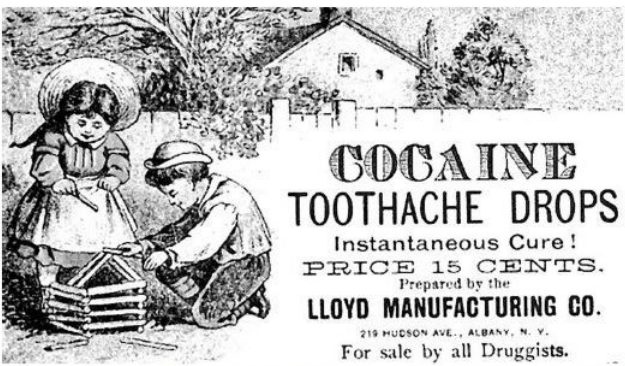
— Там были гости отборные: молодой месье Доде, сын Альфонса Доде, и доктор Штраус, ассистент Пастера, и профессор Бек из Института, и Эмилио Тоффано, знаменитый итальянский живописец. Этот званый вечер обошелся мне в четырнадцать франков. Превосходный черный жилет с застежками из Гамбурга, новые белые перчатки, новая рубашка и, естественно, фрак, который я надел впервые в жизни. Точно так же

я впервые в жизни пошел подстричь в парикмахерской себе бороду на французский манер. Что до вечной моей скованности… Немного кокаина, и я был в состоянии шевелить языком.

— Кокаин? Позвольте, разве это не яд?

— Все на свете может быть ядом, если потреблять в несуразных дозах. Даже вино. Вот уж два года я изучаю кокаин. Чудотворное средство. Видите ли, речь идет об алкалоиде, выделяемом из растения, которое южно-американские туземцы жуют, чтоб легче переносить высокогорный андский климат. В отличие от опия и алкоголя кокаин возбуждает мозговую деятельность, но не имеет вредных последствий. Чудное обезболивающее, незаменимое в офтальмологии, а также для подавления симптомов астмы, для лечения алкоголизма и наркотической зависимости. Избавляет от морской болезни. Полезно при лечении диабета. Как по волшебству снимает чувство голода, усталость, сонливость. Это прекрасный заменитель табака, лекарство от диспепсии, желудочных газов, колик, гастритов, ипохондрии, поясничных болей, сенной лихорадки. Это чудесный способ против туберкулеза и мигрени. При острых кариесах ватку, смоченную четырехпроцентным раствором кокаина, закладывают в

пораженную полость, и боль моментально утихает. В особенности известно воздействие кокаина на подверженных депрессии. Он возвращает им самоуважение, бодрит их дух, делает активными и оптимистами.



...При острых кариесах ватку, смоченную четырехпроцентным раствором кокаина, закладывают в пораженную полость, и боль моментально утихает...

Доктор уж пил четвертую порцию спиртного. Он так клонился на мой стол и ко мне, как будто бы решил исповедаться. — Кокаин замечателен для меня, для подобных мне, как неоднократно писал я восхитительной Марте. Для тех, кто не считает себя привлекательным. Кто смолоду не был молод, а достигнув тридцати лет, тщился и

не умел повзрослеть. Было время, когда во мне говорили только честолюбие и любознательность. Я часто обижался на то, что мать-природа по милосердной прихоти не напечатлела на моем челе печать гения, которую она случайно и щедро раздаривает людям.

Он вдруг запнулся — подумал, что слишком обнажает душу. Хныкливый иудеишка. Мне захотелось смутить его еще сильнее. — О кокаине говорят, будто у него афродизийное действие? — проронил я.

Фройд густо покраснел.

— Есть у него и эта способность, будто бы… но я не имею непосредственного опыта. Как мужчина, я нечувствителен к игривостям. А как медик, не интересуюсь проблематикой полового чувства. Хотя в последнее время эта проблематика входит в моду в клинике Сальпетриер. Шарко обнаружил, что пациентка Августина в продвинутой фазе своих истерических приступов дала возможность выявить, что ее первичной травмой было изнасилование, перенесенное в детстве. Естественно, я не отрицаю, что среди травм, приводящих к истерии, могут быть травмы полового характера. Нелепо было бы априори отрицать это. Но по-моему, ошибочно возводить все на

свете к вопросу пола. Впрочем, может статься, что меня ограничивает мелкобуржуазная конфузливость…

Ха, негодовал я в уме, конфузливость! Да у тебя одержимость вопросами пола! У тебя, у всех у вас у обрезанных. Ты просто об этом стараешься забыть. А вот воображаю, как ты зацапаешь-таки сальными лапами Марту, наделаешь ей сопливых еврейчиков, затеребишь до чахотки…

Тем временем Фройд продолжал: — Незадача именно в том, что я исчерпал свои запасы кокаина. Меланхолия одерживает надо мной верх. Старинные врачеватели сказали бы — разлитие черной желчи. Я было закупал снадобье у «Мерка и Гее», но они прекратили производство, к ним стало поступать негодное сырье. Перерабатывать следует лишь свежие листья, а значит — производить только в Америке. Поэтому самый качественный товар продает фирма «Парк и Дэвис» из Детройта. У них кокаин быстрорастворимый, чистого белого цвета, ароматического запаха. У меня был запас. Он кончился. Не знаю, к кому и обратиться тут в Париже.

Это мне-то, посвященному во все секреты площади Мобер и близлежащего околотка! Мне ли не знать! Я знаком с такими молодчиками,

которые, скажи им не то что кокаин — а хоть брильянт, хоть чучело берберийского льва, хоть бочку соляной кислоты, наутро доставят тебе, будь благополучен, все, что заказывал, но только не спрашивай, откуда взяли. Я убежден, что кокаин — отрава. Ну а травить иудея — святое дело. Поэтому я уверил доктора Фройда, что через несколько дней он может рассчитывать на добрую порцию своего алкалоида. Он, ясно, не сомневался в праведности моих методов.

— Видите ли, — буркнул я, — любой антиквар имеет самые неожиданные связи.

Все это не связано с моей проблемой, а только чтобы пояснить, как вышло, что мы в конце концов с ним зазнакомились и даже нашли общий язык. Фройд оказался словоохотлив, умен. Может даже статься, что я ошибся и никакой он не еврей. С ним беседовать было не в пример интереснее, чем с Буррю и Бюро. Дошло и до разговора об экспериментаторстве тех двоих. Я коротко пересказал, что знал о пациентке Дю Морье.

— Как по-вашему, можно лечить такую больную магнитами, как они?

— Дорогой друг, во многих случаях уделяется чрезмерное внимание физическому аспекту. Гораздо вероятнее, что проявленное неблагопо-

лучие коренится в психике. А значит, лечить надо психику. В случае травматического невроза настоящая причина болезни — не повреждение. Как правило, повреждение незначительно. Настоящая причина — первичная психическая травма. Видели вы, как от эмоции теряют сознание? Вот, для специалиста существенно не потерянное сознание, а выяснить, какая эмоция заставила человека упасть.

— А возможно ли узнать, какая именно эмоция? Как?

— Ну, когда симптомы выраженно истеричные, к примеру у этой пациентки Дю Морье, в таких случаях гипноз может сознательно провоцировать те же самые симптомы. Действительно создается возможность доискаться до первичной травмы. Но бывает, что пациенты переживали опыт до того невыносимый, что желали вытеснить его, ну, то есть загнать в недоступную зону души, куда не дойдет никакой гипноз. Да и кто сказал, что под гипнозом наш ум работает живее, чем при бодрствовании?

— Ну, тогда никогда не выяснится…

— Не пытайтесь добиться ясного и окончательного ответа. Я делюсь соображениями, еще не получившими завершения и формы. Порой

мне хочется думать, что эта плотно закрытая зона становится доступна только в состоянии сна. Ведь и в древности было известно, что сны бывают вещими. Я полагаю, что если больному дана возможность беседовать, причем продолжительно и регулярно, день за днем, с человеком, умеющим слушать, пациент перескажет ему, в частности, свои сны, чем поспособствует выявлению первичной травмы. По-английски это *talking care,* разговорная терапия. Да и с вами, вероятно, случалось, что, рассказывая о давних событиях, в ходе рассказа вы вдруг припомните вытесненные детали, которые ваш мозг тайно хранил. Я думаю, что чем пристальнее трудишься над реконструкцией, тем вероятней, что обнаружится какой-нибудь эпизод или даже какая-нибудь незначащая деталь, подробность, нюанс, повлиявший на рассудок столь разрушительным образом, что в результате мы имеем *Abtrennung,* отторжение… или же *Beseitigung,* упразднение… Довольно трудно подобрать название. По-английски я назвал бы это *removal,* вытеснение, а вот как назвать по-французски… Как когда ампутируют орган…

Une ablation? Удаление? Ну, в общем, по-немецки правильным термином будет *Entfernung,*

отстранение.

Вот где иудейство-то, ликовал я. Думаю, почти убежден, что именно тогда, кажется, я занимался разными еврейскими заговорами и злоумышлениями их тлетворной расы. Они ловчат открыть своим детям будущность медиков или аптекарей с явной целью помыкать и телом и душой христиан! Ты бы небось хотел, лекаришка, захворай я, чтоб я отдался твоим заботам и выложил о себе все, даже чего не знаю? И ты бы стал распоряжаться в моей душе? Да ты вреднее исповедника-иезуита. С тем хотя бы разговор ведется через решетку. И ему сообщают вовсе не правду, а только скупой отчет о том, что делает каждый и всякий, для исповеди существуют однообразные и почти казенные формулы: я украл, я прелюбодействовал, я не чтил отца моего и мать мою. А у тебя, друг, язык такой, что сам и выбалтывает тайную суть, ясно же: ты разглагольствуешь об «удалении», а подразумеваешь нечто наподобие обрезания мозгов.

Тем временем Фройд хихикнул и заказал себе очередную кружку. — Да не верьте вы мне. Я тут вам наговорил! Досужие фантазии. Вернусь вот в Австрию, заключу брак и стану отцом семейства, а значит — открою медицинскую практику. И

буду применять гипноз, использовать с толком науку доктора Шарко. Я нипочем не стану шарить по снам моих больных. Я же не пифия. Вот интересно, не помогла ли бы этой пациентке Дю Морье толика кокаина.

Вот так окончилась беседа в тот вечер. Я ее выбросил из головы. А сейчас она припоминается мне снова. Потому что как бы мне не оказаться самому если не в положении Дианы, то в положении почти нормального человека, частично утратившего память. Не говоря уж о том, что тот Фройд теперь… поди найди его. Я нипочем не стал бы рассказывать свою жизнь, не говорю уж еврею, даже и доброму христианину. С моим-то ремеслом. (А какое у меня ремесло?..) Мое дело — докладывать о других и брать за это деньги. А о себе не выкладывать ни словечка. Тем более бесплатно. Да. Но себе-то самому я могу о себе рассказать, правда? Я вспомнил, что Буррю (или Бюро) говорил: есть мастаки, которые сами себя в состоянии загипнотизировать, созерцая собственный пуп.

Вот я и решил посредством этого дневника, через силу, рассказывать себе свое прошлое по мере того, как удается выуживать его из ума, в мельчайших и даже несущественных деталях,

покуда эта травмирующая, как там она называлась, заноза не вылезет на поверхность. Я сам собой излечусь, не даваясь врачевателям бесноватых девок.

Прежде чем приступить, хотя я, честно говоря, уже приступил вчера… я приведу себя в расположение, приличествующее самогипнозу. Пойду на улицу Монторгёй, к «Филиппу». Усядусь там ладком. Исследую карту блюд, страницу «от шести до полуночи». Закажу суп а-ля Креси, рыбу ската с каперсами, бычачий филей, телячий язык в соку. Увенчаю все это мараскиновым шербетом и пирожными. С двумя бутылками старого бургундского.

Пока суд да дело, полночь и придет. И я перейду по традиции к новой странице — к ночному меню. Это будет, скорее всего, черепаховый суп. Помню один незабываемый, по рецепту Дюма.

Как, когда Дюма меня угощал? Я что, знаком с Дюма?

После супа — лосось с луковицами и артишоками, окропленный яванским перцем. В завершение ромовый шербет и английские бисквиты со специями. Ночь тем временем прошла. Может, что-нибудь из утреннего репертуара? Луковый суп, лучший на свете луковый

суп подают по утрам грузчикам «парижского чрева» — Центрального рынка. Зайду туда. Попростонародничаю с ними. А когда наступит час приниматься за утренние дела — разлюбезная вещь сильнодействующий кофе, а затем глоток коньяку пополам с киршем.

Может, все разом получится несколько чересчур питательно? Но зато на душу мою низойдет благодать.

Горе! Не могу предаться этим сладостным прожектам. Я ведь беспамятный. А если в ресторане подойдет ко мне кто-нибудь из знакомых? Что я буду делать?

Конечно, знакомые могут зайти и сюда в лавку… С этим субъектом, который хотел завещание Бонфуа, и со старухой (просфоры) все прошло гладко. Это называется пронесло. А могло ведь выйти и гораздо хуже. Я повесил объявление у двери: «Хозяин отлучается на месяц». Без всякого указания, когда месяц начался и когда закончится. Покуда не сыщу смысла и толка в своей собственной истории, буду сидеть дома как мышь. Выходить только за провизией. Попоститься мне тоже не помешает. Можно ли исключить, что происшедшее — результат чрезмерного чревоугодия?! Но когда же я объелся непоправимо? В тот самый

непроясненный вечер двадцать первого марта, что ль?

Кстати, поститься придется и для возможного обретения памяти путем созерцания пупа. Помню — слышано от Бюро (или Буррю?). А с надувшимся животом, обладая дородной корпуленцией, соответственной моему возрасту, созерцать я пуп смогу исключительно перед зеркалом.

В общем, накануне вечером я сел за стол и безостановочно пустился писать, не отвлекаясь ни на что и подкрепляясь чем-то малосущественным. Кроме вина, ясное дело. В вине я никак уж себе не отказывал. Лучшее в моей квартире — это весьма и весьма достойный погреб.

4. Дедовы времена

26 марта 1897 г.

Детство. Турин… На холме за рекой дом, балкон, мать. Потом мать исчезает из пейзажа, отец всхлипывает на балконе, закат. Дед его утешает: Бог дал, Бог взял. У нас в семействе говорили по-французски, как в любом порядочном пьемонтском доме. Тут в Париже по выговору меня причисляют к выходцам из Гренобля. У них французский чистый, не то что шепелявленье парижан. В моем детстве было больше французского языка, чем итальянского. Поэтому я не выношу французов.

* * *

Детство мое связано большей частью с дедом. Не с матерью и не с отцом. Я возненавидел свою мать за то, что она ушла не попрощавшись, отца — за то, что он ей не воспретил уйти, а также Бога за то, что он так все устроил, и деда за то, что он счел нормальным поведение Бога. Отец вечно мотался где-то — делал Италию, по его словам. За это Италия его славно отделала.

Деда звали Джован Баттиста Симонини. Отставной офицер войска Савойского. Оставил ряды, если верно помню, когда Италию завоевал Наполеон. Определился на службу к флорентийским Бурбонам. Тоскана тоже стала уделом семьи Буонапарте. Дед вернулся в Турин отставным капитаном с целым приданым разочарований.

Шишковатый нос деда. Сблизи я только этот нос и видел. И еще чувствовал на лице брызги его слюны. Он был, как говорят французы, из бывших *(ci-devant)*. Ностальгик по *Ancien Régime,* так и не смирившийся с революцией. Он не отказался от кюлотов — икры были у него стройные. Кюлоты застегивались под коленками на золотые пряжки. Золотыми же пряжками украшались лаковые туфли. Жилет и верхнее платье черного цвета при черном галстуке придавали ему смутно поповский вид. По прежним правилам, тут требовался бы и пудреный парик, но дед был против, поскольку париками украшались головы таких извергов, как Робеспьер.

Я так и не понял, богат ли был дед. Но в радостях стола он себя не ограничивал. Из воспоминаний о деде и детстве первое — *bagna caöda.* В глиняном горшке, поставленном над углями на треножнике, кипит олей, в нем растертые анчоусы,

чеснок и сливочное масло. Туда окунают кардоны (предварительно вымоченные в холодной воде и лимонном соке. Вымачивают их и в молоке, но только не мой дед). Еще туда идут крупные сырые или печеные перцы, белокочанная капуста в листьях, топинамбур, молодая цветная капуста. А также (но дед считал, что это только у бедняков) отварные овощи, лук, свекла, картофель или морковь. Я охоч был к еде. Деду нравилось, что я толстею точно (умиленно приговаривал он) как недорощенный кабанчик. Брызжа слюной, дед делился со мной сокровенной мудростью:



...и наново будто вижу этого Баррюэля. Можно подумать, Баррюэль жил у нас в доме... На самом-то деле его давно уж не было на свете...

— Революция, внучек, сделала нас рабами безбожного правления. Рознь между людьми возросла, вражда стала сильнее, всякий Каин своему брату. Когда свободы больно много, это не к доб-

ру. Когда ни в чем нехватки нет, тоже не к добру. Отцы наши были беднее и счастливее. Они не теряли связь с природой. Современный мир дал нам пар. И ныне пар отравляет нашу сельскую местность. Нам дали механический ткацкий стан, и ныне многие ткачи лишились работы. Да и ткани стали не те. Человек, предоставленный себе самому, слишком зол и подл, чтобы быть ему свободным. Ту немногую свободу, которая человеку пристала, ему должны гарантировать самодержцы. Самым же любимым коньком деда был аббат Баррюэль. Вот я наново ребенок и наново будто вижу этого Баррюэля. Можно подумать, Баррюэль жил у нас в доме… На самом-то деле его давно уж не было на свете.

— Мальчик мой, когда сумасшествие Революции потрясло все народности Европы, послышались голоса, утверждавшие, будто Революция — не что иное, как последняя или новейшая глава мирового заговора, основанного еще тамплиерами, направленного против трона и алтаря, то есть против монархов, особенно королей Франции, и пресвятой матери-церкви. Таким голосом был голос Баррюэля, который в конце прошедшего века опубликовал свои «Мемуары для объяснения истории якобинства»…

— Но кто такие эти тамплиеры? — вопрошал я, уже выучивший все ответы наизусть. Я давал деду возможность поговорить на излюбленные темы.

— Тамплиеры, милый мой, это очень могущественный рыцарский орден, который короли Франции уничтожили, дабы завладеть сокровищами рыцарей, и сожгли большинство рыцарей на костре. Но те, кто уцелели, тайно учредили секретный орден, желая отомстить королю Франции. И действительно, когда глава Людовика Шестнадцатого пала под ножом гильотины, неизвестный человек закарабкался на помост и поднял за волосы бедную голову с криком: «Жак де Молэ, ты отомщен!» А Молэ как раз был главой ордена тамплиеров, по приказу короля он был сожжен на стрелке острова Сите в Париже.

— А в каком году сожгли этого Жака де Молэ?

— В тысяча триста четырнадцатом.

— Дайте я посчитаю, дедушка… Но это же было чуть ли не за пять сотен лет до Революции. Что же, все эти пятьсот лет тамплиеры только и делали, что прятались?

— Они внедрялись в артели каменщиков. Строителей соборов. Из этих артелей произошло английское масонство. Оно так называется, пото-

му что участники считали себя франкмасонами, то есть вольными каменщиками.

— А зачем каменщикам революция?

— Баррюэль понял, что и каменщики древних времен, и франкмасоны, и первые и вторые были совращены и завербованы баварскими иллюминатами! Иллюминаты эти — опаснейшая секта, основанная неким Вейсгауптом. Каждый сообщник в ней знал только своего непосредственного начальника. Никто не имел сведений о руководителях, а тем более о намерениях этих руководителей. Намерения же состояли не только в прямой угрозе трону и алтарю, но и в основании общества без законов и без морали, где бы в общественном пользовании было не только имущество, а и женщины, господи прости меня за то, что рассказываю подобное отроку, но и он должен распознавать сатанинские тенета. Двойными узлами были повязаны с баварскими иллюминатами те попиратели всякой веры, которые сфабриковали гнусную «Энциклопедию»: Вольтер, д'Аламбер, Дидро и вся их свора, подпевавшая заграничным иллюминатам, во Франции превозносившая «Век просвещения», а в Германии «Просветление» или «Разъяснение» *(Aufkl rung).* Тайно объединяясь, дабы злоумышлять

против короля, они образовали пресловутый клуб якобинцев, в честь как раз того самого Якова, то есть Жака де Молэ. Вот чьи подкопы довели до того, что во Франции разразилась революция!

— Этот Баррюэль сумел все-все понять…

— Он не смог понять, как из рыцарей-христиан развилась секта недругов Христовых. Знаешь, это как будто дрожжи в тесте. Если мало дрожжей, тесто не растет, не набухает. А если дрожжей много, тесто растет. Что же это были за такие дрожжи, впущенные судьбой или дьяволом в изначально здравое тело тамплиерских отрядов и строительских артелей, с тем чтобы набухла и зародилась из них самая на свете вредоносная секта, знаемая за все времена? Тут мой дед выдерживал эффектную паузу, сводил лодочкой руки, будто для сосредоточения, хитровато улыбался и с рассчитанной триумфальной ложной скромностью ронял, скупо выцеживая слова:

— Кто на свете самым первым возымел храбрость выговорить ответ, это был как раз твой дед, милейший юноша. Прочитавши книгу Баррюэля, я немедля написал ему письмо. Там, у дальней стены комнаты. Поди, мальчик. Принеси мне ту шкатулку, которую видишь у стены. Я тогда шел и приносил. Дедушка открывал шкатулку

золоченым ключиком, который в обычное время находился у него на шее, и вытаскивал пожелтелый лист сорокалетней давности.

— Это оригинал письма. Баррюэлю я тогда отослал список. Дед читает с драматическими паузами:

— «Соблаговолите, государь мой, от немысленного служаки, каковым являюсь, принять уверения в совершеннейшем восхищении вашим трудом, ибо по праву должен бы он именоваться главнейшим произведением минулого века. О! Как сорвали вы маски с множества подлых сект, протаскивающих Антихриста! Они же заклятые враги не только христианского вероучения, но и любого культа, любого общества, любого ордена. Одну из сект, однако же, вы тронули вовсе мало. Может, и с умыслом: она из всех самая видная, а значит, менее потаенная. И все же я нахожу, что у ней могущество примечательное, памятуя о громадных роскошах и покровительствах, коими пользуется она почти во всех государствах Европы. Вы угадали уже, сударь. Подразумеваю секту иудейскую. Она по виду отделена и противница прочих сект. По виду, но не по правде. Стоит какой-либо из тех сект выказаться врагинею христианского рода, как тут же евреи ее покро-

ют, прикроют, оплатят и защитят. Их золото и серебро изливается на современных софистов, франкмасонов, якобинцев, иллюминатов. Евреи, таким образом, со всеми прочими сектантами в смычке, и их цель изничтожить христианский мир. И не думайте, достоуважаемый мой, что я присочинил. Я ни единого словечка не привожу тут, которое не было бы мне подсказано евреями самими…»

— А как вы вызнали эти вещи от евреев?

— Мне было двадцать лет, чуть больше. Я был молодым офицером савойских вооруженных сил. Наполеон тогда захватил Сардинию и Пьемонт. Нас разбили при Миллезимо, Пьемонт аннексировали к Франции. Это был триумф безбожных бонапартистов, которые охотились за нами, королевскими офицерами. Хотели перевешать нас за шеи. По общему мнению, не имело смысла разгуливать в армейских мундирах. Да и ни в каком виде не имело смысла разгуливать. Мой отец имел коммерцию. У него был знакомый еврей, ростовщик. Он был должник отцу, не знаю за какое благодеяние. И на неделю, покуда страсти не откипели и я не выбрался из города к далеким флорентийским родственникам, он предоставил мне в распоряжение, за дорогую це-

ну, естественно, а как же… облезлую комнатенку в гетто. Еврейское гетто было в точности позади нашего дворца. Между улицей Сан-Филиппо и улицей Розин. Очень мало хотелось мне валандаться с подобною швалью. Но в этом месте в единственном никто бы не подумал меня искать. Евреям было запрещено выходить оттуда, а приличные люди туда ногой не ступали. Тут дедушка загораживал глаза рукой, отгоняя невыносимое видение. — Вот так я и пережидал, пока минует угроза. В загаженных трущобах, где ютилось по восемь человек в квартиренке. Всех там удобств — кухня, койка и отхожее место. На лицах у всех анемия, кожа восковая, с голубыми жилами, точь-в-точь севрский фарфор. И каждый норовил забиться в темный тихий угол, где только свет тусклой свечки. В их лицах ни кровинки. Сами желтые, с волосами цвета рыбьего клея. Бороды неопределенной рыжины, а если черные — то цвета заношенного лапсердака. Не в силах переносить смрад своего поместилища, я слонялся по пяти дворам гетто и до сих пор ясно помню их названия. Большой двор, Духовный двор, Виноградный, Двор Таверны и Двор Террасы. Сообщались они убогими переходами — Темными портиками. В наши времена повстречаешь

иудея и на Карловой площади. Где угодно их ты повстречаешь, Савойская династия полностью перед ними разоружилась. Но в те времена евреев еще держали строго, как селедок в бочке, в бессолнечных переулках. В их чадной и смрадной толпе меня бы давно уж вытошнило, право, не страшись я сильнее всего бонапартистов… На этом месте мой дедушка медлил и прижимал к губам утиральник, как чтоб убрать рвотную слюну изо рта. — И эти-то меня спасали. Какое унижение. Но, должен я заметить… как мы, христиане, презирали евреев, так и евреи с нами не нежничали, даже ненавидели. И впрочем, до сих пор они ненавидят и сейчас. Поэтому я рассказывал им, будто родился в Ливорно в еврейской семье, воспитан был дальними родственниками, которые меня, к моему прискорбию, окрестили, а в сердце был и остаюсь настоящим евреем. Эти признания их не поражали, потому что, по их словам, многим выпала такая же судьба, так что они уже, право, устали удивляться. Единственный, кто хорошо принял мои рассказы, это был старик, проживавший на Дворе Террасы рядом с пекарней, где готовили мацу. Добираясь до этой встречи, дедушка возбуждался, и далее уже в рассказе появлялась характерная жестикуляция

и бешеное вращание глаз, в подражание тому самому еврею. Имя его было Мордухай. Происходил он, кажется, из Сирии. В Дамаске он был вовлечен в печальные события. В их городе пропал из дому мальчик, какой-то там араб. Никто и не подумал думать на евреев. Все были убеждены, что евреи убивают для своих нужд исключительно христианских младенцев. Но когда во рву были найдены бедные останки, изрезанные, истолченные в какой-то ступе… Подробности преступления настолько совпали с тем, в чем обычно подозревают еврейских злодеев, что жандармы волей-неволей рассудили: близится Пасха, занадобилась христианская кровь для замеса мацы, не сумели найти христианского младенца — ну, евреи полонили младенца арабского, окрестили его, а потом истолкли в ступе для торжественных надоб. — Как ты знаешь, — приговаривал дед, — крещение имеет силу в каждом случае, крестить может всякий, крестить именем святоримской церкви. Это коварным иудеям ведомо. И они без какого бы то ни было стыда произносят: «Крещаю, как крестил бы христианин, в коего идолопоклонство я не верую, но в кое верует он сам всебесконечно». Хорошо еще, что маленькому мученику этим образом, по крайней мере, открывают ворота в

рай. Хотя и ради дьявольского замысла.

Мордухая заподозрили сразу. Чтоб его разговорить, руки ему связали за спиной, повесили на ноги гири и раз двенадцать уронили его с высоко поднятой лебедки на землю. Потом подсунули ему серу под нос и потопили его в ледяной воде, и только он высовывал голову — ее запихивали под воду, покуда он во всем чистосердечно не сознался. Вернее, не назвал имен пяти своих соплеменников, совершенно непричастных, которых и казнили. А его со всеми вывернутыми суставами пустили из темницы на волю. Но он тогда уже лишился ума. Тут кто-то милосердный его отправил на торговом корабле в Геную, а то бы прочие евреи забили его камнями. Рассказывали также, что на корабле его оплел своими речами барнабит, уговоривший его креститься. И Мордухай, надеясь на вспомоществование при своем въезде в Сардинию и Пьемонт, притворно принял крест, в душе своей продолжая пестовать отцовскую веру. То есть будто бы Мордухай стал одним из тех, кого христиане зовут марранами. Как вдруг ни с того ни с сего в Турине, потребовав себе пропуск в гетто, он начисто отверг какое бы то ни было вероотступничество. Поэтому в гетто он прослыл лжеиудеем, в душе своей сохраняю-

щим христианство. То есть двойным марраном. Но поскольку никто не мог проверить все эти тянувшиеся из-за моря слухи, из милосердия к умопомешанному его содержали на подачки в конурке, которой самый нищий житель гетто погнушался бы.

По мнению деда, что бы там ни числилось за Мордухаем в Дамаске, безумия на самом деле в старике не было. А была в нем неутолимая ненависть к христианам, когда в своей безоконной конуре, держа трясущейся ладонью его руку и впериваясь в него очами, сверкавшими через темноту, Мордухай клялся деду, что отныне все существование и жизнь его посвящены отмщению. Мордухай открыл деду, что Талмуд предписывает ненависть к христианскому семени. Что ради совращения христиан евреи придумали франкмасонство, которого он, Мордухай, является одним из тайных предводителей, повелевающих неаполитанской и лондонскою ложами, но должен пребывать в потаенности, в негласности, в подполье. Иначе его заколют кинжалами иезуиты, которые охотятся за ним везде и повсюду.

При разговоре он оглядывался, будто боясь, что из темного угла высунется иезуит с кинжалом.

Потом обстоятельно высмаркивался, пенял на свое нынешнее стесненное положение, а после этого хитро и мстительно улыбался в блаженстве, что миру неизвестна его истинная и ужасающая власть. Его сальные руки сжимали ладони Симонини. Продолжались необыкновенные рассказы. Мордухай намекал также, что, пожелай Симонини, Мордухаева секта примет его в лоно с радостью и допустит его в самую тайную из лож масонских.

И доверил Мордухай ему также, что Мани, пророк секты манихеев, как и зловредный Горный старец, напитывавший дурманом своих Ассасинов с целью посыла их на убийство христианских правителей, что они оба на самом деле были еврейского семени. Что франкмасонские и иллюминатские общества основаны евреями. И от евреев ведут свое начало все секты антихристианские, столь многочисленные в нынешнем мире, что в них уже немало миллионов сообщников и женского и мужеского пола, любого сословия, ранга и любого звания, не исключая многочисленных священников и даже некоторых кардиналов. И что вскорости имеется надежда заполучить даже римского папу к себе в ряды. И, как бы не преминул отметить дед, действи-

тельно, с тех пор как взошло на трон Петра столь двусмысленное создание, как Пий Девятый, Мордухаев план уже не кажется таким абсурдным. Иудей продолжал: чтобы лучше обманывать христиан, заговорщики сами прикидываются христианами, путешествуя и переходя из одной страны в другую, пользуясь подложными крестильными свидетельствами, приобретенными у подкупленного священства, подобным способом рассчитывая силою богатства и обмана получить от всех правительств гостеприимство и гражданские права, которые и получили во многих странах, а обзаведшись гражданскими правами наравне с населением, они планируют присваивать и приобретать земельную собственность и средствами ростовщичества отчуждать христиан от их имений и от их сокровищ. Евреи наметили себе менее чем за сто лет поработить мир, изничтожить все прочие секты, возвеличить свою собственную, построить не меньше синагог, чем имеется сегодня христианских церквей. И свести христиан к состоянию рабов.

— Таково, — заключал свою речь дед, — письмо, посланное мной Баррюэлю. Может, я при пересказе и усугубил его смысл неким образом, представляя дело так, будто мною слышано было

это от всех на свете евреев, в то время как на самом деле только от одного. Но я действую в убеждении, что Мордухай выдал мне непреложную истину. И вот что я писал в завершении, дай тебе дочитаю документ до конца. «Таковы, мой сударь, мерзостные проекты иудейской нации, дошедшие до моих собственных ушей… Поэтому было бы превыше всего желательно, чтобы живое и превосходное перо, подобное вашему, открыло бы читающим глаза на сущность сказанных правительств, призвало бы читающих возвратить сказанный народ в ничтожество, которое ему приличествует, в коем наши более нас политичные и более нас рассудительные пращуры неукоснительно его держали. Посему, милостивый государь, я личным именем заклинаю вас, простите огрехи слога честному итальянцу и слуге отечества, пренебрегите теми нечистотами, которые, может статься, вы с досадой сочтете в моем послании. Да воздастся вам щедрой дланию Божией обильное награждение за те сиятельные слова, коими вы обогатили Его церковь, и да вдохновит Он повсеместно во всех читающих высочайшее к этим словам почтение и глубочайшее уважение, в коих заверение имею я честь, милостивый государь, просить вас принять, как

покорнейший и нижайший ваш слуга, Джованни Баттиста Симонини». Прочитав это, всякий раз, в то время как дед укладывал письмо обратно в шкатулку, я задавал один и тот же вопрос:

— А что ответил аббат Баррюэль?

— Не удостоил меня ответом! Но поскольку у меня водились друзья в римской курии, я вызнал и убедился, что этот боязливец поостерегся распространять полученные от меня истины, дабы не дать ход преследованию евреев, к которому у него не хватило духу призывать, поскольку он считал, что среди оных попадаются и невиновные. Возымели, видимо, действие и интриги французских евреев того времени. Наполеон встречался с представителями Верховного Синедриона, ища у них поддержки собственным амбициям. И кто-то, несомненно, намекнул аббату, что не рекомендовалось ему мутить тогдашнюю воду. Но в то же время Баррюэль поостерегся замалчивать. Он переслал оригинал моего письма Его Святейшеству Пию Седьмому, а копии — нескольким епископам. И не только. Он ознакомил с письмом кардинала Феша, в то время председателя собора галликанской церкви, дабы тот представил сей документ Наполеону. Тем же порядком осведомил он и главу

полицейского управления Парижа. После чего парижская полиция, как мне сказали, навела обо мне справки при римской курии, желая знать, авторитетный ли я свидетель, — и, черт меня побери, я оказался авторитетным. Кардиналы не могли не признать! Короче говоря, Баррюэль старался угождать и нашим и вашим. Не желал ворошить муравейник еще хуже, чем уже его разворошила опубликованная им книга, и тем не менее втихомолку распространял мои открытия по миру. А надо тебе сказать, что Баррюэля воспитывали иезуиты, пока Людовик Пятнадцатый не выдворил иезуитов из Франции, Баррюэль потом принял сан в качестве священника в миру, а впоследствии снова превратился в иезуита, когда Пий Седьмой вернул ордену полную легитимность. Ну, тебе известно, что я пылкий католик и чту любого, на ком надета ряса. Но, как ни кинь, иезуит — это все же иезуит. Говорит одно, делает другое, делает второе, говорит третье… Баррюэль вел себя в точности так. Дед хихикал, прыская слюной сквозь немногие стоявшие во рту зубы, наслаждаясь хлесткой сардоничностью собственных речей.

— Так-то вот, Симонино, дожил я до старости, не соглашавшись быть вопиющим в пустыне.

Кто в мои слова не желал вслушаться, ответит за это пред Господом, однако вам-то, юным, я все же передаю факел свидетельства. Распроклятущие евреи все захватывают и захватывают власть, а наш трусливый правитель Карл-Альберт все уступает и уступает. Но его же и сметет сила их заговора…

— Как, здесь в Турине тоже заговор? — переспрашивал я. Дед обводил вокруг взглядом, будто страшился чужих ушей. Тени заката окутывали комнату.

— Здесь и повсюду, — отвечал он. — Окаянная раса. Их Талмуд говорит, как мне известно от тех, кто умеет читать его, что евреи должны проклинать христиан трижды в день и просить Бога, дабы он сокрушил христиан и извел их. Если кто-то из евреев встретит христианина у пропасти, он обязан столкнуть того вниз. Знаешь, почему тебя назвали Симонино? Я так пожелал. Пожелал, чтобы твои родители нарекли тебя в честь Симонино святого, младенца-мученика, который в пятнадцатом веке в Трентинской области был похищен евреями. Те его замучили и разрубили на куски, выцедили кровь невинную для своих религиозных обрядов.



...мне казалось, будто слышатся на деревянной лестнице шаги адского старца, явившегося утащить меня в свою обитальню. Он заставит меня есть опресноки, спеченные на крови невинных младенцев...

* * *

«Будешь упрямиться и не спать — вот увидишь, придет к тебе ночью злой еврей Мордухай». Так

пугал меня дед перед сном. Я не мог заснуть как раз из-за этого. В своей комнатке под крышей я прислушивался к тишайшему шуму или скрипу, мне казалось, будто слышатся на деревянной лестнице шаги адского старца, явившегося утащить меня в свою обитальню. Он заставит меня есть опресноки, спеченные на крови невинных младенцев. Рассказы эти смешивались у меня в голове с другими россказнями, слышанными от мамки Терезы, древней няньки, выкормившей в свое время моего отца и еще ковылявшей тогда по дому. Мордухай пришепетывал, брызжа помойными слюнями: «Чую я, чую я, христианским духом пахнет…»

* * *

Я дорос почти до четырнадцати лет, и меня стало тянуть в район старинного гетто, к тому времени выхлестнувшегося из древних границ: в Пьемонте как раз тогда отменяли традиционные ограничения. Околачиваясь в непосредственной близости от гетто, я, наверное, встречал сплошь и рядом этих самых евреев, но мне уже было известно, что они не одеваются по своему исконному фасону, а переряжаются. Переряженные ходят, негодовал мой дед. Переряженные, и их не уда-

ется распознать. Слоняясь у гетто, я заприметил одну черноволосую девицу, которая каждое утро появлялась на Карловой площади, неся какую-то корзинку под платком. Разносчица, видать, из лавки. Сияющие глазки, бархатные ресницы, матовая кожа… Не могла она быть иудейкой, происходить от чресл описанных дедушкой уродов — коршуноподобных хищных созданий с язвительными глазами. Не могли они рождать таких женщин. Однако жила-то она, несомненно, в гетто…

Впервые в жизни я обратил взор на особу женского пола. За исключением старой няньки Терезы. Каждое утро я занимал место наблюдателя на площади. Видел ее еще издали, и у меня колотилось сердце. Бывали утра, когда ее не было. Я шатался по площади, будто ища выхода для бегства и не находя выхода. Не покидал эту площадь долгими часами, хотя дед уже, поди, усаживался за стол и грозно лепил пальцами шарики из мякиша.

Однажды я осмелился к ней подойти и спросил, не решаясь глянуть в лицо, не поднести ли ей корзину. Она ответила надменно на туринском диалекте. Сказала, что сама справляется превосходно. И назвала меня при этом не барином, а

барчонком. Впоследствии я не старался увидеть ее и никогда и не увидел. Меня унизила дщерь Сионская. За то, что я толст? Как бы то ни было, с тех пор я объявил войну потомицам Евы.

* * *

В бытность мою отроком дед не посылал меня в школы Королевства, утверждая, что там преподают только карбонарии и республиканцы. Я просидел эти годы дома, смотрел, как другие мальчишки играют возле реки, сидел как обокраденный. Обидно было томиться взаперти с очередным иезуитом-учителем, которого дед выбирал в соответствии с моим возрастом среди черного воронья, окружавшего его. Я люто ненавидел каждого очередного учителя. Не только за битье линейкой по пальцам, но потому еще, что мой папаша (в те редкие дни, когда он рассеянно беседовал со мной) подуськивал меня против поповского сословия.

— Но мои же учителя не попы, а иезуиты, — возражал я.

— Ну так это еще хуже! Не доверяй иезуитам. Не доверяй им никогда. Знаешь, что писал о них один священник? Заметь себе, священник. Не масон, не карбонарий и не иллюминат, друг Сатаны, как

часто любят их изображать. А ангельского добротолюбия священник, аббат Джоберти. «Именно иезуитство умаляет, гонит, мучит, оклеветывает, преследует и разоряет людей, одаренных свободой духа. Именно иезуитство изгоняет с публичных должностей людей порядочных и достойных и заменяет их никчемными и подлыми. Именно иезуитство мешкает, задерживает, стопорит, стреножит, расслабляет, препятствует тысячами способов в деле общественного и частного образования. Насаждает обиды, недоверия, пристрастность, ненависть, ссоры, явные и потаенные раздоры между личностями, семействами, классами, государствами, правительствами и народами. Иезуитство плющит умы, разбивает сердца, парализует волю. Где иезуиты, там бездеятельность — а она развращает юношество. Где иезуиты, там лицемерная и уклончивая мораль — а она развращает зрелый возраст. Иезуиты разрывают, холодят и гасят дружеские связи, кровные узы, сыновнюю привязанность, священную к родине любовь у подавляющего числа граждан. В мире нет столь бессердечной секты… (Это так писал Джоберти.) Столь бездушной, жесткой и немилосердной во всем, что касается защиты собственных интересов, как Общество

Иисусово. За сладко-льстивыми личинами, медово-приторными речами и всеми вкрадчивыми и мягкими повадками у иезуитов, соблюдающих правило и дисциплину общества и слепо подчиненных начальству, таится железный характер, не сгибаемый святыми чувствами, не сгибаемый благороднейшими привязанностями. Иезуит неукоснительно выполняет завет Макиавелли о том, что где пекутся о благоденствии отечества, нет места рассуждениям о справедливости или неправедности, о милосердии или лжи. В этих интересах их воспитывают с младенчества в интернатах, дабы не свыкались с семейным теплом, не обретали бы друзей, а жили в предрасположении доносительства по начальству о наималейших упущениях самых дружественных товарищей, смиряли бы всякие движения сердец и располагались к безоговорочному подчинению, аки труп». Джоберти пишет, что индийские фансигары, члены секты душителей, жертвоприносят своим божествам врагов, умерщвляя их петлями или ножами. Иезуиты же убивают души людские языками, будто рептилии. Или же перьями. — Хотя комично, — завершал мой отец, — что эти свои идеи Джоберти позаимствовал из романа, опубликованного за год до выхода

его сочинения. Из «Вечного жида» Эжена Сю.

* * *

Отец. Черная овца в почтенном семействе. Верить деду — мой отец якшался с карбонариями. Отец же вполголоса рекомендовал мне не обращать внимания на дедов бред. Но то ли от стыдливости, то ли от уважения к родителю, или от равнодушия ко мне, он все же не распространялся о собственных убеждениях. Приходилось мне подслушивать разговоры деда с его иезуитами и даже болтовню мамки Терезы с нашим дворником, чтобы угадать, что отец принадлежал к тем, кто не только хорошо относился к революции и к Наполеону, но и даже полагал, что Италии уже пора скинуть иго Австрийской империи и правление династии Бурбонов, скинуть власть папы и провозгласить себя тем, о чем дед просто слышать не мог, — провозгласить себя Объединенной Италией.

* * *

Это я подслушивал. А прямые назидания по этим вопросам я получал от падре Пертузо, очень похожего на хорька. Падре Пертузо вводил меня

в курс современной истории точно в том ключе, в каком дед излагал историю прошлых веков. Позднее, когда все толковали о карбонарских движениях, я узнавал о них же подробнее из газет, приходивших отцу, в том числе и в его отсутствие, которые мне удавалось выкрадывать, прежде чем они попадали в руки деда — тот моментально уничтожал их… Помню, что мне полагалось учиться тогда греческому и латыни у падре Бергамаски, столь дружившего с дедом, что в особняке ему была выделена комната неподалеку от моей. Падре Бергамаски… В отличие от падре Пертузо он был нестар, неплох собой, с волнистыми волосами, с недурно очерченным лицом, приятной манерой разговора и в изящной сутане — таким он красовался по крайней мере в домашних стенах. Помню белые руки его с утонченными пальцами и чуть более длинными ногтями, нежели думаешь увидеть у духовного лица. Он усаживался обычно позади меня, корпевшего над книгой, и, поглаживая по голове, предостерегал от множества опасностей, грозящих неосмотрительному отроку. Объяснял, что карбонарство — не что иное, как одна из личин самой главной из имеющихся напастей, коммунизма. — Коммунисты, — пояснял

иезуит, — до самого последнего времени не внушали опасений, но после публикации манифеста пресловутого Маркша (он звучит как-то в этом роде, похожая фамилия) следовало бы обличить и заклеймить их происки! Ты еще не знаешь о Бабетте д'Интерлакен. Достойная правнучка Вейсгаупта, прозванная Великой Девой швейцарского коммунизма…



...Я вытаращивал глаза, я даже старался не слушать Бергамаски, но делать нечего: по ночам мне снилась Бабетта д'Интерлакен...

Почему-то отец Бергамаски особенно сходил с ума даже не от миланских или венских бунтов, которые всех беспокоили в то время, а от религиозных конфликтов в Швейцарии между

католиками и протестантами.

Бабетта, в грехе родившаяся, росла среди обжорства, краж, разбойничества и крови. О Господе не слышала ничего, кроме обильных богохульств. Во время заварушек под Люцерном, когда протестанты убивали католиков из лесных кантонов, именно Бабетту призывали: вырежь сердце у него, вырви глаза! Бабетта, развевая на ветру белокурую шевелюру вавилонской блудницы, таила под своими прелестями натуру провозвестницы тайных обществ, дьяволицы, задумывавшей плутовство и обманы каждой клики заговорщиков. Она внезапно появлялась и так же неожиданно исчезала, подобно миражу. Ведала заповедными тайнами. Вскрывала депеши, не разламывая печатей. Как аспид, проникала в самые недоступные кабинеты Вены, Берлина и даже Петербурга. Подделывала векселя, фальсифицировала номера на паспортах. Еще малолетней девчуркой она изучила науку отравлений и подливала капли тем, кого указывала ей ее секта. Она, казалось, одержима Сатаной, по лихорадочному ее могуществу и притягательности ее взглядов.

Я вытаращивал глаза, я даже старался не слушать Бергамаски, но делать нечего: по ночам

мне снилась Бабетта д'Интерлакен. В полубреду я пытался изгнать фантом белокурой дьяволицы с распущенными волосами по плечам. По обнаженным, разумеется, плечам. О, сатанинский благоуханный призрак, вздымающиеся от распутного жара перси, безбожная и греховодная плоть, я вожделел ее и сочетал с ней свой дух. То есть, пронизанный ужасом от единой мысли дотронуться до нее даже кончиками пальцев, я испытывал зверское желание стать как она. В такой же степени всевластным и настолько же тайным и сильным, способным подделывать номера на паспортах и губить существ противоположного пола.

* * *

Наставники мои уважали хороший стол. Этот грешок, похоже, во мне прижился надолго, на всю зрелость. Я помню за столом атмосферу ликования, разве что лишь в самой малой степени богоугодно сдерживаемого: это преподобные отцы полемизируют о достоинствах пьемонтского отварного мяса, сготовленного по указанию деда. Для этого требуются отборная бычачья мякоть, хвост, подбедерок, колбаски, телячий язык, головка, свиная нога, курица. Кроме того, луковица,

две морковины, два побега сельдерея, пучок петрушки. Каждый мясной разруб требует своего времени. Но когда все они сварятся, подчеркивал дед — причем сидевший рядом отец Бергамаски энергично соглашался и кивал головой, — выложив сварившееся мясо на блюдо, необходимо густо осыпать его крупной солью и плеснуть на него черпачок-другой кипящего бульона, чем усилится его вкус и аромат. Гарнира почти не надо. Разве что несколько картофелин. Зато важны подливки и соусы. Виноградная мустарда, хренный соус, мустарда из фруктов с горчицей. И не имеющая равных себе — безапелляционно утверждал дед — зеленая подлива: пригоршня петрушки, четыре анчоусовых филея, хлебный мякиш, наложенная с верхом ложка каперсов, долечка чеснока и сваренный вкрутую желток. Все это должно быть тонко перетерто с олеем и оцтом. Вот они, припоминаю, наивысшие радости моего детского и подросткового возраста. Чего же лучшего можно пожелать?

* * *

Душный полдень. Я над уроками. Падре Бергамаски в молчании сидит за моей спиной. Его рука нажимает на мой затылок. Он нашептывает,

что столь набожному, рассудительному отроку, желающему избегнуть соблазнов противоположного пола, он рад был бы предложить не только отеческое дружество, но и теплейшую близость, которую может предоставить мужчина в расцвете лет. С той поры я не позволил ни одному попу к себе прикоснуться. Не значит ли это, однако, что ныне я переряжаюсь в аббата Далла Пиккола, чтобы сам прикасаться к кому-то там?

* * *

В мое восемнадцатилетие дед, желавший видеть меня адвокатом (в Пьемонте адвокатом величают любого, кто обучался юриспруденции), смирился с мыслью, что пора уж мне покидать кров отчий. Я отправился в университет. Впервые в жизни я встретился с ровесниками. Но чересчур поздно! Я не сумел преодолеть отчужденность. Не мог понять их придушенные смешки и значительные взгляды, когда заходила речь о женщинах. Они передавали друг другу книги, отпечатанные во Франции, со скандальными гравюрами. Так что я проводил время один и только читал. Мой отец подписывался на парижскую «Конститусьонель», где печатали поглавно «Вечного жида» Эжена Сю. Я, естественно,

накидывался на каждый выпуск. Тут-то и узнал я в подробностях, как коварное Общество Иисуса через самые лютые преступления завладевает чужими наследствами, попирая права неимущих и непорочных. Наряду со враждой к иезуитам это чтение зародило во мне любовь к приключенческим романам. Я нашел на чердаке дома ящик с книгами, которые, думается, были отложены отцом подальше от дедовых глаз. С ними я (точно так же укрывая от деда свой нелюдимый удел) проводил сутки напролет, немилосердно калеча себе зрение. «Парижские тайны», «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо»…

Начался приснопамятный 1848 год. Все студенчество ликовало по поводу восшествия на папский престол кардинала Мастаи Ферретти, папы Пия Девятого, который за два года до того предоставил амнистию по политическим делам. Год начался антиавстрийскими выступлениями в Милане. Горожане даже отказались от курения, дабы побольнее ущемить Имперскую Королевскую казну. По отзывам моих туринских однокашников, главными героями были миланские студиозусы, не отвечавшие на провокации солдат и полицейских офицеров, какими бы ароматными сигарами те ни пытались их раздраз-

нить. В том же месяце заполыхали революции в Королевстве Обеих Сицилий и Фердинанд Второй пообещал народу конституцию. В Париже восставшие массы опрокинули трон Луи-Филиппа и была провозглашена (опять, и клялись, что навсегда!) Республика, отменена смертная казнь за политические преступления, отменено рабство, введены общенародные выборы. Римский папа тем временем, в марте, не только принял конституцию, но и провозгласил свободу печати, а также освободил евреев, жителей гетто, от многих унизительных поборов и треб. Ввел у себя конституцию и великий герцог Тосканский, в то время как Карл-Альберт принял Статут Сардинии и Пьемонта. В довершение к этому революционные движения в Вене, в Богемии и в Венгрии и пять дней и пять ночей миланского восстания привели к уходу из Италии австрийцев. Тут пришло в движение пьемонтское войско, дабы захватить освободившийся Милан и присоединить к Пьемонту. Мои товарищи шушукались также и о появлении какого-то коммунистического манифеста. Выходило, что радуются ему не только студенты, а и рабочие, и люди низкого социального положения. Все были убеждены, что очень скоро последний поп будет повешен на кишках

последнего короля. Ну, новости были не только радостными. Карл-Альберт терпел поражения одно за другим. Его считали предателем и миланцы, и все прочие патриоты. Пий Девятый, испуганный убийством одного своего министра, укрылся в Гаэту, под крыло к королю Обеих Сицилий, проявил двурушничество, выказал себя не таким уж либералом, каким он представлялся поначалу. Но в Рим тем временем подоспели и Гарибальди, и люди Мадзини, и в начале следующего года была провозглашена Римская республика. Отец мой в марте окончательно исчез из дому. Мамка Тереза утверждала с убежденностью, что он примкнул к мятежникам в Милане. Но в декабре один приживал-иезуит принес нам сведения о том, что отец достиг мадзинианцев, шедших на штурм Римской республики. Переполошенный дед сыпал отчаянными пророчествами о скором переходе *annus mirabilis* (прекрасного года) в *annus horribilis* (ужасный год). В определенном смысле он был прав: пьемонтское правительство упразднило орден иезуитов с конфискацией всех их имуществ и, применяя тактику выжженной земли, распустило также все ордена так называемых иезуитствующих — ордена облатов святого Карла и Пресвятой Марии, а также лигуористов. — При-

шествие Антихристово грядет, — сокрушался дед. И конечно, приписывал это махинациям евреев, видя, как сбываются самые мрачные провозвестия Мордухая.

* * *

Дед дал убежище иезуитам, укрывавшимся от народного гнева на время поисков какого-нибудь мирского ордена, куда им примкнуть. В начале 1849 года их наехало множество, нелегальных, бежавших из Рима и рассказывавших ужасающие несчастия.



...Священника, запротестовавшего против Республики, затащили в подворотню, пронзили кинжалами, выкололи ему глаза и вырвали язык...

Падре Пакки. После чтения «Вечного жида» Эжена Сю в падре Пакки мне виделось воплощение отца Родена, мерзкого иезуита из книги, жертвующего любой моралью во благо своего

ордена. Отчасти я связывал их, потому что падре Пакки скрывал свое иезуитство под светским платьем. На нем был затасканный сюртук с хлопьями перхоти на заклякнувшем поту поверх воротника. Вместо галстука растянутая тряпица. Жилет из черного сукна, сквозь дыры в нем просвечивала бортовка. Крупные штиблеты, обляпанные грязью, оскверняли повсеместно наши изысканные ковры. Лицо он имел испитое, тощее и линялое, волосы пегие и сальные, вечно прилипшие к вискам, черепашьи глаза и фиолетовые поджатые губы.

Не довольствуясь тем, что уж и простое его присутствие за столом лишало многих людей аппетита, он еще и подбавлял своими историями, при этом у него были стиль и тон исступленного проповедника. — Друзья мои, голос мой дрожит, однако я вынужден сообщить вам чрезвычайное известие. Парижская проказа рыщет по Италии! Луи-Филипп отнюдь не святой, но все же он давал отпор анархии. А вот теперь недавно в Риме, я вспоминаю, что творилось в Риме… Римляне ли это? Оборванные, расхристанные, преступные, за чарку вина они уступили бы и вход в рай. Это не народ, а плебс. К тому же в Риме они стакнулись с самыми жалкими подонками

итальянских и зарубежных городов, с гарибальдийцами, с мадзинианцами, и превратились в слепое орудие всяческого зла. Вы не знаете, сколь неописуемые мерзости творили республиканцы. Врывались в церкви, разрушали урны мучеников и развеивали пепел по ветру, пользовались урнами как урыльниками. Священные престолы алтарей выносили, вымазывали экскрементами. Кинжалами наносили царапины на изваяния Непорочной Девы. Священным изображениям святых выкалывали глаза. Писали углем на образах площадную брань. Священника, запротестовавшего против Республики, затащили в подворотню, пронзили кинжалами, выкололи ему глаза и вырвали язык, выпустили ему кишки, обмотали кишками шею и ими же задушили. И не верьте, что коли Рим освободят (поговаривают уже, что на подходе подмога из Франции), мадзинианцы будут разбиты. Они порасползлись по всем провинциям Италии. Они предусмотрительны и лукавы, они симулянты и притворщики, сметливы, настырны, упорны, настойчивы. Они стекаются на сходки в тайных укрывищах в городах. С несказанным лицемерием просачиваются в тайные кабинеты власти, в полицию, во флот, в военные штабы. — И мой-то сын один из них, —

печаловался дед, скорбящий и душой и телом. Тут как раз на стол поступало тушеное мясо в вине бароло. — Этому сыну не дано понять, — не утихал дед, — великолепие говядины, протомленной с луком, морковью, сельдереем, шалфеем, розмарином, лавром, шляпками и черенками гвоздики, корицей, можжевельником, солью, перцем, маслом, олеем и сверх всего — доброй бутылью отличного бароло. Подается с полентой или с картофельным пюре. Бунтуйте, бунтуйте вместо этого… Забыли, в чем вкус-то жизни. Хотите выгнать из Италии папу и впредь питаться буйябесом по ниццской моде, по моде нищего рыбака Гарибальди… Бога забыли совсем, право слово, Бога забыли.

* * *

Бывало, падре Бергамаски переодевался в городское платье и куда-то уезжал, предупреждая, что вернется через несколько дней, но куда и зачем — не говорил. Тогда я пробирался в его комнату, напяливал на себя сутану, уходил искать зеркало, становился перед зеркалом и приплясывал, любуясь на себя, как, прости господи, женщина. Или как подражатель женщине, или как подражатель подражателю женщин. Если окажется, что аббат

Далла Пиккола — это я, значит, найдена первопричина и вот они, отдаленные истоки моего театрального любительства!

Я нашел в карманах сутаны деньги (падре явно забыл о них) и решил предаться чревоугодию, а для того пустился в исследование некоторых частей города, которые знал только понаслышке.

Одетый иезуитом — не смущаясь тем, что в оные времена уж сам по себе этот наряд казался вызывающим, — внырнул я в переулки Балона, района в окрестностях Порта-Палаццо, где жило отребье общества. Отсюда выходили на завоевание города по утрам самые отпетые лиходеи. И тем не менее перед праздниками именно рынок у Порта-Палаццо представлял собой самую колоритную картину, где толкались зеваки, жались кухарки около лотошников, служанки стайками впархивали в мясные лавки, мальчишки стояли как вкопанные перед прилавками с халвой. Обжоры закупали кур, дичь и колбасы, в кабаках места не было свободного, развевающейся сутаной я цеплялся за наряды шедших дам и разглядывал краешком глаза, богоугодно потупленного и уставленного на сжатые руки, шейки женщин, шляпки, чепчики, косынки и вуали. Меня дурманило снование дилижансов и карет,

крики, вопли и грохотание.

Возбужденный всеми этими дивами, до тех пор укрывавшимися от меня и отцом и дедом (каждым по отдельным соображениям), я добрался до наиболее знаменитого места тогдашнего Турина. В одежде иезуита, наслаждаясь производимым фурором, я вступал в кафе «Бичерин» около церкви Утешения и принимал в руки латунный подстаканник, куда был вставлен стаканчик с бичерином — дивной смесью молока, какао, кофе и ароматных специй. Я не знал, что вскоре бичерин прославится благодаря Александру Дюма. Дюма, кстати сказать, — мой идол. Не знал я этого, но в свои два или три налета на «Бичерин» в этом заветном уголке я все разузнал про райский нектар, похожий на баварский кофе. Но в баварском молоко, шоколад и кофе перемешаны, а в бичерине горячие слои сохраняются разделенными. Можно заказать бичерин *pur e fiur,* слой кофе на слое молока. Можно заказать *pur e barba,* это кофе и шоколад. А можно заказать *'n poc 'd tut,* это значит — «всего понемножку», горячий бичерин из всех трех слоев.

Благодатное это заведение с витриной в раме из чугуна, с зазывными вывесками по бокам, с колонночками и капителями и резными пане-

лями, с зеркалами и мраморными столиками, со стойкой, за которой рядами — разноцветные банки, а в них сорок разновидностей миндального драже совершенно неописуемого запаха… Мне так нравилось просиживать там напролет целое воскресенье. В воскресенье сюда толпами текут все те, кто с утра не завтракал, нельзя завтракать перед причастием, и голодные заворачивали сюда прямо из церкви Утешения. О великом посту бичерин пользуется неописуемым успехом, так как горячий шоколад не записан в перечень скоромных блюд. Лицемеры…

Но даже не беря в расчет утехи в виде кофе-шоколада, вокруг было полно иных сластей. Само уж то, что люди не представляли себе, кто я, давало мне чувство превосходства. Как у владеющего тайным секретом.

* * *

Но я был принужден осторожничать, и ограничивать, и даже вовсе прекратить эти счастливые вылазки — из-за боязни столкнуться с однокашниками, которые явно не считали меня святошей и, напротив, думали, будто я объят тем же, что они, карбонарским рдением. Все эти поборники «Родина, пробудись!» посещали остерию «Золо-

той рак». На темной и узенькой улице, над еще более неприметной входной дверью помещалась вывеска с изображением позолоченного рака и с надписью *Dal Gambero d'Oro, buon vino e buon ristoro* («Золотой рак. Питие и смак»). Входили прямо через кухню, она же винный погреб. Ели и пили в испарениях готовки, в колбасно-луковом чаду. Часто играли там в мору. И еще чаще — подпольщики без подполья — целыми ночами воображали себе грядущее народное восстание. У дедушки я приучился к гурманству, а уровень «Золотого рака» был таков, что только при здоровом аппетите можно было проглотить что-то из их харчей. Но общественная жизнь представлялась мне необходимостью, а кратковременное избавление от наших домашних иезуитов — потребностью, поэтому я предпочитал золотораковую бурду в компании товарищей тоскливым ужинам за дедовым столом.

На рассвете мы вываливались из «Рака», пыхая чесноком, пылая в сердце патриотическими восторгами. Уютное покрывало слякоти окутывало нас, помогая укрываться от полицейских соглядатаев. Периодически мы забирались на заречные холмы и глядели на крыши и колокольни города, выникавшие из туманной гущи. В отдалении

маячила церковь Суперга на горе, на ней уже отражалось солнце, и это был островной маяк среди моря.

В нашем кругу студиозусов говорили не только о единой Италии. Как положено этому возрасту, очень много говорили о женщинах. Загораясь, каждый рассказывал по очереди о полученной улыбке от незнакомки с чужого балкона. О прикосновении к пухлой ручке на перилах лестницы невзначай. О полуувядшем цветке, выпавшем из молитвенника в церкви и подобранном мгновенно (хвастался лихой рассказчик), когда цветок сохранял еще аромат ладони, вложившей его в задушевную книгу. Я мрачно отмалчивался и слыл между ними несгибаемым и суровым мадзинианцем.



...Само уж то, что люди не представляли себе, кто я, давало мне чувство превосходства...

Но однажды вечером самый сальный из моих наперсников поведал нам, что у них на антресолях в сундуке, оказывается, его бесстыдник и кутила родитель содержит кое-какую литера-

туру, называемую у французов «поросятиной». Было немыслимо рассматривать такие книги на запачканном столе в «Золотом раке», так что он решил давать их почитать каждому по очереди. Когда дошло до меня, не отказываться же. Поздней ночью я занялся перелистыванием томиков, кстати, ценных и дорогих, сплошь в сафьяновых переплетах, корешки прошиты жилами и с красными кожаными вставками, золототисненая подвертка, золотые обрезы, золоченые заставки на крышках и в ряде случаев на форзацах. Названия были вроде «Девические ночи» или «О, месье, что будет, ежели нас застанет мой муж!».

Меня трясло, когда я листал их, застывая над гравюрами. Каскады пота струились по шее и щекам. Совсем молодые девушки поднимали там юбки, показывая задние части ослепительной белизны, на потребу похотливых мужчин. Не могу сказать, что беспокоило меня сильнее: эти бессовестные округлости или почти невинные улыбки юных созданий, оборачивающих любопытные головки на осквернителя, скошенными хорошенькими глазками лукаво глядя с улыбкой целомудрия из-под чернокудрых, убранных в боковые бандо аккуратных локонов. Было и пострашнее там. Три дамы на диване расставляли

ляжки, обнажая то самое, что должно было бы быть естественной защитой их девственного чрева. Одна из дам сама подсовывалась под правую руку всклокоченного мужчины, который тем временем целовал и уестествлял ее смелую соседку, а левой рукой забирался в окутанное тканями декольте третьей сидевшей, раздирая ей корсет и не интересуясь ее вполне оголенным лоном. Дальше. Карикатурное изображение бугристого лица, это был аббат. Рассмотревши попристальнее, можно было понять, что картинка вся выложена из мужских и женских срамных тел, переплетенных на множество ладов, пронизываемых повсюду мощными мужскими членами. Они составляли собой и затылок, где очертания тестикул можно было принять за крупные кольца густозавитой шевелюры.

Я не помню уж, чем кончился этот шабаш, когда тайны пола распахнулись мне как нечто потрясающее (в сакральном смысле слова: так потрясают душу перекаты грома, пробуждая, купно с божественным восторгом, страх перед дьявольством и святотатством). Помню только, что, объятый страстью, я повторял сам себе вполголоса, как заклинание, фразу не помню какого религиозного сочинителя, которую мне

велел заучить аббат Пертузо: «Вся краса телесная — кожа. Если бы людям видимо было, что там под кожей, всякое зрелище женщины казалось бы тошнотворным. Красота — это скверна, кровь, гуморы и желчь. Подумайте, что накапливается в ноздрях, в глотке, в утробе… Мы, кто брезгуем дотронуться даже самыми кончиками пальцев до блевотины или поноса, как мы можем желать обниматься с наполненным навозом пузырем?»

Может, в те времена я еще верил в божию справедливость, верил в неизбежную кару за ночной разгул и случившееся на следующий день расценил как наказание. Дед был найден мною в кресле, запрокинутым, хрипящим, с мятым листком в руке. Мы вызвали врача, мы подняли с полу письмо и прочитали в нем, что мой отец был смертельно ранен французской пулей, защищая Римскую республику, в июне 1849 года, когда генерал Удино по приказу Луи-Наполеона пошел на Рим — освобождать папский престол от мадзинианцев и гарибальдийцев.

Однакоже дед не умер, хотя было ему за восемьдесят. Не умер, а заперся в спальне в гневном молчании. Не могу сказать, на кого сильней кипел его гнев: на французов и папскую армию,

погубивших его сына, на сына, безответственно полезшего в пекло, или же на республиканцев-патриотов, заморочивших его сыну голову. Редко-редко вырывались у него безутешные вздохи, что-то слышалось об ответственности евреев за трагедии, переживаемые Италией, точно как и за те, что обрушились за полвека до того, по вине тех же евреев, на Францию.

* * *

Видно, в память отца я проводил много времени на чердаке возле коробок с его книгами. Перехватил выписанный отцом, но пришедший по почте уже после него роман «Джузеппе Бальзамо» Александра Дюма.

В этом заманчивом сочинении рассказываются, как всем известно, жизнь и приключения Калиостро и затеянная им афера с ожерельем королевы. Он сумел одновременно уничтожить и нравственно и финансово кардинала де Рогана, скомпрометировать августейший двор, выставить на посмешище высший свет. Многие считали, что интрига Калиостро до того подорвала престиж монархии как института, что вследствие общей неуправляемости образовались предпосылки для революции восемьдесят

девятого года.

Но Дюма идет дальше. Он видит в Калиостро, то есть в Джузеппе Бальзамо, сознательного стратега, сумевшего организовать не простое мошенничество, а политический заговор, идя на поводу у мирового масонства.

Меня очаровало начало книги. Место действия: *Mont Tonnerre,* Громовая гора. На левом берегу Рейна, в нескольких милях от бывшей королевской резиденции Вормс, берет начало гряда печальных гор. Королевский трон, Соколиная скала, Змеиный гребень. Над всеми возвышается Громовая. Шестого мая 1770 года (за двадцать лет до пресловутой революции), на закате дня, в то время как солнце опускается на крышу Страсбургского собора и его шпиль делит солнечный диск надвое, кто-то неизвестный скачет из Майнца, потом, в виду самых отчаянных отрогов той самой горы, оставляет коня и карабкается пешком вверх по скату. Тут его принимают неведомые поводыри. Ему обматывают голову мокрой повязкой и через лес выводят на какое-то горное плато, где собрались триста мертвецов, окутанных саванами, каждый с мечом в руке. Там путника подвергают внимательному допросу.

Чего ты хочешь? Видеть свет. Ты готов принести

клятву верности? Читайте, я буду повторять, — и в этом духе далее и далее, с целым набором испытаний, как, например: испить из чаши-черепа кровь убитого предателя, выстрелить себе в голову из пистолета для доказательства всепослушания, и прочая белиберда в подобном роде, напоминающая масонскую обрядность нижайшего разбора, известную самым простонародным читателям Дюма.

Испытуемому надоедает все это, и он надменно прерывает собравшихся, дав им понять, что все их ритуалы ему известны и все их фокусы тоже, так что, пожалуйста, вперед давайте без театральных эффектов. Он-де важнее всех их тут собравшихся вместе взятых. Масонское сборище должно признать, что он их главарь, посланный им от Бога.

Дальше он перечисляет одного за другим, обнаруживая детальное знание, членов масонских лож Стокгольма, Лондона, Нью-Йорка, Цюриха, Мадрида, Варшавы и ряда азиатских государств. Они, естественно, оказываются там среди тех, кто собрался на плато на этой Громовой горе.

Какой же смысл в том, что масоны со всего мира собрались на горе? Незнакомец объясняет. Ему, оказывается, нужны железная рука, огненный

меч и алмазные весы, дабы очистить землю от скверны, то есть поразить и уничтожить двух главнейших врагов человеческого рода, а именно трон и алтарь (дед говорил даже, что девизом сквернавца Вольтера было «Раздавите гадину!»). Незнакомец докладывает слушателям, что, как любой уважающий себя некромант того времени, он живет на земле незапамятное количество поколений, превосходит возрастом Моисея, а может быть, Ашшурбанипала, и пришел сейчас с Востока возвестить всем, что настал час роковой. Народы идут нескончаемой вереницей. Движутся навстречу свету. Франция — впередсмотрящий этого похода. В ее-то руки необходимо вложить истинный факел, и она воспламенит мир новым очищающим огнем. Во Франции правит старый развратный король. Ему остались считанные годы. Даже если один из собравшихся на встречу — как потом выясняется, Лафатер, гениальный физиогномист, — замечает, что лица двух юных преемников (будущего Людовика Шестнадцатого и Марии-Антуанетты) кажутся милосердными и добрыми, Незнакомец (в котором уже, надо думать, читатели распознали Джузеппе Бальзамо, хотя в тексте Дюма этот главный герой еще не назван по имени) отвечает, что нет места чело-

веческому благорасположению, когда речь о том, чтоб нести факел прогресса. Через двадцать лет французской монархии следует быть начисто сметенной с лица земли.

На все это в ответ председатели лож от разных стран берут слово по очереди и предлагают поддержку людьми или средствами, ради победы республиканского и масонского движения, во славу девиза *lilia pedibus destrue*, топчи и уничтожь французскую лилию.

Мне не казалось странным, что столь много шуму — всемирный заговор всех пяти мировых континентов — затеяно кем-то ради того, чтобы внести изменения в параграфы французской конституции. Это казалось естественным, ибо для пьемонтца того времени существовали только Франция плюс, разумеется, Австрия и, может быть, где-то далече — Кохинхина, но ни одной другой заслуживающей внимания страны, за вычетом Папского государства, естественно. Читая описание в романе Дюма и боготворя автора, я гадал, не открыл ли гениальный писатель в этом случае Универсальную Форму любого вообразимого комплота.

Бог с нею, с Громовой горой, с левым берегом Рейна и с историческим периодом, говорил я

себе. Обдумаем. Заговорщики собираются со всех концов света, представительствуя от всех ответвлений секты. Соберем их на поляне, или в пещере, или в замке, или на кладбище, или в подземной крипте, в общем — в каком-нибудь месте, где достаточно темно. Один из них пусть скажет речь, в которой выложит все тайные замыслы заговорщиков и их намерение поработить мир.

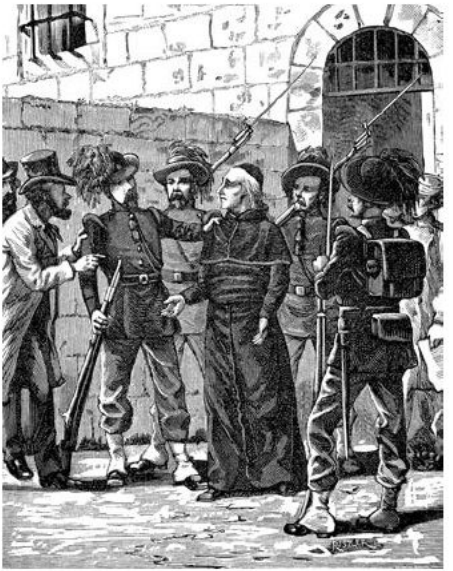
Меня с рождения окружали люди, страшившиеся козней какого-то скрытого врага. Мой дед подозревал евреев, иезуиты — масонов, мой революционный папаша — иезуитов, монархи всей Европы — карбонариев. Мои товарищи по школе, мадзинианцы, подозревали, что король — пешка в руках священников. Полиция всего мира подозревала баварских иллюминатов. И так далее. Нет счета всем людям, кто опасается, что против них плетутся заговоры. Вот нам готовая форма. Можно заполнять ее по усмотрению, кому чего, по заговору на каждый вкус.

Дюма действительно разбирался в природе человеческой души. О чем помышляет каждый? И тем неотвязней, чем он сам несчастнее и обделеннее жизнью? О деньгах, полученных без труда. О власти (как сладко помыкать себе подобными и изгаляться над ними). О мести за перенесенные

обиды (любому в этой жизни пришлось перенести какую-нибудь обиду, хоть небольшую, да болезненную). И вот Дюма в «Монте-Кристо» показывает, как обретается громадное богатство, предоставляющее сверхчеловеческую власть; а также как взыскиваются со старинных врагов все долги, до последней крошечки. Однако, увещает себя каждый, зачем же я не столь удачлив, не могуч? Или не столь могуч, как мне желалось бы? У меня нет благ, которыми пользуются иные. А я имел бы больше оснований. Никто не думает, что он на самом деле не имел бы вовсе оснований. Все ищут виноватых. И Дюма нашел ответ для всех тревожащихся — и для личностей, и для целых народов. Он объяснил причину их невзгод. Оказывается, виноваты во всем те, кто собирались на Громовой горе! Подумавши, собственно говоря, Дюма ничего не открыл. Он только придал повествовательную форму тому, о чем, по рассказам деда, уже намекал аббат Баррюэль. Вот я и убеждался, что продавать идею заговора можно так: не предлагать вообще ничего оригинального, а только и предельно то, что уже известно или могло бы быть известно из других источников. Все верят только тому, что уже знают. В этом и есть красота Универсальной Формы заговора.

* * *

Шел 1855 год. Мне было уже двадцать пять, я выпустился из университета по юриспруденции и не знал еще, что делать в жизни. Я виделся с прежними товарищами, не воспаляясь от них революционной горячкой. Я скептически предсказывал все их разочарования, причем заранее, за несколько месяцев. И точно: Рим опять отошел под власть папы, Пий Девятый из реформатора сделался худшим ретроградом, чем его предшественники. И рассеялись, из-за невезения или из-за предательства, надежды, что Карл-Альберт станет объединителем Италии. Вдобавок после бурных выступлений социалистов, разбередивших чувства и умы, во Франции все пошло на спад и восстановилась империя. А затем новое правительство Пьемонта, вместо того чтоб объединять Италию, отправило солдат на ненужную войну в Крыму…



...А когда наш архиепископ Франзони призвал клир города Турина не повиноваться этим указаниям, его арестовали, объявили преступником, приговорили к месяцу тюрьмы!..

И даже не было возможности мне продолжать читать те романы, которые повлияли на мои вкусы гораздо больше, чем учителя-иезуиты. Дело в том, что во Франции ученый совет Универси-

тета, в состав которого невесть почему входили три архиепископа и один епископ, принял так называемую поправку Риансе, в силу которой облагались налогом по пяти сантимов за номер все газеты и журналы, печатавшие романы-фельетоны с продолжением. Кто не понаторел в издательских делах, мало важности мог бы придать этим известиям, но мы с товарищами сразу поняли суть: этот налог лишал французские газеты возможности публиковать романы. И обличители общественных язв, Сю и Дюма, таким образом оказывались заглушены навеки.

И все-таки дед, все чаще с провалами в сознании, но иногда обретавший былую остроту и понимание окружающего, жаловался, что пьемонтское правительство с тех пор, как стали заправлять им д'Адзелио и Кавур, превратилось в настоящую синагогу Сатаны. — Видишь, парень, — бормотал он, — этот Сиккарди неслучайно ввел закон об отмене прерогатив клира. Отчего он отменил привилегию, что церковь может выступать убежищем? Неужто церковь хуже жандармерии? И зачем ликвидировали процедуру церковного суда для духовных лиц, обвиняемых по статьям уголовного кодекса? Разве церковь не имеет права сама судить своих?

Почему упразднили предварительную религиозную цензуру печатных публикаций? Что, теперь каждый может высказываться как хочет, без оглядки на веру и на мораль? А когда наш архиепископ Франзони призвал клир города Турина не повиноваться этим указаниям, его арестовали, объявили преступником, приговорили к месяцу тюрьмы! Теперь мы дожили до запрета нищенствующих и созерцательных орденов, а это шесть тысяч монахов. Их имущество конфискует государство, заявляя, будто это ради выплаты жалованья священникам. Но если посчитать, имущество орденов превосходит в десять, да что там в десять, в сотню раз все жалованья, выплачиваемые в королевстве. Нет, думаю, они пойдут на государственные школы, все эти денежки, на преподавание того, что простецам не надобно. Или на то, чтобы вымащивать дороги и тротуары в гетто! Под вывеской «свободная церковь в свободном государстве»! Причем свобода злоупотреблять дана только государству. Ну нет, я понимаю свободу как право человека следовать Божию завету и зарабатывать себе, в зависимости от поведения, рай или ад. А тут, гляжу, понимается свобода как возможность выбирать что угодно между верованиями и мнениями, какое больше

кому нравится, где все они равноправны — и где для государства не имеет значения, масон ли ты, христианин, иудей или магометанин. Не имеет значения, следовательно, и Истина.

— Таким-то образом, сыночек, — из бормотанья деда явствовало, что он не отличает меня от сына, и он скулил и поднывал при разговоре, — и исчезают латеранские каноники, и регулярные каноники святого Эгидия, а также обутые и босые кармелиты, картезианцы, кассинские бенедиктинцы, цистерцианцы, елеонцы, минимы, миноритыконвентуальные, миноритыобсерванты, миноритыреформаты, миноритыкапуцины, облаты святой Марии, пассионисты, доминиканцы, мерседары, марианцы, ораторианцы вместе с клариссами, распятницами, селестинками, туркинками и баптистками.

Декламируя этот перечень как авемарию, он возбуждался все больше. В конце как будто уже не умел перевести дух и махнул, чтобы несли на стол рагу из зайца (в рецепте шпик, масло, мука, петрушка, пол-литра барберы, порубленный на среднего размера куски заяц, каждый кусок с яйцо, с добавлением печени и сердца, мелкого лука, соли, перца, специй и сахара).

Он почти утешился, но вдруг вытаращил глаза

и повалился, рыгнув легонько.

Старые напольные часы пробили полночь. Чересчур долго я писал, не прерываясь ни на миг. И теперь, как ни стараюсь, не умею я припомнить ничего более о годах, которые наступили после смерти деда.

Голова кружится.

5. Симонино – карбонарий

Ночь 27 марта 1897 г.

Я прошу великого прощения, капитан Симонини, за то, что посмел вторгнуться в ваш дневник, каковой, не удержавшись, прочитал. Но не своею волей я пробудился сегодня утром в постели вашей. Вы угадываете, что я являюсь (вернее, по меньшей мере почитаю себя) аббатом Далла Пиккола. Проснувшись не в своей кровати, в квартире, которую не знаю, без каких бы то ни было следов моего пастырского одеяния, как равно и парика, я увидел только накладную бороду у кровати. Откуда эта накладная борода? Мне уже случалось несколько дней назад, пробудившись, не понимать, кто я. С той разницей, что это происходило в моем собственном доме, а ныне — в доме не моем. Глаза, похоже, залеплены гноем. И язык щемит, как будто он был прикушен. Выглянув из окна, я увидел тупик Мобер. Рядом с улицей Мэтра Альбера, где я проживаю. Исследовал весь дом. Похоже, это квартира светского лица, употребляющего накладную бороду, а следовательно (извините за огульные выводы), морально ненадежного. Осмотрел кабинет, убранный

претенциозно. На задней стене, за портьерой, нашел дверь и попал в потаенный коридор. Он походил на театральную уборную, во множестве там были костюмы и парики, точно как в месте, где несколько дней назад я обнаружил сутану. Тогда-то мне и стало ясно, что коридор, в свое время пройденный мною в другом направлении, ведет прямо в мое жилище.

На столе находились записи, по-видимому набросанные лично мной. Вы даже восстановили когда: 22 марта, в день, подобный сегодняшнему. И тогда и сейчас я с утра терял память. Что же может означать, гадал я, последняя из записей — про Отей и Диану? Кто такая Диана?

Любопытно. Вам подумалось, будто бы вы и я — одно. Но вы помните гораздо больше подробностей своей прежней жизни, нежели я — моей. И причем, как легко видеть из вашего дневника, вы не знаете обо мне ничего. Я же замечаю, что могу припомнить довольно многое, нет, действительно много из происходившего с вами. Именно те эпизоды, которые вы — странное совпадение — пытаетесь восстановить и не можете. Следует ли из этого, что если я припоминаю столь многое о вас, значит, я — вы?

Может быть, нет. Может быть, мы совсем

разные существа, которые по какой-то невыясненной причине втянуты в подобие общей жизни. Я, замечу снова, церковное лицо. Может быть, я знаю о вас то, что мне поведано на исповеди? Или я тот, кто занял место доктора Фройда и вырвал из вашего нутра то, что вы тщились сохранить в неприкосновенности?

Как бы ни было, мой священнический долг рассказать вам, что же происходило после смерти вашего достопочтенного дедушки, да приимет Господь его душу праведно и мирно. Ясно, что, приведись ныне умереть вам, Господь столь же мирно и праведно вашу бы душу не принял, потому что, по-моему, не столь уж благостно вы обращались с ближними, и, может быть, за это ваша память теперь отказывается выдавать воспоминания, не делающие вам чести.

* * *

На самом деле Далла Пиккола выдал Симонини только скупые факты, занеся их по порядку на те же листы миниатюрным почерком, столь непохожим на симониниевский. Но именно эти скудные указания послужили Симонини опорой, на которую тот стал цеплять грозди образов, слов и выражений, внезапно выплывавших из его

памяти. Повествователь приведет здесь краткое резюме содержания, упростив замысловатый узор подсказок и ответов и избавив Читателя от тона лицемерной добродетели, употребленного аббатом при составлении ханжески выхолощенной повести о деяниях своего альтер эго.

Похоже, что не только разгон босых кармелитов, но и кончина дедушки не слишком впечатлили Симоне Симонини. К деду, кажется, он был привязан, но, проведя детство и отрочество под замком в доме, где будто специально насаждалась угнетенность и подавленность, где и дед, и чернорясные воспитатели постоянно внушали ему недоверие, страх и досаду по отношению к миру, Симонино чем дальше, тем меньше был способен что-либо чувствовать, за исключением сумрачного себялюбия, которое постепенно в нем закрепилось в форме неколебимого философского мировидения.

Распорядившись похоронами — а в них приняли участие самые видные прелаты и самые именитые пьемонтские дворяне, связанные со Старым Режимом, — Симонино увиделся с уполномоченным нотариусом семьи, Ребауденго, который прочел ему завещание: дед все оставил ему. Только вот незадача, продолжал нотари-

ус (казалось — с удовлетворением), поскольку старцем было все заложено и перезаложено, а также из-за неосмотрительности в управлении средствами, имущества практически не оставалось. Даже особняк со всей той мебелью, которой был обставлен, был должен сразу отойти кредиторам, бездействовавшим прежде, из уважения к почтенному и дряхлому собственнику, однако с внуком не имевшим намерения церемониться. — Видите, дорогой адвокат, — добавил нотариус, — в нынешние времена не то что давеча. Теперь и отпрыски почтенных семей порой смиряются перед необходимостью и ищут себе работу. Если бы вашей чести угодно было, хотя оно и не почетно, я предложил бы местечко у меня в конторе, где может быть применен юноша с начальными знаниями права, естественно — при уговоре, что нет возможности положить вам оплату по вашей умственной заслуге, а придется удовольствоваться таким размером жалованья, которое только позволит вам найти себе другое пристанище и жить в нем нешироко, но благопристойно. Симонини сразу же решил, что нотариус прикарманил многие те части имущества, которые дед полагал утерянными из-за неосмотрительного управления. Но

доказательств не существовало. Было надобно выживать. Он подумал, что, работая в близости от нотариуса, однажды ему отплатит и возвратит себе все то, что нотариус незаконно захапал. Так он и зажил в двух комнатах на улице Барбару, бережа средства на редкие походы в обжорки, где собирались его товарищи, и в то же время начал службу у Ребауденго, корыстного, бесчестного и подозрительного, который вмиг бросил величать его «ваша честь» и «господин адвокат», а перешел на обращение «Симонини», давая ясно понять, кто же в деле хозяин. Но через несколько лет этой работы письмоводителем (так называлась его должность), Симонини прошел законную аттестацию и, постепенно завоевывая доверие принципала, уяснил, что делопроизводство сводилось не к тому, что входит в обязанность нотариуса — заверению завещаний, дарительных грамот, актов о купле-продаже и прочих деловых соглашений, — а к засвидетельствованию подлинности дарственных, купчих, завещаний и контрактов, никогда вообще не имевших места. Другими словами, нотариус Ребауденго за разумное вознаграждение писал поддельные документы, при необходимости воспроизводя почерки и приобщая показания свидетелей, а их

полно было в близлежащих кабаках.



...Заруби себе на носу, разлюбезный Симоне, – поучал его нотариус, давно перешедши на «ты», – я не делаю подлогов, а делаю новые копии истинных документов, которые утратились или по нелепой случайности не были никогда написаны, однако вполне могли бы быть написаны...

— Заруби себе на носу, разлюбезный Симоне, — поучал его нотариус, давно перешедши на

«ты», — я не делаю подлогов, а делаю новые копии истинных документов, которые утратились или по нелепой случайности не были никогда написаны, однако вполне могли бы быть написаны. Фальшивкой было бы, напиши я метрику, из которой бы явствовало, прошу прощения за пример, что ты рожден от потаскуньи из Одаленго-Пикколо (и он хихикал над собственным оскорбительным остроумием). Никогда бы не пошел я на подобное преступление, поскольку честный человек. Однако ежели какой-нибудь твой враг, это я просто предполагаю, зарился бы на твое имущество и ты бы знал, что он совершенно точно рожден не от отца твоего и не от матери твоей, а от непристойной женщины из Одаленго-Пикколо, однако он укрыл свое законное свидетельство о крещении, чтоб покуситься на твое добро, и ты бы обратился ко мне, прося восстановить эту пропавшую грамоту, дабы дать по рукам злоумышленнику, я согласился бы, иными словами, поддержать истину. И засвидетельствовал бы то, о чем известно, что оно истинно, нисколько бы не погнушавшись.

— Да как же знать вам, от кого доподлинно родился этот господин?

— А от тебя! Ты же его хорошо знаешь.

— И вы бы мне поверили?

— Я верю своим клиентам, поскольку у меня клиенты исключительно честные люди.

— А ежели клиент у вас солжет?

— Солжет, так это значит — на совести клиента, не на моей. Начни я размышлять о каждом, может ли он мне солгать, тогда мне следует закрыть свою практику, она ведь основана на доверии. Симоне остался не в полном успокоении относительно чистоплотности работы нотариуса Ребауденго, но, будучи теперь допущен до тайн ремесла, участвовал в сотворении подделок, в скором времени превзойдя учителя и открыв в себе необычайные каллиграфические способности. Тем временем нотариус, как будто обинуясь после вышеприведенной беседы, а может быть, учуяв основную слабость своего сослужителя, водил Симонино по роскошным ресторанам, таким, например, как «Иль Камбио» (завсегдатаем которого был сам Кавур!), где они дегустировали самую лучшую финанцьеру, а финанцьера — это целая симфония из петушьих гребешков, черев, телячьего мозга и тестикул, бычачьего филея, белых грибов, все это с полустаканом марсалы, мукою, солью, олеем и маслом. Подкислено совсем чуть-чуть, алхимической толикою оцта.

По правилам, угощаться финанцьерой надлежало в рединготе или же в долгополом сюртуке, служебном одеянии финансистов. Наверное, Симонино, даром что имел героического отца, сам не чувствовал в себе жилки щепетильной и доблестной, поэтому он за подобное угощение был готов служить нотариусу Ребауденго хоть до смерти — его, нотариуса, смерти, как вскорости мы с вами увидим, еще чего! не собственной же.

А жалованье ему, хоть ненамного, увеличили. Нотариус катастрофически старел, он стал подслеповат, рука у него дрожала. Вскорости без Симоне он уже ничего не мог. Но именно потому что Симоне получал все больше доступа к любимому досугу, то есть к славнейшим из туринских ресторанов (о, восхитительные аньолотти по-пьемонтски, нафаршированные жарким из белого мяса, жарким из красного мяса, вареной говядиной, снятой с костей протушенной курятиной и листьями капусты, томившимися вместе с жарким, вареными яйцами, сыром пармезаном с мускатным орехом, солью, перцем! Подливка из того же мясного соуса с маслом, чесноком и веточкой розмарина), в храм удовлетворения своей неистовой, необоримой и крепчайшей плотской страсти молодой Симонини не мог же

приходить в заношенной одежде. Так и шло, что рост его возможностей сопровождался ростом потребностей.

Работая с нотариусом, Симоне заметил, что тот не только выполняет деликатные работы для частных клиентов, но и — видать, подыскивая себе защиту на случай вскрытия каких-то водящихся за ним делишек — словом и делом всемерно угодничает перед службами общественной безопасности. Иногда, по его собственному описанию, для того чтобы справедливо приговорить обвиняемого, требуется какое-нибудь документальное свидетельство, доказывающее, что полицейские претензии не голословны. Так Симонини познакомился с невыразительными личностями, периодически забредавшими к ним в контору и аттестовавшими себя неопределенно «мы из Отделения». Отделение чего это было и кто были эти невыразительные люди, довольно быстро понималось без слов. Конфиденциальные задания по правительственному заказу!

Одним из этих господ был кавалер Бьянко. Этот кавалер выражал глубокое удовлетворение работой Симоне над созданием неких совершенно подлинных доказательств. Этот кавалер был важная птица. Прежде чем знакомиться с

кем-нибудь, несомненно, запрашивал в органах все имеющиеся характеристики. Это явствовало из вопроса, заданного вполголоса: посещает ли Симоне до сих пор кафе «Бичерин». Там-то и предложено было встретиться для сугубо частного свидания. И Симоне услышал там:

— Драгоценный адвокат, нам известно, что вы являетесь внуком одного из достойнейших подданных Его королевского величества, по одному уж этому вы получили благородное воспитание. Мы знаем также, что господин отец ваш принес свою жизнь на алтарь того, что и мы считаем правым делом, хотя пожертвовал собой он, как бы это выразиться, преждевременно. Поэтому, учитывая вашу благонадежность и готовность с нами сотрудничать, мы считаем также, что проявляем к вам самому неимоверную снисходительность, располагая сведениями, что вы и нотариус Ребауденго имеете наклонность к процедурам, назовем их так — не самым благовидным. Что же, вам предлагается иметь в виду, что это не было поставлено вам на вид. Мы знаем, что вы вращаетесь в обществах друзей, коллег, единомышленников, в общем, ну, как их назвать, мадзинианцев, гарибальдийцев и карбонариев. Ничего странного: таково, думает-

ся нам, направление юных умов. Однако вот в чем нам видится проблема. Как бы эти молодые люди не набезрассудничали. По крайней мере прежде чем их безрассудство может стать для страны и разумным и полезным. Правительство было обеспокоено этим Пизакане с его морской экспедицией. Вы знаете, что Пизакане и поехавшие с ним двадцать четыре бунтаря высадились в Понце, размахивая триколором, освободили три сотни заключенных и отправились морем в Сапри, предполагая, что там местные обыватели поджидают его уже мобилизованные. Благожелательный сказал бы — идеалист! Скептик сказал бы — идиот! На самом деле Пизакане был идеалистом. Смерды, которых он пришел освобождать, прикончили и его, и его людей. Видите: благие намерения заводят чересчур далеко, если не учитывается реальное положение вещей.

— Понимаю, — сказал на это Симоне. — А от меня вам чего угодно?

— Сейчас, сейчас. Чтобы препятствовать головотяпству, лучше всего — сажать всех их под замок на некоторое время. За попытку подорвать государственный строй. И выпускать их по мере того, как в стране проявляется потребность в благородных сердцах. Их надо захватывать на

заговорах. Вы знаете, конечно, главарей. Пусть бы дошел до них листок от самого главного главаря. Пусть бы созвали их на слет в определенное место. В вооружении, с кокардами и знаменами и с прочими цацками, которыми украшаются карбонарии, чтоб их признавали за карбонариев. Нагрянет полиция, всех заберут. И все в порядке, и дело сделано.

— Но если я буду там, меня застукают тоже, а ежели нет, поймут, что я-то и выдал всех.

— Ну что вы, сударь, не столь же мы недогадливы. Естественно, мы приняли эти соображения в расчет. Как мы увидим, и вправду Бьянко имел свой расчет. Но незаурядной расчетливостью отличался и Симонини. Как следует выслушав предлагавшийся ему план, он истребовал своеобразное награждение. Каких Симонини хотел для себя королевских щедрот — он охотно рассказал кавалеру.

— Видите ли, кавалер Бьянко. Нотариус Ребауденго порядочно раз совершил незаконные действия, прежде чем меня наняли в его контору. Довольно будет указать два или три подобных случая, учитывая, что у меня в распоряжении нужная документация, не ущемляющая, господи упаси, ни одного по-настоящему важного лица.

По части тех, кто с оных пор естественным образом скончался. Я передам все обвинительные материалы от неподписавшегося доброжелателя, через ваше любезное посредничество, в судебное ведомство. Их, безусловно, с лихвою хватит, чтобы нотариусу предъявили обвинение в регулярном подделывании официальных актов и на этом бы основании заключили под стражу на такое число лет, за которое природа самостоятельно закончит жизненный круг. Не очень надолго, полагаю, учитывая здоровье старикана.

— И тут…

— И тут, как нотариус окажется в заключении, я извлеку договор, подписанный за несколько дней перед его арестом, откуда будет явствовать, что, выплатив последний пай за покупку, я окончательно вступаю во владение юридической конторой и превращаюсь в ее собственника. Что до внесенного мною капитала, все ведь думают, будто я получил наследство от деда. Единственный, кто знает, что это не так, — Ребауденго.

— Интересно, — сказал Бьянко на это. — Но судья обязательно спросит, где же эти выплаченные деньги.

— Ребауденго не доверяет банкам и держит деньги в сейфе в конторе. Я умею открывать сейф.

Ребауденго, вероятно, думает, что если он возится с сейфом отвернувшись, то я не могу подглядеть, что он там крутит. Служители закона, получив донос, отыщут способ как-то вскрыть описанный сейф и убедятся, что в нем пусто. Я покажу на разбирательстве, что предложение приобрести контору от Ребауденго поступило довольно неожиданно. И что я сам несказанно удивился, услышав, какую низкую цену он назначает, свидетельствующую, что он с чего-то внезапно останавливает все дела. И недаром: при осмотре конторы обнаружится, вдобавок к опустелому сейфу, еще и пепел невесть каких сожженных бумаг, а в ящике письменного стола — письменное подтверждение заказанной комнаты в гостинице в Неаполе. По всему этому можно будет понять, что Ребауденго зачуял, что закон идет за ним по пятам. И решил замести следы и улепетнуть под крылышко к Бурбонам. Чтобы там проесть вывезенный загодя капитал.

— Но на суде, когда ему предъявят показания насчет будто бы заключенной купчей, он станет все отрицать…

— Пусть отрицает сколько угодно, не станет же судья ему верить.

— Да, очень тонкий план. Вы мне нравитесь,

адвокат. Вы хитрей, целеустремленней и решительней Ребауденго. И в вас больше, как бы это сказать, эклектичности. Хорошо, вы устройте нам этих карбонариев, а мы вам устроим Ребауденго. Арест карбонариев был не труднее детской игры, хотя мальчики были безыскусственными фантазерами, а карбонариями — лишь в самых пылких своих снах. Симоне загодя, сначала из простого бахвальства, прикидываясь, будто воспроизводит заветы героического отца, рассказывал какие-то байки о карбонариях, все больше которые нашептал ему падре Бергамаски. Иезуит в свое время предостерегал юношу о кознях карбонариев, масонов, мадзинианцев, республиканцев и переодетых патриотами иудеев, которые, чтобы укрыться от полиций целого мира, прикидываются продавцами угля и встречаются в укромных местах под предлогом совершения торговли.

— Все карбонарии подчиняются Высшей Венте. Туда входит сорок членов, преимущественно — ужасно сознавать это — из вельможной римской знати. С прибавлением, разумеется, еврейства. Начальника зовут Нубиус, он родовит, он растлен как вся каторга вместе взятая, однако благодаря своему имени и богатству он занимает в Риме положение выше всяческих подозрений. Из Па-

рижа Буонарроти, генерал Лафайет и Сен-Симон обращаются к нему за решениями, как к дельфийскому оракулу. И из Мюнхена, и из Дрездена, и из Берлина, и из Вены, и из Петербурга начальники главных вент, Чарнер, Хейман, Якоби, Ходзко, Ливен, Муравьев, Штраус, Паллавичини, Дристен, Бем, Батиани, Оппенгейм, Клаус и Каролус обращались, чтобы он наставил их на верный путь. Нубиус правил Высшей Вентой до 1844 года, покуда не был отравлен аква-тофаной. Не думай, будто его отравили мы, иезуиты. Мы придерживаемся мнения, что Нубиуса убил Мадзини, который желал и ныне желает занять место во главе всего карбонарского движения, опираясь на иудеев. Преемником Нубиуса ныне является Малый Тигр, это еврей, он продолжает дело Нубиуса, повсеместно старается подстрекать своих неприятелей на мученичество. Однако состав и местоположение Высшей Венты — тайна. Все это остается тайной для всех отдельных лож, которые лишь получают директивы и побуждения. И даже те самые сорок членов Высшей Венты не знают и никогда не знали, откуда поступают к ним приказы для передачи или для действия. А потом говорят, что иезуиты в рабстве у начальников! Это карбонарии в рабстве у начальника,

укрывающегося от взглядов! Может быть — у Великого Старца, который помыкает всею подпольною Европой…

Симоне вообразил себе Нубиуса как героя. Как что-то вроде мужского аналога Бабетты д'Интерлакен. И, переделывая в эпос то, что у отца Бергамаски было готической новеллой, Симонини зачаровывал рассказами друзей-студентов. Не добавляя, скажем, ту мелочь, что Нубиус уже умер.

Войдя во вкус, однажды он показал письмо, составить которое ему не стоило труда: якобы Нубиус призывал к немедленному восстанию во всем Пьемонте, в каждом отдельном городе. Тому кружку, где верховодил Симоне, отводилась опасная и соблазнительная роль. Им предлагалось тайно собраться в определенный день во дворе трактира «Золотой рак», найти там уже приготовленные сабли и ружья, найти четыре телеги со старыми мебелями и матрасами, пригнать их на угол улицы Барбару и построить там баррикаду, перегородив проход на Замковую площадь. После этого ждать дальнейших директив.

Ничто не могло удачней воспламенить души двадцати молокососов. Они действительно сошлись утром на заднем дворе обжорки и обна-

ружили в старых бочках обещанную амуницию. Пока они оглядывались, ища телеги со старым хламом и даже не думая заряжать ружья, во дворик влетело не менее пятидесяти жандармов с палашами наголо. Бессильные оказать самомалейшее сопротивление, юнцы немедленно сдались, у них отобрали оружие, их выгнали на улицу и развернули лицом к стене по обе стороны въездных ворот. «Руки вверх, всем молчать!» — гаркнул одетый в штатское платье самый нахмуренный из арестовывавших.

Заговорщики стояли как попало. Тем не менее жандармы пихнули Симоне на место на самом краю шеренги, на углу переулка. Дождавшись мгновения, когда они замешкались, поскольку их подозвал начальник, Симоне шепнул что-то ближнему товарищу. Снова взгляд на охранников — они далеко, — и Симоне с приятелем прыжком бросаются за угол и припускаются бежать во весь дух. — Побег! К оружию! — раздается у них за спиной. Слышен топот жандармов и крик: преследователи грохочут по той же улице. Симоне слышит, как прогремело два выстрела. Один из них ранил его друга. Симоне не задавался вопросом, смертельная ли рана или нет. Он уповал на то, что второй выстрел будет пущен, как они

договаривались, в воздух.

И точно: вот Симоне повернул в другую улицу, потом еще в одну. Крики преследователей слышались все глуше. Соответственно приказу, те бежали по неправильному следу. Позади осталась Замковая площадь. Вот Симоне уже и дома. Снова добропорядочный гражданин. В глазах товарищей, которых тем временем уводили, он храбрый беглец. Поскольку арестовывали всех скопом и сразу же швыряли лицом к стене, никто из полицейских не успел запомнить его лицо. Так что не было даже нужды покидать Турин. Можно было спокойно возвращаться к работе, тем более что семьям схваченных друзей требовались помощь и утешение.

Осталось только покончить с нотариусом Ребауденго. Все было выполнено по плану. У старика потом в заключении случился разрыв сердца, приблизительно через год. Симонини не думал, что несет за это ответ. Они поквитались. Нотариус научил его ремеслу, а он послужил у нотариуса в рабстве. Нотариус разорил его деда, а он разорил нотариуса.

Вот на какой предмет аббат Далла Пиккола просветил Симонини. А что после подобных разоблачений он тоже прилично утомился,

доказывалось тем, что на середине фразы повествование обрывалось, как будто пишущего в самом неожиданном месте сковало обморочным сном.

6. На службе у служб

28 марта 1897 г.

Достопочтенный аббат, забавно наблюдать, как то, что замышлялось дневником, предназначенным только автору, перерождается в переписку. Но да, вот я пишу вам письмо, уверенный, что вы его прочтете. Вы слишком много знаете. Вы слишком много знаете обо мне. Вы неприятный свидетель. Нелицеприятный. Да, признаю, с мальчишками, рвавшимися в карбонарии, и с Ребауденго я сыграл не по тем правилам, которые вам предписывается проповедовать. Но не забудем, что Ребауденго — прощелыга. Перебирая в памяти все, что я делал с тех пор, я нахожу, что обжуливал только жуликов. Что до юнцов… горлопаны, горячие головы. От горлопанов страдает человечество, это они, это их туманные идеалы причина всех войн и революций. Поскольку я уже понимаю, что в этом мире количество крикунов не удастся сократить, так обратим же их крамолу себе на пользу. Вернемся, ежели позволите, к *моим* заметкам. Я подтверждаю, что стал хозяином Ребауденговой конторы. А что я выпекал фальшивые нотариальные акты, мне

кажется совершенно логичным: ведь я продолжаю выпекать их и сейчас, живя в Париже.

Да, вы мне помогли припомнить кавалера Бьянко. Однажды он сказал: — Послушайте, адвокат. Иезуиты запрещены в пределах Сардинии и Пьемонта, однако установлено, что они продолжают тут действовать, переодетые, и ведут пропаганду. Как во всех землях, откуда их выслали. Мне показали комичную картинку в иностранной газете. Иезуиты лезут в свою страну, туда их не пускают, притворная борьба: на деле же они хотят лишь только отвлечь внимание от своих собратьев, перелицевавшихся и переодетых, которых полным-полно остается в той стране. Так вот, нас интересует знать, в кого они переодеты, как перелицованы. Мы знаем, что со времени Римской республики иезуиты были приняты под крышей дома вашего достопочтенного дедушки. Есть основания думать, что вы поддерживаете связи с некоторыми. Прощупайте их настроения. Нам кажется, что орден во Франции опять набирает силу. А что имеет место во Франции — это почти уже произошло и тут в Турине.

Что я поддерживал отношения с иезуитами — не соответствовало действительности. Но я многое узнавал о них из добротного источника. Эжен

Сю как раз тогда публиковал свой последний роман, «Тайны народа», перед самою кончиной в изгнании, возле озера Аннеси в Савойе, куда он удалился, будучи издавна связан с социалистами и возмущенно не принимая ни восхождения Луи-Наполеона к власти, ни провозглашения империи. Поскольку романы-фельетоны уже не печатались после законодательной поправки Риансе, последняя вещь Сю выходила отдельными томиками, на которые сразу кидались многочисленные цензоры, среди прочих и наши пьемонтские. Было очень трудно собрать полную коллекцию. Помню, я просто изнывал от скуки над довольно бестолковыми сагами о двух семействах, галльском и франкском, от доисторических времен до Наполеона Третьего. Злодеями были франки. Франки порабощали галлов. А галлы казались законченными социалистами уже во времена Венцингеторикса. Видно было, что Сю уже полностью превратился в маньяка, как все идеалисты.

Чувствовалось, что последние части многотомника он заканчивал в изгнании, по мере того как Луи-Наполеон захватывал и укреплял свою императорскую власть. Чтобы показать всю его мерзость, Сю додумался до гениального

хода. Раз уж с самой Революции другим великим врагом Французской республики были иезуиты, достаточно было изобразить, будто приход Луи-Наполеона на царство подстроен иезуитами! Правда, иезуиты были изгнаны из Франции еще в Июльскую революцию 1830 года. На самом деле, отвечал на это Сю, на самом деле они только попрятались. И поподнимали головы, когда Луи-Наполеон начал восхождение к власти. Он не преследовал иезуитов, желая наладить добрые отношения с римским папой.

И вот в «Тайнах народа» вопроизводится длиннейшее письмо отца Родена (уже приведенное в другом романе, «Вечный жид») генералу ордена иезуитов отцу Роотаану. В письме рассказывается иезуитский заговор со всеми подробностями. История, прослеженная в романе, кончается во времена последнего сопротивления социалистов и республиканцев, старающихся предотвратить государственный переворот. Поступки, действительно потом совершенные Луи-Наполеоном, в этом письме преподнесены как наполеоновские планы. А потом, как видят читатели, предсказания оправдались. Такое пророческое сочинение впечатляет, вы согласитесь.

Мне, конечно, сразу навернулось на память

начало «Джузеппе Бальзамо» Дюма. Взять бы это начало, вместо Громовой горы поставить какую-нибудь более святошескую декорацию, допустим — крипту старого монастыря. Заменить масонов сыновьями Лойолы, съехавшимися со всего света. Было бы прекрасно, если бы вместо Бальзамо слово взял Роден. Вот так его старую схему всемирного заговора удалось бы «осовременить».

И я подумал, что вполне могу всучить кавалеру Бьянко не только какие-то подслушанные сплетни, а настоящий цельный документ, якобы похищенный у иезуитов. Безусловно, его нужно будет подновить. Убрать оттуда отца Родена, которого, боялся я, кто-нибудь помнит по приключенческому роману. Зато ввести отца Бергамаски, невесть где находящегося сейчас, но о котором могла сохраниться какая-то память. Не забыть: когда Сю писал свой роман, генералом ордена был еще отец Роотаан. А дальше, по слухам судя, его сменил некий отец Бехкс.

Документу надлежало смотреться почти буквальной стенограммой сведений, полученных из надежного источника. Причем источник не должен был быть доносчиком (известно, что иезуиты не выдают своих). Пусть он будет старым другом моего дедушки, доверившим ему тайное доказа-

тельство величия и непобедимости ордена.

Хотелось бы всунуть в сюжет и евреев, в честь покойного деда. Но у Сю о евреях ничего не было. С иезуитами они не сочетались. Вдобавок в оную пору в Пьемонте евреи вообще не интересовали никого. И нельзя же перегружать мозги правительственных слуг. Им требуются ясные и простые идеи: черное — белое, добрые — злые. Злых должно быть не более одного.

Так как не хотелось отказываться от евреев, я их использовал для антуража. Они давали все же мне возможность подвести Бьянко к порогу размышления о подозрительности иудейства.

Какое-то парижское или, хуже того, пьемонтское место брать было нельзя — перепроверят. Оставалось отправить моих иезуитов в труднодостижимую даже для пьемонтских тайных служб точку. Известную только по легендам. Но иезуиты, божеские подлипалы, умеют пролезть везде и повсюду. Их загребущие пальцы дотягиваются и до стран, исповедующих протестантство.

Подделка документов требует солидной документальной подготовки. Вот почему я вечно в библиотеках. Библиотеки обворожительны. Как будто на перроне, мелькают в глазах названия экзотических стран. Вроде и вправду

путешествуешь. И я нашел в одной книге очень красивые картинки еврейского кладбища в Праге. Заброшенное кладбище с двенадцатью тысячами обелисков, и так-то уж тесное. Однако памятников явно должно было быть больше. В течение столетий покойники там скучивались буквально один над другим. Там нет новых захоронений. Некоторые доски восстановили. Теперь это неровная толпа памятных досок, накрененных на все четыре стороны. Возможно, что сами евреи натыкали их в этом беспорядке, поскольку им чужды понятия гармонии и красоты.

На этих полузаброшенных усыпальницах было лучше всего собирать иезуитов. В частности — потому, что это абсурдно. Зачем могло понадобиться иезуитам устраивать слет на месте, священном у иудеев? Почему иезуитам было бы позволено распоряжаться этим забытым и, вероятнее всего, труднодоступным местом? На эти вопросы ответа не имелось. Тем рассказ выглядел солиднее: я был почти уверен, что, в представлении кавалера Бьянко, чем лучше пригнаны между собой детали, тем подозрительнее рассказ. Любителю Дюма, мне было приятно описывать эту ночь и встречу богомерзких заговорщиков на пристанище мертвецов, в слабом блеске ча-

хоточной луны. Иезуиты сошлись в полукруг. Их толпа, в черных широкополых шляпах, кажется скопищем тараканов. Я с наслаждением рисовал сатаническую улыбку падре Бехкса, выбалтывающего дьявольские планы мерзких врагов человеческого рода. Отец мой, взирая с того света, радовался на меня с небес. Да нет, вернее, из своей пучины ада, куда Господь засылает мадзинианцев и республиканцев. Я живописал этих подлейших провозвестников зла в то время, как они расползаются восвояси. Разносят по всем своим тайным кланам, ухоронившимся в странах света, новейший и инфернальный секретный умысел завоевания мирового господства. Снимаются с места, подобно воронью на восходе солнца, и этим кончается адская ночь, преддверие их дьявольского плана.

Следовало, однако, писать скупо и резковато, как положено в тайном донесении. Известно, что у полицейских осведомителей нет литературных претензий и они не расписываются больше чем на два или на три листа.

Мой ябедник, по этой идее, должен был докладывать, что в описанную ночь все представители Общества Иисуса, посланцы множества стран, имели свидание в Праге с иезуитом Бехксом. Тот

же представил собравшимся отца Бергамаски, который по целой сумме провиденциальных причин сделался советником Луи-Наполеона.

Отец Бергамаски рассказал, что ему удалось подчинить Луи-Наполеона влиянию иезуитского Общества. Он отметил, что поступает все больше доказательств этого от императора. — Восхищает, как изворотливо Бонапарт обманул революционеров, прикинувшись, будто принял их учение. Как ловко провел интригу против Луи-Филиппа, скинув атеистическое правительство. В этом он выполнял наши инструкции. В 1848 году он предстал перед избирателями как честный республиканец. Ну, те дали себя обхитрить и избрали его президентом Республики. Не забудем и сколь рьяно помогал он душить Римскую республику, боролся с Мадзини и восстанавливал Его Святейшество на папском престоле.

— Не кто иной, как Луи-Наполеон, поставил себе целью, — продолжал Бергамаски, — решительно уничтожить социалистов, революционеров, философов, атеистов и прочих негодных рационалистов, твердящих о суверенитете народной воли, о свободном волеизъявлении, о свободе совести, религиозной, политической и гражданской… Роспуск Законодательного собрания, арест

представителей народа как предполагаемых заговорщиков, введение в Париже чрезвычайного положения, расстрел без суда всех мужчин, захваченных на баррикадах, высылка неблагонадежных в Кайенну, подавление свободы печати и собраний, ввод военного контингента в форты и оттуда по команде — расстрел столицы, в намерении испепелить ее, камня на камне, дабы с триумфом восстановилась католическая, апостольская, римская церковь на руинах нового Вавилона. Затем народ был призван голосовать за то, чтобы на десять лет продлить срок его личного президентского правления. А потом — за то, чтобы республику переименовали в обновленную империю. Против демократии есть только это единственное верное средство — общенародное голосование. В нем ведь определяющая роль отводится крестьянам. Ну а крестьяне покорно выполняют, что им подсказали сельские священники. Самое интересное, я решил, Бергамаски скажет в конце, насчет политической линии по Пьемонту. Именно в этом месте Бергамаски провозвестит, в чем состоят дальнейшие планы иезуитов. Те самые планы, что ко времени написания рапорта успеют уже воплотиться точно по намеченному.

— Этот безвольный королишка Виктор-Эммануил мечтает о Королевстве Италия. Его министр двора, Кавур, подогревает в нем эти капризы. Оба они жаждут не только изгнать Австрию с полуострова, но и отменить светскую власть Его Святейшества. Они всенепременно обратятся за поддержкой к Франции. И поэтому их будет легко втянуть — первым делом — в войну против России, обещавши помочь им против Австрии, но забрав взамен Савойю и Ниццу. Потом французский император прикинется, что готов споспешествовать пьемонтцам. Однако после мелких локальных побед он заключит с австрийцами сепаратный мир и будет способствовать образованию итальянской конфедерации под управлением папы, в которую войдет Австрия и удержит при себе все свои итальянские владения. Таким образом, Пьемонт, оплот единственного либерального правительства на полуострове, окажется в подчинении и у Франции и у Рима, и его будут контролировать французские войска. Те, что посланы оккупировать Рим, и те, что размещены в Савойе.

Вот вам и документ. Я не знал, до какой точно степени пьемонтскому правительству понравится, что в нем Наполеон Третий выведен в

качестве вредителя в отношении Сардинии и Пьемонта. Но я уже тогда уловил то, чему с возрастом судилось подтвердиться и личным опытом. Сотрудники спецслужб ценят, даже если не применяют непосредственно, документы, позволяющие шантажировать власть и правительство, вносить неразбериху, переворачивать все с ног на голову.

И действительно, кавалер Бьянко внимательно вник в мой рапорт, время от времени поглядывая мне в глаза поверх текста, и дал свое заключение. Материал чрезвычайно значительный. Тем уж в который раз подтвердилась моя гипотеза, что если шпион намерен открыть нечто доселе неслыханное, пусть он расскажет именно то, что нетрудно приобрести на любом второсортном книжном развале. Однако, хоть и мало понимая в литературе, кавалер Бьянко не так уж мало понимал во мне, поэтому добавил проницательно:

— Все высосано из пальца, естественно.

— Помилуйте! — оскорбился я. Он поднял руку, прерывая мои речи:

— Оставьте, адвокат. Даже ежели документ чеканился на вашей кузне, мне и моим начальникам прямой расчет предъявить его правительству как достоверный. Вы ведь знаете… в наши вре-

мена это известно *urbi et orbi*... что наш министр Кавур мнил, будто держит Наполеона Третьего в кулаке. Он это мнил после того, как подослал к Наполеону графиню Кастильоне, женщину красивую, спору нет, и, конечно, француз без колебаний воспользовался ее расположением. Но со временем стало ясно: Наполеон не слушается Кавура. Выходит, графиня Кастильоне расточила свои красы понапрасну. Ну, разве что ей было в охотку. Однако не приличествует нам увязывать государственный интерес с шалостями гривуазной дамы. Очень важно, чтобы наш с вами государь, Его Величество, разочаровался в Бонапарте. Мы уверены, в самом скором времени Гарибальди или Мадзини, а может быть, оба сразу организуют поход в Неаполитанское королевство. Если, часом, эта вылазка увенчается успехом, Пьемонту предстоит незамедлительно вмешаться. Не оставлять же земли в руках заполошных республиканцев.

Чтобы вмешаться, придется пьемонтцам пройти по итальянскому сапогу через папские государства. Так вот. Надо настроить нашего монарха недоверчиво и враждебно по отношению к папе. А также чтоб он не сильно прислушивался и к рекомендациям французского императора

Наполеона Третьего. Вот наши главные предварительные действия в интересах того, чтоб военный поход удался. Как вы поняли уже, дорогой адвокат, политика гораздо чаще определяется нами, покорными слугами государства, нежели теми, кто, по представлениям народа, предержит власть…

Этот рапорт — первая моя по-настоящему серьезная работа. Уже не стряпать фиктивные завещания по заказам частных лиц. Я составил политически сложный текст, способный повлиять на политику Сардинии и Пьемонта. Признаться, мною овладело тщеславие.

Тем временем пришел громовый 1860 год. Громовый для судеб страны, но не лично для меня. Я ограничивался бесстрастным слежением за событиями. Подслушивал праздношатающихся в кафе. Размышлял, что придется все глубже и глубже вкапываться в политику. Приходил к выводу, что самое перспективное для моих подделок — это те политические слухи, которые подслушаны в кафе, а не те вести, которые важно предсказываются в солидных газетах. Бездельники судачили, что великое герцогство Тосканское, герцогство Моденское, герцогство

Пармское скидывают своих правителей. Так называемые папские миссии Эмилии и Романьи освобождаются из-под контроля папы. Ждали аннексии Королевства Сардинского. В апреле 1860 года вспыхнуло восстание в Палермо. Сплетничали, будто Мадзини написал главарям, что Гарибальди выступит им на помощь. Говорили: Гарибальди собирает людей, средства и оружие для военной экспедиции. И что бурбонский флот крейсирует в сицилийских водах, чтоб перерезать пути неприятелю. — А вы знаете, что Кавур использует доверенное лицо, Ла Фарина, для давления на Гарибальди?

— Ну что вы такое говорите. Министр объявил подписку для приобретения двенадцати тысяч винтовок, как раз таки именно для Гарибальди.

— А подписку-то запретили. Кто запретил? Королевские карабинеры, вот кто!

— Ну, прошу вас, не повторяйте это. Очень прошу. Кавур, наоборот, содействует, как может. И этот заем он поддерживает, как может.

— Ну еще бы. А уж винтовки-то им какие дают. Ведь не нарезные же «энфильды», которых ждал Гарибальди. А бросовые железяки. Нашим отважным воинам только можно будет пострелять из них жаворонков.

— Мне известно от людей, приближенных к двору, но не буду называть имен… Ла Фарина передал Гарибальди восемь тысяч лир и тысячу винтовок.

— Да. Хотя обещано было три тысячи. А две тысячи отхватил губернатор Генуи.

— А при чем тут Генуя?

— Сами подумайте. Не на ослах же гарибальдийцы отправляются в Сицилию. Гарибальди подписал контракт о приобретении судов. Он купил два корабля. Отправляются из Генуи. Откуда-то неподалеку от Генуи. Знаете, кто выступил гарантом выплаты? Гарантировали масоны, а точнее, генуэзская ложа.

— Да какие, к чертям, ложи! Масоны — выдумка иезуитов!

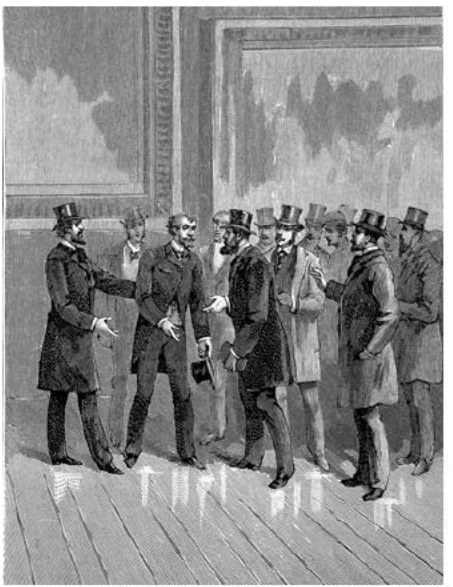
— Помолчали бы! О вас-то все знают: вы и есть самый явный масон!

— Тс-с… Из проверенного источника нам известно, что на подписании договора присутствовали (дальше шепотом) адвокат Риккарди и генерал Негри ди Сен-Фрон…

— А это еще что за субчики?

— Как, не знаете? (Шепот переходит в шелест.) Руководители Тайного отделения, точнее, Высшего Политического Надзора. Это служба

осведомления Председателя совета… Это люди всемогущие, они важнее премьер-министра. Вот кто они. А вы: масоны, масоны… — Это вы ошибаетесь. Можно служить в Тайном отделении и в то же время быть масоном. Полезнее для работы.



– Да какие, к чертям, ложи! Масоны – выдумка иезуитов!
– Помолчали бы! О вас-то все знают: вы и есть самый явный масон!

Пятого мая стало гласно, что Гарибальди с тысячью добровольцев отплыл на кораблях, держа курс на Сицилию. Пьемонтцев там насчитывался хорошо если десяток. Имелись иностранцы, а также в великом количестве адвокаты, врачи, аптекари, инженеры и сельские помещики. Так называемых людей из народа среди них было мало.

Одиннадцатого мая гарибальдийские корабли пристали в Марсале. Куда смотрел бурбонский военный флот? Похоже, что этот флот напугался двух английских кораблей, патрулировавших в порту формально для защиты прав англичан, экспортирующих из Марсалы вино. Французы побоялись, что британцы встанут на сторону Гарибальди?

Короче, за какие-то считанные дни гарибальдийская «Тысяча» (так их стали сразу же называть) разбила бурбонцев под Калатафими и набрала новых солдат из местных волонтеров. Гарибальди провозгласил себя диктатором Сицилии на службе у короля Виктора-Эммануила Второго, а ближе к концу месяца они захватили и Палермо. — А Франция, Франция! Отчего же она молчит?

Франция, казалось, занимала позицию наблю-

дения. Хотя один француз, даже познаменитее Гарибальди, Александр Дюма, прославленный романист, на своем собственном судне «Эмма» поспешил поддержать свободолюбцев, везя им оружие и немало денег.

В Неаполе несчастный король Обеих Сицилий, Франциск Второй, в ужасе от побед гарибальдийцев и от предательства собственных генералов, поспешил обнародовать амнистию по политическим приговорам и заново принять статут 1848 года, который сам до этого отменил. Но опоздал. В его столице низы уже были обуяны смутой.

Как раз тогда, в начале июня 1860 года, я получил записку от кавалера Бьянко, с указанием быть готовым в двенадцать часов ночи. За мной заедет карета в нотариальную контору. Не самый общепринятый, конечно, час. Я чувствовал, что назревает любопытное дельце. В полночь, потный (в те дни жара до самых пяток прожигала туринцев), я ждал перед воротами дома. Карета с глухими стеклами, затянутыми занавеской. В ней кто-то сидел, непредставившийся. Мы приехали куда-то. Я чувствовал, что мы не слишком удалились от центра. Даже что-то мне подсказывало, будто карета несколько раз прокружила по тем же улицам. Мы высадились во дворе-колодце.

Ободранные стены, типичный плебейский быт: чугунные решетки, балконы, навесные переходы в квартиры. Меня ввели в низкий лаз, за которым открылся длинный узкий ход. В конце этого хода еще одна небольшая дверь вела в подъезд совершенно иного здания. Простор, торжественная широкая лестница. Однако мы поднялись не по ней, а по задней, неказистой. Наконец мы в кабинете со штофными обоями. Большой портрет короля на стене, стол под зеленой ковровой скатертью. За столом четыре человека. Один из них был кавалер Бьянко. Он и представил меня остальным. Никто не протянул руки. Ограничились короткими кивками. — Садитесь, адвокат. Господин от вас по правую руку — генерал Негри ди Сен-Фрон. Слева от вас адвокат Риккарди. Напротив вас профессор Боджо, депутат парламента от Валенцы По.

Из застольных разговоров, подслушанных в кафе, мне было известно, что те двое — руководители Высшего Политического Надзора, которые, утверждала молва, помогли Гарибальди купить корабли. А Боджо я тоже знал по имени. Он был журналист, в тридцать лет уже профессор права. Недавно был выбран депутатом. Человек, приближенный к Кавуру. Розовощекий, усатый, с

крупным моноклем размером с приличное бутылочное донце и с видом самого наивного на свете простака. Но почтительность остальных говорила без слов, какими полномочиями пользуется он при правительстве.

Негри ди Сен-Фрон взял слово первым: — Дорогой адвокат, мы знаем, сколь успешно вам удается наводить справки, и отмечаем, до чего сдержанно и рачительно вы со справками обращаетесь. Поэтому сейчас вы получите деликатное задание. Выполнять его предстоит в местах, недавно завоеванных генералом Гарибальди. Не принимайте этот обескураженный вид. Вам не поручено вести краснорубашечников в атаку. От вас, как водится, ждут справок. Но для того, чтоб объяснить, какие же именно сведения интересуют правительство, мы вынуждены доверить вам то, что без колебания назову государственными тайнами. Из этого вам будет ясно, какую высшую осмотрительность от вас потребуется проявлять с сегодняшнего дня и до скончания операции. Естественно, и после того. К тому, надеюсь точно выразиться, вас подведет забота о самосохранении. А мы о вашей-то безопасности, естественно, всемерно заботимся.

Дипломатичней, умри, не скажешь. Сен-Фрон всемерно заботился о моем здоровье и поэтому

оповещал меня, что если мне вздумается болтать о том, что я сейчас готовлюсь услышать, тогда, неровен час, здоровью моему могла бы приключиться какая-нибудь внезапная угроза. Однако такое предисловие позволяло и предположить, что по серьезности поручения соответственной будет и плата. Поэтому я важно кивнул Сен-Фрону продолжать речь.

— Никто не объяснит вам положение удачнее, чем депутат Боджо. В частности, потому, что к нему и сведения и пожелания поступают из высочайшего источника, к которому он приближен. Прошу вас, досточтимый профессор…

— Вам следует знать, адвокат, — вступил тут Боджо, — не сыщется в Пьемонте преданнейшего, чем я, ценителя нашего цельного и благородного воина, нашего генерала Гарибальди. Как он успел в Сицилии с горстью отважных, против самой оснащенной европейской армии, это какое-то чудо. Из этого начала мне стало ясно: Боджо — заклятый ненавистник Гарибальди. Я решил слушать дальше не перебивая.

— Тем не менее, хотя и правда, что Гарибальди провозгласил себя диктатором завоеванных территорий лишь от имени Виктора-Эммануила Второго, кое-кому из окружения Гарибальди это

не нравится. Ему дышит в затылок Мадзини. Интригует, чтобы на Юге вспыхнуло массовое восстание и была провозглашена республика. А мы знаем, до чего этот Мадзини ловок убеждать. Беззаботно проживая себе за границей, он убедил немалое число недоумков пойти на смерть. Среди самых близких соратников генерала — Криспи и Никотера, мадзинианцы первейшего разбора. Они пагубно влияют на генерала, неспособного распознавать злоумышленников и интриганов. В общем, мы вполне уверены: Гарибальди в скором времени двинется на Мессину. Он форсирует пролив и окажется в Калабрии. Гарибальди превосходный военачальник. Набранные им добровольцы — энтузиасты. К нему примкнуло значительное количество сицилийцев, то ли из патриотизма, то ли из страха. А бурбонские генералы уже проявили такое бессилие, что поневоле подозреваешь, не тайные ли подкупы сыграли свою роль, так резко повлияв на их боеспособность. Не станем сообщать им, что мы начинаем догадываться, от кого исходят подобные щедроты. Ясное дело, не от нашего правительства… Значит, Сицилия во власти Гарибальди. И если в его же власти окажутся и все три провинции Калабрии и провинция Неаполя, генерал с поддержкой

мадзиниевских республиканцев овладеет королевством в девять миллионов душ. Пользуясь безграничной поддержкой подданных, он превзойдет могуществом нашего монарха. Чтобы избежать столь неугодного итога, нашему монарху только и остается, что самому выступить на Юг с войском. Пройти, конечно не без потерь, через папские государства и попасть в Неаполь. Опередив Гарибальди. Это ясно?

— Ясно. Но не вижу, чем могу лично я…

— Погодите. Экспедиция Гарибальди вдохновлялась волной патриотизма. Чтобы сдержать эту волну, а точнее, чтобы нейтрализовать ее, мы должны распространить мнение, посредством контролируемых слухов и газетных публикаций, будто в гарибальдийский штаб просочились двуличные и непорядочные люди. Соответственно и потребовалось вмешательство Пьемонта.

— Точнее, — подал голос адвокат Риккарди, который все это время молчал, — не следует подрывать доверие к самой экспедиции. Нам желательно только ослабить доверие к революционному строю, возникающему в результате экспедиции. Граф Кавур сейчас посылает в Сицилию своего Ла Фарина, убежденного сицилийского патриота, побывавшего и в ссылке. По

всему по тому ему обеспечено полное доверие Гарибальди. Однако он многие годы работает и на наше правительство. Им было основано Национальное Итальянское общество, борющееся за присоединение Королевства Обеих Сицилий к единой Италии. Ла Фарина уполномочен внести ясность в некоторые аспекты, донельзя тревожащие, о которых нас оповестили. Похоже на то, что в своем идеализме и неподготовленности генерал Гарибальди допустил там у них такое правление, которое противоречит самой идее правления. Естественно, его превосходительство не имеет возможности следить за всем. Его личная добросовестность вне всяких обсуждений. Но кому он передоверил руководство? Кавур ожидает от Ла Фарина полного рапорта обо всех обнаруженных злоупотреблениях. Но мадзинианцы сделают все, что могут, чтоб отгородить Ла Фарина от народа, то есть от тех слоев общества, среди которых удобнее собирать данные о непорядках.

— И в любом случае наше Управление доверяет Ла Фарина лишь постольку, поскольку… — снова вмешался Боджо. — Я ничего не хочу сказать, но он тоже, как те, сицилиец. Может, они и порядочные люди, но ведь они непохожи на нас, правда? Поезжайте с рекомендательным письмом к Ла

Фарина и опирайтесь на него, но чувствуйте себя свободным в работе и поступках. От вас не требуют собирать только подлинные бумаги. Напротив, как вы делали уже и прежде, можете их сами производить по ходу дела.

— А как я попаду туда и в каком обличье?

— Мы, как обычно, продумали досконально все, — улыбнулся Бьянко. — Господин Дюма, чье имя вы не можете не знать, популярный сочинитель, плывет к Гарибальди в Палермо на собственном корабле «Эмма». Не очень понятно, зачем он плывет. Может быть, просто хочет описать гарибальдийский поход в своих романах. А может, из тщеславия, чтобы потом хвастаться дружбой с великим человеком. Как бы то ни было, через два дня он причалит в Сардинии, в заливе Арзакена, то есть в границах нашего государства. Послезавтра же на рассвете вы, любезный адвокат, отплывете из Генуи на одном из наших судов, которое доставит вас в Сардинию. Там вы встретитесь с Дюма. Покажете ему рекомендацию, написанную одним знакомым, которому Дюма многим обязан и всячески доверяет. Вы будто бы журналист, пишущий для изданий, которыми начальствует профессор Боджо. Вас послали в Сицилию за репортажами о походе

Дюма и о походе Гарибальди. Так вы примкнете к тем, кто окружает романиста. Высадитесь с ними в Палермо. Высадка с Дюма вам придаст вес в общих глазах. Это не то что являться самому по себе. Сможете потереться среди волонтеров, послушать настроения толпы. Еще одно письмо известного уважаемого человека откроет вам доступ к молодому офицеру на службе у Гарибальди, к капитану Ньево. Гарибальди, судя по всему, назначил его главным вице-интендантом. Достаточно сказать, что уже в момент отплытия «Ломбардии» и «Пьемонта», кораблей, доставивших гарибальдийцев в Марсалу, Ньево принял у Гарибальди средства в размере четырнадцати тысяч лир. Это часть тех девяноста тысяч, которые — касса всей военной операции. Мы не знаем, почему на эту административную роль назначили именно Ньево. Он, по нашим сведениям, писатель. Но похоже, у него репутация честнейшего человека. Ему будет приятно познакомиться с вами как с литератором, с газетным репортером и вдобавок приятелем знаменитого Дюма.

Дальше мы обсудили практические стороны задуманного дела и мое вознаграждение. Наутро я закрыл нотариальную контору на неопределенный срок, собрал мелочи и, по какому-то наитию,

уложил с собой сутану, оставшуюся от отца Бергамаски. Я вынес сутану из дедова дома, прежде нежели весь дом отошел к кредиторам.

7. В гарибальдийской «Тысяче»

29 марта 1897 г.

Не знаю, сумел ли бы я восстановить все течение событий, а в особенности изменения чувств, владевших мной в дни сицилийского путешествия (июнь 1860 — март 1861), если бы в прошлую ночь, разбирая старые бумаги в ящиках внизу в магазине, не нашарил бы на дне кипу каких-то покоробленных листов. Как выяснилось, я в то время вел памятный календарь. Скорее всего, для отчета туринским работодателям. Между набросками имеются пробелы. Ясно, что я помечал все то, что казалось мне существенным. Или чему я желал бы придать существенность. А о чем я тогда умолчал — не могу знать.

* * *

С шестого июня на «Эмме». Дюма принял сердечно. Он в легкой тужурке светло-коричневого цвета. Весь вид выдает мулата, какой он и есть. Смуглая кожа, вздутые чувственные губы, курчав. Африканец-дикарь. В остальном же взгляд имеет подвижный и ироничный, улыбку сердечную,

фигуру пухлую: любит приятно жить. Припоминаю легенды о нем. Какой-то франтик в Париже в его присутствии пошел распространяться о происхождении первобытного человека и низших расах. Дюма сказал: «Конечно, сударь, я потомок обезьяны. А вы ее предок».

Он мне представил команду. Капитан Богран, помощник капитана Бремон, лоцман Подиматас (волосатый, как кабан, даже на лице, где не борода, — там просто шерсть. Из зарослей только белки блестят) и в особенности повар Жан Бойе. Дюма с ним так обращается, будто повар у него на корабле первое лицо. Дюма путешествует со свитой, как феодал.

Подиматас проводил меня в каюту и по пути осведомил, что коронное блюдо Жана Бойе — это «спаржа горошком». Любопытный кулинарный казус. Каждый думает сразу о зеленом горошке, а горошка там как раз-то и нет.

Обогнули остров Капрера. На нем отдыхает Гарибальди, когда не воюет. — Что до его превосходительства, скоро вы его встретите, — сказал Дюма. От одного упоминания на лице его выразился восторг. — С этой белокурой бородой и голубыми глазами он вылитый Иисус в «Тайной вечери» Леонардо. Его движения грациозны,

голос мил. Он добросердечен. Однако стоит вам произнести при нем слова «Италия» и «независимость», и он пробуждается, как вулкан. Огонь и лава! Он не носит оружия, но чуть бой — хватает первую попавшуюся саблю, отбрасывает ножны и кидается на врага. В нем одна только слабость. Он считает себя пупом вселенной.

Происшествие. На борту оживление. Матросы выловили крупную черепаху. Оказывается, и такое попадается южнее Корсики. Дюма в экстазе. — Предстоит работенка! Сначала повернем ее на спину, дурашка выглянет: что там? Тут мы ей голову-то отрежем. Потом подвесим ее за хвост на полсуток, выпустим кровь. Снова уложим на спину. Всунем хороший нож между брюшными и спинными пластинами. Главное — не зацепить пузырь. Если растечется желчь, черепаху есть будет нельзя. Вынем внутренности. Сохраняется только печень. Прозрачная кашица, которая у ней внутри, не идет в пищу. Но там есть два мясных орешка, они похожи на телячьи филеи вкусом и белизной. Отрубим, кроме того, перепонки, шею и ласты. Нарежем их на мелкие куски, выдержим для очистки, зальем добрым бульоном с перцем, гвоздикой, морковью, тимьяном и лавром. Все это будем варить три или четыре часа на малом огне.

Тем временем нарежем пулярдку на длинные ломти. Приправим петрушкой, луковой стрелой, анчоусом. Все это сварить в кипящем бульоне, бульон слить, соединить с черепаховым мясом, добавить три-четыре бокала мадеры. Если нет мадеры, можно и марсалу с чарочкой наливки или рома. Но это уже не то… А нас с вами ждет черепаховый суп завтра на ужин. Мне понравился человек, увлеченный хорошей кухней. Почти простил его сомнительную породу.



...Что до его превосходительства, скоро вы его встретите, – сказал Дюма. От одного упоминания на лице его выразился восторг. – С этой белокурой бородой и голубыми глазами он вылитый Иисус в «Тайной вечери» Леонардо...

* * *

13 июня

«Эмма» с позавчера в Палермо. В городе столь-

ко краснорубашечников, что улицы похожи на маковое поле. Но некоторые добровольцы-гарибальдийцы одеты и вооружены как попало. Бывает, что только перо на шляпе, остальная одежда обычная. Кумача не найдешь с огнем. Готовая кумачовая рубаха стоит целое состояние. Их скорее увидишь на благородном сословии, на отпрысках, примкнувших к гарибальдийцам уже после того, как первые и самые кровавые сражения были выиграны. А у тех, кто в армии с самой Генуи, таких рубашек почти никогда и нет.

Кавалер Бьянко снабдил меня достаточною суммой, чтобы не бедствовать в Сицилии. Я с самого начала достал себе потрепанную военную форму, чтобы не выглядеть новоприбывшим. Рубашка, застиранная до розовости, и видавшие виды кубовые панталоны. Но рубашка-то обошлась мне в пятнадцать франков. В Турине четыре можно купить на это.

Цены вздуты. Яйцо стоит четыре су, хлеба фунт шесть су, мяса фунт — тридцать. Отчего так? То ли остров этот скуден и приезжие уже потребили все, что имелось, то ли палермитанцы решили, что войско Гарибальди ниспослано им самим Богом, и не упускают своего счастья.

Встреча двух великих людей во Дворце Сената

(«Точно как в парижской мэрии в 1830 году!» — ликовал Дюма) выглядела театрально. Не знаю, кто из них двоих больший кривляка. — Дорогой мой Дюма, как мне вас не хватало!

Генерал почти кричал. Дюма в ответ рассыпался в восторгах. Генерал отнекивался: — Нет, не мне, не мне, а вот этим людям надо воздать должное. Они гиганты!

И тут же молодцам из свиты: — Отвести господину Дюма лучший апартамент во дворце. И даже того будет мало для человека, который привозит такие письма! В письме сказано, что скоро мы получим две тысячи пятьсот солдат, две тысячи ружей, два парохода!

Я глядел на героя с недоверием. После смерти папаши я на всех героев гляжу с недоверием. Дюма описывал его как Аполлона, а на самом деле — невысокий рост, не блондин, а белесый, ноги низкие и кривые, видимо, и ревматизм имеется, по походке судя. На лошадь он залезал кряхтя, два адьютанта подсаживали.

К вечеру у дворца собралась толпа с криками «Многая лета Дюма, виват Италия!». Ему очень понравилось. Я же подумал, что все, наверное, подстроено Гарибальди. Догадался, что за позер его гость, и хочет обещанные ружья. Я потолкал-

ся в толпе и послушал, что говорят. Их диалект непостижим, как разговор африканцев. Но все же я уловил смысл. Один в толпе спрашивал, кто такой Дюма, которому кричат виват, а другой отвечал, что это черкесский князь, набитый деньгами, дает деньги Гарибальди.

Дюма перезнакомил меня с людьми генерала. Меня поразил один с хищным взором. Это был полномочный представитель диктатора, лейтенант Нино Биксио. Он меня так напугал, что я предпочел держаться от него подальше. Надо найти какую-нибудь харчевню, куда ходить и подслушивать незамеченным.

Сицилийцы считают меня гарибальдийцем, а участники похода — вольным журналистом.

* * *

Опять видел Нино Биксио. Тот инспектировал город. По многим слухам, экспедицией командует он. Гарибальди отвлекается: генерал мысленно в будущем. Он хорош для атаки, увлекает людей. А Биксио занят настоящим делом. Он способен собрать и привести в порядок войска. Биксио проезжал, а один гарибальдиец говорил при мне товарищу: — Ты гляди, как зыркает. Как саблей наотмашь. Биксио! Даже и имя такое, что кажет-

ся: чик — и рубанет.

Разумеется, волонтеры глаз не сводят с Гарибальди и его свиты. Опасная штука для них самих. Военачальники — кумиры солдат чаще всего кончают жизнь на плахе, во имя процветания царства. Мои туринские наниматели совершенно правы. Эта гарибальдийская мода никак не должна укрепляться. Иначе все карликовые государства, расположенные к северу, напялят красные рубахи и установится республика.

* * *

15 июня

Трудновато объясняться с местными. Единственное, что ясно, — это что дерут втридорога с любого, кто похож на пьемонтца, хотя пьемонтцев в этой армии раз, два и обчелся. Нашел закусочную, где недорогие ужины и имеются превосходные блюда, только я их не умею называть. На местном диалекте не выговоришь. А вообще, по виду — пирожки с селезенкой. С очень порядочным местным вином их глотаешь и глотаешь — не останавливаешься. Подружился за едой с волонтерами, одного зовут Абба, из Лигурии, лет не более двадцати, а другого Банди. Банди — журналист из Ливорно. Приблизительно моего

возраста. По их рассказам восстановил, как шла высадка и что происходило в первые дни. — Ты бы видел, Симонини, — разглагольствовал Абба. — Высадка в Марсале, чистый цирк! Перед нами, значит, «Стромболи» и «Капри», корабли бурбонцев. Наш «Ломбардец» налетает на скалу. Нино Биксио кричит, что лучше пусть захватывают корабль с пробоиной, чем целый и хороший. И что следует затопить еще и «Пьемонт». Это вроде не рачительно, я сперва подумал. А потом решил, ежели разобраться, Биксио прав. Не дарить же было корабли бурбонцам. И вообще великие полководцы, высадивши армию, жгут корабли. Ну, «Пьемонт» начинает высадку. «Стромболи» палит из пушек. Но там осечка. Капитан английского судна, что в порту, поднимается на борт «Стромболи» и говорит французскому капитану, что в городе находятся английские подданные, так что французы ответят за международный инцидент. Ты ведь знаешь, англичане в Марсале блюдут свои интересы. Я имею в виду экспорт вина. Бурбонец отвечает, что ему наплевать на инциденты. Палит из пушек снова. Дает осечку опять. Когда наконец французским кораблям удается кое-как выстрелить, ядра не попадают ни в кого. Разорвало только на улице собаку.

— То есть вам в конечном счете пособили англичане?

— Ну, они разок спокойно высказались, и все. Но французы оказались в затруднении.

— А какие отношения у генерала с англичанами? Абба развел руками и поднял глаза: ему-де, пехотинцу, положено воевать и не задавать вопросов.

— Ты вот послушай. Десантируют в городе. Что первым делом? Взять телеграф, перерезать провода. Отправляют лейтенанта и несколько солдат. При их появлении телеграфист убегает. Лейтенант находит на телеграфе текст свежепосланной депеши из Марсалы военному коменданту Трапани: «Два парохода сардинским флагом ссаживают людей в порту». Пока он читает, приходит ответ. Один из солдат, пришедших с лейтенантом, служил телеграфистом в Генуе. Он расшифровывает текст: «Сколько людей, зачем ссаживаются?» Офицер ему диктует: «Прошу исправить ошибку. Грузовые суда из Джирдженти грузом серы». Ответ из Трапани: «Вы идиот». Лейтенант перерезает провода и уходит очень довольный.

— А я думаю, — вмешивался Банди, — что высадка была не буффонада, не то, что сейчас описал Абба. Помню, мы стояли на рейде, с бурбонских

кораблей действительно метали гранаты и стреляли. Но мы не унывали, что правда то правда. Среди этой пальбы вдруг какой-то монах, толстый, старый, машет шляпой, вроде приветствует. Ему кричат: «Эй, преподобие, нашел тоже место! Дуй отсюда!» Гарибальди тут поднимает высоко руку и торжественно ему: «Святой отец, что вы тут ищете? Не слышите разве, как свистят ядра?» Монашек: «Меня не устрашают ядра. Я из бедного братства Святого Франциска, я сын Италии!» — «Так вы, что ли, за народ?» — «За народ, за народ!» И тогда-то стало ясно, что Марсала наша. Генерал тогда послал Криспи в налоговое управление от имени Виктора-Эммануила, короля Италии, реквизировать казну. Деньги передали под расписку интенданту Ачерби. Королевства Италия еще не существовало тогда! Расписка, которую Криспи выдал в налоговое управление Марсалы, стала первым документом, где Виктор-Эммануил именовался королем Италии. Я воспользовался случаем выведать: — Но разве интендант — не капитан Ньево? — Ньево — заместитель Ачерби, — объяснил Абба. — Молодой, а уже такой знаменитый писатель! Истинный поэт. По лицу прямо видно вдохновение. Он всегда один, вечно смотрит вдаль, словно пробует расширить гори-

зонт. Думаю, Гарибальди очень скоро назначит его полковником. Ему вторил Банди: — Под Калатафими Ньево замешкался, следил за раздачей хлеба. И тут Боццетти как заорет: «В атаку!» Ньево сразу кинулся прямо в схватку. Он полетел на врага, как черная птица, развевая фалды плаща. И одну фалду тут же прошила пуля… Этого хватило, чтобы я невзлюбил Ньево. Мой ровесник, а знаменит! Поэт и воин. Конечно, пуля пробьет плащ, если ты его растопыриваешь. Очень умно: дырка получена, однако, прошу заметить, не в груди, а в плаще…

Тут Альба и Банди перешли к сражению под Калатафими. Чудом взятая победа, тысяча добровольцев против двадцати пяти тысяч бурбонцев, гораздо основательнее вооруженных. — Гарибальди скакал в голове, — расписывал Абба, — на гнедом Великом Визире, под изумительным седлом, при фигурных стременах, в красной рубахе и в венгерской папахе. Близ Салеми к нам примкнули тамошние добровольцы. Они стекались со всех сторон, конные, пешие, сотнями, черт знает что, вооруженные горцы до зубов, головорезы такие, господи упаси, взгляд — что прицел в упор. Привели их порядочные господа, помещики. Салеми — грязная дыра, улицы — канавы. Но у монахов

были приличные монастыри. Мы и селились в монастырях. В те дни к нам поступали неоднородные сведения о противниках. Их там, дескать, четыре тысячи, нет, десять тысяч, нет, двадцать. С конницей и с пушками. И они укрепляются там, нет, в другом месте, наступают, отступают… Покуда этот враг внезапно не пошел на нас. Их было тысяч пять, а может быть, и десять тысяч. У нас кое-кто до сих пор считает, что десять. Между ими и нами дикое поле. С гор на нас идут неаполитанские егеря. Такие уверенные, спокойные, по всему видно, знают свое дело. Не то что мы, ворон только гораздые гонять. И у них заунывные охотничьи рога. Трубят. Пугающие звуки! Первый заряд выпустили в обед, в полвторого. Стреляли опять-таки неаполитанские егеря, прошедшие к тому времени через шпалеры колючих опунций. «На их огонь не отвечать! На их огонь не отвечать!» — заголосили наши капитаны. Но пули егерей летали над нашей головой и мяукали. Не отвечать было трудно. Недолет, перелет, играет трубач его превосходительства генерала, играет «бегом марш». Пули сыплются градом. Гора впереди — просто облако дыма. Столько на ней огневых точек. Мы бежим по полю, прорываем линию обороны врага. Я повертываюсь, вижу

Гарибальди во весь рост, с саблей. Медленным шагом он идет под пулями по ратному полю. Биксио летит к нему галопом, чтобы прикрыть своим конем, с криком: «Ваше превосходительство, вы рискуете умереть!» А тот отвечает: «Что может быть лучше смерти за родину?» — и идет себе под тем же самым градом пуль. Я даже испугался, что генерал считает битву проигранной и ищет смерти. Но тут же долетают громовые выстрелы наших пушек. Как будто тысячею рук нам пособляют в нашем деле. Вперед, вперед, вперед! В ушах только труба, непрерывный сигнал «бегом марш». Штыковая атака, карабкаемся на гору, первый, второй, третий уступ. Бурбонские батальоны пятятся на вершину. Они скучиваются, их кажется больше. Боязно — как их штурмовать? Их множество, и они наверху. А мы под ними, растерянные, изнуренные. Затишье. Бурбонцы засели сверху, мы залегли под ними. От них то и дело попыхивает, от нас то и дело попукивает, они вдобавок еще скатывают валуны и кидаются камнями. Говорят, что камнем ранило его превосходительство. Меж кактусов, помню, умирал молодой доброволец на руках у двоих товарищей. Прежде чем закрыть навеки глаза, он просил товарищей быть милосердными к неаполитанцам,

ведь и те тоже итальянцы. Весь откос завален павшими, но не слышится жалоб. Неаполитанцы кричат сверху:

«Да здравствует король!» Тем временем подходят подкрепления. Помню, ты появился, Банди. Ты был весь израненный. Помню, что пуля вошла тебе в левую часть груди, и я сказал себе: этот уже мертв. Но, однако, когда мы шли на последний приступ, ты ведь шел впереди всех. Как ты смог?

— Пустяки, — бурчал Банди. — Царапины.

— А помнишь французов, воевали вместе с нами? Там был один худой и грязный, с дульнозарядным штуцером, куда он вколачивал пули и даже камни. Лез наверх и с охотой выпускал все это по неприятелю. Еще одного, помнишь, его еще подранило в ляжку? Выковырнул пулю из тела, выбросил пулю — и опять ринулся в бой. Описав Калатафими, Абба переходил к битве у Адмиральского мостика: — Пропади я к чертям, Симонини, такие дни описаны у Гомера! Мы штурмуем Палермо. Нас встречает толпа местных повстанцев. Один кричит «черт!», крутится вокруг себя, отступает на три-четыре шага, будто пьяный, и сваливается в большую канаву, к подножию двух тополей, рядом с неаполитанским стрелком, прежде угроханным… Поди, какой-

то из часовых, наши сняли их в начале. Тут я слышу, вроде генуэзец, под ураганом свинца, с растяжечкой на своем диалекте спрашивает: «Трам-тарарам, а пройти-то здесь как?» В эту минуту ему пуля в лоб, наповал, расколот череп. На Адмиральском мосту, на дороге, под быками моста, на берегу, в огородах — всюду штыковые бои. На заре мы наконец захватили мост, но дальше не можем идти из-за шквального обстрела. Стреляют пехотинцы, засевшие за какую-то гряду. Конница летит на наш левый фланг. Но мы эту конницу отбили. Перешли мост. Группируемся на перекрестке у ворот Термини. Опасное место. Простреливается пушками с бурбонского корабля. Перед нами баррикада. Стреляют и те. Да нам что за дело! На кораблях бьют склянки шторм. Бежим по переулкам. И вдруг — что за престранная картина. Держась за перила руками, а руки у них как лилии, три в белых одеждах девицы, неслыханной красоты. Глядят на нас, онемели. Ну вылитые ангелы с фресок. «Кто вы?» — «Мы итальянцы». Оказывается, они монахини. Бедняжки, подумали мы. А хорошо бы их освободить и повеселить. Они как закричат: «Да здравствует святая Розалия!» А мы им: «Да здравствует Италия!» И они нам вторят «Виват Италия!» этими

своими певческими голосками. Пожелали нам победы. Мы еще пять дней провоевали в Палермо до перемирия. Но сестрички не дули в ус, и мы обходились потаскушками.



...На Адмиральском мосту, на дороге, под быками моста, на берегу, в огородах – всюду штыковые бои...

Использовать ли этих двоих энтузиастов? Молодые, только-только обстрелялись, обожествляют генерала Гарибальди. И сочиняют звонче, чем Дюма. В их рассказах куры становятся орлицами. Сами они, допускаю, кое-как справлялись с боевыми заданиями. Но возможно ли, чтоб Гарибальди спокойно гулял под обстрелом, когда его можно опознать за версту? А если это правда, значит, враги по высокому приказу нарочно целятся мимо?

Эти мысли у меня возникли в первый раз, как я наслушался нашего трактирщика. Тот, похоже, дядька тертый и бывал во всех концах полуострова. Так что когда он говорит, кое-что я понять могу. Он-то и присоветовал мне перемолвиться с доном Фортунато Музумечи, нотариусом. Музумечи знает все обо всех. И он видит их насквозь, этих новых приезжих.

К нему, естественно, не в красной рубахе. Я и вспомнил о сутане падре Бергамаски. Умело прилизать волосы, елейная мина, потупить взор. Вот я уже выскользнул с постоялого двора. Неузнаваем. Неосторожность, однако. Ходили слухи, что вот-вот вышлют всех иезуитов с острова. Но как-то мне сошло. Вдобавок, как мишень неминучей несправедливости, иезуит вызывает тем пущее

доверие у всех, кому не нравится Гарибальди.

Затеял первый разговор с доном Фортунато в кафе, где тот попивал кофеек после утренней мессы. Шикарное кафе, в самом центре. Дон Фортунато нежился, запрокинув лицо под солнышком и опустив веки. Он был не брит и в черной визитке с черным галстуком, невзирая на летнюю жару. В желтых пальцах полузатухшая сигара. Отмечаю, что они кофе готовят с цедрой. Интересно, кофе с молоком тоже? Сидел за соседним столом, пожаловался на зной, дело сделано, разговор завязан. Представился корреспондентом римской курии, посланным разузнать, что там творится у них в этой Сицилии. Музумечи поэтому разговорился. — Преподобный отец, кто поверит, что какая-то тысяча, набранная откуда придется, вооруженная чем попало, приплыла в Марсалу и захватила город, не потеряв ни единого человека? Бурбонские корабли, а это второй в Европе флот после английского, стреляли-стреляли, но не попали ни в кого? Вы в это верите? А далее, в Калатафими, все та же тысяча побродяг, к которым подогнали еще сотню-другую челядинцев их хозяева-помещики, желавшие подольститься к оккупантам… Против войска, которое по обученности и вооружению одно из первых в мире! Не

знаю, представляете ли вы, что такое бурбонская военная академия. И что, тысяча побродяг с привеском нищих обращают в бегство двадцать пять тысяч обученных бойцов? Из которых, правда, воевала только часть, а остальных почему-то удерживали в казармах? Реки там текли, сударь мой, реки денег. Ими были подкуплены и офицеры на военных судах в порту в Марсале. Не сомневаюсь, что был подкуплен генерал Ланди под Калатафими. Сражение не кончилось; дело шло к вечеру; он мог бы выпустить свежее подкрепление и разогнать к черту этих ряженых. Вместо этого он отошел на Палермо. Сколько дали ему? Четырнадцать тысяч дукатов, по моим сведениям. Ну и что ему за это было? Да за гораздо меньшую провинность пьемонтцы лет двенадцать назад расстреляли генерала Раморино. Не то чтобы я обожал пьемонтцев. Но у пьемонтцев по военной части все строго. А бурбонцы просто сместили с должности Ланди и заменили его генералом Ланца. Ланца тоже был подкуплен Пьемонтом, с самого начала, не сомневаюсь. Подумайте только, как бурбонцы сдали Палермо… Гарибальди усилил свою банду, набрав три тысячи пятьсот бестий из сицилийских висельников. Но Ланца-то располагал шестнадцатью

тысячами солдат. Шестнадцатью тысячами. И почему-то не выставлял их в сражение. Он выставлял их мелкими группами, и их, естественно, постоянно громили. Да еще в Палермо, знамо дело за деньги, какие-то предатели залезали на крыши и стреляли бурбонцам в спину. В порту на глазах у бурбонского флота пьемонтские корабли сгружали ружья для добровольцев. Позволили Гарибальди дойти до тюрьмы Викарии и до Берега Приговоренных. Он освободил еще тысячу каторжан. Они все влились в его войско. А что творится в Неаполе! Нашего бедного государя окружают негодяи. Уже роздана им плата. И у него уже земля загорелась под ногами…

— А на чьи все это делается деньги?

— Преподобный отче! Мне просто удивительно, что в Риме это неизвестно! На деньги английских масонов, на чьи еще! Видите вы связь? Гарибальди — масон, Мадзини — масон, Мадзини проводит всю ссылку в Лондоне в общении с английскими масонами. Кавур — масон, получает инструкции от английских лож. Все, кто окружает Джузеппе Гарибальди, — масоны. Они задумали не столько развалить королевство Обеих Сицилий, сколько нанести смертельный удар Его Святейшеству. Потому что, безусловно, после Обеих Сицилий

Виктор-Эммануил захочет еще и Рим. Верите вы в сказочку о добровольцах, выступивших с кассой в девяносто тысяч? Девяноста тысяч лир не хватило бы даже на прокорм всей оравы объедал и опивал. Их поди пропитай. Сожрали все подчистую в Палермо и разграбили все окрестности города… Нет, масоны из Англии передали Гарибальди три миллиончика французских франков! В золотых турецких пиастрах, которые ходят по всему Средиземноморью!

— Да как они хранят столько золота?

— Его хранит доверенный масон Гарибальди, капитан Ньево. Мальчишка, нет ему еще тридцати. Главный казначей. И черти эти осыпают деньгами генералов, адмиралов, кого хотите, а крестьянам шиш. Те пускай голодают. Ждали крестьяне, что Гарибальди нарежет им земельку хозяев. А генерал Гарибальди, естественно, угождает тем, у кого земля и у кого деньги. Погодите, скоро случится, что голодранцы, пришедшие умирать под Калатафими, поймут наконец, что для них ничего не поменялось. Они начнут тогда стрелять по самим добровольцам. Из ружей, снятых с убитых. Сменив рясу снова на красную рубашку, я пошел в город. На паперти какой-то церкви познакомился с монахом, отцом Кармело.

По его словам, ему двадцать семь, но он выглядит на сорок. Он сказал, что хотел было прибиться к нашим, однако что-то его удержало. Я спросил — что же? Ведь под Калатафими воевали и монахи.

— Да я бы воевал, если б знал точно, что вы и вправду задумали что-то путное. Но слышу от ваших все только одно: Италия станет единым народом. Но народ, единый он или нет, все только мучится. Народ-то мыкается. И как мне знать, способны ли вы прекратить его мучения.

— Народ получит свободу и школы.

— Свободой не наешься, и школой тоже. Это для вас, пьемонтцев, довольно. А для нас нет.

— А вам чего же надобно?

— Нам? Воевать не с Бурбонами, а с теми, кто морит нас голодом. Не только при дворе, а повсюду.

— То есть против вас же, монастырских? Ведь как раз у вас угодья, богатства?

— Ну и против нас. Даже в первый черед против нас! С Евангелием в сердце и с крестом в душе. Вот тогда и я бы пошел. А покамест для меня ваши посулы — пустые звуки. Насколько я помню, в университетские годы ходил по рукам знаменитый манифест, манифест коммунистов, так вот, по-моему, этот монах из них. Не очень

легко понять эту Сицилию.

* * *

Еще с дедовых времен у меня неотвязная мысль как засела, так не дает покоя. Вот и сейчас я задаюсь вопросом: заговор в пользу Гарибальди тоже не обошелся без евреев? Ведь без них не обходится ничто. Мои сомнения развеял Музумечи: — Ну конечно! Прежде всего, если не все масоны евреи, то уж точно все евреи — масоны. А гарибальдийцы-то уж! Я не поленился прочесать список марсальских добровольцев, тот, что напечатан в газете под заголовком «Слава смелым». Какие там имена? Еудженио Рава, Иосиф Узиель, Исаак д'Анкона, Самуил Маркези, Аврам Исаак Альпрон, Моисей Мальдачеа, есть еще Коломбо по имени Донато, но сын покойного Абрама. Кто они с такими именами? Добрые христиане?

* * *

16 июня

Познакомился наконец с капитаном Ньево. Отнес рекомендательное письмо. Фертик, холеные усики, прядка под губой. Изображает из себя мечтателя. Явный наигрыш! Во время встречи

вошел волонтер спросить о каких-то одеялах. И тут же Ньево, как самый мелочный счетовод, его подловил: десяток одеял уже выписывали его роте на прошлой неделе.

— Вы что, их едите? — съехидничал Ньево. — Будете дальше есть, отправлю переваривать в кутузку. Волонтер вытянулся и исчез.

— Чем приходится заниматься! Вам, наверное, сказали, что я литератор. Ну а тут пожалуйте снабжать войско довольствием и обмундированием. Я заказал двадцать тысяч новых комплектов формы. Каждый день пополнение. Волонтеры из Генуи, Ла-Специи, Ливорно. Постоянно маячат просители. Ходят графы и герцогини, просят по двести дукатов в месяц. Думают, что Гарибальди — архангел небесный. Здесь в обычае ждать, чтобы все падало прямо с неба. У нас-то, если что-то нужно, добывают работой. А в Сицилии не то… Я, в некотором роде, главный казначей. Не иначе как в честь моего юридического образования. Выпустился в Падуе и по гражданскому, и по уголовному праву. А может, знают, что не ворую. Это известно. Не воровать — большая доблесть тут на острове. Здесь «начальник» и «мошенник» синонимы. Да, конечно. Но этот Ньево при этом прикидывается поэтом, «голова в облаках». Я

спросил, присвоили ли уже ему полковника. Он ответил, что, право, не знает.

— Видите, непростая ситуация. Биксио вводит военную дисциплину пьемонтского образца, как будто мы в Пинероло. А мы просто-напросто разношерстная ватага… Хотя для ваших статей, для Турина, пожалуй, эти мелочи излишни. Вы вот что: отдайте должное нашему искреннему порыву, энтузиазму, царящему у нас. Тут вправду люди жертвуют жизнью и вправду верят. На остальное предлагаю смотреть как на обычное колониальное завоевание. Палермо забавный город, полнится сплетнями, почти как Венеция. На нас тут не нарадуются — герои! Два локтя красной холстины на блузу да семьдесят сантиметров стали на шашку: и готовы герои для милых дам, чья мораль не столь тверда, как кажется.

Что ни вечер, мы в театре в чьей-нибудь ложе. Шербеты тут в Сицилии превосходные.

— Вы покрываете расходы войска. Сложно, я думаю, учитывая, сколь немного средств имелось в день отплытия из Генуи? Вы, верно, реквизировали денежные средства в Марсале?

— Что мы там реквизировали! Мелочь! А вот как мы прибыли в Палермо, генерал сразу отправил Криспи за кассой Банка Обеих Сицилий.

— Я слышал, в размере пяти миллионов дукатов… Вдохновенный поэт вмиг преобразился в доверенного казначея генеральского штаба. Он возвел глаза к небесам:

— Чего только люди не скажут… Но должен добавить, что поступают и взносы дарения от многих патриотов со всей Италии. Я бы сказал, со всей Европы. Напишите это покрупнее в своей там газете в Турине, чтобы напомнить тем, кто забыл пожертвовать. Ну, самое трудное — это вести бухгалтерские книги, потому что когда здесь официально будет Итальянское Королевство, я передам все правительству Его Величества, в полном порядке, с учетом до единого гроша, приходы и расходы. …Как же ты оприходуешь миллионы от английских масонов? — подумал я. Или все вы заодно, ты, Гарибальди и Кавур: деньжата пришли, но говорить об этом нежелательно? А можно еще так: да, были какие-то деньги, но тебе лично это неизвестно, ты ничего не знаешь, тебя водили за нос, ты добродетельная, но мелкая фигура, которую некто (хотелось бы знать, кто именно?) использовал как прикрытие, и ты думаешь, что в сражениях вы побеждали милостью Божией?

Этот человек был не вполне ясен. Единственное, что мне казалось в его речах совершенно

искренним, — это жгучее сожаление о том, что добровольцы в последние недели бойко продвигаются к восточному берегу, одерживают победу за победой, того гляди, форсируют пролив и окажутся в Калабрии, а потом в Неаполе, а его-то прикомандировали в Палермо заниматься бухгалтерским учетом в тылу. А он рвет постромки. Есть на свете такие люди. Чем обрадоваться, что счастливая судьба посылает ему вкуснейшие шербеты и шармантных синьор, ему неймется получить еще парочку пуль в полу шинели.

Слыхивал я: на Земле обитает уже больше миллиарда душ. Не скажу, чтоб понимал, как они это подсчитали. Но стоит походить по Палермо, чтоб стало ясно, что нас уже чересчур много и толкучка почти несносная. А хуже всего несносная вонь. И еды уже начинает не хватать. А подумать, что будет, когда мы пуще размножимся. Так что кровопускание для населения благотворно. Конечно, есть еще чума, самоубийства, смертные казни, записные дуэлянты, а также те, кому охота скакать по лесам и полям и ломать шею… Еще слышал я, что английские джентльмены любят плавать в море и, естественно, до смерти утопают там в морской воде… Этого недостаточно. Но есть войны. Самое действенное сдерживающее

средство. Самое натуральное: чем лучше проре-живать избытки человеческого рода? Разве не говорили в напутствие издревле, отправляясь на войну: на то воля божия? По собственной воле мало бы кто шел воевать. А если не шел бы никто, никто бы и не умирал. Так что же делать? Вот тут и необходимы личности вроде Ньево, Аббы или Банди, любители подставляться под пули. Чтоб я и подобные мне поменьше злобились на то, что двуногие жмутся везде и не дают продыхнуть.

Вот почему, хотя сильные духом мне и про-тивны, но я вынужден признать, что от них некоторая польза есть.

* * *

Понес к Ла Фарина свое рекомендательное пись-мо. — Если вам нужны приятные известия для туринцев, — сказал мне Ла Фарина, — то оставьте надежду. Правительства тут нет. Гарибальди и Биксио как-то командуют своими генуэзцами, но не мною же, в самом деле. В наших землях не было обязательной военной службы. А они при-шли набирать тридцать тысяч рекрутов… Кое-где повспыхивали мятежи. Далее. Они выпустили декрет, что из органов управления изгоняются прежние служащие королевской администра-

ции. Но это были единственные, кто умел читать и писать. Позавчера какие-то безбожники подуськивали сжечь городскую библиотеку, она-де основана иезуитами. Губернатором Палермо объявили какого-то сосунка из Марчилепре, его тут никто не знает. В глубине острова совершаются жуткие преступления. Довольно часто убийцы — как раз те, кому поручено охранять порядок. В полицию понабирали отпетых и законченных бандитов. Гарибальди честен, но не способен рассмотреть, что делается под его же носом. В одной только партии лошадей, реквизированных в провинции Палермо, недосчитались двухсот голов! Командовать батальоном назначают любого, кто подаст рапорт. Назначают — он набирает батальон. В результате есть и такие батальоны, с оркестром и полным офицерским составом, в которых всего сорок или пятьдесят рядовых. На офицерскую должность, бывает, назначают троих или четверых одновременно! В Сицилии уже нет судов, ни гражданских, ни уголовных, ни торговых, потому что разогнали должностных лиц судебных ведомств. Военные трибуналы выносят приговоры по всем вопросам, как будто во времена гуннов! Криспи и его приспешники утверждают, что Гарибальди за то не любит граж-

данский суд, что судьи в нем и адвокаты сплошь жулики. Не хочет собирать ассамблею, потому что депутаты умеют орудовать только пером, а не мечом. Не хочет создавать никакую охрану правопорядка, полагая, что гражданам надлежит брать оружие и защищаться самостоятельно. Они утверждают… а правда ли то — неизвестно, потому что мне теперь с генералом Гарибальди и поговорить не удается.

Седьмого июля я услышал, что Ла Фарина арестован и выслан под стражей в Турин. Приказ подписал Гарибальди. Явно по наущению Криспи. У Кавура нет больше осведомителя. То есть все будет зависеть от моих донесений.

Нет уже смысла переодеваться священником для разведывания обстановки. Открыто сплетничают во всех тавернах. Сами же добровольцы и ропщут на всеобщий развал. Кто-то жалуется, что сицилийцы, записавшиеся в войско Гарибальди после взятия Палермо, разбегаются. Уже недосчитываются полусотни. Многие уносят выданное им оружие. «Деревенщина, — резонировал Абба. — Вспыхивают, как сухая трава, а потом им надоедает». Полевой суд приговаривает их к смерти, а потом почему-то отпускает с глаз долой. Размышляю, что же на самом деле

происходит. Эти сицилийские волнения, скорее всего, состоялись по следующим причинам. Была себе забытая богом местность, выгоревшая под солнцем, без какой бы то ни было воды, кроме морской, с редкими шипастыми плодами. Сотни лет там ничего не происходило. И вот на тебе, является Гарибальди. То есть людям до Гарибальди очень мало дела. Как и до короля, которого Гарибальди низвергает. Они просто все с ума посходили, потому что в кои веки хоть что-то новое у них случается. И каждый понял «новое» по-новому. А может статься, что ветер перемен — обычный сицилийский сирокко, который снова всех убаюкает на века.

* * *

30 июля

Ньево, с которым я теперь регулярно вижусь, поделился со мной новостью. Гарибальди получил официальное послание Виктора-Эммануила, в котором ему прямо предписано: пролив не форсировать. Но в послание была вложена еще и личная записка того же короля. Такая примерно: я-де направил вам королевский приказ, на который вам советую направить в мой адрес следующее возражение, что вы всей душой настро-

ены выполнять приказ, однако ваш долг перед Италией не позволит вам отказать в поддержке неаполитанцам, буде они пожелают драться за свободу. Каково! Двойная игра короля. Против кого же? Против Кавура? Или против Гарибальди самого? Ему запрещают двигаться на континент, в то же время приказывают двигаться, а когда он двинется, то в ответ на нарушение приказа на Неаполь пойдет сам король со своим пьемонтским войском? — Генерал бесхитростен и обязательно попадется на их лукавство, — посетовал Ньево. — Хотел бы я быть сейчас с ним рядом. Но долг обязывает остаться здесь… Я обнаружил, что этот высокомудрый ученый тоже млеет от Гарибальди. В минуту слабости он показал мне том, накануне полученный, «Гарибальдийские восторги», опубликованный на Севере и даже без высылки ему корректуры. — Если они хотели создать у читателей образ мужественного рыцаря, без страха, но с некоторым упреком, то благодаря кошмарным ошибкам и опечаткам они в этом преуспели. Я прочел один из этих опусов про Гарибальди и уверился, что стих уж точно не без упрека:

Гарибальди вдохновенный,

Дерзновения зерцало!
Вся страна, склонив колени,
В восхищенье созерцала,
Как он шел дорогой славы,
Человечный, нежноликий,
Прямоспинный, гордоглавый,
И простейший, и великий!

Они так неровно дышат по кривоногому коротышке…



...Гарибальди вдохновенный,
Дерзновения зерцало,
Вся страна, склонив колени,
В восхищенье созерцала,
Как он шел дорогой славы...

* * *

12 августа

Был у Ньево. Проверить слух, точно ли гари-

бальдийцы высадились на калабрийском берегу. Он в ужасном настроении, чуть не плачет. Обнаружилось, что в Турине брюзжат по поводу его управления. — Да у меня ведь все записано до гроша, — и шлепает по своим гроссбухам в багровых тканевых переплетах. — Все поступления, все расходы. Покражи, недостачи — все поддается проверке по этим ведомостям. Когда я передам гроссбухи кому следует, головы-то полетят! Но только не моя.

* * *

26 августа

Даже не будучи стратегом, похоже, из доходящих сюда новостей можно вполне реконструировать положение. Масонское ли золото или чистосердечные симпатии к савойцам, но что-то побудило неаполитанских министров устроить заговор против короля Франциска. Начнется с народного восстания в Неаполе. Потом бунтовщики попросят помощи у правительства Пьемонта. Тут Виктор-Эммануил и двинется на Юг. Гарибальди, похоже, все это невдомек. А может, наоборот, он это знает и поэтому торопится на Север. Хочет попасть в Неаполь раньше Виктора-Эммануила.

* * *

Ньево в бешенстве. Он потрясает письмом: — Все ваш Дюма. Прикидывался крезом, а теперь делает креза из меня! Вы почитайте только! С какой наглостью! И будто от имени генерала Гарибальди! Вот в письме сказано… В окрестностях Неаполя наемники из Швейцарии и Баварии на службе у Бурбонов учуяли поражение и готовы дезертировать за четыре дуката на каждого. Их там пять тысяч, получается двадцать тысяч дукатов, то есть девяносто тысяч франков. Дюма, роскошный, как граф Монте-Кристо из его же книги, денег этих не имеет. От щедрот своих он готов взнести несчастную тысячу франков. Тысячу обещали собрать патриоты, живущие в Неаполе. Остальное предполагается, что доложу я. Интересно, откуда я должен взять эти деньги? Мы проследовали в трактир. — Симонини, тут все в ажитации из-за высадки на континент. Никто не заметил трагедию, которая постыдным пятном марает всех нас, всех нас. Это произошло в Бронте, около Катании. Там десять тысяч жителей, по преимуществу пастухи и землепашцы, обреченные существовать в режиме, похожем на средневековый феодализм. Всю эту землю пода-

рили лорду Нельсону вместе с титулом герцога Бронте. Означало это, по сути, что земля в руках у немногих богачей или «благородий», как их там зовут. Людей используют как скот и с ними обходятся как со скотом, людям запрещают входить в господские леса и собирать там съедобные травы, люди должны платить за право прохода на собственное поле. Появился Гарибальди. Эти люди решили было, что настал час справедливости и что им раздадут землю. Сформировались комитеты, так называемые либеральные. Главным у них стал адвокат Ломбардо. Но все же Бронте — собственность англичан. А англичане помогли Гарибальди в Марсале. Ломбардо колеблется, не знает, какое решение принять. Ну, эти люди прекращают слушаться адвоката Ломбардо и либералов, прекращают что бы то ни было понимать, затевается песья свара, резня, убивают «благородий». В эту заваруху, естественно, в ряды повстанцев затесываются и висельники, каторжная отрыжка. Это не секрет, что в получившейся на острове безалаберщине на свободу вышло множество таких типажей, которым лучше было бы сидеть и сидеть… В общем, дальше стало хуже, потому что пришли на остров мы. Под нажимом англичан Гарибальди выслал разбираться

Биксио. Биксио не умеет церемониться. Он ввел чрезвычайное положение, применил к повстанцам карательные меры, принял сторону местной правящей верхушки и определил, что адвокат Ломбардо был зачинщиком беспорядков. Это не соответствовало истине, но какая разница, надо было дать острастку. Ломбардо был расстрелян с четырьмя другими осужденными, среди коих один юродивый дурачок, который задолго до мятежа ходил по улицам и выкрикивал проклятия в адрес «благородий», не пугая совершенно никого. Не говоря уж о горечи пред лицом расправ, меня лично удручает еще один аспект. Я объясню. Вы понимаете, Симонини, как все это представляется, глядя из Турина? С одной стороны до них доходят рассказы о карательных мерах, то есть мы выглядим как радетели за обиженных помещиков, с другой доходят домыслы, как я вам говорил, о якобы необъяснимых наших тратах. Вот и получается: берем взятки у помещиков за расстрелы их крестьян, а на взятки предаемся безумному разврату. Якобы. Вы же знаете, что все не так. Что мы тут умираем. Притом бесплатно. А они нам еще портят кровь как могут.

* * *

8 сентября

Гарибальди вступил в Неаполь. Город не сопротивлялся. Голова у генерала, похоже, совсем вскружилась, потому что, как рассказывает Ньево, Гарибальди потребовал от короля убрать Кавура. Сейчас туринцы непременно спросят с меня отчета об обстановке. Мне ясно, что он должен быть как можно более антигарибальдийским. Педалировать: золото масонов, безрассудство Гарибальди, кровопролитие в Бронте, преступления, кражи, лихоимства, коррупцию и разбазаривание средств. О поведении добровольцев — согласно услышанному от Музумечи. И как они шляются по монастырям и бесчестят дев (а можно и так: бесчестят монахинь, та же палитра — да краски гуще). Состряпаю два-три настоящих ордера на реквизицию личного имущества граждан. Создам анонимное донесение о систематических сношениях Гарибальди с Мадзини через посредничество Криспи. Об их умысле вводить республиканское правление повсюду и даже в Пьемонте. В общем, напишу основательный и энергичный доклад, позволяющий прижать Гарибальди хвост. Спасибо еще, Музу-

мечи мне подбросил дополнительную отличную тему. Что гарибальдийцы в большинстве своем — иноземные наймиты. — В составе тысячи полно французских, американских, английских, венгерских и даже африканских авантюристов. Чернь, отбросы всех наций. Многие, кто пиратствовал с тем же самым Гарибальди в Америках. Ну и фамилии у него в штабе! Турр, Эбер, Туккори, Телоки, Магиароди, Кцудаффи, Фригиесси!

Музумечи так брезгливо выплюнул эти имена, что я толком их и не расслышал, только первые два — Эбер и Турр — были мне уже известны. — Не считая поляков, турок, баварцев и какого-то немца по имени Вольф, предводителя немецких и швейцарских дезертиров, улепетнувших из бурбонского войска. Толкуют еще, что английское правительство прислало Гарибальди батальоны алжирских и индийских солдат. После этого мне рассказывают о каких-то итальянских патриотах! В этой тысяче дай бог коли половина итальянцев наберется.

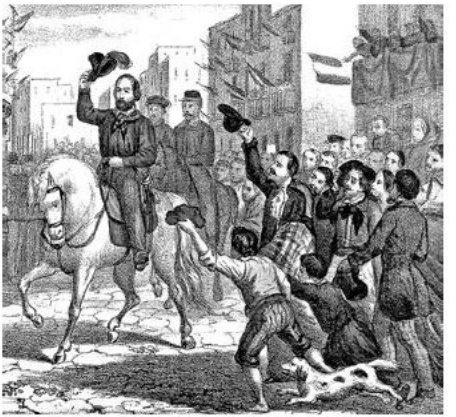
Музумечи, думаю, пересаливает. Вокруг меня все говорят с акцентами, но с какими? С венецианским, ломбардским, эмилианским или тосканским. Индусов я, убей, не видел. Но если в донесении я как следует педалирую этот мотив

— попурри из всевозможных народов и рас, — то, уверен, хуже от этого отнюдь не будет.

Ну и, само собой, намеки на внедренных евреев, повязанных с международными масонами.

Очевидно, надо срочно заканчивать рапорт и срочно его доставлять в Турин, причем не выпуская из рук. Я тут нашел один пьемонтский военный корабль, плывущий в сардинские королевства. Не стоило труда спроворить официальное предписание капитану взять меня на борт до Генуи. Так завершилась моя сицилийская миссия. Мне даже чуть жаль, что не увижу, как там дело пошло в Неаполе. Но я не развлекаться сюда ехал. И не эпическую поэму сочинять.

Собственно говоря, из всей поездки я нежно вспоминаю только омлет «пишьи д'ову», улитки по способу «пикки-пакки» и трубочки с кремом. О, трубочки с кремом… Ньево все обещал угостить меня особым видом рыбы меч «а саммуриггу», но мы так и не успели. Мне осталось только обсасывать название.



...Гарибальди вступил в Неаполь. Город не сопротивлялся...

8. «Геракл»

По дневниковым записям за 30 и 31 марта и 1 апреля 1897 г.

Повествователь уже умаялся воспроизводить эту сложную дуэтную перепевку между Симонини и влезшим к нему аббатом… 30 марта Симонини набросал общую канву своей жизни и своих деяний в Сицилии, испещрив текст помарками и перемарками, и пространными вписываниями, и крестообразными вычеркиваниями, все же поддающимися прочтению. Все это может только раздражить Читателя. 31 марта в этом же дневнике потоптался Далла Пиккола, приразвигая герметически зажатые створки памяти Симонини, вытаскивая детали, которые тот категорически отказывается вспоминать. А первого апреля Симонини после ужасной ночи с многочисленными рвотными позывами опять берется за дневник. Возмущаясь, он торопится смягчить все преувеличения и затушевать моралистические пассажи аббата. Повествователь же, не понимая уж, кто из двоих заслуживает большего доверия, решил пересказать события по собственному шаблону. И, ясно, берет на себя

ответственность за этот свой пересказ в полной мере. Доехав до Турина, Симонино Симонини передал свое творение кавалеру Бьянко. День спустя ему доставили записку, в которой снова предписывали вечером ждать на условленном месте, откуда карета доставила его туда же, где он уже прежде побывал. Его снова встретили Бьянко, Риккарди и Негри ди Сен-Фрон.

— Адвокат Симонини, — заговорил Бьянко. — Не знаю, позволяет ли наша взаимная доверительность выражать без обиняков искренние чувства, но все-таки скажу вам, что вы болван.

— Послушайте, я не позволю…

— Позволите, позволите, — вмешался Риккарди, — позволите добавить, что это сказано от лица всех нас. Я добавил бы еще, что болван опасный, до такой степени, что возникает желание ограничить свободу разгуливания по Турину субъекта, у которого в голове такие невозможные идеи.

— Даже если я в чем-то ошибся, не понимаю…

— Ошибся, ошибся во многом, ошибся в главном. Да отдаете ли вы себе отчет, что в ближайшее время, это известно уже каждой домохозяйке, генерал Чальдини переходит с нашими войсками границу папского государства? И вероятно, через какой-нибудь месяц наша армия уже будет

стоять у ворот Неаполя. Объявят референдум. Общенародною волей Королевство Обеих Сицилий со всеми территориями вольется в состав Королевства Италия. Если Гарибальди человек порядочный и вменяемый, он сумеет взять верх над экзальтированным Мадзини и примет как данность, воленс-ноленс, положение дел. Он передаст завоеванные земли под руку короля и покажет себя замечательнейшим патриотом. Нам придется распустить гарибальдийское войско, в котором уже шестьдесят тысяч ружей. Опасно держать рядом с собой эдакую силу. Нам придется переводить добровольцев, кто захочет по доброй воле, в армию савойского короля, а другие пусть себе демобилизуются с выходным пособием. Настоящие герои, отличные ребята. А вы, значит, видите все это в совершенно обратном свете? Из вашего горе-донесения, не приведи господь, чтоб оно попало к журналистам и общественности, явствует, что эти гарибальдийцы — парни, которым предназначено стать частью нашей армии, ее солдатами и офицерами! — эти гарибальдийцы суть орава отъявленных негодяев, инородцев в довершение всего, разграбителей Сицилии? Гарибальди — не чистейший из героев, которого Италия должна почитать как зеницу

ока, а конъюнктурщик, не побивший врагов, а подкупивший? До последнего сговаривавшийся с Мадзини, как бы тайно переменить в Италии власть на республиканскую? Наконец, Нино Биксио, в вашей интерпретации, выходит, рыскал по острову, расстреливал либералов, измывался над пастухами и крестьянами? Да вы, сударь, попросту не в уме!

— Но будучи послан вашими милостями для выяснения…

— Для выяснения! А не для очернения Гарибальди и его чистосердечных сподвижников! Для подыскания документальных свидетельств, демонстрирующих, сколь неправо республиканское окружение героя распоряжалось на отвоеванных им землях. Отчего и пришлось вмешаться Пьемонту.

— Но вашим милостям известно, что Ла Фарина…

— Ла Фарина писал сугубо личные письма графу Кавуру, которые тот никак уж не показывал кому попало. И потом, Ла Фарина — это Ла Фарина. Человек, очень выраженно настроенный против Криспи. Да, вдобавок ко всему — что это за бредни о масонском золоте из Англии?

— Все об этом говорят.

— В каком смысле — все говорят? Мы не говорим, например. Что за масоны, откуда взялись? Вы что, масон?

— Я нет, но…

— Если нет, не суйте свой нос. Пусть масоны сами собою занимаются. Ах, беда! Симонини-то вовремя не сообразил, что в савойском правительстве все до одного члены являлись масонами (кроме, может быть, Кавура). И то сказать, мог бы и сообразить, притом что с раннего детства вокруг него кишели иезуиты. Но Риккарди уже перешел к евреям и распекал его, требуя объяснить, с какой такой идиотской стати он впихивает евреев в донесение. Симонини забормотал: — Евреи пробрались повсюду, не думаете же вы… — О чем мы думаем, решать нам, — перебил его Сен-Фрон. — А в объединяемой Италии нам потребуется поддержка еврейских общин, с одной стороны, а с другой — не стоит афишировать перед добрыми итальянскими католиками эти еврейские имена в составе гарибальдийцев-героев. Ну, в общем, вы наломали дров столько, что хватило бы и трети вас отправить подышать свежим воздухом на несколько десятилетий в наши уютные альпийские гарнизоны. Но к сожалению, вы нам еще нужны. Похоже, что в южных краях этот самый

капитан Ньево, или полковник, кто его знает, все заполняет свои бухгалтерские ведомости. И нам, увы, отсюда не видно, заполнял ли он их и продолжает ли заполнять по-честному. Кроме того, мы гадаем, целесообразны ли эти ведомости в политическом отношении. По вашим сведениям, Ньево собирается передать свои записи нам. Но есть риск, что предварительно их увидит еще кто-либо. А это, по нашему мнению, нецелесообразно. Поэтому давайте возвращайтесь сейчас в Сицилию, все в том же качестве представителя депутата Боджо, якобы для освидетельствования новых знаменательных явлений и дел. Прицепляйтесь к этому Ньево хуже пиявки и добейтесь, чтобы эти ведомости исчезли. Испарились, улетучились, провалились через землю. Рассеялись как дым. Чтоб о них никто не услыхал никогда больше. Что касается методов, выбирайте их сами. Вы уполномочены использовать любые методы. Разумеется, строго в рамках установленной законности. Вы понимаете, что другого напутствия мы не можем вам дать. Кавалер Бьянко вам предоставит соответствующие полномочия в Банке Сицилии для получения необходимых средств на издержки.

Что было дальше, трудно уяснить и из пере-

сказа Далла Пиккола. Как будто ему тоже было трудно вспомнить то, что его двойнику удачно удалось заставить себя забыть.

Все же более или менее твердо можно прийти к выводу, что Симонини снова приплыл в Сицилию в конце сентября и пребывал там до марта следующего года, безуспешно пытаясь похитить у Ипполито Ньево приходно-расходные книги. Каждые две недели приходила депеша от кавалера Бьянко. Тот с нарастающим раздражением допытывался, каковы достигнутые результаты.

Но беда была в том, что Ньево все упоеннее отдавался своим распроклятым подсчетам, все сильнее стремился переубедить злопыхателей, все внимательнее исследовал, проверял, систематизировал тысячи долговых расписок, желая твердо понимать все, что приходилось приходовать. Авторитет его все рос. Гарибальди тоже тревожился, не желал ни скандалов, ни пересудов, поэтому он придал Ньево четырех секретарей и приставил к нему двух охранников, одного у входа в кабинет и одного на внутренней лестнице, чтобы никому даже в голову бы не пришло покуситься на эти драгоценные гроссбухи, ни днем ни ночью! Чтоб и мысли не возникало бы, что их можно испортить или украсть.

Более того, Ньево твердо давал понять, что подозревает, что кое-кому собранные им досье не нравятся, и сознает: кое-кому желательно было бы испортить или похитить их. Так вот пусть в любом случае все оставят эту затею. И знают: до этих бухгалтерских книг добраться нельзя.

В общем, Симонини оставалось только все дружить и дружить с непреклонным поэтом, перейти с ним на «ты», пробовать хотя бы пронюхать, каковы его намерения в отношении злосчастной документации.

Вечер за вечером вдвоем, по-дружески, в осеннем Палермо, все еще нагретом и не остуженном морскими ветрами, они болтали и пили. Все больше воду с анисовой. Глядели, как ликер постепенно распускается в воде облаком дыма. То ли Симонини был поэту симпатичен, то ли, изныв от одиночества в Палермо и испытывая потребность с кем-то пофилософствовать, Ньево постепенно оттаивал и переходил с военного сухого языка на доверительный, приятельский. В Милане он оставил любовь. Любовь обреченную: она, как выяснилось, была женой его двоюродного брата и, того хуже, лучшего друга. Но делать было нечего, любовь есть любовь. Попробовал влюбляться в других — они вызывали у него

ипохондрию. — Таков уж я. Приговорен к самому себе. В душе моей царят фантазии, тьма, сумерки, желчь. Мне уже тридцать лет. Всю жизнь я провоевал, чтоб отрешиться от обыкновенного мира, который не люблю. Оставил дома я и неопубликованный роман. В рукописи. Хотелось бы увидеть его в печати. Но как я сейчас могу заниматься хоть чем-то, кроме этих омерзительных подсчетов. Будь я карьеристом… или ловцом светских услад… или хотя бы злым человеком… Наподобие Биксио. Но нет. Вечный юноша, я живу впечатлениями дня. Шевелюсь, как положено, в пространстве, дышу, как положено, воздухом. Умру, как положено, смертью… И наконец закончится все.

Симонини его не успокаивал. Он считал, что Ньево неизлечим.

В начале октября отгремела битва под Вольтурно. Гарибальди отбил последнее наступление бурбонской военной силы. Но в те же самые дни и генерал Чальдини подавил сопротивление папского войска под Кастельфидардо и вошел в Абруццо и Молизе, а они были частью бурбонского королевства.

Ньево в Палермо не находил себе места. Он прознал, что среди его очернителей в Пьемонте

были клевреты от Ла Фарина. Значит, Ла Фарина прыскал ядом против всякой красной рубахи. — Просто хочется все бросить, — убивался Ипполито Ньево, — но как можно бросать в такие моменты? Только крепче придерживать руль.

Двадцать шестого октября случилось великое событие. Гарибальди и король Виктор-Эммануил встретились в Теано. Гарибальди передал королю Южную Италию. За такое по меньшей мере — почетного сенатора, сказал на это Ньево. Но ничего подобного. В начале ноября Гарибальди устроил в честь короля парад в Казерте: четырнадцать тысяч пехотинцев, триста голов конницы. Король не снизошел появиться.

Седьмого ноября был триумфальный въезд короля в Неаполь. Гарибальди, как новый Цинциннат, удалился на остров Капрера. — О, великий человек. — И Ньево плакал, как заведено у поэтов (к великому раздражению Симонини).

Через несколько дней армию Гарибальди ликвидировали. Двадцать тысяч волонтеров перешли в савойское королевское войско. Туда же влились и три тысячи офицеров-бурбонцев.

— Это честно, — кивал головой Ньево, — они тоже, как и мы, итальянцы. Но конечно, жалко видеть такой финал великой эпопеи. Я не

стану никуда наниматься. Еще шесть месяцев на жалованье, и распрощаюсь. Шесть месяцев мне требуется для окончания работы. Дай бог уложиться.

Работы у него и впрямь было черт знает сколько, потому что к концу ноября он едва успел подвести итоги на конец июля. Так что действительно требовалось еще месяца три, а может, и больше.

Когда в декабре Виктор-Эммануил пожаловал в Палермо, Ньево сказал Симонини: — Думаю, я последний краснорубашечник тут. На меня странно смотрят. Я выгляжу как дикарь? Но надо же отмести клевету этих распроклятых лафаринианцев. Господи, если б я знал, чем это все кончится, то в Генуе, чем садиться на корабль, лучше бы я просто утонул, и конец всему делу.

Симонини так и не изловчился добраться до чертовых гроссбухов. Неожиданно Ньево провозгласил, что ненадолго отлучается в Милан. А кассовые книги? Оставляет их в Палермо? Или везет с собой? Это оставалось загадкой.

Ньево проотсутствовал два месяца. Симонини употребил это печальное время (я не сентиментален, твердил он себе, но все-таки что за Рождество такое? Без снега и с кактусами?) в прогулках

по окрестностям Палермо. Он купил мулицу, выудил из багажа сутану падре Бергамаски и трусил верхом на мулице от деревни к деревне, коллекционируя все, что слышал от священников и крестьян, но по большей части — изучая сицилийскую кулинарию.

В одиноких остериях, затерянных среди сельской местности, он отведывал непритязательные и недорогие (но изумительного вкуса) блюда, такие как «вареная вода»: корки грубого хлеба заливаются в супнице олеем, посыпаются свежеразмолотым перцем, затем отвариваются в соленой воде резаные луковицы, очищенные помидоры, мята, через двадцать минут все это выливают в ту же супницу, где уже накрошен хлеб, еда настаивается две-три минуты, и все готово, в горячем виде на стол.

На въезде в Багерию была одна такая тихая таверна, в глухом углу, на несколько столиков, укрытая приятнейшей тенью, что ценится на Сицилии и в зимнее время, с грязноватым по виду (и, вероятно, по существу) хозяином, где умели стряпать восхитительные блюда из внутренностей: фаршированное сердце, свиной холодец, черева, рубец и самая разная требуха.

Там он встретил двоих знакомцев, сильно раз-

нившихся между собой, которых лишь намного позднее его гений сумел вплести в замысел единого плана. Но не забегаем вперед!

Первый из тех двоих был местный дурачок. Хозяин держал его из милости и кормил из милости. Впрочем, он был способен на разнообразные полезнейшие услуги. Все его звали Бронте, он был родом из Бронте и сумел как-то сбежать от расправы. Он жил во власти воспоминаний о бунте. А после второго-третьего стакана колотил кулаком по столу и орал: «Хозяйчики! Берегитесь! Близится час расплаты! Исполнилась чаша народного гнева!» С этими самыми словами на устах умер его друг Нунцио Чиральдо Фраюнко, расстрелянный по приказу Биксио с четырьмя другими крамольниками.

Мыслей у Бронте в голове было немного, но одна идея имелась. И это была идея фикс. Он хотел убить Нино Биксио.

Бронте с его странностями годился на один-другой зимний вечер. Лекарство от скуки. Интереснее был другой субъект, всклокоченный и в начале знакомства злобноватый, но, как выяснилось, когда он начал расспрашивать трактирщика о рецептах блюд, такой же данник первостатейного стола, как и наш Симонини. Симонини поведал

ему секреты аньолотти «алла пьемонтезе», а тот ему в ответ — все тайны классической капонаты. Симонини ему о сыром мясе по способу Альбы, тот просто зверел на глазах! В ответ сам выкладывал что мог — о выделке марципана.



...Все его звали Бронте, он был родом из Бронте и сумел как-то сбежать от расправы...

Этот мастро Нинуццо изъяснялся почти поитальянски и дал понять, что бывал даже в заграничных краях. Постепенно, под влиянием священнического авторитета Симонини, будучи завзятым почитателем некоторых мадонн в святых часовнях в округе, Нинуццо дошел до такой доверительности, что рассказал духовному лицу свою жизнь. Он, оказывается, служил пиротехником в бурбонской армии. Но не в военном подчинении, а как нанятый мастеровой, приставленный к пороховому погребу, отсюда недалеко, в двух полумилях. Гарибальдийцы разбили бурбонцев и реквизировали боеприпасы и порох, но, чтобы не разбирать весь склад, оставили на месте и порох и Нинуццо. Нинуццо поручили присматривать за порохом и определили ему довольствие от военного интендантства. Он и торчал там, скучая, в ожидании новых распоряжений, в недовольстве оккупантами-северянами, в ностальгии по королю, в мечтах и фантазиях о новых бунтах и новых движениях протеста. — Я бы пол-Палермо мог бы взорвать, захоти только, — шепнул он Симонини, когда уверился, что тот вовсе не за пьемонтцев.

И открыл тому тайну. Оказывается, узурпаторы не заметили основного. Под пороховым погребом

имелась крипта. И она была набита пороховыми бочками, гранатами и прочим артиллерийским боезапасом. Он хранит их к заповедному дню, ко дню восстания. Знает: бригады сопротивленцев уже собираются на горах. Скоро у пьемонтцев-захватчиков земля загорится под ногами!

Говоря о взрывчатке, он прямо сиял. И приплюснутая физиономия, и подслеповатые глазенки преображались: он почти хорошел. Однажды он привел Симонини в свой каземат. Спустился в подпол и, отдуваясь, вынес оттуда горсть черноватых зернышек. — О, преподобный отец, — пыхтел он. — Что может сравниться с хорошим порохом? Глядите на цвет. Серовато-черный. И зерна при давлении даже не крошатся. Вот попробуйте, возьмите лист бумаги, сыпаните этот порох на лист. Вы увидите: сгорит, даже бумаги не затронет. Когда-то пропорция была семьдесят пять частей селитры, двенадцать угля, тринадцать серы. После этого в моду вошла так называемая английская рецептура. Пятнадцать частей угля, десять серы. Поэтому и проигрывают войны. Теперь же гранаты не взрываются. У нас, у истинных мастеров, а нас очень мало, к прискорбию, или же к счастию, — так вот у нас теперь вместо индийской селитры чилийская. Это штука со-

всем другая. — Что, лучше? — Как же не лучше. Взрывчатку, отец мой, изобретают каждый день новую. И каждая хуже предыдущей. Один офицер королевский… ну, законного, нашего короля… был один офицер, ходил с таким видом, будто знает все на свете. Подбивал меня использовать нитроглицерин. Ему и невдомек, что нитроглицерин хлопает только при сотрясении. Как его детонировать? Сидеть сверху и бить молотком, пока сам не взорвешься в первую голову? Верьте не верьте, а если будет нужда кого-нибудь подорвать, очень рекомендую старый добрый порох. Тогда да. Тогда заглядение смотреть. Мастро Нинуццо находился в экстазе. Для него в мире ничего красивей не существовало. В тот день Симонини не так уж вслушивался в эту болтовню. Но внимание обратил. И вот эти слова внезапно возвратились ему на память в январе. Что же все-таки делать с этими проклятыми счетными книгами? Где они? Неоспоримо одно: архивы и сейчас в Палермо или по крайней мере вернутся в Палермо, когда Ньево вернется с Севера. После чего Ипполито Ньево повезет их в Турин. Разумеется, морем. Нет никакого резона днем и ночью за ним шпионить. Все равно я не найду этот сейф. Ну а если найду, не открою. А найду и открою

— будет страшный скандал, Ньево официально заявит об утрате ведомостей. Может открыться даже, что заказчиками преступления были мои туринские распорядители. В тишине провернуть это дело не удастся. Ну, предположим, вижу я Ньево в тишине, одного, за ведомостями. Вонзаю ему в спину стилет. Но ведь с таким покойником, как Ньево, тоже хлопот не оберешься. Испариться эти книги должны, требовали туринцы… Рассеяться как дым… Хорошо бы с ними рассеялся как дым и сам Ньево. Да так удачно, чтобы его смерть… трагическая и случайная… затмила и заставила бы забыть утрату архивов. Значит, поджечь либо взорвать здание интендантства? Серьезная затея… А вот как еще можно бы сделать. Пусть и Ньево, и архивы, и все, что с ним будет, все это пойдет ко дну во время переезда морем из Палермо в Турин. Ну, кораблекрушение. Утонут пятьдесят или там шестьдесят человек. Никому и в голову не придет, что мишенью были четыре затрепанных реестра.

Идея, конечно, оригинальна и дерзка. И трудновыполнима. Но Симонини к тому времени заматерел и опытом и умом. Он был уже не мальчишка, умевший только мутить воду с университетскими однокашниками. Он понюхал

войну, пригляделся к смерти, конечно — к чужой, и определенно укрепился в намерении избежать тех альпийских крепостей, которые пообещал ему Негри ди Сен-Фрон.

Выполнение дерзкого плана требовало обдумывания. Симонини тем и занялся, благо как-то вокруг иных занятий не имелось. С мастро Нинуццо удавалось тоже обговорить деталь-другую. Диалоги велись в обстановке деликатесных застолий.

— Мастро Нинуццо. Вы, верно, гадаете, кто меня прислал. Откроюсь, что я по поручению Его Святейшества. Я послан реставрировать королевство нашего с вами монарха Обеих Сицилий.

— Отец, готов служить вам, говорите, что требуется делать.

— Скажу. В ближайшее время настанет день, когда один пароход пойдет из Палермо на континент. На теплоходе будут приказы и планы, назначенные порушить навек правление и власть Его Святейшества и обесчестить нашего короля. Мы не допустим. Этот пароход пойдет на дно, не доплывет до Турина, пусть идет на дно с приказами и с планами и со всею командой.

— Нет проще ничего на свете, падре. Используем новомодную выдумку, она уже в ходу у

американцев. Это угольная бомба. Бомба, по виду точь-ну-в-точь глыба угля. Ее подкинуть в угольный трюм, а стоит ей угодить в топку — она разогреется до нужного состояния — и, пожалуйста, вот вам отличный взрыв.

— Превосходная мысль. Но когда эту глыбу бросят в топку — неизвестно. Это нас не устраивает. Требуется, чтобы все это рвануло не слишком рано и не слишком поздно. То есть не после отплытия и не перед прибытием. Чтобы не было наблюдателей. Пусть корабль пойдет ко дну в середине пути. Без каких бы то ни было свидетелей.

— Да, не очень-то легко. Подкупить кочегара… никак не удастся. Ведь он сам станет первою жертвой. Точно рассчитать, когда наша глыба угля будет вброшена в топку… Нет, не рассчитаешь… Тут и колдовством никто бы дела не решил!

— Что же делать?

— Делать, преподобный отец, можно то, что обычно. То, что никогда не подводит. Добрая старая система. Просто бочонок с порохом и хороший пороховой шнур.

— А поджигать-то кому придется? Ведь этому человеку будет ясно, что погибнет корабль и все, что на корабле?

— Поджигать не придется никому. Если взяться умеючи. Но умеющих взяться на всем свете, слава богу, или не слава богу, очень мало. Таких, чтоб умели рассчитать длину порохового шнура. Заместо шнуров, помню, в свое время использовались соломинки, их набивали порохом. Потом использовали фитили, их обмазывали серой. Пробовали и обычные веревки, их пропитывали селитрой и покрывали смолой. И никто никогда не мог сказать, сколько времени потребуется, чтоб огонь добежал куда надо. Ныне же, слава господу, последние тридцать лет продают огнепроводные шнуры. У меня как раз несколько метров запасено, вам повезло просто.

— И этот шнур…

— И этот шнур позволяет четко рассчитывать время от когда поджигаешь, до когда огонь дойдет до пороха. По длине шнура можно рассчитать. Так что пороховщик может даже сделать вот что: подпалить фитиль, сам добраться до шлюпки, спустить ее в воду и дать деру. Когда корабль рванет, он от корабля уже будет далеко. Вот прекрасная работа, что вы, это блеск, прекраснее не бывает, ну чистейшая работа, шедевр!

— Мастро Нинуццо, но я хотел спросить вот что. Если на море будет шторм, шлюпку ведь спустить

не удастся… Вы бы взяли на себя подобный риск?

— Я — не взял бы, честно вам скажу, падре. Да, Нинуццо был не так глуп, чтоб идти почти на верную смерть. Но если поискать, кто его поглупей… может быть… следовало подумать.

Январь подходил к концу, Ньево, как было известно, возвращался из Милана и был уже в Неаполе, где рассчитывал просидеть недели две. Может, он и там собирал свои расписки и документы. Ему был уже приказ ехать в Палермо, паковать все свои реестры (то есть реестры оставались в Палермо все время) и самолично сопровождать документы в Турин.

Встреча Ньево и Симонини была теплейшей, почти братской. Ньево изливал душу, о сердечных делах, о своей дальней северной запретной любви, которая коварно, а может быть — судьбоносно снова вспыхнула в этот краткий приезд… Симонини слушал, глаза его увлажнялись сочувствием к элегическому рассказу взволнованного друга. Одновременно он очень хотел вызнать, каким способом бухгалтерские книги поедут в Турин.

Наконец Ньево дошел до книг. В начале марта он готовился отбыть из Палермо в Неаполь на «Геракле». Из Неаполя путь ему лежал потом в

Геную. «Геракл» был солидный пароход английской постройки с двумя боковыми колесами, экипажем в пятнадцать человек и возможностью брать на борт несколько десятков пассажиров. Повидал виды, но пока не развалина. Свою работу выполняет исправно.

Тут Симонини взялся собирать все возможные сведения, выведал, на каком постоялом дворе поселился капитан, Микеле Манчино, и, точа лясы с моряками, сумел понять, каково внутреннее устройство корабля.

Вслед за чем, опять во вкрадчивом аббатском облике, возвратился в Багерию и отвел в сторонку Бронте. — Бронте, — сказал ему аббат, — Бронте, из Палермо отбывает пароход. На нем поплывет в Неаполь Нино Биксио. Час отмщенья настал. Мы с тобой, последние защитники трона, отомстим за то, что они сотворили в твоей деревне. Тебе честь осуществить заслуженную казнь. — Говорите, я все сделаю. — Это огневой шнур. Сколько он будет гореть, уже рассчитано. Рассчитал тот, кто умеет и знает больше, чем ты и чем я. Намотай этот шнур себе на поясницу. Наш соратник, капитан Симонини, он гарибальдийский офицер, но секретно — слуга нашего короля, погрузит на борт «Геракла» один ящик, к которо-

му будет запрещено подходить. Военная тайна. С условием, чтобы ящик стоял в трюме и охранялся верным человеком. Это будешь ты. В ящике, как ты понимаешь, порох. Симонини сядет на корабль с тобой. Он устроит так, чтобы напротив острова Стромболи тебе направили приказ достать шнур, расправить его и поджечь конец. В это время он будет спускать с кормы для вас обоих шлюпку. Шнур имеет такую рассчитанную длину, чтобы ты успел выйти из трюма, добежать до кормы. Там тебя будет ждать Симонини. Достаточно времени отгрести от корабля, перед тем как он взорвется, и проклятый Биксио с ним! И взорвешь его ты! Но запомни, к Симонини ты не подходи и не старайся его увидеть. Как доедешь до корабля на повозке мастро Нинуццо, будет там поджидать моряк, зовут этого моряка Альмало'. Он тебя отведет прямо в трюм. Будешь ждать там. Альмало' к тебе придет и объявит, что время пришло. Чтобы ты выполнял что сказано. У Бронте глаза так и сверкали, но полнейшим дуриком он все же не был. — А если на море поднимется шторм? — спросил он. — Если ты из трюма почувствуешь, что корабль чуть-чуть качает, то не волнуйся. Шлюпка будет просторная и крепкая. С мачтой, с парусом, земля недалеко. А если волны

будут очень высоки, то капитан Симонини сам примет решение. Не станет же рисковать и твоей и своей жизнью. И к тебе никого не пошлет. Нино Биксио вы убьете когда-нибудь в другой раз. Но если посланный все ж придет к тебе, то, значит, решение принято и тот, кто принял его, вполне уверен, что вы с ним доберетесь целыми и невредимыми до Стромболи. Со стороны Бронте — восторг и полная поддержка. С мастро Нинуццо пришлось встречаться не раз и не два. Адскую машину собрали наконец. В нужную минуту, в самом траурном возможном костюме, то есть именно в том виде, в коем, как принято считать, выкапывают свои ямы шпионы и тайные агенты, Симонини предстал перед капитаном Манчино с предписанием, испещренным штампами и печатями, из которого явствовало, что по личному приказу его величества, короля Италии Виктора-Эммануила Второго, ему поручено доставить в Неаполь рундук с наисекретнейшим содержимым. Дабы укрыть рундук среди прочего товара и добра, не привлекая к нему внимания, предписывалось поместить его в корабельном трюме, но с условием, чтобы нощно и денно при нем нес вахту доверенный охранник от Симонини. Его примет матрос Альмало', которому не впервой

выполнять особые поручения штабного начальства. Капитану надлежало во все это не вникать. Прибыв в Неаполь, сдать рундук назначенному офицеру берсальеров, который прибудет за ним и официально примет его.

В общем, план был простой и не должен был привлечь ничьего внимания, а особенно внимания Ньево, который будет больше занят собственным ларем и собственными ведомостями. «Геракл» собирался отплыть в час пополудни, рейс до Неаполя длится пятнадцать — шестнадцать часов. Взрывать его целесообразно напротив острова Стромболи. Этот остров — вулкан, постоянно извергается, миролюбиво, но усердно. По ночам из него вырываются огненные выхлопы. Взрыв корабля пройдет поэтому под сурдинку на фоне первого проблеска утренней зари.

Естественно, Симонини загодя стакнулся с Альмало', самым продажным из команды, осыпал его подачками и выдал ему основные поручения: первое, принять Бронте на молу и разместить в трюме вместе с его рундуком. И дальнейшее: дождаться на плаву, вечером, пока на горизонте замаячат огни острова Стромболи. Спуститься в трюм, где сидит этот Бронте, и сказать ему: «Час настал, выполняй свое дело».

— Что дальше будет — не твоя забота, что там он будет делать — пусть это и делает, но чтобы унять твое любопытство, заранее разъясню, что он должен достать из своего ящика бутылку с посланием и высунуть ее наружу через иллюминатор. К кораблю в это время подойдет шлюпка и оттуда примут бутылку. Послания этого ждут в Стромболи. Ты, сказавши Бронте что велено, иди к себе и накрепко все забудь. А сейчас подтверди, что тебе велено сказать.

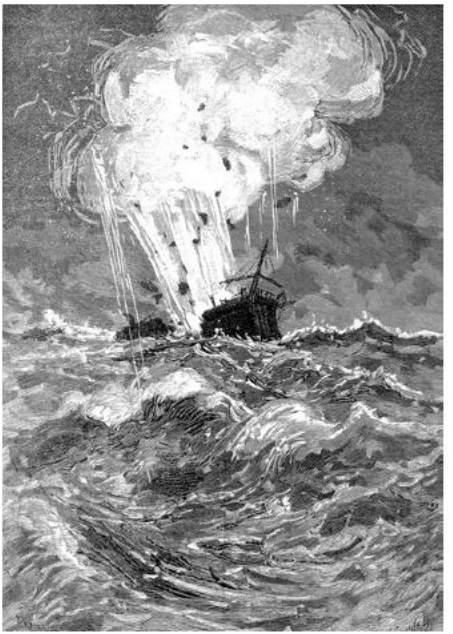
— «Час наступил, давай выполняй свое дело».

— Правильно! В день отплытия Симонини на молу раскланивался с Ньево. Расставание было трогательным.

— Дорогой друг, — говорил ему Ньево. — Мы сблизились за это время. Я открыл тебе душу. Возможно, мы не увидимся уже. Я сдам дела в Турине, уеду в Милан и там… Кто знает. Займусь книгой. Прощай, обнимемся, да здравствует Италия, прощай.

— Прощай, мой друг Ипполито. Я не забуду тебя, — отвечал Симонини, настолько вошедший в роль, что даже сумел выжать из глаз одну-две скупые слезинки. Ньево следил, как сгружают с повозки тяжелый ящик, и не отвел взгляд, покуда его не водворили на борт. Перед тем как

ему взойти на трап, двое каких-то приятелей, которых Симонини видел впервые, явились отговаривать его плыть на «Геракле». Этот корабль не так надежен, увещевали они. Дождись лучше завтрашнего дня. Завтра отчаливает «Электрик», он поновее и посолидней. Симонини затрепетал. Но все уладилось само собой. Ньево махнул на товарищей: чем скорее документы дойдут до цели, тем и лучше. «Геракл» поднял якорь и вышел в открытое море из порта.



...Сосчитав примерно время, около девяти часов вечера он сказал себе, что, надо полагать, свершилось...

Сказать, что Симонини был вполне спокоен в последующие часы, значило бы преувеличить степень его хладнокровия. Нет, он все-таки думал и после обеда, и вечером о том событии, которое

увидеть ему было невозможно даже залезши на высокую гору Раизи в окрестностях Палермо. Сосчитав примерно время, около девяти часов вечера он сказал себе, что, надо полагать, свершилось. Бронте сам по себе мог бы не суметь исполнить сложное задание. Но уж ежели войдет к нему матрос, в видимости Стромболи, как было договорено, ежели скажет: «Час настал, выполняй свое дело», — тут бедолага закопошится, размотает свой фитиль, подсунет кончик шнура под ящик, подожжет и стремглав бросится на корму, где его поджидают… где его не поджидает никто. Он, возможно, и скумекает про обман, и поскачет как умалишенный (так он же умалишенный и есть?) обратно, чтобы гасить огонь, но уже, надо полагать, будет поздно, взрыв захватит его врасплох на дороге в трюм.

Симонини чувствовал такое довольство от сделанной работы, что, снова обрядившись в духовную рясу, вознаградил себя в таверне в Багерии обильным ужином, где на первое была паста с сардинами и с вяленой мерлузой «алла гьотта»… Мерлузу для этого блюда вымачивают в течение двух дней в холодной воде, снимают филе, готовят с луком, сельдереем, морковью, олеем, мякотью помидоров, очищенными от косточек

черными оливами, кедровыми орехами, изюмом, грушами, промытыми от соли каперсами… ну и, конечно, с солью и перцем. Разумеется.

Потом он подумал о мастро Нинуццо. Нельзя было оставлять столь опасного свидетеля. Он снова оседлал мулицу и доехал до старой пороховницы. Мастро Нинуццо на пороге покуривал обгрызенную трубку и встретил его, широко улыбаясь:

— Ну что, дельце обделано, падре?

— Скорей всего, да, вы можете гордиться, мастро Нинуццо, — ответил с улыбкой Симонини и обнял его со словами «Многая лета королю!», как было заведено в тех широтах. В объятии он всунул тому в живот на два вершка стилет. Учитывая, что никогда никто не проезжал и не ходил около пороховни, кто знает когда будет найден мертвец. Если же по невероятному обстоятельству жандармы или кто еще и доберутся в своих разысканиях до багерийского кабака, им скажут, что Нинуццо в последнее время нередко ужинал в компании какого-то священника, нешуточного объедалы. Священника отыскать будет, конечно, невозможно. Симонини готовился плыть на континент. Что до Бронте, его исчезновением совершенно никто не будет озабочен.

Симонини вернулся в Турин приблизительно в середине марта и стал ждать, когда доверители вызовут его. И выдадут ему плату за услуги. И точно, в один прекрасный день Бьянко явился в нотариальную контору. Он сел напротив стола и заговорил:

— Симонини, хоть бы раз у вас бы вышло что-то путное!

— Как? Вы же хотели, чтобы эти счета испарились. И вот, могу заверить, что они превратились в дым!

— Ну да, но с ними в дым превратился и полковник Ньево. А это уже перебор. Об испарившемся корабле ходят сплетни, и неизвестно, удастся ли замолчать эту историю. Не так легко отвести подозрение от Высшего Политического Надзора. Нелегко, но мы справимся. Мешаете этому вы. Рано или поздно отыщется свидетель, что вы дружили с Ньево в Палермо. И вспомнят, ничего себе совпадение, отправил-то вас в Палермо не кто иной, как депутат Боджо. От Боджо к Кавуру, от Кавура к правительству… Трудно даже предвидеть, что за каша заварится тогда. Вам придется исчезнуть.

— В крепость? — спросил Симонини.

— Да даже если вас в крепость, болтать будут

одинаково. Незачем повторять мелодраму с железной маской. Вы закроете лавочку в Турине и улетучитесь за границу. В Париж. На первое благоустройство хватит вам и половины условленного гонорара. Вы ведь сильно перестарались, а это то же, что недостараться. А поскольку надежд на то, что вы, попав в Париж, не наделаете обычных бед в погоне за пошлой прибылью, нет, мы вас свяжем, так и быть, напрямую с нашими тамошними коллегами. У них, имеются причины полагать, найдется для вас одно или два укромных задания. Итак, вы переходите в ведение другой администрации.

9. Париж

2 апреля 1897 г., поздний вечер

С тех пор как стал вести эти записи, не был я ни разочка в ресторане. Мне все же необходимо встряхнуться. Решился высунуть нос в такое место, где и повстречайся мне кто-нибудь, он будет пьян. И хоть я не узнаю его, но он-то тоже не узнает меня. Пойду в кабаре «Очкарик». Близехонько, на улице Англичан. Название дано ему в честь вывески, действительно в форме громадных очков, которая красуется над дверью невесть с каких времен. Не сильно там разъешься. Там потребляют преимущественно сыр кусками, который хозяева дают чуть ли не даром, потому что от сыра всем хочется пить. Вот все и пьют. Да еще поют. Выступают Фифи Абсент, Арман Тромбон, Гастон Трехлапый. «Артисты», с позволения сказать. Только спьяну их можно принимать за артистов. Первая зала узка. В сущности, это коридор. Наполовину заставлена цинковой стойкой, за стойкой кабатчик, с ним кабатчица и их дитя, спящее под аккомпанемент ругательств и раскатов хохота. Против стойки вдоль всей стены тянется дощатый прилавок. На прилавок

облокачиваются клиенты, уже принявшие порцию. А по той стене, что за стойкой, расположена выставка самых сильнодействующих рвотных зелий, которые только встречаются в Париже. Завсегдатаи проходят в дальнюю комнату. Там два стола, вокруг них дрыхнут пьяные друг у друга на плече. Стены изрисованы посетителями, и по большей части непристойно.

Я сидел рядом с барышней, она приканчивала далеко не первый абсент. Знакомая личность. Когда-то рисовала виньетки для иллюстрированных журналов. Спилась. Видать, потому, что знала: чахотка у нее прогрессирует и жить остается чуть-чуть. Теперь выпрашивает работу у посетителей ресторана. Готова рисовать портрет любого. Беда, что у ней рука дрожит. Дай бог чтоб ей свезло и чтоб не чахотка ее спровадила на тот свет, а пусть лучше свалится по ночному делу в близко текущую Бьевру.

Я перекинулся с нею словцом-двумя. Вот уже десять дней я живу бирюком и теперь готов радоваться даже разговору с женщиной… На каждую рюмку абсента, что я ей заказывал, приходилась и рюмашка для меня. Ну и пишу теперь в туманном состоянии. Неудивительно, что вспоминается мне мало и плохо.

Могу только сказать: переезд в Париж дался мне нелегко. В сущности, я ведь был выслан, и это действовало на нервы. Но город обворожил меня. Я решил, что буду жить тут до скончания дней.

Не знал я лишь, на сколько мне хватит имеющихся средств. Так что нанял чуланчик в отеле в районе Бьевры. Хорошо еще отдельный. Потому что в этих клоповниках случается видеть и комнаты на пятнадцать тюфяков, нередко без единого окна. Обмеблирована комнатенка была отбросами чьего-то переезда. Простыни были червивые, имелось цинковое корытце для подмывания, ведро для нужды, а стульев не имелось ни одного. Нечего говорить о полотенцах или же о мыле. На стене суровая надпись предписывала оставлять ключи в скважине снаружи. Без сомнения, для того чтобы полиция не теряла время во время облав, а споро могла ворваться, поднять за волосы храпящего постояльца и хорошенько посветить ему в лицо фонарем, с тем чтобы выхватить тех самых, за которыми пожаловали, и вытолкать с собою в участок, предварительно накостыляв по шеям, если вздумают упираться.

В отношении питания. На улице Малого моста я обнаружил таверну, где обеды за четыре су. Протухшее мясо, то, что мясники «Чрева Пари-

жа» решали вышвырнуть на помойку, видя, что жир уже позеленел, а мякоть почернела, поутру подбиралось здешним ресторатором, который очищал его тряпкой, обильно уснащал солью и перцем, вымачивал в уксусе и славно мариновал пару суток на заднем дворе своей лачуги, доводя до кондиции, когда уже можно обжаривать для клиентов. Понос был гарантирован, однако и цена была по товару.

С моими туринскими привычками и с тем столом, к которому я приохотился в Палермо, за две или три недели я тут бы, конечно, умер, если бы не начали поступать первые поручения от тех, к кому меня переадресовал кавалер Бьянко. И тут уж я со спокойной душой сворачивал на улицу Квашни, в кухмистерскую «Нобло». Это была большая зала, проход через старинный двор. Хлеб полагалось приносить с собой. У входа касса. На кассе чередовались хозяйка и ее три дочери. Прямо из кассы отпускали превосходные вещи: ростбиф, сыры, повидло, а также печеные груши и к каждой груше по паре грецких орехов. За кассу разрешалось проходить тем, кто заказал хотя бы пол-литра вина: ремесленникам, полунищим художникам, конторщикам.

Пройдя за кассу, попадали на кухню. На кухне

главенствовала большая печь. В печи той парились бараньи рагу, кроли и даже бычатина бок о бок с гороховым или чечевичным пюре. Подавальщиков в «Нобло» не было. Сам ищешь себе тарелку, находишь и ложку-ножик, становишься в очередь, ползущую к поварам. Расталкивая толпу, идешь с тарелкой и ищешь мест у громадного стола. На два су бульона, на четыре су бычатины, на десять сантимов купленного загодя хлеба, вот и поел на сорок сантимов. Еда казалась мне совершенно превосходной. Я заметил там и приличных господ, которым, бесспорно, нравилась эта простецкая обжорка.

Кстати, я никогда не пожалел о первых жалких временах. О тех, что были еще до «Нобло». Я приобрел тогда полезные знакомства и освоился в антураже, где предстояло научиться сновать как рыба в воде. Вслушиваясь в разговоры, ведшиеся в переулках, я нашел себе и другие улицы в дальних концах Парижа, такие как улица Луи-Филиппа, теперь переименованная в улицу Лаппа, полная одним скобяным товаром, которым пользовались как ремесленники, так и личности менее почитаемых занятий, ходившие туда за отмычками, козьими ножками, отпирками и прочими крючками, а также пружинными

ножиками, удобными для ношения в рукаве.

На съемной своей квартире я хотел сидеть как можно меньше. Предавался роскоши всех неимущих парижан: фланировал по бульварам. До этого я не сознавал, насколько Париж привольнее Турина. Я был в экстазе от разнообразия прохожих. Мало кто поспешал по делам. Большинство выходило глазеть. Бонтонные парижанки одевались с изящным вкусом, и если не сами они, то их прически приковывали мое внимание. К сожалению, наблюдались на этих же уличных панелях парижанки, как бы это выразиться, небонтонные. То есть еще более затейливые в ухищрениях и ужимках, цель которых — сразить и поработить нашу братию.



...Я был в экстазе от разнообразия прохожих...

Это тоже блудницы. Но они не столь вульгарны, как те, кого я наблюдал в *brasseries à femmes.* Эти-то метят в достаточных господ: видно по дьявольской науке, которую они прилагают, чтобы

залучить жертв. Впоследствии один мой наушник рассказывал, что, оказывается, по бульварам некогда разгуливали только гризетки. То есть молодые дамы, легкомысленные, не безгрешные, но и не корыстолюбивые, не вымогавшие у любовников украшений и тряпок, потому, кстати, что любовники большей частью были беднее их. В дальнейшие времена гризетки перевелись, как порода мопсов. На смену им пришли лоретки, или козочки, или кокотки, ничем не превосходившие гризеток — ни остроумием, ни апломбом. Но этих уже интересовали кашемир и фальбала. Ко времени моего приезда в Париж и лоретки отжили свое. Теперь они сменились куртизанками. Эти ищут себе богачей, бриллиантов и карет. Куртизанки редко пешком ходят по бульварам, большей частью катаются в экипажах. Дамы с камелиями выбирают главным принципом в жизни — не иметь сердец, чувствительности, признательности, а умело ощипывать импотентов, которые им платят нарочно, чтоб выставлять их напоказ в ложах в Опере. Гадчайший пол.

Тем временем я вошел в сношения с Клеманом Фабром де Лагранжем. Туринцы адресовали меня в некое скромное бюро, в облупленном здании, на улице, которую по профессиональной осто-

рожности я воздержусь упоминать даже тут, на листе, который никто никогда не прочтет. Полагаю, Лагранж состоял на службе в Политическом отделе Генерального управления Общественной безопасности. Но я так и не понял, в незначительном ли или в руководящем чине. Казалось, он не докладывается никому. Даже под пыткой я не смог бы ничего определенного сказать обо всей этой машине сбора политических сведений. Я даже не знал, имелся ли у Лагранжа кабинет в том здании. Приехав в Париж, я отнес записку на условленный адрес, извещая Лагранжа, что у меня к нему письмо от кавалера Бьянко. Через два дня получил вызов на встречу на паперти собора Нотр-Дам. Лагранжа-де будет нетрудно опознать по красной гвоздике в петлице. С тех пор Лагранж вызывал меня в невообразимые места. В кабаре, в церковь, в парк. Ни разу не повторился.

Ланранжу требовался документ, я произвел его наилучшим образом, он сразу ко мне расположился. С этого дня я стал состоять при нем «источником», как выражаются профессионалы, и получал ежемесячно триста франков плюс сто тридцать на накладные расходы. За исключительные услуги — премии. За производство документов — оплата сдельная. Империя хорошо

компенсирует старания своих информаторов. Уж точно лучше, чем Сардинское королевство. Я слышал, что бюджет полиции — семь миллионов франков в год, из коих два миллиона на осведомителей. Еще я слышал, что бюджет полиции доходит аж до четырнадцати миллионов, из которых, однако, расходуются деньги и на овации при проезде кортежа императора, и на корсиканские бригады, сдерживающие мадзинианцев, и на провокаторов, и на внешнюю разведку.

У Лагранжа я получал не менее пяти тысяч франков в год. Радовало еще и то, что он меня свел со многими частными клиентами. Поэтому я вскорости сумел открыть свою лабораторию, то есть служившую ее прикрытием старьевщичью лавку. Учитывая, что тариф на поддельные завещания доходит даже и до тысячи франков, а освященные просфоры продаются по сотне, представляя собой редкий и опасный товар, — четыре завещания и десяток облаток позволяют спокойно рассчитывать еще на пять тысяч франков. А с десятью тысячами франков я входил в круг тех, кто называется в Париже «обеспеченный буржуа».

Конечно, ни один из этих видов обеспечения не был гарантированным. А мечталось мне о тех

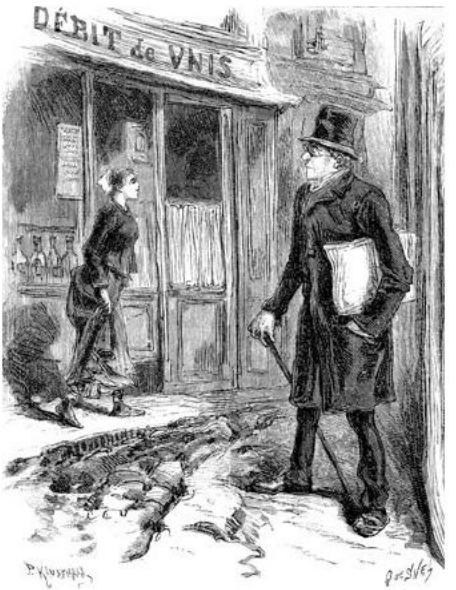
же десяти тысячах, однако не заработка, а ренты. Трехпроцентные государственные облигации, самые надежные. Требовался владельческий капитал в размере трехсот тысяч. Куртизанке в те времена такое было по плечу. Но не приезжему нотариусу, которому еще лишь предстояло пробить себе дорогу.

Ожидая везения, я тем временем все же мог себе позволять из простого зрителя мало-помалу превращаться в потребителя парижских наслаждений. Театр меня не привлекал. Трескучие декламации александрийских стихов в трагедиях — увольте. Музеи, вот тоска. Хорошо, что в Париже полно кое-чего по-аппетитнее. Я имею в виду рестораны.

Первый, куда я отважился, дорогущий «Гран Вефур», был известен мне по рассказам. Я предвкушал его с самого Турина. Знал, что он под одной из аркад Пале-Рояля. Туда хаживал Гюго — специально за бараньей грудкой с белой фасолью. И еще меня с налету ошеломил и ослепил «Кафе Англэ» на пересечении улицы Грамона и бульвара Итальянцев. Раньше в нем закусывали кучера и слуги, а теперь столуется весь избалованный Париж. Я открыл для себя картофель «Анна» (готовится в кокотнице), раков по-бор-

доски, жюльены из курятины, дроздов в вишнях, помпадурчики (запекаются в раковинах), седло косули, задочки артишоков по-садовничьи и шербет из шампанского вина. От одного перечисления этих слов я снова осознаю, что на этом свете имеет смысл жить.

Кроме ресторанов, с жизнью примиряют и парижские пассажи. Обожаемый Жоффруа, где расположены три лучших ресторана Парижа: «Дине де Пари», «Дине дю Роше» и «Дине Жоффруа». До сих пор, особенно по субботам, парижане наводняют хрустальную галерею, где скучающие господчики трутся боками на променаде о крутобедрых надушенных дам. Чересчур надушенных, на мой вкус.



...Я в этом пассаже выслеживаю как раз не работниц, а самих охотников в пенсне...

Пожалуй, меня больше волновал пассаж Панорам. Там люди попроще, мещане, провинциалы, пожирающие глазами антикварные вещи, которых никогда не смогут купить. Работницы,

молоденькие, отработавшие смену на фабрике. Если уж пялиться на юбки, лучше, казалось бы, разодетые посетительницы пассажа Жоффруа. Но есть охотники и на фабричных девчонок. Господа среднего возраста в зеленых задымленных пенсне именно ради них часами прохаживаются по галерее. Сомневаюсь, чтобы все эти работницы точно были пролетарками. Хотя они и одеты простенько, тюлевый чепчик, фартучек, но это ведь ничего не значит. Глядеть следует на их пальцы. Если на пальцах не заметно шрамов, царапин и ожогов, следовательно, девушки живут безбедно и, вполне вероятно, за счет тех самых состоятельных охотников.

Я в этом пассаже выслеживаю как раз не работниц, а самих охотников в пенсне. Где-то я прочитал: философ в кафешантане смотрит не на сцену, а в зал. Именно господа-то могут в один прекрасный день стать моими клиентами или моими орудиями. Иногда я провожаю их до квартиры, где каждого ждет, поди, вечерок с разжиревшей женой и полудюжиною сопляков. Обязательно записываю адрес. Кто знает. Можно ведь и подпустить анонимное письмишко. Не сейчас, зачем сейчас! А тогда, когда действительно понадобится.

Тех заданий, которыми меня снабжал Лагранж в начале знакомства, я сейчас уже не помню. Только имя какого-то аббата Буллана. Но это уже позднее, позднее. Наверное, перед самой войной или сразу после войны. Была какая-то война, по-видимому. То есть обязательно была война, а как же, тогда весь город переворотили.

Абсент, однако, делает свое дело. Если б я дунул на свечу, из фитиля выметнулся бы огонь.

10. Далла Пиккола в затруднении

3 апреля 1897 г.

Дорогой капитан Симонини, сегодня у меня с утра была в голове тяжесть. Поганый вкус во рту. Боже милостивый, сказал я себе, вкус полыни! Абсент! Сказал сразу, хотя не успел прочитать ваши вчерашние полунощные записи. Откуда же мне знать, что вы пили абсент? Если я сам не пил его? И еще. Как служитель божий может знать вкус запретного, неведомого напитка? Хотя нет, у меня что-то путается. Я пишу, видимо, уже прочитавши ваши записи. Под влиянием ваших описаний. Сами посудите. Если я никогда абсента не пил, как же я могу распознавать его, утверждать, что у меня вкус абсента во рту? Значит, вкус был какой-то другой. А начитавшись фразочек про абсент у вас в дневнике, я и написал ни с того ни с сего, что и у меня во рту абсент. В общем, черт! Я проснулся в собственной кровати. Мне казалось, что все нормально. Но только я почему-то знал, что обязан переместиться в вашу квартиру. Там, вернее сказать тут, я прочел страницы вашего дневника, те, которых до сих пор не видел. Вы там поминаете Буллана. Это имя

во мне кое-что пробудило. Нечетко, несвязно, но пробудило. Несколько раз я произнес это имя. И в голове как будто промелькнула молния. Как будто ваши доктора Буррю и Бюро ко мне приставили магнитный металл с одного боку тела. Или как будто доктор Шарко домахался до того пальцем, ключом, открытой рукой перед самым моим носом, что сумел ввести меня в транс, в состояние ясного сомнамбулизма.

Вот что я за сценку увидел: одержимая в конвульсиях, а священник плюет ей в рот.

11. Жоли

Из дневника за 3 апреля 1897 г., по поздним ночным записям

Как-то странно обрывается рассказ Далла Пиккола. Может быть, его спугнул шум, например, открывавшаяся снизу дверь заскрипела и он предпочел ретироваться. Допустимте также такой вариант: сам Повествователь оказался в затруднении. Ну посудите. Далла Пиккола, похоже, пробуждается только тогда, когда капитану Симонини требуется проверяльщик. Он спешит тогда указать на провисания и заполнить лакуны в рассказе капитана. О себе же о самом — как будто памяти нет. Если бы эти листы не были честнейшим воспроизведением действительности, впору было бы решить, что Повествователь нарочно чередует отрывки в духе амнетической эйфории с отрывками в духе дисфорийного припоминания.

Лагранж весной 1865 года пригласил как-то утром Симонини в Люксембургский сад и там на лавочке показал ему мятую книжонку в желтенькой обложке, Брюссель, 1864, без имени

автора, под названием «Диалог в аду Макиавелли и Монтескье, или Политика Макиавелли в девятнадцатом веке».

— Вот. Сочинителя зовут Морис Жоли. Нам это известно. Узнали имя с некоторым трудом. Во Францию завозится незаконно. Печатается за границей и распространяется подпольно. Не столько с трудом узнали, сколько с затратами. В кругу контрабандистов подпольной литературы у нас, естественно, много агентов. Единственный способ иметь сведения о диверсионной секте — это самому держать ее бразды. Ну или по меньшей мере держать на жалованье ее главарей. Ибо намерения врагов государства узнаются не по божию знамению. Принято говорить, конечно с натяжкой, что из десяти заговорщиков трое наши наседки… прошу прощения за жаргон! Другие шесть — просто чистосердечные идиоты. И только один по-настоящему опасен. Но вернемся к теме. Жоли обнаружен и посажен в Сент-Пелажи. И там он просидит, мы постараемся, как можно дольше. От вас желательно получить сведения, где он взял свои данные.

— Но о чем сама книга?

— Признаюсь, не читал. Там пятьсот страниц с походом. Это он напрасно. Очернительская

книжонка должна читаться за полчаса… Мы заказали специализированному агенту в подобных вопросах, Лакруа, краткое резюме. Я вам отдаю единственный экземпляр, который имеется. Описывается воображаемый диалог в царстве мертвых. Макиавелли выведен как теоретик принципиально циничной власти, поборник принципиальной несвободы печати и слова, противник законодательного собрания и всех институтов, насаждавшихся республиканцами. Его доводы столь подробны и столь легко возводимы к нашему времени, что даже самый неискушенный читатель разберется — книга ставит целью инсинуировать напраслины на нашего правящего императора путем приписывания ему намерений, в числе которых: ослабить влияние палаты депутатов, добиться от народа продления до десяти лет президентского срока и в результате преобразовать республику в империю…

— Я очень прошу извинить меня, месье Лагранж, но так как мы говорим доверительно… Вы знаете, насколько я предан власти… Месье Лагранж, не могу все же не возразить, что, по вами рассказанному, этот Жоли инсинуирует именно то, что наш правящий император в действительности и сделал. Так зачем искать источник

найденной Жоли информации…

— Нет. Потому что у Жоли, наряду с критикой действий правительства, содержатся также и инсинуации по поводу того, что якобы еще намечает сделать правительство государства Франция. Похоже, Жоли имеет доступ изнутри. В любое министерство, в любой дворец власти умудряются внедриться лазутчики, «кроты», собиратели секретов. Мы обычно их выявляем, но не ликвидируем. Через них мы распускаем ложные сведения, по усмотрению министерства. Но эта игра, бывает, становится опасной. В общем, мы хотим выявить, кто осведомил или, хуже того, кто подстрекнул Жоли. Симонини сказал себе — смешно. Все деспотические власти деспотичны одинаково. Прочтите настоящего Макиавелли, и вы предскажете, что станет делать Наполеон Третий. Думая это, он вдруг осмыслил смутное ощущение, оставшееся от речей Лагранжа. Этот Жоли вложил в уста своего Макиавелли-Наполеона почти те же самые слова, которые он, Симонини, вкладывал в уста иезуитов в документе, состряпанном по просьбе агентов секретной службы в Пьемонте! Можно предположить, что Жоли вдохновлялся тем же источником, которым воспользовался и он, Симонини, — письмом

отца Родена отцу Роотаану в «Тайнах народа» Эжена Сю.

— Так что, — продолжал Лагранж, — вас препроводят в Сент-Пелажи, как будто мадзинианца-эмигранта, взятого по подозрению в связях с республиканскими организациями во Франции. Там есть один заключенный, Гавиали, итальянец. Каким-то боком причастен к покушению Орсини. Вы, разумеется, завяжете с ним отношения. Вы же гарибальдиец, карбонарий и далее в этом роде. Через Гавиали выйдете на Жоли. Политические всегда стакнутся друг с другом. Особенно когда окружены мерзейшим уголовным сбродом. Разговорите Жоли. Люди в тюрьме откровенничают бог весть с кем. — А сколько мне там сидеть? — спросил Симонини, заранее представляя себе тюремное меню. — Зависит от вас. Как только вы получите искомое, мы сразу вас выпустим. Станет известно, что дело остановлено благодаря хитроумию нанятого вами адвоката.

В тюрьмах Симонини еще не бывал. Ничего хорошего там не оказалось: вонь мочи и пота, невообразимая бурда в качестве супа. Слава еще богу, что Симонини, как и прочие состоятельные арестанты, мог ежедневно закупать набор более съедобных продуктов. Со двора был вход в боль-

шую залу, с очагом по центру и со скамейками по бокам. В зале обычно питались те, кто сам оплачивал свой рацион. Кто-то жевал, низко склоняясь над корзинкой, закрываясь руками от чужих глаз. А другие делились с приятелями и со случайными соседями. Симонини скоро догадался, что щедрее всех вели себя, с одной стороны, закоснелые преступники, привыкшие друг друга поддерживать, а с другой стороны, арестанты политические. В туринские годы, в сицилийские месяцы и в первое время, проведенное среди самых забубенных парижских трущобников, Симонини напрактиковался распознавать истых каторжников. Он не разделял расхожее мнение, будто бы все преступники должны выглядеть рахитичными, нагорбленными, золотушными, гугнивыми, с заячьей губой или что, как утверждал знаменитый Видок (дока в преступном мире и сам из этого отродья), у преступников у всех ноги колесом. Но конечно, характерные черты цветных народов у преступников выражены явно: безволосость туловища, малый череп, покатый лоб, развитость надбровных дуг, гипертрофированные челюсти и скулы, неправильный прикус, скошенность глазниц, темный окрас кожи, густота и курчавость растительно-

сти, оттопыренность ушей, неровность зубов и, в довершение к этому, эмоциональная заторможенность, повышенная наклонность к половым сношениям и алкоголю, пониженная чувствительность к боли, отсутствие нравственного чувства, леность, импульсивность, непредусмотрительность, великое тщеславие, азартность в игре, суеверность.

Все это в полной мере относилось к тому чудищу, которое каждый день наваливалось на него сзади и дышало в затылок, явно претендуя на толику симониниевского обеда. Лицо арестанта было испестрено во все стороны глубокими сизыми рубцами. Около рта все разъедено какими-то ядами. Хорош и нос: перебитые хрящи, ноздри превращены в громадные дыры, руки чрезмерной длины, пальцы невиданно коротки и целиком и полностью поросли шерстью… Симонини, однако, вынужден был отказаться от своих идей в духе «бог шельму метит», потому что страшилище, носившее имя Орест, оказалось тишайшим на свете созданием. Как только Симонини начал-таки делиться с ним порцией обеда, тот к нему привязался и потом проявлял почти что собачью верность и преданность.

Ничего такого за ним не водилось. Он попросту

задушил женщину за то, что она не приняла его ухаживаний, и теперь ждал суда. — Не знаю, отчего она артачилась, — сокрушался он. — Я ведь замуж ее звал. А она смеяться. Как будто я чудовище.



…Так Симонини опознал Гавиали и уселся к нему поближе…

Теперь мне жаль, что ее больше нет. Ну что на это мужчине было делать? Ладно. Если на гильотину не отправят, в каторге не так уж и плохо. Говорят, что кормят досыта. — И, показывая пальцем на другого, добавил: — Вот это и впрямь злыдень. Императора порешить собирался.

Так Симонини опознал Гавиали и уселся к нему поближе. — Сицилия вам досталась ценою наших жертв, — сказал ему Гавиали. — Нет, я не участвовал. Они ничего доказать не сумели. Только мое знакомство с Орсини. Так вот, Орсини и Пиери получили гильотину, Ди Рудио каторгу в Кайенне, а я, если все пойдет путем, выйду отсюда на свободу очень скоро.

Историю Орсини слышали все. Итальянский патриот, съездил в Англию и там разжился шестью бомбами на гремучей ртути. 14 января 1858 года вечером, когда Наполеон Третий направлялся в театр, Орсини и двое его соучастников метнули три бомбы в карету императора. Но с неудачными результатами. Они изранили сто пятьдесят семь человек, и восемь из них впоследствии умерло, а венценосная чета не пострадала.

Перед гильотиной Орсини написал императору слезное письмо, призывая встать на защиту единой Италии. Многие говорили, что это пись-

мо подействовало на последующие решения Наполеона Третьего. — Поначалу считалось, что бомбы буду делать я, — пояснял подробности Гавиали, — совместно с группой моих друзей, которые, жаловаться грех, по части всякой взрывчатки мастаки. Но Орсини больше доверял иностранцам. Они, как принято считать, надежнее нашенских. Англичанин ему совсем голову заморочил. А его-то голова была совсем полна этим ртутным порошком. Гремучая ртуть в то время покупалась в Лондоне в любой аптеке — она употребляется для дагеротипов. Во Франции ею насыщают бумагу для «китайских конфеток», хлопушки, начнешь развертывать, она пукает, обхохочешься. Беда в том, что бомба с инициирующим взрывчатым веществом мало чем полезна, если только она не попадает прямо в цель. А бомба с черным порохом создала бы много крупных осколков металла. Они поразили бы площадку радиусом в десять метров. Бомбы же на гремучей ртути крошатся моментально и убивают только тех, на кого прямо попали. Тогда уж лучше пистолетная пуля. Куда влетит, туда влетит.

— Так можно же снова пытаться, — подзуживал Симонини. — Я знаю, кого очень даже интересует работа группы искусных подпальщиков.

Повествователь не может сказать, зачем тут Симонини забрасывал удочку. Уже имел нечто на уме? Или просто так, каверзничал из любви к искусству? По привычке? На всякий случай? Гавиали отреагировал хорошо.

— Можно поговорить, — сказал он. — Вы, кажется, собираетесь скоро выходить отсюда. Я тоже. Ищите меня у папаши Лоретта на улице Квашни. Мы там встречаемся каждый вечер с друзьями. Жандармы туда уже не заходят. Во-первых, потому что им пришлось бы там арестовывать всех, кто в помещении, то есть возня немалая. Во-вторых, в такое место жандарм, когда зайдет, совершенно не может знать, выйдет ли он оттуда целым.

— Замечательное место, — расхохотался Симонини. — Приду. А вы не знаете ли, тут такой Жоли, написал массу гадостей про императора.

— Это идеалист, — ответил Гавиали. — Слова ведь не убивают. Характерная личность. Познакомлю. Жоли был в не сильно засаленной одежде. По всему было видно, что как-то исхитряется бриться. Обычно он сидел в зале у очага, пока в ней никого не было, а когда заходили те, кто снабжался из продуктовых корзинок, Жоли выходил — чтоб не завидовать чужому везенью. Примерно

ровесник Симонини. Глаза горят энтузиазмом, но и подернуты печалью. Видно по всему, что он — скопище явных противоречий. — Присядьте, — обратился к нему Симонини, — и прошу вас разделить трапезу со мной. Для меня это много. По всему видно, у вас с окружающим отребьем ничего общего. Жоли отвечал молчаливой улыбкой. С благодарностью принял ломоть мяса и хлеб. Но в беседе был уклончив. Симонини: — Хорошо, что сестренка меня не забывает. Она в золоте не купается, но меня поддерживать ей как-то удается. — Счастливец, — отвечал Жоли. — А у меня никого… Так лед был взломан. Побеседовали о гарибальдийском походе. Французы следили за ним затаив дыхание. Симонини намекнул на кое-какие трения сперва с пьемонтским правительством, потом с французским, а вот теперь он под стражей за заговор против государства. Жоли в ответ, что он-то посажен даже и не за заговор, а за неуместное писательство. — Каждый культурный человек думает, что он — важная часть миропорядка. Это такое же заблуждение, как суеверность у безграмотных людей. Мир отнюдь не исправляется идеями. Те, у кого идей мало, менее нас подвержены ошибкам. Они следуют общему направлению и никому не создают затруднений.

Они преуспевают, они богатеют, они достигают высоких позиций, они депутаты, орденоносцы, знаменитые литераторы, академики, журналисты. Может ли считаться глупцом тот, кто так замечательно обделал собственные дела? Нет, глупец — это я. Воюю с ветряными мельницами. Жоли угощался уже в третий раз, но все никак не переходил на главные темы. Симонини легонько пришпорил его, спросив, что за такую опасную книгу тот написал. И Жоли пустился пересказывать свой диалог в царстве мертвых. По мере пересказа он все сильнее негодовал на те гнусности, которые обличал сам, и добавлял, и дополнял, и выкладывал даже больше, чем в свое время опубликовал в книжке. — Понимаете? Деспотия опирается на всеобщее голосование избирателей! Сукин сын произвел авторитарный переворот, используя тупую волю тупого народа! Видно по этому, во что превратятся демократии будущего…

Правильно говорит, думал Симонини. Луи-Наполеон человек нашего времени. Понял, как можно управлять народом, который семьдесят лет назад наэлектризовался от мысли, что имел храбрость отрезать голову королю. Лагранж может подозревать сколько угодно, что у Жоли

имелись подсказчики, однако ясно, что он просто поразмыслил над фактами, которые перед носом у всех, и предсказал поступки диктатора. Но все-таки интересно, где он взял сюжет-то.

Симонини подпустил тонкий намек на Эжена Сю и на послание отца Родена. Жоли улыбнулся, Жоли покраснел… и признался, что его идея вскрыть пагубные замыслы Луи-Наполеона родилась в подражание образцу — Эжену Сю, только с той разницей, что ему захотелось пристегнуть к классическому макиавеллизму иезуитскую доктрину. — Когда я прочитал Сю, было ощущение — вот, я нашел ключ, чтоб написать книгу, которая по-настоящему тряхнет эту страну. Как я обманывался. Книги конфисковывают, книги сжигают, и ты как будто и не сделал ничего… Мне было невдомек, что Эжена Сю выслали за то, что он сказал. А ведь сказал он меньше, чем я.

Симонини страдал, как будто его обокрали. Он тоже стащил свой сюжет про иезуитов у Эжена Сю. Но никто не знал этого. Симонини собирался тихо использовать для других целей этот сюжет. Как тут оказывается, что Жоли прикарманил его и преобразовал, если можно так выразиться, в общественное достояние.

Подумав, Симонини утешился. Книга Жоли из

обращения изъята. Один из считанных оставшихся экземпляров принадлежит лично ему. Жоли еще просидит некоторое количество лет. И если Симонини даже вообще перепишет полностью его текст, вставив на место основного заговорщика, ну, например, Кавура или прусскую канцелярию, никто и не поймет, что откуда взято. Даже Лагранж не додумается. Самое большее, Лагранж тем сильней поверит в новый документ, что нечто подобное он уже встречал. Специальные службы всех на свете государств верят только тому, что уже где-то слышали раньше, и отбраковывают любую новость, если она слишком новаторская. Поэтому все в порядке. Ситуация внушала полное спокойствие. Ему известен рассказ Жоли, а всем другим этот рассказ неизвестен. Известен еще какому-то Лакруа, вскользь названному Лагранжем. Лакруа — единственный, кого хватило прочесть «Диалоги» целиком. Устранить Лакруа — и дело обделано.

Вообще-то можно было уже покидать Сент-Пелажи. Он сердечно, как брат, облобызал Жоли. Тот был растроган и шепнул: — Одна любезность, которую вы можете оказать. Мой друг Гэдон, вероятно, не знает, куда я исчез. Он бы мог мне время от времени передавать продукты. Что-нибудь

переносимое для желудка. А то от их баланды у меня изжога и понос.

Гэдона, продолжал Жоли, нетрудно найти в книжном магазине на улице де Бон, в магазине мадемуазель Эме Бек, где собираются наследники Фурье, члены «секты фаланстера». Насколько понимал Симонини, это были такие социалисты, стремившиеся переделать человеческий род, но не помышлявшие о революции, за что их презирали и коммунисты и консерваторы. Книжный магазин старой девы Бек был вольной гаванью для всех республиканцев, для всех противников империи. Собирались они там вполне свободно. Полиция полагала, что фурьеристы не опасны и для мухи. Покинув тюрьму, Симонини со всех ног полетел докладываться Лагранжу. Он не желал вредить Жоли. Тот в своем донкихотстве вызывал почти что жалость.

— Господин Лагранж, наш малый обыкновенный простяга, хотел прославиться, попал впросак. По моему ощущению, он и писать-то бы не взялся, если бы кто-то из ваших не надоумил. Увы, настрополил его как раз Лакруа, который, как вам верилось, прочел книгу и сделал резюме. А на самом деле, можно пошутить так: прочел книгу еще до ее создания. Я даже не исключил

бы, что Лакруа сам озаботился ее напечатанием в Брюсселе. Зачем ему это занадобилось, не спрашивайте.

— А по указке из-за рубежа! Возможно, из Пруссии. Подгадить тут нам, французам. Меня это не удивляет.

— Как, прусский агент в таком отделе, как ваш отдел? Граничит с невероятным.

— Штибер, резидент прусской шпионской сети, располагает бюджетом в девять миллионов талеров. По слухам, он заслал во Францию пять тысяч прусских землепашцев и девять тысяч домашних работниц, чтобы иметь своих агентов в кафе, в ресторанах, в семьях, всюду. Но слухи ложные. Среди шпионов весьма немного пруссаков. Весьма немного и эльзасцев. И тех и других распознавали бы по акценту. Шпионы — примерные французы. Они работают за деньги.

— А как же выявлять и арестовывать этих оборотней?

— А это нерентабельно. Тогда они бы арестовывали наших. Шпионов обезвреживают не устранением. Им следует внушать ложные сведения. Для этого необходимы лица, ведущие двойную игру. Перейдем к делу. Сведения, полученные от вас, для меня новы. Господи, что за

люди окружают нас! Никому невозможно доверять. Поскорее избавимся от этого субъекта.

— Но на суде ни он, ни Жоли ни в чем не признаются. — Человек, работавший на специальные службы, никогда не должен попадать под суд. Этот принцип, мне очень жаль, будет действовать и в отношении вас. С Лакруа случится неприятность. Вдове начислят соразмерную пенсию.

Симонини не упомянул о Гэдоне и о книжном магазине на улице де Бон. Прежде хотел посмотреть, какую пользу для себя он получит. К тому же несколько дней в Сент-Пелажи его изнурили.

Он прямо отправился в «Лаперуз» на набережной Больших Августинцев. И не на нижний общий этаж, где подавали устриц и антрекоты, как в прежние времена, — а на второй, в отдельный кабинет, где можно было заказать ската в голландском соусе, рисовую запеканку по-тулузски, заливное из филеев молодого кролика, трюфели в шампанском, абрикосовый пудинг по-венециански, салат из свежих фруктов, персиковый и ананасовый компот.

И к чертям всех острожников-идеалистов вместе с душегубами и вместе с их грязными мисками. Для того и существуют тюрьмы, чтобы порядочные люди могли обедывать в ресторанах,

не опасаясь повстречаться ни с кем из тех.

Тут мемории Симонини, как бывает часто в подобных случаях, путаются. В дневнике появляются бессвязности. Повествователю остается прибегнуть к пояснениям аббата. Контрапункт их голосов уже воспринимается как отлаженный и полноценный дуэт…

Суть в следующем. Симонини понимал, что имперские специальные службы ждут от него какого-то специального сообщения. Как можно было укрепиться в глазах Лагранжа? Как может укрепиться полицейский информатор? Конечно, разоблачив заговор! Ну, значит, надлежало организовать этот заговор. Чтобы потом его с блеском разоблачить.

Идею подал ему Гавиали. Симонини навел справки в администрации Сент-Пелажи. Скоро Гавиали должен был выходить на свободу. Симонини выждал, а потом двинулся именно туда, где, как намекал тот, он намерен отираться. На улицу Квашни, в кабаре папаши Лоретта.

Пройдя почти всю улицу Квашни, налево открывался вход наподобие щели. Впрочем, не теснее, нежели улица Котарыболова, которая с правой стороны той же улицы Квашни уводила на набережную, и все диву давались, на что нуж-

на улица, по которой можно проходить только, как краб, боком. В щели слева — лестница. Осыпающиеся коридоры, сочащиеся копотью камни. Низкие двери. На втором этаже один из низких проемов-лазов внезапно открывал доступ в довольно большое помещение, явно полученное за счет сноса нескольких старых квартир. Это и был салон, или зал, или, как его называли, кабаре папаши Лоретта, которого никто не помнил. Он умер в незапамятные времена. Повсюду столы, курильщики трубок, игроки в ландскнехта, девицы с ранними морщинами, бледнощекие, похожие на бедняцких кукол, озабоченные поиском тех клиентов, у которых в бокалах оставалась хоть капля, и выклянчиванием этой влаги.

Симонини появился в день, когда происходила суматоха. Где-то кого-то кто-то пырнул ножом, и от запаха крови у всех заплясали нервы. Кончилось тем, что еще один сумасбродный посетитель выхватил шило и поранил одну из девиц, повалил на землю заступившуюся кабатчицу, бешено отбивался и был повержен только тем половым, кто догадался шмякнуть его кувшином по тыльной стороне головы. После этого все возвратились к прерванным занятиям, как будто и не отвлекались от них.

Там Симонини и нашел Гавиали у стола с компанией таких же, как он, цареубийц — итальянцев-эмигрантов, помешанных на составлении взрывчатых смесей и на разговорах о том же. По достижении определенного алкогольного градуса за столом звучали одни и те же выяснения былых огрехов и недочетов. Адская машина, которой Кадудаль тщился укокошить Наполеона еще в бытность его первым консулом, представляла собой смесь селитры и картечи. Эта смесь эффективна в узких улицах старых столиц, но мало что может в современном городе, да, честно говоря, и раньше не ахти как работала. Фьески, покушаясь на Луи-Филиппа, изготовил устройство из восемнадцати стволов, стрелявших одновременно, и убил восемнадцать человек. Но не короля.

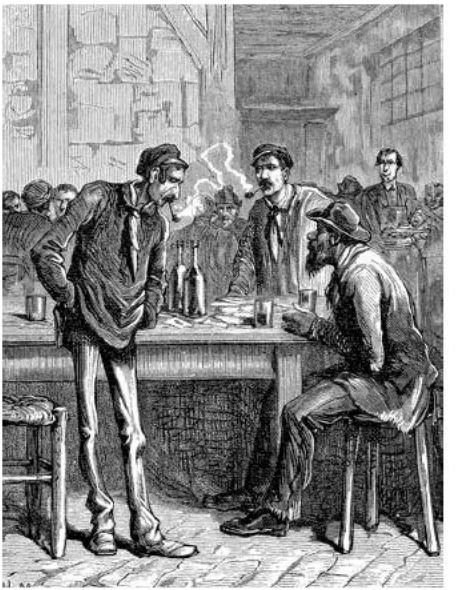
— Вся штука, — поучал общество Гавиали, — в правильном составе смеси. Вот, например, хлорат калия. Бертолетова соль. Пробовали смешивать его с серой и углем, чтобы получать порох. Но в результате только подорвали всю лабораторию начисто. Использовать хлорат хотя бы для производства спичек? Но тогда придется обмакивать хлоратно-серную головку каждой спички в серную кислоту. Сомнительное удобство. И вообще немцы вот уже более тридцати лет назад изобре-

ли спички на фосфорной основе. Воспламеняются от чиркания.

— Что уж говорить, — перебивал его другой, — о пикриновой кислоте. Было отмечено, что она взрывается при нагревании в присутствии хлората калия. Стали разрабатывать взрывчатые вещества, чем дальше, тем более взрывчатые. Чем дальше, тем больше экспериментаторов погибало. От этой идеи отказались. Перспективнее нитроцеллюлоза…

— Да уж я думаю!

— А вообще имеет смысл вчитаться в древних алхимиков. Они открыли, что смешение азотной кислоты со скипидаром постепенно приводит к воспламенению. И известно уже больше ста лет, что если азотную кислоту соединить с серной, абсорбируется вода и почти всегда имеет место вспышка.



...Там Симонини и нашел Гавиали у стола с компанией таких же, как он, цареубийц – итальянцев-эмигрантов, помешанных на составлении взрывчатых смесей и на разговорах о том же...

— Я бы серьезно подумал о ксилоидине. Крепкая азотная кислота в сочетании с крахмалом или волокнами древесины...

— Ты как будто бы начитался этого, как его,

Верна, он пишет, что ксилоидиновым взрывом можно заслать снаряд на Луну. По-моему, гораздо серьезнее сегодня выглядят нитробензол и нитронафталин. Бумагу или картон обработать азотной кислотой — получается нитрамидин, вещество близкое к ксилоидину.

— Но они же нестабильны все. Пироксилин другое дело. При равном весе у него взрывная сила в шесть раз превосходит силу черного пороха.

— Да, но в отношении надежности оставляет желать лучшего… Так час за часом. Время от времени все сходились на неизбежном: лучше всего — старый добрый черный порох. Симонини как будто возвратился в сицилийские времена, как будто слышал покойного Нинуццо. Без излишнего труда, употребив на это дело несколько фляг вина, он смог разжечь в славной компании великое недоброжелательство к Наполеону Третьему, от которого только и жди прямой помехи походу савойцев на Рим, а на поход этот уповали в их компании все. Стало ясно, что ради единой Италии придется предать смерти здешнего диктатора. Симонини, конечно, понимал, что этим забулдыгам до единой Италии было не так сильно много дела, а хотелось поскорее хряпнуть хорошенькую бомбу или две. Но именно таких

сдвинутых на взрывчатке субъектов он и искал.

— Замысел Орсини, — говорил им Симонини, — провалился не потому, что плох был Орсини, а потому, что плохи были бомбы. У нас есть герои, готовые идти на гильотину, готовые бросать бомбы. Но мы до сих пор не выработали четкого представления о том, какую следует взрывчатку применять. Из собеседований с нашим любезным Гавиали я вынес убеждение, что ваш кружок поспособствует решению этого вопроса. — Кто это эти «вы»? — возник вопрос у слушателей. Симонини заметно помялся, а потом прибег к тому же арсеналу, который в свое время применял с туринскими студентами. Он-де является представителем Высшей Венты, одним из заместителей легендарного Нубиуса, других вопросов просит не задавать, потому что структура карбонарской организации такова, что каждый знает только своего непосредственного командира, более никого. Загвоздка была в новых бомбах безупречной убойности. Сфабриковать их можно было только после долгих опытов, и почти что алхимических исследований, и испробования разнообразных веществ, и серьезных полевых испытаний. Он намерен предоставить для опытов спокойное место тут неподалеку, тоже на улице Квашни.

Он также может выделить денежные средства на расходы. Приготовив бомбы, члены кружка не должны заботиться об организации покушения. От них потребуется только некоторое время хранить в помещении листовки, в которых будет возвещаться скорая гибель императора и будут разъясняться резоны и цели заговорщиков. В день кончины Наполеона кружок займется подбрасыванием этих листков в места скопления народа и в редакции крупнейших национальных газет. — Думаю, вам нечего опасаться. В высших сферах кое-кому идея этого покушения не чужда. У нас свой человек в полицейской префектуре. Лакруа. Но не знаю я, насколько можно этому Лакруа доверять. Не пытайтесь с ним связаться. Если он о вас узнает, то способен, думаю, даже и на вас донести, лишь бы получить повышение по службе. Все эти двойные агенты, знаете… Соглашение было с энтузиазмом принято и утверждено. У Гавиали горели глаза. Симонини передал ему ключи от тайной квартиры и немаленькую сумму на первоначальные покупки. Через несколько дней он наведался туда. Эксперименты вроде продвигались. Он оставил несколько сотен листовок, отпечатанных у знакомого типографа, оставил новые расходные средства, вскричал:

«Да здравствует единая Италия! Рим или смерть!» — и распрощался удоволенный весьма.

Но по пути домой по улице Святого Северина, пустынной в вечерний час, он будто бы расслышал шаги непосредственно за собой. А особенно неприятно было, что стоило остановиться ему, как замирали и шаги. Он ускоривался, но преследователь приступал к нему все ближе. Становилось ясно, что это не сопровождение, а погоня. Сопение прямо за плечом, и вот его схватили и втиснули в тупик Саламбрьер, который (а он еще теснее, чем улица Кота-рыболова) открывался ровно в этом месте. В общем, преследователь, скорее всего, был тут как дома и со знанием дела выбрал и угол и момент. Вжатый в стену Симонини видел только мерцание лезвия прямо перед глазами. В темноте не проглядывались черты напавшего на него. Но невозможно было ошибиться в этом голосе, с сицилийским акцентом цедившем: — Шесть лет по вашему следу, благочинный, но ведь отловил-таки! Это был голос покойного Нинуццо. Которого Симонини оставил с двумя вершками стали в животе на старой пороховне у Багерии. — Живой я. Бог послал добрую душу, там мимо один проходил, и меня спасли. Три месяца не знали, буду жить,

нет ли, пузо пропорото от бока до бока… Но как я встал, так и начал искать. Искал я духовное лицо. По моим рассказам нашелся еще один в Палермо, кто видел, как поп встречался в кафе с нотариусом Музумечи, по виду тот поп очень был похож на гарибальдийца из Пьемонта, большого друга полковника Ньево. Говорили, что тот Ньево сгинул в наших сицилийских водах. Что его корабль как будто обратился в дым. Я-то смекнул, куда и как корабль обратился и кто об этом похлопотал. Где Ньево, там и пьемонтское войско. Где войско, там Турин. Холодный, зараза… И в этом-то холоде я бродил год и кого мог спрашивал. Наконец я вызнал. Гарибальдийца звали Симонини. Он еще и нотариус, но контора была продана. Покупатель краем уха вроде слышал, что нотариус переехал в Париж. Двинулся и я в Париж. Без монеты денег. Не спрашивайте уж как. Честно, я не ожидал совсем, что город такой громадный. Пришлось попотеть искамши. Узнал все эти улицы и промышлял на них по вечерам с ножом. Кто прилично одет и кто ошибся дорогой и часом, обычно делится со мной, что у него в кошельке. По одному кошельку за вечер, на жизнь хватает. Бродил, бродил я. Вот и набрел. Ведь знал, что такому, как вы, хорошее место не нуж-

но. Вам все повадно в притоны да в тошниловки. Что ж бороду-то черную не отрастили? Узнать было бы труднее… Вот с тех-то пор Симонини и взял себе привычку преображаться в бородатого буржуа. Но в ту минуту, слушая Нинуццо, клял себя, что так мало заботился заметать следы. — Довольно, — подводил итог тем временем Нинуццо, — всю историю уже рассказал. А делов-то — пропороть вам пузо точно так же, как вы пропороли мне. Но только основательнее. Вечером тут не пройдет никто. Тут поукромнее, чем на нашей багерийской пороховне.

Как раз в это время всходила луна, Симонини видел хищный оскал Нинуццо и сверкающие от ярости белки глаз.

— Нинуццо, — нашел он силы взмолиться, — вы не знаете всего. Что я сделал тогда, это потому, что я выполнял приказ. Приказ с самого верху. От такого преосвященного престола, что пришлось повиноваться, не слушая веления сердечных чувств. Тому же пославшему повинуясь, я и тружусь вот тут, готовлю новейшие деяния для спасения алтаря и трона. Симонини пыхтел и говорил. И наблюдал, как нож нечувствительно отдаляется от близости его лица.

— Вы посвятили жизнь своему королю, — про-

должал он задыхаясь, — и вам должно быть известно, что бывают поручения… святые, так сказать… ради которых позволено даже совершать действия, по существу неправомочные… Улавливаете? Мастро Нинуццо не вполне, надо думать, уловил, но дал понять, что кровная месть — не единственная цель его поведения.

— Наголодался я в эти годы. Увижу ваш труп — и что? Голода он не успокоит. Мне надоело жить вот так. А вы, я следил, ходите и в господские рестораны. Я сохраню вам жизнь. В обмен на кругленькую сумму мне каждый месяц. Чтоб я и спал и ел не хуже вас. А может быть, и лучше.

— Мастро Нинуццо, я готов обещать гораздо больше. Не только небольшую сумму в месяц. Я тут готовлю покушение на французского императора. А вы помните, ваш король лишился трона из-за того, что здешний Луи-Наполеон втихую помогал Гарибальди. Вы так много знаете про порох. Повстречайтесь с группой тутошних честных людей. Они собрались на улице Квашни и готовят то, что можно было бы назвать адской машиной. Ежели вы примкнете к ним, не только сможете участвовать в деле, которому судится войти в историю, не только обессмертите ваше имя, но и — поскольку покушением ведает персона высо-

чайшего ранга — получите долю вознаграждения и обогатитесь до конца своих земных дней. От одного лишь упоминания о порохе у Нинуццо сразу затухла вся злоба, накопленная с той самой памятной ночи в Багерии. Симонини понял, что дело в шляпе, когда тот опустил нож и спросил:

— Ну, где и что делать-то?

— Все очень просто. Послезавтра к шести часам вечера приходите по этому адресу, стучите. Вам откроют вход в большой склад. Скажете, что вас посылает Лакруа. Друзья будут предупреждены. Но чтобы вас признали за своего, вставьте в петлицу, вот в эту, сюда, в сюртук, гвоздику. К семи появлюсь и я. Принесу деньги.

— Приду, — отозвался Нинуццо. — Но если только здесь какой-нибудь финт, то знайте, что мне известен адрес вашей квартиры.

На следующее утро Симонини наведался к Гавиали и оповестил, что время пришло. К шести часам завтра он просит всех быть на условной квартире для обсуждения. Сначала появится присланный им же сицилийский пороховщик, он проведет осмотр и выяснит, в какой стадии дело. Спустя немного придет туда он сам, Симонини, а после явится и куратор господин Лакруа. После этого Симонини побывал у Лагранжа и передал

ему все сведения относительно заговора, имеющего целью покушение на государя императора. Заговорщики, имеет он основания полагать, сойдутся к шести часам следующего дня на улице Квашни. Они будут демонстрировать взрывные устройства своим кураторам.

— Однако внимание, — не умолкал Симонини. — Однажды вы поделились со мной наблюдением, что из десяти членов секретного сговора трое обычно являются нашими шпионами, шесть — безвредными идиотами и только один из десяти по-настоящему опасен. Ну, в данном случае шпионов среди всех окажется только один, и это я, плюс восемь идиотов. А человек по-настоящему вредный будет иметь на лацкане сюртука гвоздику. И поскольку он по-настоящему вреден и для меня тоже, хотелось бы, чтобы произошло досадное недоразумение и чтобы тип тот был не задержан, а сразу убит на месте. Поверьте, это лучший путь к самому тихому решению проблемы. Гораздо хуже, если он получит возможность говорить. Даже если только с кем-нибудь из ваших людей. — Я пойду вам навстречу, Симонини, — сказал на это господин де Лагранж. — Его устранят.

Нинуццо в шесть постучался на улице Кваш-

ни с пышной гвоздикой на груди. Гавиали и товарищи гордо продемонстрировали ему свои самоделки. Через полчаса вошел и Симонини, объявил, что вскорости пожалует Лакруа. В шесть сорок пять органы закона ворвались в помещение. Симонини, вскричав: «Предательство!», выхватил пистолет и прицелился в жандарма, однако пуля попала в воздух. Жандармы открыли ответный огонь и в перестрелке ранение в грудь получил Нинуццо. Для чистоты картины они застрелили еще одного заговорщика. Нинуццо все не умолкал, изрыгал сицилийские проклятия и в муках катался по полу. Симонини, продолжая целиться в жандармов, милосердно послал пулю в голову Нинуццо.

Так Гавиали и его сообщники были захвачены отрядом Лагранжа с поличным, с недоделанными бомбами на столе и с пухлыми пачками листовок повсюду. Пошли допросы с пристрастием. Гавиали и товарищи называли имя некоего Лакруа, который, как они настаивали, предал их. Лагранж уверился, что имеются причины убрать сотрудника Лакруа. В полицейских протоколах было показано, будто Лакруа участвовал в задержании, был смертельно ранен и погиб. Ложь во имя славной посмертной памяти.

Что до заговорщиков, было признано нецелесообразным раздувать этот процесс. Времена такие, объяснял Лагранж, что слухи о покушениях на императора возникают и множатся что ни день. И есть подозрение, что эти слухи не самопроизвольно зарождаются, а их нарочно распускают агенты-республиканцы в целях разбудораживать взбалмошные головы и предлагать им образец для подражания. Было решено не рекламировать эту моду — покушаться на жизнь Наполеона III. Заговорщиков загнали на каторгу в Кайенну медленно умирать от малярийных лихорадок.

Спасение императорской жизни — доходное ремесло. Работа с Жоли принесла нашему герою десять тысяч франков, а раскрытие заговора — тридцать тысяч. Вычтем расходы на съем конспиративной квартиры и на изготовление бомб (пять тысяч франков). Остается чистыми тридцать пять тысяч. Больше десяти процентов того капитала в триста тысяч, который мечтал накопить Симонини.

Удовлетворенный исходом истории с Нинуццо, он немного огорчился за Гавиали, который, в сущности, был добрейший малый. Доверчивый. Но кто желает заниматься цареубийством, должен понимать, что затея связана с риском, и ни в

коем случае не проявлять доверчивость.

Не очень удачно вышло и с Лакруа. Лакруа ничего дурного ему не сделал. Но вдове Лакруа и впрямь начислили хорошую пенсию.

12. Однажды ночью в Праге

4 апреля 1897 г.

Мне оставалось посмотреть на Гэдона, к которому меня посылал Жоли. Книжный магазин на улице де Бон, хозяйка — сморщенная мымра, в безразмерной черной суконной юбке, в чепчике а-ля Красная Шапочка, закрывавшем ей почти все лицо, и спасибо чепчику за это. Гэдон оказался скептичным, ироничным и ехидным. Мой любимый тип: не верящих ни во что. Он отзывчиво принял просьбу Жоли. Обещал отнести ему еды и немножко денег. В то же время поиронизировал над бедным сидельцем. Зачем было писать эту книгу и садиться в тюрьму, когда известно, что читающие люди — и без того по убеждениям республиканцы, а те, кто поддерживают диктатуру, — ничего не читают, и они-то, безграмотная деревня, получив доступ к общему голосованию, известно кому отдают голоса. — Фурьеристы, вы спрашиваете? Ну, неплохие люди. Но верят же в своего Фурье, пророчившего, что в новом возродившемся мире апельсины будут плодоносить в Варшаве, океаны наполнятся лимонадом, у людей отрастут хвосты, а инцест и гомосексуализм

будут признаны естественными импульсами человеческой натуры…

— Но вы же с ними связаны? — спросил тогда я.

— Да, связан. Они единственные честные противники диктатуры подлеца Бонапарта. Вон, видите, красивая дама, это Жюльетта Ламессен. Одна из самых влиятельных дам в салоне графини д'Агу. На деньги мужа открыла и собственный салон на улице Риволи. Она обворожительна, умна, небездарная писательница. Приглашения к ней будут котироваться. Гэдон показал мне и какого-то господина, высокого и приятной наружности.

— Туссенель, тот, что написал «Нравы животных». Социалист, неукротимый республиканец, смертельно влюбленный в Жюльетту, она же не удостаивает его взглядом. Самый ясный здесь ум, на фоне остальных. Туссенель заговорил со мной о проказе современного общества — капитализме:

— Кто же капиталисты? Евреи. Магнаты нашего времени. В прошлом веке революция стоила головы Капету. В нашем столетии революция будет рубить головы Моисеям. Я пишу об этом книгу. Кто такие евреи? Те, кто сосет кровь без-

защитных, кровь народа. То есть протестанты и масоны. И конечно же иудеи.

— Но протестанты не евреи, — заикнулся я.

— Я под евреями имею в виду всех протестантов. Английских методистов, немецких пиетистов, швейцарцев, голландцев, всех тех, кто пробует вычитывать волю божию из еврейской книги, из Библии, где воспеваются инцесты, смертоубийства и разбойничества и верх одерживается путем предательства и подлога. В которой цари убивают мучеников, чтоб отбирать у них жен, а жены, которых приводят в пример святости, разделяют ложе с военачальниками, дабы отрезать им голову. Кромвель казнил своего короля под библейские изречения. Мальтус, отказывающий детям бедняков в праве на жизнь, весь напитан библейскими указаниями. Это племя посвящает жизнь воспоминаниям о былом рабстве и всю жизнь рабствует у золотого тельца, супротив всех казней господних. Битва против евреев должна быть целью любого социалиста, достойного имени социалиста. О коммунистах тут речи нет, поскольку их основатель — еврей. Для нас принципиально — изобличить заговор, заговор капиталов. Отчего в ресторане в Париже яблоко стоит в сотню раз дороже, чем в Норман-

дии? Есть народы-грабители, существующие за чужой счет. Это народы-купцы. Как в давнейшие времена были финикияне, карфагеняне. А сейчас — англичане и евреи.

— Англичане и евреи для вас — одно?

— Да, почти одно. Почитайте, что пишет в своем романе «Конигсби» этот английский политик, Дизраэли, выкрест-еврей-сефард. Он имеет наглость утверждать, что евреям предстоит господствовать в мире. Не в парламентских выступлениях, конечно, он это утверждает, а в романах. На следующий день Туссенель специально для меня принес книгу этого Дизраэли, в которой были подчеркнуты пассажи: «В Европе нет заметного интеллектуального движения, в котором евреи не принимали бы активного участия. Первые иезуиты были евреями; секретная русская дипломатия, вызывающая такое беспокойство в Западной Европе, в основном осуществляется евреями… Они монополизировали и почти все профессорские кафедры Германии…»

— И имейте в виду, что Дизраэли — не обличитель и не доносчик на собственный народ. Напротив, он воспевает его превосходство. Без стыда он пишет, что министр финансов России, граф Канкрин, — сын литовского еврея, точно так

же как испанский министр Мендисабаль — сын арагонского маррана. Один из имперских маршалов Франции, Сульт, был сыном французского еврея. И евреем был Массена — настоящее имя его Манассия, Менахем… Мощная революция, подготавливаемая в настоящее время в Германии, развивается в целом под эгидой евреев, в особенности этого самого Карла Маркса с его коммунистами…

Не знаю, прав ли был Туссенель. Но в его филиппиках звучало примерно то самое, что было принято думать у революционеров. Я призадумался. Документы, обличающие иезуитов, сочинить-то было можно, а вот кому их я продам? Масонам? Но с ними у меня пока что не имелось прочных связей. Вот если бы иезуитам, скажем, продать документы, обличающие масонов… Но их я еще не был способен сочинить. Обличающие Луи-Наполеона? Ну не правительству же я их буду продавать… Можно было бы республиканцам. Самый многообещающий рынок. Но там ведь уже поработали и Сю и Жоли. Мало что можно было бы добавить. Сочинить документ, обличающий республиканцев? Тоже, думается, напрасный труд. У правительства уже все на них имеется. Предложить Лагранжу документы, компроме-

тирующие фурьеристов? Да он расхохотался бы. Воображаю, сколько информаторов было уже запущено в их компанию, в книжный магазин на улице де Бон.

Кто оставался? Да евреи, господи ты боже! По правде, я ошибочно думал, что на евреях был свихнут исключительно мой дедушка. Но как послушал Туссенеля, я стал понимать, что рынок ненавистников еврейства вмещает в себя не только последышей аббата Баррюэля (которых очень и очень много), но и революционеров, республиканцев, социалистов. Евреи ненавистны алтарям. Но ненавистны и плебеям, которых кровь они высасывают. А также зачастую евреи ненавистны и монархам.

Имело смысл заниматься евреями. Я сознавал, что задача не из простых. Клерикальным кругам мог импонировать новый ввод в обращение баррюэлевского материала, что-де евреи пособники масонов и тамплиеров, они-де подстроили французскую революцию. Но социалистов, Туссенеля например, это бы совершенно не заинтересовало. Следовало ему предложить что-то более четкое по линии евреев — накопления капитала — тайного плана Британии.

Как-то даже стало жалко, что я никогда не

встретил в жизни ни одного еврея. Потому что для работы все же недоставало прямого знакомства с предметом моего омерзения, постепенно разрастающимся в образ врага.

И я маялся и ломал себе голову. Покуда как-то вдруг именно Лагранж не предложил мне выход из положения. Лагранж, как водится, нашел новое экстравагантное место для нашей явки. На этот раз он назначил ее на кладбище Пер-Лашез. Он, по сути, действовал совершенно правильно, потому что все посетители там как будто блуждают в поиске могил своих незабвенных усопших или предаются романтическим грезам о былом. Так и мы кружили уныло около гробницы Абеляра и Элоизы. Обыкновенное паломничество артистов, философов и влюбленных. Призраки среди призраков. — Ну, в общем, Симонини, надо вам познакомиться с полковником Димитрием. Он нам известен только под этим именем. Он русский, работает на Третье отделение Собственной его императорского величества канцелярии. Конечно, если вы приедете в Петербург и станете спрашивать направо и налево про это Третье отделение, все сделают вид, будто впервые услышали. Его официально не существует. Это агенты, уполномоченные надзирать за образованием

революционных кружков. Причем у них там это посерьезнее, чем тут у нас. В России мутят воду и наследники декабристов, и анархисты, а сейчас еще и освободившиеся крестьяне. Царь Александр Второй несколько лет назад у них ликвидировал крепостное право. И теперь двадцать миллионов освободившихся крестьян должны платить своим бывшим хозяевам за землепользование. А прокормиться от земли они не в состоянии. И в поиске работы наполняют собой города…

— А зачем я понадобился полковнику Димитрию?

— Он подбирает досье… ну, скажем… компрометирующие факты… Ну, по еврейскому вопросу. Евреев в России больше, чем тут у нас. В сельской местности они — угроза для русских крестьян, потому что евреи умеют читать, писать и в особенности считать. Не говоря уж о городах, где многие из них принадлежат к революционным движениям. У моих российских коллег двойная проблема. Первая их цель обезвреживать евреев. Евреи для России риск. Вторая их цель — настрополять на евреев агрессию крестьянства и плебса. Но пусть Димитрий вам подробнее объяснит. Нас не касается это. Наше правительство

поддерживает добрые отношения с еврейскими финансовыми кругами во Франции и не имеет планов вызывать недовольство у них. Мы желаем только оказать любезность русским коллегам. В нашей деятельности, так сказать, рука руку моет: мы учтиво одалживаем полковнику Димитрию вас, Симонини, не имеющего с нами формально никакой связи. Да, вот еще. Пока Димитрий едет, разузнайте что можете об организации «Альянс Израэлит Юниверсель», «Всемирный еврейский союз», которая была основана тут у нас в Париже лет шесть назад. Это врачи, журналисты, юристы, предприниматели — сливки еврейского Парижа. Либеральных воззрений. Ближе, конечно, к республике, чем к бонапартизму. На словах-то это всемирное еврейское единение создано для помощи тем лицам, независимо от их религии и национальной принадлежности, которые испытывают политические притеснения. Общество защиты гражданских прав. Первое впечатление: безупречный союз безупречных граждан. Запустить туда наших информаторов трудно, потому что евреи друг друга знают, а если не знают, то быстро распознают, кто есть кто, обнюхиваясь, как собаки. Но я бы мог связать вас с одним из наших, втершихся все-таки в «Союз». Это Якоб

Брафман, выкрест, преподаватель еврейского языка в Минской духовной семинарии. Он проездом в Париже как раз по поручению полковника Димитрия, то есть Третьего отделения. Он без труда сблизился с представителями «Всемирного еврейского союза», будучи, как и они, евреем. Он и расскажет вам об организации. — Прошу извинить меня, месье Лагранж. Но если этот Брафман — осведомитель полковника Димитрия, значит, все, что я от него услышу, Димитрию уже известно. Зачем же я стану рассказывать Димитрию наново то же самое? — Не прикидывайтесь, Симонини! Зачем? Затем! Если вы повторите Димитрию все то, что он уже слышал от Брафмана, тем самым вы в глазах Димитрия окажетесь носителем самоправдивейшей информации. И укрепите в нем чувство, что его правильно информируют.

Брафман выглядел не так, как я думал. По рассказам деда, еврею полагалось иметь хищный профиль, мясистые губы, из которых нижняя отвислая, как у негра, глубоко посаженные водянистые, заболоченные глаза. Веки сощуренные (это примета их расы), волосы курчавые, уши врастопырку… У Брафмана был скорее монашеский вид. Пышная белая борода и кустистые

брови, оканчивающиеся какими-то мефистофельскими кисточками, что встречается у русских и у поляков. Делаю вывод, что обращение в христианство облагораживает и черты лица, отражая облагорожение души. Еще одно нечастое свойство. Он, несомненно, интересовался хорошей кухней, хоть и не чужд был провинциальной прожорливости. Провинциалы вечно пробуют все и не умеют составить меню. Мы обедали в «Роше де Канкаль» на улице Монторгёй, где некогда водились лучшие устрицы в Париже. Десятка за два лет до того его было закрывали; после закрытия ресторан возродили уже новые хозяева. Ресторан, надо полагать, сделался совершенно другим. Но устрицы имелись и вполне могли сойти для русского еврея. Брафман ограничился дегустацией дюжины-другой «белон», после чего заказал себе раковый суп.



...У Брафмана был скорее монашеский вид. Пышная белая борода и кустистые брови, оканчивающиеся какими-то мефистофельскими кисточками, что встречается у русских и у поляков...

— Чтобы просуществовать сорок веков и сохранить свою внутреннюю мощь, столь живучий народ должен был образовывать подпольное правительство в каждой стране, в которой

оказывался. Такое государство в государстве, поддерживаемое всегда и где бы то ни было, даже в периоды тысячелетних странствований. Так вот, я нашел документы, подтверждающие существование этого тайного государства со своим законом, законом кагала.

— Что за закон кагала?

— Этот закон восходит ко временам Моисея. После рассеяния он никогда не действовал открыто. Всегда в тени синагог. У меня в распоряжении документы минского кагала с 1794 по 1830 год. Все записано. Каждая мелочь запротоколирована. Разворачивал передо мной свитки, испещренные знаками, которые я не мог понять.

— Всякая еврейская община управляется кагалом и подчиняется талмудическому судилищу, бет-дин. У меня бумаги одного кагала, но совершенно ясно, что они аналогичны бумагам любого другого кагала. В них содержится указание, что члены общины должны подчиняться только своему внутреннему суду, а не суду государства, предоставившего им проживание. Указывается, как следует справлять праздники и как умерщвлять животных для их традиционного потребления в пищу. Причем нечистое и испорченное мясо рекомендуется сбывать христианам.

Указывается, что всякий еврей может приобрести у кагала в свою эксплуатацию нееврея и порабощать его посредством дачи тому денег в долг, покуда не овладеет всем имуществом того. И ни один другой еврей не может простирать свои права на того самого христианина. Отсутствие сочувствия к общественным низам, эксплуатация бедных богатыми — все это с точки зрения кагала не преступления, а, напротив, достоинства Израиля. Часто подчеркивается, что в России евреи нищи. Это правда. Большинство их нище, будучи жертвами тайного меньшинства — правительства, основанного богатыми евреями. Я не против евреев, я сам еврейского происхождения. Я против еврейской идеи, пытающейся подменить собой христианство. Я люблю евреев, Иисус свидетель. Иисус, которого они умертвили.

Брафман отдышался и заказал заливное из куропаточьих филейчиков. И почти сразу снова отвлекся на свои листы, шурша, блистая глазами:
— Все здесь подлинное, видите? Какие могут быть сомнения! Бумага ветхая, почерк нотариуса неизменный, подписи неотличимы, хотя и проставлены в разные даты!

Теперь Брафман, который уже успел перевести документы на французский и немецкий языки,

узнав от Лагранжа, что я имею способности создавать подлинные документы, попросил меня произвести французскую версию, так, чтобы выглядело, будто она написана в тот же самый отрезок времени, что и оригиналы-прототипы. Полезно было располагать рукописями этих бумаг на разных языках, чтобы убедить российские секретные службы, что кагал серьезное явление в различных европейских странах и, в частности, немало влияет на организацию «Еврейский союз» в Париже.

Я засомневался: возможно ли, имея только эти документы, созданные бог знает в каком далеком углу Восточной Европы, доказать на их основании могущество Всемирного кагала? Брафман ответил, что мне не следует совершенно волноваться, что это требуется только так, для порядка, чтобы подтвердить, что цитируемые им факты взяты не с потолка, а вообще в его книге более чем убедительно обличен истинный кагал, эта цепкая гидра, оплетающая щупальцами весь цивилизованный мир.

Лицо его закаменело, приобрело именно тот хищный характер, который и выдавал еврея, каким он и был и оставался, невзирая ни на что. — Основа талмудического духа — неукротимое

стремление к мировому господству, стремление захватить все имущество нееврeев, злоба на христиан и на Иисуса Христа. Покуда израилиты не войдут в веру Христову, так и будет длиться: христианские страны, предоставляющие им пристанище, всегда будут восприниматься как территория, подобная некоему свободному озеру, в котором каждый еврей свободно может удить. Это слова Талмуда, так говорится в Талмуде.

Начисто выдохшись в своем бичующем раже, Брафман попросил принести ему эскалопы из пулярдки в бархатном соусе, но, попробовав, остался недоволен и велел заменить на куриные отбивные, шпигованные трюфелями. Потом он достал из жилетного кармана серебряную луковицу и покачал головой: — О, поздно. Французская кухня превосходна, однако обслуживают они медленно. У меня есть срочное дело, я должен идти. Вы поставите меня в известность, Симонини, удалось ли достать нужного сорта бумагу и правильные чернила.

Брафман едва попробовал, перед тем как откланяться, ванильное суфле. Я думал, признаюсь, что по-еврейски он меня принудит оплатить счет. Однако широким жестом Брафман взял на себя расходы за эту, как он выразился, безделицу.

Надо полагать, что российские секретные службы держат агентов на царском довольствии.

Домой я плелся озадаченный. Пятидесятилетней давности, написанная в Минске бумага с подробными инструкциями, кого можно и кого нельзя приглашать на праздник, ни в коей степени не являлась доказательством, что теми же правилами руководствуются и крупные банкиры в Париже или в Берлине. И кроме того, это противоречило моему принципу! Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не связываться с подлинными документами, даже с полуподлинными! Если они действительно существуют где-то, всегда есть риск, что кто-нибудь до них доберется и выявит, что мы их процитировали неаккуратно… Настоящей убедительностью обладают только те документы, которые построены самостоятельно с нуля. Оригиналы, естественно, не предъявляются, а описываются понаслышке, подчеркивая, что к источникам невозможно взойти. Возьмите волхвоцарей; они упомянуты только у Матфея в двух полуфразах. Не сказано ни как звали их, ни сколько их было, ни были ли они царями. А люди верят в них, как в Иосифа и Марию. Где-то лежат их мощи и пользуются поклонением. Разоблачения должны всегда быть

исключительными, дерзкими, романтичными. Только тогда они вызывают доверие и негодование. Какая разница виноградарям в Шампани, так или сяк евреи справляют бракосочетания своих дочерей? Это разве значит, что евреи зарятся на деньги виноградарей?

И вдруг я сообразил: есть, есть ведь именно то, что нужно. Есть несравненная штука, посильнее, чем «Фауст» Гуно, по которому вот уже несколько лет сходят с ума зрители-парижане. Неопровержимой убедительности! Остается только заполнить ее подходящим содержанием. Я, естественно, имел в виду сборище масонов на Громовой горе — план Джузеппе Бальзамо и слет иезуитов ночью на кладбище в Праге.

Что будет первичной целью замысла евреев, нацеленного на мировое господство? Правильно, первым делом — захват мирового золота, как подсказывал недавно Туссенель. Мировое господство — страшилка для монархов и правительств, овладение золотом — это чтоб огорошить социалистов, анархистов и революционеров, а подрыв нравственных основ христианства — это чтоб шугануть папу, епископов и священство. Подбавлю щепотку бонапартистского цинизма, который так удачно сформулировал Жоли. И иезуитского

лицемерия, которое и Жоли и я позаимствовали у Эжена Сю.

Я опять двинулся в библиотеку. В Париже наискалось значительно больше, чем в Турине. Я нашел не одну, а много гравюр с изображением пражского кладбища. Со Средних веков оно росло, но не в стороны, а в высоту и глубину, и громоздило стелу на стелу, плиту над плитою, вместив едва ли не сто тысяч покойников, и криво лезли друг на друга в ближайшем соседстве под кронами бузины тысячи стоячих досок без портретов, то есть без мало-мальски очеловечивающих черт. Евреи ненавидят человеческие лица… Может быть, художники очаровывались странным зрелищем и несколько преувеличивали сумбурность этой каменной грибницы, этого безжизненного кустарника, накрененного всеми ветрами, леденящего душу пейзажа, напоминающего разинутый рот беззубой ведьмы. На других гравюрах, более романтичных, было кладбище под лунным светом. Я размышлял, как выгодно подать на фоне вспученных паркетных плашек, разметанных землетрясением, весь шабаш настороженных, сгорбленных, укутанных и нахлобученных, седо– и козлобородых раввинов, шушукающихся и сговаривающихся, тоже погну-

тых в разные стороны, как и гробовые доски, на которые они облокачиваются. Ночь, гробницы и раввины застыли как лес задубелых призраков. В середине гробница рабби Лева, создателя в семнадцатом столетии ужасающего Голема, призванного осуществить взлелеянную иудеями мечту о мщении.

Это похлеще Дюма. Это похлеще иезуитов.

Естественно, что документ должен быть издан в форме устного свидетельства очевидца, бывшего там в черную и жуткую ночь. Очевидца, чью личность необходимо скрывать под страхом смерти. Ночью он проникнет на это кладбище еще до начала объявленной церемонии, переодетый раввином, и прильнет к той груде камней, которая представляет собой усыпальницу рабби Лева. В самую в полночь — кощунственно употребляя удар церковного колокола как призыв на иудейское сходбище — войдут двенадцать человек, укутанных в темные плащи. Загробный голос обратится к ним как к Рошам двенадцати Бейт-Аботов, то есть предводителям двенадцати домов отцов Израилевых. И каждый из них ответит голосу: «Привет и тебе, о сын проклятия».

Вот она, сцена. Как тогда на Громовой горе, голос созвавшего спросит: «Прошло сто лет с

последнего собрания. Кто вы и от кого представительствуете?» В ответ послышится: реб Иуда из Амстердама, реб Вениамин из Толедо, реб Левий из Вормса, реб Менахем из Пешта, реб Гад из Кракова, реб Симеон из Рима, реб Зевулон из Лиссабона, реб Рувим из Парижа, реб Дан из Константинополя, реб Ашер из Лондона, реб Иссахар из Берлина, реб Нафтали из Праги. Тогда тот же голос, то есть тринадцатый созванный, потребует от каждого рассказать о богатствах его общины и присчитает богатства прочих иудеев-банкиров, верховенствующих в мире. Выйдет два миллиарда франков. Сумма, которая, разделенная на три миллиона пятьсот тысяч евреев, обитающих в Европе, даст результат в шестьсот франков на каждого! Этого недостаточно, сообщает тринадцатый голос, дабы уничтожить двести шестьдесят пять миллионов христиан. Но уже есть возможность начинать. Надо подумать как следует, что они там будут говорить. Но понятно, чем все кончится. Тринадцатый голос вызовет с того света рабби Лева. Из усыпальницы выйдет голубоватый свет, все более жгучий, все более слепящий. Двенадцать предводителей положат по камню на могильную плиту. Свет постепенно затухнет. Двенадцать разойдутся по разным направлени-

ем, и тьма, как принято выражаться, поглотит их. На кладбище снова рассеется химеричная, малокровная грусть. Так: Дюма, Сю, Жоли, Туссенель. Но явно недоставало хитроумия отца Баррюэля. Не хватало духовной направляющей во всей этой реконструкции. Ревностно-католической ноты. И именно как раз в это время Лагранж, в нетерпении — когда же наконец я завяжу отношения с «Еврейским союзом», — просветил меня насчет некоего Гужено де Муссо. Вообще-то я о нем уже слышал. Журналист, католик, легитимист. Охотник до мистических тем: магия, демонические обряды, тайные общества, масонство.

— Сколько мы знаем, — сообщил Лагранж, — Гужено заканчивает книгу о иудеях и иудеизации христианских народов. Думаю, вы поняли. Повидайтесь с ним — наберете достаточно материала, чтобы порадовать наших русских друзей. Заинтересованы в этом и мы. Нам желательно получить более четкое представление, что он там сочиняет, потому что не хотелось бы, чтобы добрые отношения между нашим правительством, церковью и еврейскими финансовыми кругами неожиданно омрачились. Обратитесь к нему, будто вы гебраист и почитатель его исследований. Вас может представить аббат Далла Пиккола, это наш

помощник в деликатных делах.

— Но я не знаю еврейского языка.

— А что, Гужено знает? Не думаю. Чтобы ненавидеть кого-то, не обязательно разговаривать с ним. Ого! Я смог припомнить свое первое знакомство с аббатом Далла Пиккола. Вижу его прямо перед собой. И явно никакой он мне не двойник, потому что ему по меньшей мере шестьдесят, он сгорблен, косоглаз и с кроличьим прикусом. Аббат Квазимодо, про себя я так обозвал его. Говорит с немецким акцентом. Первым делом он мне стал шептать, что нужно хорошенько приглядывать не только за евреями, но и за масонами, потому что заговор в конечном счете у них один. Я же полагал, что воевать на несколько фронтов нецелесообразно, и постарался замять разговор. Но из некоторых намеков аббата я догадался, что информация о масонских съездах интересует иезуитов, ибо церковь готовит широкую кампанию против масонской чумы.

— И все же, — говорил Далла Пиккола, — если вам занадобится связаться с масонами, скажите. Я брат в одной парижской ложе и неплохо изучил их среду.

— Вы, аббат? — переспросил я. Тот усмехнулся:

— Знали бы вы, сколько масонов среди абба-

тов… Тем временем меня обещали познакомить с кавалером Гужено де Муссо. Ему было под семьдесят, духом он уже слабел, несколько идей всецело заполняли его мозг. Он все доказывал существование дьявола, волшебства, колдунов, спиритистов, месмеристов, евреев, а также иереев-идолопоклонников и даже «электриков», провозглашающих какой-то там электрический жизненный принцип. Речи его лились потоками. Начинал он с самого начала. Мне были исчерпывающе поведаны истории Моисея, фарисеев, рассказано о Верховном Синедрионе, о Талмуде. По ходу дела Гужено подливал мне отменный коньяк, в промежутках всякий раз удерживая бутылку на столике у себя под рукой, так что я все терпел и слушал.

Меня оповестили, что процент позорных женщин в еврействе выше, чем у христиан (что, это разве новость, спросил я себя, читали же Евангелие, там Иисус, куда ни ткнется, встречается с блудницами?). Потом разговор перепал в другую тему — что талмудическое учение вообще не допускает существования ближнего, не говорит о долге каждого перед ближними его, чем и объясняется и в некотором роде оправдывается бесчувственность евреев, разоряющих семьи,

обесчещивающих дев, умаривающих голодом вдов и стариков, чью кровь эти ростовщики всю уже высосали. Как и число проституток, число преступников в иудейской нации превосходит то, что у христиан. — Да вы знаете, что из двенадцати судебных процессов по кражам в Лейпцигском суде одиннадцать подсудимых — евреи? — вскрикивал Гужено и добавлял с ехидной ухмылкой: — И на Голгофе у них набралось два вора на одного честного человека.

Вообще же преступления евреев самые извращенные, утверждал Гужено: мошенничества, подделки, ростовщичество, злостное банкротство, контрабанда, производство фальшивых денег, взяточничество, растраты. Право, позвольте не продолжать.

После часового выкладывания подробностей по части ростовщичества наконец он доехал до самых пикантных вопросов: детоубийства и каннибализма, после чего, наоборот, будто желая добавить к этим потаенным злодеяниям нечто совершаемое при свете дня, на виду у всех, перешел к откровенному финансовому еврейскому вредительству, которому потворствуют французские власти, неспособные противиться евреям и покарать евреев.

Самое же интересное (хотя будет трудно это использовать) началось, когда Муссо заговорил, да так пылко, будто сам был как раз евреем, об интеллектуальном превосходстве евреев над христианами. Он опирался именно на те утверждения Дизраэли, которыми меня уже потчевал Туссенель. Так что я убедился, что социалисты, фурьеристы и католики-монархисты одинаково подходят к еврейскому вопросу. В частности, Муссо восставал против расхожей догмы о рахитичном, чахлом еврее. Правда, конечно, что у их нации ни телесные упражнения, ни военная наука не в чести (в сравнении, например, с древними греками! Сколько внимания уделяли те физическому упражнению!). И правда, что иудеи тщедушны и слабоваты телом. И тем не менее они умудряются прожить дольше нашего и отличаются немыслимой плодовитостью, вследствие, надо полагать, своего безудержного полового аппетита. Евреи неуязвимы для многих заболеваний, не щадящих прочее человечество. Поэтому они опасные захватчики остального мира.

— Ну вот пусть мне объяснят, — не унимался Гужено, — отчего евреев не разили холерные поветрия, хоть они жили в самых болезнетворных,

самых пагубно перенаселенных частях больших городов. В чуму 1346 года, как подметил один историк того времени, евреи не болели ни в одной стране.

Фраскатор пишет, что только евреев не заражало тифом в 1505 году. Денье рассказывает, что евреи уцелели в эпидемию дизентерии в Неймегене в 1736 году. Ваврух выявил, что глисты не заводятся у еврейского населения в Германии.

Что вы скажете? Как это может быть у самого грязного племени в Европе, вырождающегося к тому же, ибо у них одни родственные браки? Это ведь против натуральных законов. Может, дело в диете, принципы которой остаются непостижимы для нас? Может, дело в обрезании? Какая тайна дает им силу, превосходящую нашу силу, даже тогда, когда они кажутся такими слабыми? Столь коварный, столь могущественный враг подлежит уничтожению любыми средствами, говорю я вам. Понимаете ли вы, что в день возврата на землю обетованную их всего-то было шестьсот тысяч мужчин, то есть с семьями (считаем каждую семью по четыре) два миллиона с половиной! А во времена Соломона у них насчитывалось уже миллион и триста тысяч бойцов. То есть не менее пяти миллионов душ. Удвоились! Ну а

сегодня? Пересчитать их трудно. Рассеялись ведь по континентам. Но при самых осмотрительных подсчетах мы получаем около десяти миллионов. Размножаются! Размножаются!

Казалось, он выдыхается от криков. Я поспешил поднести ему его коньяк. Но он перевел дух, опамятовался, продолжил речь. Под лекцию о мессианизме и каббале (с подробным пересказом его же собственных книг о магии и сатанизме) я впал уже в блаженный ступор и чудом оказался в состоянии встать, поблагодарить и откланяться.



...Казалось, он выдыхается от криков. Я поспешил поднести ему его коньяк...

Ну уж дудки, приговаривал я, не дождутся они, чтобы я все эти сведения всерьез затолкал в докладную записку для Лагранжа; за них, поди, меня самого затолкают в каталажку. В замок

Иф, в честь любимого Дюма. Каюсь, я воспринял сочинения де Муссо без приличествующего почтения. И напрасно, потому что впоследствии этот его опус «Еврей, иудаизм и иудаизация христианских народов», напечатанный в 1869 году, шестьсот страниц мелким шрифтом, сподобился благословения Пия Девятого и пользовался значительным успехом у читающей публики. Но у меня как раз таки и было вот это ощущение, что со всех сторон созревают и печатаются антиеврейские книжата и книжищи, в силу чего мне следовало действовать очень осмотрительно. В моем «Пражском кладбище» раввины должны были изречь нечто легко запоминаемое, для народа понятное и в некотором смысле новое… ну, поновее ритуального убийства христианских младенцев, о котором твердят вот уж сколько веков и в которое верят не больше, чем в ведьм. А кто верит, пусть не пускает своих детей играть около гетто. Поэтому я снова стал расписывать ужасы той лихой ночи. Первым говорит тринадцатый голос:

— Отцы наши завещали избранным сынам Израилевым собираться раз в столетие у надгробия святого раввина Симеона-Бен-Иегуды. Восемнадцать столетий назад крест похитил у

нас могущество, обетованное Авраамом. Попираемый, уничижаемый врагами, вечно под страхом смерти, под страхом поругания, народ Израиля уцелел. Он разринулся, да, по лику всей земли. Это значит, что земля должна принадлежать нам. Она судилась нам со времен Аарона. Наш удел со времен Аарона — золотой телец.

— Да, — сказал на это рабби Иссахар, — когда мы станем единственными хозяевами золота всей земли, истинная сила соберется в единый кулак.

— Это десятый раз, — снова грянул главный голос, — после тысячи лет неутихающей и рьяной борьбы против наших врагов мы сходимся у гроба нашего раввина Симеона-Бен-Иегуды, мы, избранные всех колен народа Израилева. Но ни в одном предшествовавшем веке наши пращуры не накопили в своем владении столько золота, а следовательно, столько силы. В Париже, в Лондоне, в Вене, в Берлине, в Амстердаме, в Гамбурге, в Риме, в Неаполе и у всех Ротшильдов! Израилиты ныне — хозяева финансового положения. Говори ты, реб Рувим, ты знаешь парижскую ситуацию.

— Все императоры, цари и правящие властелины, — говорил реб Рувим, — отягощены долгами,

они должают нам за содержание своих армий, за поддержание своих колеблющихся тронов. Так продолжимте опутывать их. Облегчимте им условия займов. Наша цель — получить контроль над залогами: их железными путями, их копями, их лесами, их крупнейшими кузнями и мануфактурами, над прочими недвижимостями. Над налоговыми управлениями, наконец!

— Не забудемте о земледелии, ведь оно всегда останется величайшим богатством каждой страны, — вмешался реб Симеон из Рима. — На обширную земельную собственность мы формально не притязаем, но если мы убедим правительства дробить крупные латифундии, приобретать их по кускам станет легко. Потом реб Иуда из Амстердама:

— Однако многие из братьев наших во Израиле выкрещиваются…

— Что за беда! — отвечал тринадцатый. — Выкресты полезны. Хотя телом они и охристианиваются, духом и душой остаются верны Израилю. Пройдет сто лет, не будет больше сынов Израиля, желающих стать христианами: напротив, христиане запросятся переходить в нашу святую веру. Израиль брезгливо отвергнет их.

— Однако прежде всего, — вставил реб Левий, —

да не забудем, что христианская церковь наш наипервый и наиопаснейший враг. Станемте насаждать в среде христиан идеи свободомыслия, скептицизма. Разлагать нравственность священнослужителей.

— Внедрять повсюду идею прогресса, из которой вытекает идея равенства всех религий, — вступил реб Менахем, — и вытеснять из учебных программ закон Божий. Израилиты с их способностями, с их ученостью без труда продвинутся на все кафедры и профессорские места, в том числе в христианских школах. Религиозное христианское воспитание перейдет в исключительное ведение семей, а поскольку большинству семей недостанет времени для того, чтоб брать на себя эту отрасль образования, то религиозный дух постепенно станет захиревать. Была очередь реба Дана из Константинополя:

— Главным образом, торговлю и спекуляцию не следует никогда выпускать из рук. Застолбим за собою сбыт алкоголя, масла, хлеба и вина, поелику этим образом мы становимся неограниченными хозяевами в земледелии, да чего там, и вообще в сельском хозяйстве. И реб Нафтали из Праги продолжил:

— Нацелимся на прокуратуру и адвокатуру.

Почему бы израилитам не делаться также и министрами образования, притом что министрами финансов они часто становятся? Раввин Вениамин из Толедо:

— Ни одну профессию не упускать из тех, которые имеют вес в обществе. Философия, медицина, право, музыка, экономика, в одном слове, все разделы науки, искусства, литературы представляют собою поле, на котором нам суждено возвеличить наш гений. Главное из них — медицина! Врач имеет доступ к секретам семей, в его руках жизнь и благополучие христиан. Потворствовать брачным союзам израилитов с христианами. Незначительное количество нечистой крови в наши жилы не испортит породы, а зато наши сыновья и дочери породнятся с влиятельными христианскими семьями.

— Окончим же совещание, — прогремел тринадцатый голос. — Если первая по могуществу сила — это золото, то вторая — печать. Необходимо расставить наших на командные посты всех газет во всем мире. Сделавшись абсолютными хозяевами прессы, мы сможем изменять общественные представления о чести, добродетели, прямоте. Подорвем авторитет семьи. Сделаем вид, что нас интересуют модные социальные темы. Взнузда-

ем пролетариат. Запустим наших агитаторов в революцию. Тогда мы сможем по усмотрению руководить ею. По нашей указке рабочий пойдет на баррикады. Общественные катастрофы приблизят нас к желанному результату: главенствовать на земле, что и было обещано нашему праотцу Аврааму. Всемогущество наше возрастет, как гигантское дерево, плоды которого — богатство, наслаждения, довольство, власть. Это вознаградит нас за жалкое существование во множестве веков. За тяжкую судьбу народа Израиля.

Так кончался, насколько я помню, рапорт о тайном собрании на кладбище.

Я восстановил, что сумел. Совершенно измотался. Может быть, оттого, что постоянно подкреплял и физические и духовные силы неоднократными возлияниями. А вот что до аппетита — со вчерашнего вечера не могу помыслить о еде. Все время тошнит. Проснулся — меня вырвало. Переработал, вероятно. А может, меня просто вывернуло от ненависти? По прошествии стольких лет, возвратясь усилием памяти ко мною же сочиненной интриге о пражском некрополе, я теперь понимаю, что эта работа, эта моя столь убедительная версия еврейского заговора — де-

тище того отвращения, которое было в меня в детстве заложено. Вначале это была, ну, идеальная и головная антипатия. Головная, вбитая мне в голову дедушкой одновременно с катехизисом. А тут вдруг все это обрело плоть и кровь. И тогда, как раз с тех пор, как я сумел воплотить свои идеи в картину этой анафемской ночи, вся моя лють, вся желчь на иудейское вероломство преобразовались из абстракции в безудержную, глубокую страсть. Вот уж точно, если кто не побывал этой жуткой ночью на еврейском кладбище в Праге, черт возьми, или хотя бы не прочел мое правдивое повествование об этом факте, не сможет осознать, до чего нестерпимо переносить, что эта проклятущая раса так преподло отравляет нашу жизнь!

Лишь прочтя и перечтя документальный отчет, я осознал, сколь судьбочносна моя миссия. Теперь я должен был во что бы то ни стало продать кому-нибудь созданный мною отчет. Покупатели в него поверят, лишь если выложат за него золотую цену. Поверят и помогут сделать так, чтобы поверилось другим…

Но на сегодня хватит. Ненависть (просто даже само одно воспоминание о ненависти) калечит душу. Руки трясутся. Лягу-ка я спать, лягу-ка

спать, спать.

13. Далла Пиккола пишет, что Далла Пиккола – это не он

5 апреля 1897 г.

Нынче я проснулся в собственной кровати. Туалет и, как водится, легкий грим — затем отправился читать ваш дневник. Вы утверждаете, будто встречали аббата Далла Пиккола, и описываете некое лицо более старшего, чем я, возраста и с горбом. Я посмотрелся в зеркало, оно имеется в вашем обиталище. У меня, как у духовного лица, зеркала быть не может. Посмотрелся у вас. Убедился, что черты мои правильны, нет ни косоглазия, ни выкаченных зубов. И у меня очень приличное французское произношение с незначительным итальянским акцентом. Кто такой аббат, который встречался с вами под моим именем? И кстати, кто такой я?

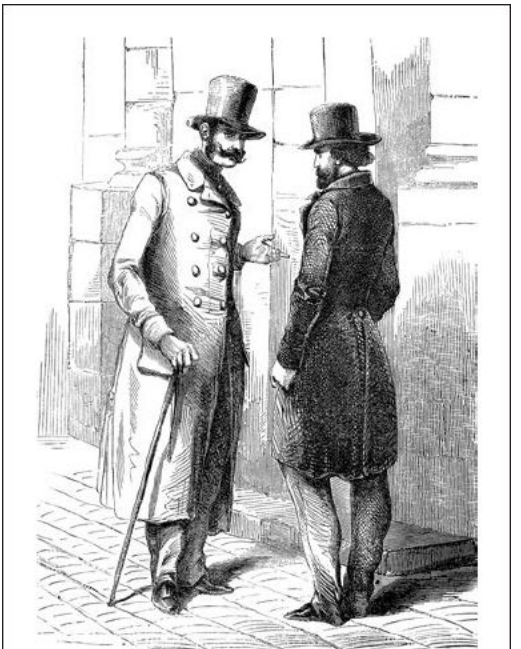
14. «Биарриц»

5 апреля 1897 г., перед обедом

Я проснулся, когда утро уже кончалось, и нашел в моем дневнике вашу запись. Вы, однако, ранняя пташка. Дорогой аббат! Боже мой… Если вы прочитаете эту запись в ближайшие дни (или ночи…), знайте, что и я ломаю голову: кто вы? Потому что я вспомнил тут вдруг, что я лично вас убил! Еще до войны! Не разговариваю же я с привидением? Я лично вас убил… Почему я уверен сегодня в этом? Попробуем отыскать логику. Но сперва мне надо поесть. Странное дело, вчера я не мог без отвращения помыслить о пище, а сегодня поглотил бы все, что видят глаза. Если бы мне можно было выйти на улицу, я пошел бы первым делом к врачу.

Завершив свою повесть о собрании на еврейском кладбище в Праге, я созрел для собеседования с полковником Димитрием. Памятуя, как воздавал в свое время Брафман должное французской гастрономии, я пригласил и полковника туда же, в ресторан «Роше де Канкаль», но этот еле ковырял заказанное. Глаза продолговатые,

зрачки острые и суженные, как у ласки. Впрочем, ласок я никогда не видел, я их ненавижу — с евреями в точности так же.



...Я вызвал Лагранжа на встречу...

Димитрий, похоже, обладал сильнейшим да-

ром подавлять собеседников. Он внимательно прочитал мое творение и сказал: — Интересно. Сколько?

Ну и удовольствие иметь дело с таким. Выпалил ему несусветную цифру — пятьдесят тысяч франков, по случаю того, что информаторы обошлись мне очень дорого. — Многовато, — процедил Димитрий. — То есть многовато для меня. Попробуем поделить расходы. У нас крепкие связи с прусской тайной службой. В Пруссии тоже есть еврейский вопрос. Я уплачу вам двадцать пять тысяч франков золотом и дам вам позволение показать этот документ пруссакам. Договорюсь с ними сам. Пусть выплачивают вторую половину. Они, естественно, захотят получить оригинал, такой же, как вы сейчас передаете мне. Но насколько мне известно от Лагранжа, у вас талант размножать оригиналы. Тот, кто свяжется с вами, будет носить фамилию Штибер.

И ни слова не добавил. Коньяк не пожелал, откланялся скорее по-немецки, чем по-русски: вытянулся и резко мотнул книзу подбородок. Счет оплачивал я.

Я вызвал Лагранжа на встречу. Я уже слышал от него об этом Штибере. Штибер работал в резидентуре пруссаков, большая шишка; специалист по

сбору информации за рубежом; умело втирается в организации и подпольные группы; десяток лет тому назад собрал ценные сведения о том самом Марксе, который беспокоил и немцев и англичан. Не то он сам, не то его агент Краузе, он же Флери, под видом доктора вошел в ближний круг Маркса и выкрал из его квартиры список всех членов коммунистической лиги. Это позволило захватить опасных смутьянов. Стоило трудиться, парировал я. Эти коммунисты, если дали так себя обштопать, надо думать — дурачье, каких поищи. Далеко бы они все равно не ушли. Но Лагранж сказал, что никогда заранее не знаешь.

Что предпочтительнее перебрать, чем недобрать.

— Лучшие наши сотрудники теряются, если приходится действовать против того, что уже налицо. Наше ремесло — предвосхищать. Мы расходуем немаленькие деньги, организовывая заварушки на бульварах. Все устраивается достаточно просто. Дюжина-другая бывших острожников плюс столько же переодетых полицейских, налет на два-три ресторана или на два-три борделя под пение «Марсельезы». Подожечь пару киосков. После чего являются наши, в форме, и арестовывают всех, инсценируя по-

тасовку.

— А какой от всего этого прок?

— Прок такой, что почтенные буржуа живут и трясутся, то есть крепится уверенность: сильная рука, хочешь не хочешь, а хороша. Если нам пришлось бы подавлять настоящие бунты, неведомо кем устроенные, мы бы так легко не управились. Но мы говорили о Штибере. Когда его назначили начальником прусской тайной полиции, он отправился по городкам и местечкам Восточной Европы под видом уличного фигляра и все записывал и запоминал. Везде он вербовал себе агентов — по пути маршрута, по которому предположительно должна была двинуться прусская армия от Берлина на Прагу. То же самое он ныне делает во Франции. На случай войны, которая рано или поздно обязательно начнется.

— Так не лучше ли бы было мне не общаться с этим субъектом?

— Наоборот. Надо же как-нибудь обуздать его. Поэтому пусть навербованные им агенты будут нашими агентами. К тому же вы собираетесь передавать ему информацию по евреям. Нас евреи не интересуют. То есть, сотрудничая с ним, вы ни в чем не ущемляете интересы Франции.

На следующей неделе мне принесли записку

от этого Штибера. Он спрашивал, не затруднит ли меня приехать в Мюнхен, повстречаться с его доверенным лицом, неким херром Гёдше, и передать ему мой доклад. Меня конечно же это затрудняло. Но очень уж хотелось получить деньги.

Лагранж на вопрос, знает ли он Гёдше, ответил: Гёдше прежде служил на почте и заодно был агентом-провокатором прусской тайной полиции. После беспорядков 1848 года, с целью запутать одного предводителя демократов, Гёдше составил подложные письма, из коих вытекало, будто бы тот собирался убить короля. Остается сделать вывод, что в Берлине имелся хоть один стоящий судья, поскольку на суде было выявлено, что письма подложные. Гёдше обесславили. Работу на почте он потерял. Да это было бы полбеды, но провал сильно испортил его репутацию в тайных службах: пусть доказательства твои поддельные, но пусть тебя не ловят с поличным.

Гёдше осталось строчить исторические романы под именем сэра Джона Ретклиффа и сотрудничать в антисемитском листке «Крейццайтунг». Специальные службы использовали его лишь как распространителя всяких известий, как истинных, так и ложных, на темы о евреях.

Ну так это именно тот, кто мне нужен, возрадовался я. Лагранж меня охладил: скорее всего, мое дело было передано Гёдше в силу того, что мой отчет пруссакам представляется совершенно не важным, поэтому уполномочили самого заурядного мелкого клерка ознакомиться с ним, для очистки совести, и отвадить меня. — Не может быть! Немцам мой отчет еще как интересен! — возмутился я. — Обещали же они мне за него значительную сумму денег! — Кто обещал? — поинтересовался Лагранж. И, узнав, что обещал за немцев Димитрий, оскалился: — Ну, русские, Симонини! Русские вам обещали, и этим все сказано. Трудно ли им обещать от имени немцев? А вот вы поезжайте все-таки в Мюнхен, нам ведь тоже интересно знать, что у них там происходит. И имейте в виду, что Гёдше бессовестный мерзавец. Иначе он бы соответствующим ремеслом не занимался.

Надо сказать, прозвучало это не так уж вежливо и в моем отношении, хотя, может быть, в категорию мерзавцев Лагранж включал любые, даже и высокие ранги сыскных сотрудников, то есть заодно и самого себя. Ну, что так, что эдак: ежели оплата того стоит, статочное ли дело мне оскорбляться.

Кажется, я высказывал в этом дневнике впечатления от той мюнхенской пивной, где баварцы сходятся за длиннейшими табльдотами, локоть к локтю, обжираясь колбасой и выпивая кружки — каждая объемом с таз. Женщины и мужчины. Женщины то и дело прыскают, они шумнее и вульгарнее мужчин. Вот уж точно немцы низшая раса. Мне стоило трудов, после переезда, который и сам был трудоемким, прооставаться целых два дня на их тевтонской земле.

Именно в таком пивном погребе Гёдше назначил мне деловое свидание. И должен сказать, что мой немецкий шпиончик выглядел ровно как будто родился рыскать по подобным углам. Платье наимоднейшего покроя не переменяло его лисичью наружность типа, живущего на подачки.

На скверном французском он незамедлительно задал мне вопросы о происхождении сведений, я уклонился, перевел разговор, упомянул свои гарибальдийские подвиги. Тот был приятно изумлен, потому что, сказал он, как раз пишет роман об итальянских сюжетах 1860 года. Роман почти завершен, название будет «Биарриц». На много томов. Но не одна Италия запланирована в романе: действие переместится в Сибирь, в

Варшаву. В Биарриц, наконец. Рассказывал он ретиво и с азартом. По всей видимости, убежден, что строит Сикстинскую капеллу среди исторических романов. Я не совсем понял связь между разными линиями. Но похоже, речь шла о постоянной угрозе от трех злостных сил, которые скрыто управляют миром: от масонов, от католиков (они же иезуиты) и от евреев, причем евреи втираются и в ряды первых двух полчищ, посягая на чистоту протестантской тевтонской расы. Он что-то нес об итальянских происках (мадзинианцы — масоны). Потом рассказ перемещался в Варшаву, в которой масоны составляли заговор против России вместе с нигилистами. Масоны и нигилисты — подлейшие выродки среди славянских народов, какие только рождались спокон веков. И те и другие в значительной мере евреи. У тех и у других одинаковый внутренний строй, по образу баварских иллюминатов и карбонариев Высшей Венты: каждый из членов набирает новых девять, и они не знакомы между собой. Потом действие должно было снова свернуть в Италию вместе с пьемонтскими войсками и дойти вплоть до Обеих Сицилий. Полный бедлам. Свалки, схватки, предательства, покушения на честь аристократок, полукомические подвиги,

какие-то ирландские легитимистки — смелые рыцарши плаща и шпаги, какие-то таинственные послания, запрятанные у лошади под хвостом, какой-то князь Караччоло, карбонарий и преступник, насильно овладевающий девицей (легитимисткой, ирландкой). Кто-то находил волшебное кольцо в виде сплетенных змей из окисленного зеленого золота, грызущих алый коралл. Кто-то пытался похитить сына Луи-Наполеона. Описывалась битва под Кастельфидардо, где геройские сыны Германии проливали кровь за понтифика. Клеймилась *welsche Feigheit:* Гёдше выразился по-немецки, чтоб не обидеть меня, но я смог перевести, речь шла об общеизвестной «трусливости латинских рас». Фабула романа становилась мудреней, а мы еще не добрались до финала первого тома.

По мере рассказывания у Гёдше все разгорались и разгорались его свинские глазки, текла слюна, он сам с собою смеялся на некоторые собственные выдумки. Как я понял — ждал от меня новых свежих сюжетцев о Чальдини, Ламармора и прочих пьемонтских генералах, а также, естественно, о гарибальдийцах. Но так как в его кругу принято за сведения платить, я не посчитал уместным выдавать ему так вот, забесплатно,

интересные гарибальдийские фактики. К тому же о многих из тех, что я знал, предпочтительней было помолчать.

Я думал: этот человек в чем-то сильно ошибается. Нельзя никогда создавать опасность с тысячью разных лиц. У опасности должно быть одно-единственное лицо. Иначе публика отвлекается. Обличаешь евреев — на здоровье тебе, обличай, но не втягивай в это дело ирландцев, неаполитанских князей, пьемонтских генералов, польских патриотов и русских нигилистов. Больно суматошно выйдет. Зачем вот так разбрасываться…

Интересно, что, помимо разговоров о романе, Гёдше был одержим только одной идеей фикс — по части евреев. Надо же! Как раз матерьяльчик по евреям я привез сюда в Германию, чтобы попробовать продать ему.

Ну, он оповестил меня, что пишет не для денег и даже не в надежде на земную славу, а в намерении оградить германскую нацию от грязных иудейских козней. — Вернемся к словам Лютера. Лютер говорил, что евреи злобны, ядовиты и окаянны до мозга костей. Много веков они были для христиан бичом, чумою. И продолжили быть тем же в Лютеровы времена. Они, по Лютеро-

вым словам, вероломные змеи, мстительные, губительные, дьяволово отродие, жалят и вредоносят потаенно, не имея возможности гадить открыто. От них единственное спасение — *schärfe Barmherzigkeit.*

Он не знал, как перевести, но я догадался: «страшное милосердие». И что на самом деле Лютер имел в виду как раз полное немилосердие. Следовало поджигать синагоги, а то, что не сгорает, должно было быть завалено, чтобы никто и никогда не смог найти даже камня от тех построек. Уничтожать дома их, загонять их в коровники, как цыган, отбирать у них талмудические тексты, в которых проповедуется одна сплошная ложь и содержатся проклятия и ругательства. Воспретить им ростовщичество, конфисковать у них все имущество, золото, наличные, драгоценности, в руки молодым мужчинам из их племени вложить лопаты с топорами, а женщин принудить к прялке и веретену, хихикал Гёдше, *Arbeit macht frei,* только работа освобождает. Окончательным решением, по Лютеру, было бы их тотальное искоренение из Германии. Словно бешеных собак. — Но не прислушиваются к Лютеру, — заключил Гёдше. — До сих пор не прислушались. Дело в том, что хотя со старин-

ных времен неевропейские расы почитаются уродливыми, поглядите хоть на негров, которых и сейчас принято считать животными, — до сих пор не разработано научных критериев, позволяющих отделить высшую расу от низших. Ну, теперь мы знаем, что самый высокий уровень развития среди человеческих существ достигнут белой расой. А в белой расе образец высочайшей зрелости — германская раса. Но соседство евреев постоянно угрожает чистоте этой расы. Поглядите на греческую статую. Что за чистота линий, красота пропорций. Не случайно такую красоту обычно роднили с добродетелью. Человек красивый почитался человеком достойным. Это применяется ныне к героям нашей тевтонской мифологии. Представьте, что скульптурный лик Аполлона искажается иудейской примесью, кожа смуглеет, глаза тускнеют, нос становится хищным, туловище скрючивается. Гомер таким изображал Терсита, олицетворение низости. Христианская легенда, в которой множество следов первобытного иудаизма (в сущности, она ведь создана Павлом, азиатским евреем, сегодня бы сказали о нем — турок!), уверяла нас, будто все на земле расы идут от Адама. Нет! Отрешась от исконного звероподобия, люди выбирали

различные дороги. Вернемтесь же на место, где дороги разделились. То есть к национальному истоку нашего народа. Отряхнем с себя бредни французских просветителей с их космополитизмом и с их эгалитэ-фратернитэ! Да славится дух новых времен. То, что сейчас зовется в Европе «Обновлением» (Рисорджименто), применительно к народам это — зов первоначальной чистой расы. Однако и термин и задача эти применимы только к германской расе. Смех, что в Италии восстановление исконной красоты воплощается в кривоногом Гарибальди, в коротышке-короле и в пузатеньком Кавуре. Что поделаешь, римляне ведь тоже образцы семитической расы.

— Римляне?

— Вы Вергилия не читали? Римляне ведут начало от троянца, то есть от азиата. Семитская миграция извратила дух древних италийских народов. Вы можете видеть, что произошло с кельтами: они романизировались, они теперь французы, а значит, латинцы. Одни только германцы смогли соблюсти чистоту, не испортились. Они сумели ослабить могущество Рима. Но, в конце концов, превосходство арийской расы и неполноценность еврейской, а также неизбежно и латинской проявляется, например, в их достижениях по

линии искусств. Ни в Италии, ни во Франции не родились Бах, Моцарт, Бетховен, Вагнер. Гёдше сам не сильно походил на тот тип арийского героя, которого нахваливал. Наоборот, если сказать по правде (но мы что, обязаны всегда говорить по правде?), он с виду смахивал на обжористых и блудливых иудеев. Однако следовало принимать его, каким он был. Принимали же его те службы, которые, по идее, должны были выплатить мне вторые двадцать пять тысяч франков. И все же я не удержался от пустякового ехидства и спросил-таки: а считает он себя представителем высшей, аполлонической расы? Он зыркнул на меня пристально и ответил, что принадлежность к некоей расе выражается не в физической видимости, а прежде всего в духовном аспекте. Еврей остается евреем, даже если по прихоти природы — как бывают шестипалые дети и бывают женщины, способные умножать в уме, — рождается блондином и голубоглазым. Ариец — это ариец, если в нем присутствует дух арийского народа. А волосы могут у него быть и темными. Однако после этого вопроса его неукротимый пыл вроде поутих. Он замялся, замолчал, вытер пот со лба большим, в бордовую клетку утиральником и спросил, где же принесенный мной документ, ради которого мы

оба здесь. Я подал стопку бумаг. На фоне давешних разглагольствований, полагал я, этот текст вообще сшибет его с ног. Если его правительство намеревается ликвидировать евреев по Лютерову рецепту, моя история пражского погоста как будто специально создана, чтобы вся Пруссия заволновалась по поводу предположительного еврейского заговора. Но он почему-то уперся глазами в документ, потягивая пивко, многократно наморщивая лоб, щурясь так, что в конце концов становился неотличимым от монгола, а потом неожиданно произнес свой вывод:

— Не знаю, интересует ли это нас. Здесь сказано то, что нам и раньше было хорошо известно. Об иудейском заговоре. Подмечено, я допускаю, неплохо. Или неплохо выдумано.

— Прошу вас, Гёдше! Я вам ведь тут не фальшивку всучиваю!

— Да я и не говорю это. Но у меня есть обязательства перед лицом всех тех, кто меня оплачивает. Нужно продемонстрировать подлинность этого документа. Я понесу его на рассмотрение господина Штибера и подведомственного ему бюро. Оставьте все и, если вы желаете, можете возвращаться в Париж. Ответ получите через несколько недель.

— Как так, полковник Димитрий дал мне понять, что договорено…

— Не договорено. На данный момент еще ничего не решено. Я сказал: оставьте документ у меня.

— Буду откровенен, господин Гёдше. То, что вы держите сейчас, это оригинал. Оригинал, понимаете? Его ценность в содержании, естественно, но и в немалой степени еще — в факте, что содержание имеет форму оригинальной рукописи, созданной в Праге в скором времени после собрания, которое описано здесь. Я не могу позволить, чтобы этот документ обращался вне моей сферы доступности. Как минимум пока мне не передана обещанная денежная компенсация.

— Вы чересчур подозрительны. Ну хорошо, закажите себе еще пару пива и предоставьте мне хотя бы один час, я перепишу этот текст. Вы же сами сказали, что ценность в содержании. Намеревайся я облапошить вас — воспроизвел бы по памяти, и вся недолга. Могу заверить, что запоминаю прочитанное, как правило, почти дословно. Но я тем не менее намерен показать документ господину Штиберу. Поэтому позвольте мне переписать его. Оригинал был доставлен вами. И с вами же отсюда этот оригинал возвратится назад.

Мне нечего было возразить. Я осквернил свое нёбо несколькими отвратными тевтонскими сосисками. Я выпил много пива. И вынужден даже отметить, что пиво немецкое иногда способно равняться по качеству с французским. Гёдше тем временем внимательно переписывал слово за словом. Расставались мы холодно. Гёдше дал мне понять, что счет придется платить пополам. Даже более того, он отметил, что я выпил пива больше и съел закуски больше. Он обещал, что решение будет выслано в течение нескольких недель, и предоставил мне раскаляться от бешенства. Весь этот долгий путь я проделал зря. За собственный счет. И не увидев ни талера из гонорара, уже согласованного с полковником Димитрием.

Ну и дурак, твердил я. Димитрий превосходно знал, что Штибер ничего не заплатит. Так что он просто получил мою работу за полцены. Прав был Лагранж, нечего сказать, прав. Не следовало так с кондачка доверяться русским. А может, я много запросил? И хорошо еще, что получил половину?

Я был, конечно, убежден, что немцы никогда о себе знать не дадут. И точно, проходил месяц за месяцем, а новостей от них не было никаких. Лагранж, которому я поверил свои печали, снисходительно хмыкнул: — Они сомневаются в нас,

что поделаешь. Имеют право. Мы ведь действительно не святые.

Я, однако, не находил себе места. Моя история о пражском погосте была слишком удачной, чтоб позволить ей без толку запропасть в Сибири. Ее можно было б и иезуитам продать. Ведь первые настоящие обличения евреев и первые мысли о международном заговоре были высказаны именно иезуитом, Баррюэлем. К тому же не кто иной, как мой дед, прислал то письмо, которое, несомненно, привлекло к себе внимание высших чинов управления орденом иезуитов.

Единственный ход от меня к иезуитам — это мог быть аббат Далла Пиккола. Сводил меня с аббатом в свое время Лагранж. Поэтому к Лагранжу я и обратился. Тот ответил: передаст аббату, что я его разыскиваю. И действительно, в достаточно скором времени аббат постучался ко мне в магазин. Я познакомил его, как выражаются в мире торговли, с моим рестантным товаром. Он, кажется, был заинтересован.



...Симонини, – сказал он. – Вы меня за простака, что ли, приняли?..

— Естественно, я должен проверить ваш документ и показать его кое-кому в Обществе Иисуса. Кота в мешке они не захотят покупать. Надеюсь, что вы доверяете мне и дадите мне его ненадол-

го. Из рук моих ничто не выйдет и не пропадет, уверяю вас. Перед лицом достопочтенного священника упираться и противиться я не мог.

Через неделю Далла Пиккола снова явился ко мне в магазин. Мы поднялись в бюро, я предложил угостить его чем-нибудь. Но вид у него был не дружеский, нет.

— Симонини, — сказал он. — Вы меня за простака, что ли, приняли? Хотели выставить поддельщиком перед Обществом Иисуса? Чтоб я лишился всех тех связей, которые налаживал столько лет?

— Ах, ваше преподобие, не понимаю, о чем вы…

— Вы это дело бросьте. Подсовываете мне якобы секретный документ. — И он швырнул на стол сочиненный мной рапорт о собрании в Праге. — Я думал запросить изрядную цену у иезуитов. А они на меня глядят как на олуха и вежливо меня оповещают, что мой сокровенный документ был недавно опубликован. И что вовсе он не документ, а беллетристика, отрывок из «Биаррица», романа какого-то Джона Ретклиффа. Слово в слово, слог в слог. — Тут на стол шлепнулась и книга. — Вы, конечно, знаете немецкий, прочитали свеженький роман, обнаружили в

нем историю ночного собрания на кладбище в Праге. И выдали какую-то фантазию за реальный факт. С наглостью завзятого плагиатора, даже не подумав, что по эту сторону Рейна кто-то может знать немецкий язык…

— Погодите, я, кажется, понимаю, как это…

— Да что тут понимать, не понимать! Выбросить бы эти бумажонки на помойку и послать вас к черту; но я дотошен и мстителен. Знайте же — я сообщу вашим друзьям из секретной службы, что вы за птица, чтоб они не доверяли вашим справкам. Почему я предупреждаю вас об этом? Не из корректности. Перед таким, как вы, субчиком никто не должен отчитываться. А потому, что если тайные службы постановят, что вам полагается штык в спину, вы должны знать, откуда исходила инициатива. Что за месть, если убиваемый не знает, что убиваешь его ты?

Мне было ясно, что произошло. Этот поганец Гёдше (а Лагранж говорил ведь мне, что тот печатает романы-фельетоны под псевдонимом Ретклифф) даже не думал передавать мой документ в комитет Штибера. Он рассудил, что тема подойдет в его роман и дышит тем же антииудейским пылом. Он завладел рассказом о реальных фактах (по крайней мере тем, что счел рассказом

о реальных фактах) и вставил его в окантовку своего вымысла. Лагранж, отдать должное, рассказывал мне, что этот пройдоха отличается в подделке документов. Пойматься с такой наивностью на удочку афериста! Вот что преисполнило меня неописуемой ярости.

Но ярость мешалась и со страхом. Когда Далла Пиккола упомянул о штыке в спину, он, может быть, просто выразился метафорой. Но у Лагранжа разговоры были короткие. В секретных службах, когда кто-то становится неудобен, его устраняют. А тут, представим, этот кто-то публично попался как поставщик беллетристического вздора в качестве тайной информации. И выставил секретные службы в дурацком виде перед иезуитами. Кому такой неудобный сотрудник нужен?

Вот что сулил мне аббат Далла Пиккола. И не было смысла пытаться ввести его в настоящее положение дел. Ни по каким резонам он верить мне, конечно, не согласился бы. Он же не знал, что я позволил списать свой документ Гёдше перед тем, как этот плут закончил книгу. Аббат знал, напротив, что к нему-то документ пришел, уже когда книга Гёдше была напечатана.

Положение обрисовывалось безысходное.

Если только не заткнуть глотку аббата. Я рванулся почти интуитивно. На столе у меня есть массивный чугунный подсвечник. Я занес его над собой и толкнул Далла Пиккола к стене кабинета. Тут он вытаращил глаза и просипел: — Вы же не станете меня убивать... — К сожалению, стану, — отвечал я.

Я действительно сожалел, но пришлось действовать по необходимости. Удар получился сильным. Аббат упал, между его выкаченных зубов засочилась кровь. Я глядел на покойника, не ощущая вины. Он ведь сам напросился, если подумать.

Нужно было только убрать с глаз неуместное мертвое тело.

Когда я покупал магазин и квартиру над ним, хозяин показал мне, что в полу кухни был врезан какой-то люк. — Под ним ступеньки, — сказал он. — Поначалу вам совсем не захочется спускаться, такая оттуда вонь. Но быть может, иногда оно и окажется удобно. Вы приезжий, здешней истории не знаете. В давние времена нечистоты выливали на улицу. Был и закон — кричать «Поберегись!», прежде чем выхлестнуть ночной горшок в окошко. Но они кричать ленились, просто выливали. Кому не повезло — хуже для

него. Пришло время, на улицах устроили открытые стоки. Потом эти стоки перекрыли сверху. Получилась примитивная канализация. А ныне барон Оссман строит наконец-то приличную канализационную систему в Париже. Она в основном применяется, надо сказать, для вывода жидких отходов. А экскременты попросту падают в выгребные ямы под домами, конечно, если труба под вашим сиденьем не закупорена. Периодически это скопище кала вычерпывается и вывозится на крупные свалки. Но сейчас будут вводить систему *tout-à-l'égout,* то есть спускать в большие канавы не только сточные воды, но и все виды твердых и жидких нечистот и бытовой мусор. Ради этой цели около десяти лет назад был издан декрет, предписывавший хозяевам домов выводить из каждого дома галереи к большому навозному трубопроводу. Эти выводные галереи должны быть по меньшей мере шириной по метру тридцати. Такая отходит и от нашего дома… Она поуже и пониже законной нормы, но что кому за дело. Галереи диаметром по метру тридцати копают владельцы домов на Больших бульварах. А что мне, с домишкой в ненужном тупике? Никто не станет проверять, вынесли ли вы свой мусор в правильное место. Поскольку вы

не захотите, вестимо, месить ногами скверну, можете кидать мусор вниз с этой самой лестницы, дожидаясь, что в какой-нибудь дождливый день туда зальется вода и смоет. С другой стороны, доступ к подземным галереям окажется, может быть, полезен. В наши с вами времена каждые двадцать или десять лет в Париже случается революция. Запасные пути отступления — не помеха. Как любой здешний житель, вы читали недавно вышедший роман «Отверженные» и помните, что герой там убегает по канализации и раненого друга несет на плечах. Так что вы понимаете, о чем я.

Сюжет Гюго я, любитель романов с продолжением, знал хорошо. Не то чтобы я желал повторить его буквально. И вообще не знаю, как герой мог все-таки там расхаживать. Может быть, в других районах Парижа подземные галереи повыше и попросторнее. Та, что под тупиком Мобер, наверное, была позапрошлого века. Даже просто спустить труп Далла Пиккола со второго этажа в магазин, а из магазина в подвал было нелегко. Спасибо хоть он был собою недоросток, горбатенький и испитой, сподручный для таскания. И тем не менее со ступенек в подвал его пришлось не сносить, а скатывать. Спустился

осторожно и я, не разгибаясь оттащил его в теснейшей трубе на несколько метров, чтобы гнил не прямо под моим домом. Одной рукой я тащил его за лодыжку, другой высоко поднимал фонарь. К сожалению, не имел третьей затыкать нос.

Это впервые мне приходилось убирать труп устраненного мной человека. Убив Ипполито Ньево и убив Нинуццо, лично я ничего не прятал, хотя, как выяснилось, в случае с Нинуццо лучше бы спрятал. В первый раз, я имею в виду, в Сицилии. Теперь я начинал понимать, что самый критичный момент в любом убийстве — уборка трупа. Потому священники и не советуют убивать. Кроме как в сражениях, когда устранением мертвецов занимаются стервятники.

Проволок своего покойничка метров десять. Путешествовать с пастырем на прицепе среди экскрементов, и не только своих, не самое приятное дело. А уж рассказывать об этом, и кому? Самому потерпевшему… Господи, что я пишу? Ну ладно. Подавив немало фекалий, я увидел какой-то луч вверху. Вероятно, это на углу тупика Мобер и улицы д'Амбуаз — тот самый водосточный колодец с решеткой.

Сначала я думал дотащить труп до общегородской трубы и доверить милосердию полноводного

потока. Но второю мыслью было — милосердный поток отнесет тело куда пожелает, вероятно в Сену, и тогда кто-нибудь опознает дорогого усопшего. Правильная мысль! Сейчас, пиша эти строки, я вспомнил недавно читанную в газете статейку об очистном сооружении ниже Клиши, там из сит вынули за шесть месяцев четыре тысячи собак, пятерых телят, двадцать баранов, семь коз и семь свиней, восемьдесят куриц, шестьдесят девять кошек, девятьсот пятьдесят кроликов, обезьяну и боа-удава. Аббатов в статистике не имеется, но я бы мог добавить, чтоб вышло еще необычайнее. А вот оставив мертвяка на перекрестке, была надежда, что он не стронется с места. Под стенкой общегородской канавы — которая сильно постарше барона Оссмана — тянулся узкий карниз, на нем я упокоил свой труп. Миазмы, влажность — он разложится быстро. И будет неопознаваемый костяк. Учитывая также ничтожность своего переулочка, я мог ожидать, что никаких ремонтов затевать не начнут и никто до этого закута не дойдет. А если и найдут человеческие останки, пусть как хотят доказывают их происхождение. Любой убийца имел возможность спустить их в колодец на д'Амбуаз.

Потом я вернулся к себе. В романе Гёдше кто-то,

верно Далла Пиккола, оставил закладку. Моего немецкого хватало понимать самую суть — естественно, не оттенки. Да. Это моя речь раввина на пражском погосте, добавлено только (у Гёдше явно был театральный вкус) несколько более богатое описание ночной сцены. У него первым на кладбище приходит банкир, некий Розенберг, в обществе польского раввина (ермолка, пейсы). Они нашептывают сторожу пароль — каббалистическое слово из семи слогов.

Затем является тот, кто в моем первоначальном варианте был повествователем. Привел его какой-то Лазали, обещавший дать тому поприсутствовать на сходке, имеющей место раз в сотню лет. Они переодеваются (накладные бороды, широкополые шляпы), а дальше все точно по моему тексту, слово в слово, не исключая и финала — с голубеньким светом, источающимся из гробницы, и силуэтами раввинов, уходящих в туман и в ночь.

Эта скотина использовала мой рапорт, нашпиговав его мелодрамными эпизодиками. Любую низость, но заработать два-три талера. Вот уж действительно, ни на волосок ни религии, ни морали в нашем обществе.

Именно то происходит, чего алчут эти самые

евреи. Пойду-ка спать. Я запренебрег привычками скромного гастронома. И вино пить забросил… не считая несусветных количеств кальвадоса. И несусветно кружится голова. Ох, что-то я повторяю одни и те же слова. Надо спать. И поскольку, только кидаясь в сон без сновидений, я умею превращаться в аббата Далла Пиккола, мне хочется просто-таки поглядеть, как же удастся проснуться в облике кадавра, чьему умерщвлению я был и свидетелем и причиной.

15. Далла Пиккола воскрес

6 апреля 1897 г., на рассвете

Капитан Симонини, не знаю, из вашего ли тяжкого сна (несусветного, раз вам нравится это слово) я пробуждаюсь и читаю последние страницы. Сейчас разгорается рассвет. Прочел и могу сказать, что, думаю, по какой-то неясной причине вы лжете. Вся ваша жизнь, к тому же столь искренне выставленная напоказ, позволяет предположить, что в некоторых случаях ложь вам не чужда. Если есть кто на свете, знающий определенно, что меня вы не убили, — это я. Захотелось проверить. Скинув рясу, полуголым я спустился вниз и в погреб, распахнул люк, но от входа в смрадную, описанную вами кишку шибануло таким зловонием… Тут я замер и подумал: а что я лезу туда проверять? Лежат ли там все еще кости от того трупа, который, по вашим словам, вы уложили чуть ли не тридцать лет назад? Я должен ползать в этой мрази и разбираться, мои там кости или не мои? Позвольте возразить, что про свои кости я знаю и без того. Ну хорошо, поверю, что вы убили аббата Далла Пиккола. Кто в таком случае я? Я не Далла Пиккола, которого вы

убили и на которого я, кстати сказать, не похожу. Разве если существуют два разных аббата Далла Пиккола?

Разгадка, может быть, в том, что я безумен. Боюсь покидать дом. Но ведь придется выходить за покупками. Священнослужительский наряд не позволяет мне обедать по дрянным харчевням. А превосходно оборудованной кухни, какая у вас, у меня нет. Хотя, позвольте заверить, я не менее вашего гурман.

И еще меня грызет неукротимое желание покончить с собой. Знаю — это дьявольское искушение.

К тому же зачем себя убивать, если вы меня вроде бы уже убили? Напрасно потраченное время.

7 апреля

Достопочтенный аббат, хватит, наконец.

Не могу вспомнить, что я делал вчера. Сегодня я нашел в дневнике вашу запись.

Прекратите терзать меня. У вас тоже нелады с памятью? Тогда делайте как я. Созерцайте какое-то время пуп. А потом пишите, пишите, пишите, и пусть рука ваша действует за вас. Почему это мне приходится припоминать все, а вам — только то немногое, что я стараюсь забыть?

Меня в данный момент захватывают другие

воспоминания. Только я убил Далла Пиккола, как сразу получил записку от Лагранжа, который назначал встречу на этот раз на площади Фюрстенберга, в полночь. Площадь эта в полночь зловеща. У меня, что называется, совесть (как любят выражаться люди порядочные) была нечиста, я убил человека только что перед этим и опасался, как дурак, что вдруг Лагранж может каким-то образом это знать. А он, понятное дело, собирался говорить совсем о другом. — Капитан Симонини, — сказал он. — Мы хотим, чтоб вы взяли под присмотр одного интересного субъекта. Этот священник… в некотором роде… сатанист.

— И куда вы меня за ним командируете? В ад?

— А вот шутить не надо. Зовут аббат Буллан. Несколько лет назад он был знаком с Аделью Шевалье, служкой в монастыре Сен-Тома-де-Вильнев в Суассоне. Об этой Адели ходили мистические слухи, как якобы она исцелилась от слепоты и предрекает будущее. У монастыря стало обнаруживаться скопление верующих. Начальствующие монахини были этим обеспокоены. Епископ удалил ее из Суассона, и тут, ни с того ни с сего, Адель выбрала себе духовного отца. Буллана. Нашли, вообразите себе, друг дружку. И они основали исправительное общество. То

есть в честь Господа там не только возносились молитвы, но и осуществлялись различные виды физического отпущения. С целью вознаградить Господа за все обиды, которые нанесены ему грешниками.

— Казалось бы, ничего предосудительного…

— Ничего бы предосудительного, если бы они там не проповедовали, что перед отпущением грехов надобно грехи совершать; человечество низко пало по вине греховодников — Адам блудил с Лилит, а Ева с Самаилом. И не спрашивайте меня об этих господах, потому что в церкви мне рассказывали только про Адама и Еву. В общем, нужно было поправлять положение и для этого совершать кое-что, о чем ясно никто не высказывается, но, похоже, наш с вами аббат с пресловутой мадемуазелью и с преданными приверженцами устраивали радения — назовем их так — несколько суматошливые. В которых все познавали всех. Ходили и слухи, что аббат укромным образом сумел изничтожить плод своих незаконных соитий с Аделью… Вы можете сказать: да, но эти их поступки на первый взгляд не касаются нас, они касаются префектуры полиции. Да. Но в стадном их содружестве оказались и дамы из порядочных семей, и жены крупного чи-

новничества, и даже одна жена министра. Буллан выманивал у этих благочестивых особ немало денег. Афера затронула интересы государства, и за нее пришлось браться нам. Застрельщиков судили и присудили им по три года заключения за мошенничество и нарушение общественных приличий. Освободились они в конце шестьдесят четвертого года. Потом мы потеряли аббата из виду и, честно сказать, считали, что он угомонился. Он же, полностью реабилитированный по духовной линии после целой череды церковных покаяний, вернулся в Париж и взялся за свое. Опять разглагольствования об искуплении чужих грехов путем совершения собственных. А ведь если к нему прислушаются, эта история перестанет быть религиозным делом и превратится в политическое, как вы понимаете. Заволновалась и церковная общественность. Архиепископ Парижский недавно отрешил Буллана от исполнения литургической службы. Давно пора было, сказал я. Буллан в ответ стакнулся с другим таким же ересиархом, Вентрасом. Вот небольшая подборка-досье, все, что следует знать. Или, вернее сказать, все, что мы знаем. Возьмитесь за него и доложите, что он там затевает.

— Но я же не благочестивая чиновничья жена.

Как подобраться?

— Не знаю, как уж, но подбирайтесь. Переоденьтесь священником, что ли. Переодевались же вы в свое время гарибальдийским генералом или чем-то в этом роде.

О, только что мне кое-что пришло в голову. Однако вас, преподобный аббат, это не касается.

16. Буллан

8 апреля

Капитан Симонини, нынче ночью, прочитав вашу раздраженную записку, мне захотелось повторить ваш трюк. Я тоже начинаю писать, как вы. Хотя пупа и не созерцаю. Изливать фразы как автомат, предоставляя, чтобы тело мое, через движение моей руки, усиливалось припоминать то, что душа моя постаралась вытереть из памяти. Ваш доктор Фройд, кажется, был не дурак.

Буллан… Вот я вижу, как мы прогуливаемся около церквушки где-то на окраине Парижа. А может быть, это Севр? Вот я слышу, как Буллан говорит: — Искупать грехи, совершаемые против Господа нашего, значит прежде всего — принимать эти грехи на себя. Мистическое, добровольное самообременение. Грешить, и чем крепче, тем лучше. Вычерпывать чашу низостей, которых дьявол домогается от человечества. Снимать бремя с тех наших слабейших братьев, кто не в силах самостоятельно гнать порабощающие вражьи силы. Вы видели мушиную липучку, изобретенную в Германии? Ее в кондитерских

употребляют. Бумажная лента промазывается патокой и вешается над тортом в витрине. Мухи налетают на патоку и приклеиваются и дохнут с голоду или же утопают, когда ленту с мухами выбрасывают в канаву. Ну так вот. Самоотверженный искупитель — такая липучка. Навлекает на себя бесчестия, становится очистительным горнилом.

Так он говорил. Теперь я вижу церковь, где перед алтарем он готовится очищать закоснелую грешницу, ныне бесноватую, корчащуюся на полу с именами демонов на устах: Абигор, Абракас, Адрамелек, Хаборим, Мельхом, Столас, Заебос…

Буллан, облаченный в пурпурную епитрахиль с алым орарем, наклоняется над нею и скандирует формулу, на первый мой слух — экзорцистскую, однако, если внимательно разобрать, все слова в ней обратные: «Крест святой да не пребудет мой свет, змей да будет мой вождь, гряди Сатан, гряди!» И снова он склоняется над страждущей и трижды плюет ей в рот. Затем задирает облачение и мочится в потир и преподносит потир нечестивице. Берет из другого сосуда (руками берет!) массу явно фекального происхождения и, обнажив груди одержимой, обмазывает их калом.

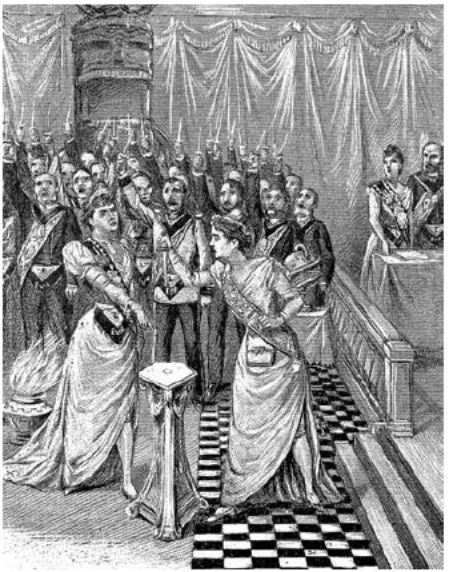
Женщина валится на землю, хрипя, стеная, стихая постепенно, покуда не застывает во власти почти гипнотического сна.

Буллан перемещается в ризницу, кое-как споласкивает руки. Выходит со мною на паперть, отдуваясь — исполнил тяжкий, но неотложный долг.

И пропыхтел: — *Consummatum est.*

Свершилось, значит.

Помню, что тут я сказал, что искал его по поручению некоего лица, желающего остаться неизвестным, намерение которого — отслужить обряд с употреблением освященных просфор.



...Вы знаете, что в некоторых ложах прободают кинжалами просфоры для подтверждения заклятий...

Буллан хрюкнул:

— Черная месса? Но у них же есть священник, он и освящает просфоры. Освящение имеет силу, даже если он расстрижен.

— Вероятно, указанное лицо имеет в виду не черную мессу… Вы знаете, что в некоторых ложах прободают кинжалом просфоры для подтверждения заклятий…

— А, да. Ну, один господинчик, у него старьевщичья лавка в районе пляс Мобер, занимается, кстати, и просфорами. Можете достать у него. Не по этому ли делу, Симонини, мы с вами встретились и познакомились?

17. Дни Парижской Коммуны

9 апреля 1897 г.

Вскоре после того, как я убил Далла Пиккола, меня снова вызвал записочкой Лагранж. На этот раз на одну из набережных Сены. Что за шутки у памяти. Я конечно же забываю факты первой важности, однако помню: меня просто пронзило тем вечером у Пон-Рояль. Я застыл как вкопанный, вперив взгляд в невиданное сияние. Передо мной была стройка. Возводили новое здание «Официальной газеты Французской империи». Работы велись и вечерами. Так вот, для ускорения работ применяли электрический свет. Сквозь чащобу балок и мостков ослепляющий луч озарял бригаду каменщиков. Ничто не может передать на словах то астральное свечение. Электрический ток! В те года некоторые дураки восхищались галопирующим прогрессом во всем. Был прорыт канал в Египте, соединивший Средиземное море с Красным. Попадать в Азию стало можно, не оплывая по периметру Африку (и на этом разорилось много честных судоходных компаний). Состоялась всемирная выставка, архитектурные новшества обещали глазу, что перестройки баро-

на Оссмана, начисто погубившие Париж, — это еще цветочки. Американцы тянули железную дорогу через весь континент с востока на запад, а поскольку они как раз освободили рабов, чернокожая чернь принялась заболачивать белую нацию оголтелым мулатством, пострашнее евреев. В американской войне между Севером и Югом были опробованы подводные лодки. Отныне морякам стало суждено не тонуть, а задыхаться. Солидные сигары наших отцов вытеснялись чахлыми бумажными патрончиками, выгорающими дотла за минуту. Поди пойми, в чем теперь для курильщика смак и смысл. В рационе наших армий воцарилось испорченное мясо из закупоренных жестянок. И другую закупоренную жестянку, побольше, изобрели в Америке для тех, кто желает подниматься на верхние этажи домов силою водяного поршня. Поршни эти, как известно, ломаются субботними вечерами. Тех пассажиров, кому не повезло, проведших две ночи и воскресенье без воздуха, воды и питья, находят мертвыми по утрам в понедельник. В те годы было ликование, потому что жизнь якобы становилась лучше… Возникали устройства, позволяющие переговариваться на расстоянии, позволяющие записывать без пера и чернил. Что,

надвигается эпоха, когда не станет оригиналов — нечего будет подделывать?

Народ не может нарадоваться на парфюмерные лавки, где продают чудеса: укрепляющие кремы для кожи из огуречного молочка, ополаскиватели волос из хны, крем «Помпадур» из бананов, из выжимок какао. Рисовую пудру на пармских фиалках. Прочие финтифлюшки для сластолюбивых жеманниц. Но теперь они доступны даже белошвейкам, мечта которых — поступить на содержание, потому что корсетные мастерские, где они работали, переходят на швейные машинки и увольняют вышивальщиц и портних.

Единственное новшество тех дней, которое мне показалось дельным, это фарфоровый стульчак, позволяющий испражняться сидя.

Но даже я не до конца сознавал, что эта впечатляющая эйфория символизировала закат империи. На всемирной выставке Альфред Крупп экспонировал новые пушки невиданного диаметра, весом по пятьдесят тонн, с зарядом пороха по сотне фунтов на снаряд. Император так очаровался этим зрелищем, что выдал Круппу «Почетный легион», но когда Крупп прислал ему прейскурант, единый для всех европейских стран, генеральный штаб Франции, лояльный

своим прежним поставщикам, уговорил императора отказаться. А вот прусский король, как мы знаем, не отказался от предложения Круппа… Наполеон III был уже не тот. Почечные колики не давали ему ни спать, ни есть, ни, естественно, скакать на лошади; доверял он лишь консерваторам и своей жене, дал себя убедить, будто французская армия все еще лучшая в мире, в то время как вооруженные силы Франции (выяснилось позднее) насчитывали сотню тысяч против четырехсот тысяч пруссаков. Штибер уже наотправлял в Берлин множество донесений о шаспо, которые французы полагали последним достижением в ружейном деле, а по существу — это были уже музейные экспонаты. Вдобавок, торжествовал Штибер, главное! Осведомительские службы французов в подметки не годились его собственной, немецкой службе.

Но вернемся к рассказу. Лагранж ждал меня на условленном месте.

— Капитан Симонини, — взял он сразу быка за рога. — Что вы знаете об аббате Далла Пиккола?

— Ничего. А в чем дело?

— Он исчез. Как раз когда выполнял одну заказанную нами работенку. Я полагаю, последним, кто его видел, являетесь вы. Вы просили меня

связать вас с аббатом, я его послал.

Что было дальше?

— Дальше было, что я ему передал тот же рапорт, который отдал и представителям России. Чтоб Далла Пиккола показал его в церковных кругах. — Симонини, месяц назад я получил от аббата записку, приблизительно вот что там сказано: нужно срочно повидаться, есть интересные новости об этом вашем Симонини. Из тона письма явствовало, что новости на ваш счет предположительно не самые лестные. Ну-с, что там стряслось между вами и аббатом? — Как я могу знать, что он хотел вам сообщить. Думаю, расценил как нелояльность мою попытку предложить ему документ, который, как он считал, был изготовлен по вашему заказу. Аббат, конечно, был не в курсе наших договоренностей. Но мне он ничего не говорил. Я больше не встречал его. Более того, ломаю голову, что ответят на мое предложение. Лагранж задержался на мне взглядом, нечувствительно, но задержался. Процедил: «Мы еще к этому вернемся», — и отбыл. Ясно, как он вернется. Лагранж теперь мне дышит в затылок. И если он действительно заподозрил что-то, кинжала в спину мне не избежать, хотя аббату я и заткнул рот. Я принял предосторожности. Нанес

визит в оружейную лавку на улицу Луи-Филиппа и попросил у них трость с начинкой. Товар имелся, но кошмарного исполнения. А я тут вспомнил, что видел витрину продавца тростей как раз в моем обожаемом пассаже Жоффруа. И точно: прельстительная штучка, яблоко из слоновой кости в форме змейки, ствол из черного дерева, немыслимой красоты, и притом вся она очень крепкая. На такое яблоко опираться довольно неудобно, в случае хромоты например, потому что, хоть оно и накренено, все-таки более вертикально, чем горизонтально. Но прекрасно приспособлено к употреблению этой трости как шпаги. Трость с начинкой — непревзойденное оружие. Даже против врага, вооруженного пистолетом. Он целится, ты испуганно отступаешь и тычешь в него своей палочкой, руке твоей полагается дрожать. Он с хохотом хватается за трость, чтоб вырвать ее у тебя из рук, и сам снимает с лезвия футляр. А лезвие остро и заточено на диво. Он не разобрался еще, что произошло, а ты наотмашь режешь кончиком пера ему от виска до подбородка, перерезаешь ему ноздрю, и даже если не удастся затронуть глаз, кровь все равно польется у него по лицу и замутит зрение. Главное — упредить. Упредил — победил. Если противник неважный,

ну, предположим, воришка, подбери с мостовой ножны и ступай прочь. Ты изуродовал его на всю жизнь. А если противник стоит возни, то резанул по лицу первый раз — и, ведя руку в обычное положение, по ходу дела раскраивай ему глотку. Тогда ему не придется залечивать шрам. А уж какой значительный и важный у тебя вид, когда погуливаешь с тросточкой! Она, разумеется, стоила денег, но этих денег она определенно стоила.

Я шел себе вечером домой и вижу Лагранжа перед моим магазином. Махнул я небрежно тростью, но тут же подумал: навряд ли осведомительские службы обременят такое занятое лицо моим убийством. Послушаем же.

— Отличная штукенция, — он сказал.

— Что?

— Трость с начинкой. При подобной форме яблока она может быть только с начинкой. Кого вы опасаетесь?

— Скажите вы, кого мне опасаться, господин Лагранж.

— Нас опасаетесь. Почувствовали, что вас подозревают. Ладно, короче, к делу. На носу франко-прусская война. Наш милый друг Штибер понатыкал в Париже своих агентов.

— Вы их знаете?

— Не всех. Тут и входите в игру вы. Вы же давали Штиберу свое сочинение о евреях. Он почитает вас человеком, ну… что ли, подкупным. Так вот, сейчас в Париж приехал эмиссар от него. Зовут эмиссара Гёдше. Вы, кажется, именно с Гёдше встречались. Думаем, он вас разыщет. Вы станете шпионом от пруссаков в Париже.

— Против своей страны?

— Не лицемерьте. Да и не ваша это страна. И, если вас уж так это беспокоит, будете работать именно на Францию. Передавать пруссакам ложную информацию. Которой будем снабжать вас мы.

— Ну, это за-ради бога…

— Нет, это работа опасная. Если вас словят в Париже, мы притворимся, будто о вас знать не знаем. Поэтому вы будете расстреляны. А если вас разгадают пруссаки, узнают, что вы ведете двойную игру, — вас убьют они. Несколько менее законным порядком. В общем, в этой истории у вас — скажем — пятьдесят шансов из ста угробиться.

— А если не соглашусь?

— Шансов станет девяносто девять.

— Почему не сто?

— У вас тросточка начиненная. Но не слишком-

то на нее надейтесь.

— Я всегда считал, что в службах у меня настоящие друзья. Спасибо за заботу. Я согласен. Я самостоятельно решаю сотрудничать. Во имя любви к Родине.

— Вы станете героем, капитан Симонини. Ожидайте распоряжений.

Через неделю Гёдше явился в магазин ко мне, имея вид еще более мусорный. Чего стоило удержаться от соблазна придушить его! Но я удержался.

— Узнайте, что я вас считаю плагиатором и поддельщиком, — известил я его.

— От такого же слышу, — похабно ощерился немчура. — Вы думаете, я не увидел, что сказочку о пражском погосте вы слямзили у того Жоли, который отдувается сейчас в остроге? Я бы сам мог списать у него, без вас. Вы мне только укоротили дорогу.

— А вы сознаете, Гёдше, что своими действиями в пользу иностранцев на французской территории вы ставите себя в положение, что если только я сообщу ваше имя туда, куда следует, ваша жизнь не будет стоить после этого ни одного су?

— А вы сами сознаете, что ваша жизнь стоит ровно столько же, если я после ареста назову

ваше имя? Ну же, мир. Я сейчас пытаюсь продать ту главу из своей книжки в качестве правдивого документа одним очень надежным покупателям. Давайте работать пополам. Все равно нам теперь приходится дружить и сотрудничать. За два-три дня до начала войны Гёдше привел меня на крышу дома сбоку от Нотр-Дам, где один старичок держал голубятни.

— Прекрасное место для выпуска голубей. Их сотни летают у Парижской Богоматери. Никто не обращает внимания. Когда вы будете готовы с новостями, приходите. Этот старик вышлет голубя с письмом. И точно так же заходите к нему за почтой. Каждое утро. И спрашивайте, нет ли писем для вас. Просто, да? Вы все поняли?

— Но какие вас интересуют новости?

— Мы все еще не знаем, что нам следует вызнавать о Париже. Мы пока что наблюдаем фронтовую полосу. Но раньше или позже мы перейдем в наступление, и Париж превратится для нас в прямой интерес. Тогда мы захотим информацию о передвижении войск, о присутствии или отсутствии монаршей семьи, о настроении населения. Ни о чем и обо всем. Сами думайте, как вам проявить смекалку. Нам могут понадобиться карты. Вы спросите, как можно передавать

карты с голубями. Давайте спустимся на один этаж ниже.

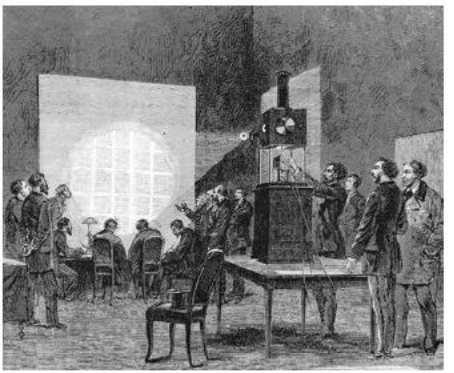
На нижнем этаже кто-то трудился в фотографической лаборатории. Там был и зальчик с белой стеной, выкрашенной яркой белой краской. Стоял там и один такой проектор, которые еще иногда называют волшебным фонарем. Которые направляют раскрашенный луч на стену или же на простыню. — Этот месье примет у вас донесение, не имеет значения, длинное или короткое и на скольких листах. Он сфотографирует все и нанесет снимок на коллодиевую пленку. А потом ее отошлет с почтовым голубем. Когда послание дойдет, его увеличат в волшебном фонаре, нацелив лучи на стену. То же самое будут проделывать тут, если приходящие письма будут длинными. Но лично для меня, для пруссака, становится здесь жарковато, и я покидаю Париж. Будем обмениваться цидулками на голубочках. Как два влюбленненьких.

Меня передернуло от последних слов. Но подрядился так подрядился. Проклятие. Только из-за того, что кокнул какого-то аббатишку. А как насчет командиров-генералов? Они сколько людей убивают?

И вот мы оказались в войне. Лагранж передавал

мне время от времени весточку-другую для засылания неприятелю. Но, как меня и предупредил Гёдше, пруссаков Париж не очень волновал. В то время их гораздо сильнее волновало, сколько солдат имеет Франция в Эльзасе, у Сен-Прива, у Бомона и у Седана.

Припоминаю: дни осады Парижа. В городе не прерываясь идет веселье. В сентябре позакрывали было все публичные развлекательные заведения. Отчасти из солидарности с воюющими. Отчасти — чтобы отправить на фронт и пожарников, дежуривших в большинстве театров. Но месяц прошел, чуть больше, и «Комеди Франсэз» получила разрешение на благотворительные представления в пользу семей погибших. Спектакли возобновились, под сурдинку, без отопления, со свечками на месте газовых фонарей. Вслед за этим театром открылись снова и «Амбигю», и «Порт Сен-Мартен», и «Шатле», и «Атеней».



...Когда послание дойдет, его увеличат в волшебном фонаре, нацелив лучи на стену...

Трудные дни начались в сентябре, после трагического разгрома под Седаном. Наполеон III был захвачен в плен врагом. Империя разваливалась. Францию обуревали волнения, почти (тогда еще

почти) на грани революции. Провозгласили Республику. Но и в рядах республиканцев, насколько я знал, имелось раздвоение. Одни хотели на фоне военного проигрыша провести социальную революцию, другие были готовы подписать с пруссаками мир, лишь бы не уступить тем реформам, которым — говорили — суждено выродиться в подобие самого настоящего коммунизма.

В середине сентября пруссаки подошли вплотную к Парижу. Они захватили форты, которым было предназначено оборонять столицу. Они обстреливали город из орудий. Пять месяцев изнурительной осады. Наихудшим врагом оказался голод.

Из политических разногласий, из демонстраций, топотавших взад и вперед по городу, мне мало что было понятно, а уж интересно — так и того меньше. Я считал, что в подобные времена лучше всего вообще поменьше по улицам шляться. Но вот еда… Это меня, напротив, непосредственно затрагивало. И я ежедневно собирал у негоциантов квартала последние новости, чтобы понять, что же нас в будущем ожидает. Гуляя по парижским паркам, например по Люксембургскому, я видел, что город превращается в какое-то пастбище. Повсюду отары овец и крупный рога-

тый скот. Но уже в октябре начали поговаривать, что в наличии не больше двадцати пяти тысяч быков и ста тысяч баранов. Для такого громадного города — ничтожная малость.



...В середине сентября пруссаки подошли вплотную к Парижу. Они захватили форты, которым было предназначено оборонять столицу. Они обстреливали город из орудий...

И действительно, вскорости в квартирах начали жарить на обед золотых рыбок. Всех лошадей, не мобилизованных в армию, конечно, истребили на жаркое. Гарнец картофеля стоил тридцать франков, а бакалейщик Буасье продавал за двадцать пять упаковку чечевицы. Кроликов ни одного в Париже не осталось. Мясники не обинуясь выкладывали на прилавки сначала

упитанных кошек, а потом, когда кончились кошки, — собак. Передушили всех экзотических зверей в зоопарке. На сочельник Рождества, для тех, кто в силах был это оплатить, у «Вуазена» предлагалось праздничное меню: бульон из слона, верблюд на вертеле по-английски, тушеное мясо кенгуру, медвежьи котлеты в перечном соусе, духовая антилопятина с трюфелями и кот с гарниром из молочных мышат — потому что не только на крышах перестали уже попрыгивать воробейчики, но и мыши с крысами начисто поисчезали из подполов и канав.

Верблюд ладно, он, по сути, неплох. Но вот крысы — увольте. Даже в блокаду можно ведь договариваться со спекулянтами, контрабандистами. Помню я один замечательный ужин, очень дорогой, не в каком-то главном ресторане, а в окраинной объедаловке, где мы с несколькими важными персонами (не аристократами, соглашусь, но в определенные времена социальными принципами приходится поступаться) получили возможность потребить и фазанов, и свежайший паштет из отменного качества гусиной печени.

В январе французы и немцы наконец заключили мир. Этот мир предполагал начиная с марта символическую оккупацию столицы. И должен

сказать, что довольно унизительно мне было глядеть на парадную процессию немцев в остроглавых касках по Елисейским полям. Потом они разместились на северо-востоке города, оставив Франции юго-западную часть, а именно форты Иври, Монруж, Ванв, Исси и среди прочих прекрасно укрепленный форт Мон-Валерьен, откуда замечательно простреливался (да пруссаки перед тем и простреливали) запад Парижа.

Затем произошло примерно следующее. Из центра Парижа пруссаки убрались. Установилось новое правительство Франции. Его главою стал Тьер. Однако Национальная гвардия вышла из-под контроля правительства. Гвардейцы не согласились сдать пушки, купленные на общественную подписку. Они отволокли все эти пушки на Монмартр и спрятали там. Тьер послал за пушками генерала Леконта, который скомандовал было стрелять в гвардейцев и в толпу, но в скором времени его солдаты перешли на сторону мятежников. Леконта арестовали его же собственные подчиненные. Тем временем на улице опознали еще одного генерала, Тома, недобрая память о котором восходила к событиям 1848 года. Мало того. Генерал вообще был в штатском. Он явно драпал куда-нибудь подальше

от Парижа. Но рядом все стали говорить, что он, конечно, шпионит за повстанцами. Тома притащили туда, где уже томился Леконт. Короче, обоих расстреляли.

Тьер перевел правительство из Парижа в Версаль. В конце марта в Париже провозгласили Коммуну. Теперь уже французское правительство (Версальское) осаждало и обстреливало Париж с форта Мон-Валерьен. Пруссаки, патрулировавшие Париж с другого боку, вели себя ноншалантно и позволяли всем ходить туда-сюда через линию их фронта. Обнаружилось, что в Париже во вторую осаду дело с провиантом обстоит лучше, нежели в первую. Соотечественники вымаривали город голодом, а противники опосредованно подкармливали. Сравнивая немцев с правительственными войсками Тьера, парижане шушукались, что едоки капусты в конечном итоге ведут себя пристойнее.

Как раз когда правительство объявило о переезде в Версаль, мне принесли цидулку от Гёдше. Он объявлял, что для немцев отныне не имеет значения, что творится в Париже, поэтому и голубятня и фотограф будут в скором времени свернуты. И надо же, как раз явился Лагранж. С таким видом, как будто он знал содержание полученного мной

письма от Гёдше.

— Дорогой Симонини, теперь вам придется для нас делать то же, что в последнее время вы делали для пруссаков. Нам потребуются сведения. Я уже передал приказ арестовать тех двоих, ну, ваших сообщников. Голубей отпустили. А материал лаборатории пригодится, что говорить. Мы для срочной военной информации используем линию сообщения между фортом Исси и одной мансардочкой. Нашей мансардочкой, около Нотр-Дам. Оттуда и будете посылать нам сообщения.

— «Нам», то есть, значит, кому? Вы служили, как мне помнится, в полиции императора. То есть вы не кончились вместе с вашим императором? То есть вы теперь распоряжаетесь от имени правительства Тьера?

— Симонини, я и подобные мне остаются, это правительства сменяются. В данный момент я следую за моим правительством в Версаль. Задержись я в Париже — со мной будет как с Леконтом и Тома. Те-то сумасбродники больно скоры на расстрелы. Ну, мы с ними тоже рассусоливать не будем. Когда нам от вас понадобится что-нибудь, вам дадут знать, как вам надлежит действовать. Что-нибудь понадобится… Как надлежит действовать… Это сказать легко, а на деле! На каждом

участке города делалось свое. С впихнутыми в ружейные дула цветами проходили под красным знаменем отряды Национальной гвардии по кварталам, в которых буржуа, запершись в апартаментах, ждали возврата законного правительства. Что же до избранных в Коммуну — не удавалось понять никакою силой, ни из газет, ни из уличной болтовни, кто из них за кого. В Коммуне были и рабочие, и врачи, и журналисты, и умеренные республиканцы, и сердитые социалисты, вплоть до самых настоящих якобинцев, которые мечтали о возврате не к коммуне восемьдесят девятого, а к ужасному террору девяносто третьего. А вообще настроение на улицах было веселейшее. Если бы большинство не носило военную форму, можно было бы предположить, что в самом разгаре какой-то городской праздник. Солдаты сбивали монеты с пробок. В Турине эта игра известна под названием «сусси», а тут в Париже называется «бушон». Офицеры прохаживались, распуская хвосты, перед дамами.

Я вдруг сообразил, что где-то хранятся среди старья в коробках вырезки из газет и журналов той давности. Они бы сгодились сейчас, чтоб восстановить то, что одною только памятью не выищется. Там были издания любых сортов.

«Трубите сбор», «Народ пробуждается», «Марсельеза», «Красный колпак», «Свободный Париж», «Народная Газета» и так далее и тому подобное. Кто их читал — неведомо. В основном, наверно, те, кто их выпускал. Я покупал, чтоб подбирать сведения для Лагранжа.

До чего все сумбурно — я понял, когда встретил на сумбурной демонстрации, в столь же сумбурной людской каше, Мориса Жоли. Он не сразу узнал меня. Я ведь был в бороде. Потом признал все-таки. Вспомнив, что я карбонарий или нечто вроде карбонария, он решил, что я сторонник Коммуны. Я в его глазах был благородным и щедрым товарищем по былому несчастью. Он повел меня под руку к себе домой в очень скромную квартиру на набережной Вольтера и давай вовсю исповедоваться под тоже очень скромную порцию «Гран Марнье».

— Симонини, — сказал он. — После Седана я участвовал в разных выступлениях республиканцев. Мы ратовали за продолжение войны. Но вскорости я понял, что эти скандалисты желают невозможного. Революционная Коммуна спасла Францию от оккупации. Однако чудеса не повторяются. Революцию нельзя ввести декретом. Она родится из чрева народного. Вот уже двадцать лет

страна гниет заживо от моральной гангрены. За пару дней выздоровления быть не может. Пока что Франция умеет только выхолащивать своих лучших сынов. Я протомился два года в тюрьме за то, что противостоял Бонапарту, а после, когда я вышел, я не нашел издателя, согласного опубликовать мои новые книги. Вы скажете: ну, это еще при Империи. А после развала Империи что, лучше? Республиканское правительство отправило меня под суд за участие в мирном пикете в городской управе в конце октября. Ну ладно, тогда оправдали, потому что не сумели доказать насильственных действий. Но то ли заслужил человек, который боролся против Империи и против позорного мира? Теперь похоже, будто весь Париж в экстазе по поводу коммунарской утопии. А знали бы вы, сколькие норовят сейчас выскользнуть из города, чтобы их не забрали служить! Говорят, что скоро объявят поголовную воинскую повинность от восемнадцати до сорока. А вы-ка гляньте, какая прорва нахальнейших юнцов слоняется по городу, по тем кварталам, куда не решаются захаживать даже гвардейцы. Не каждому, нет, не каждому приятно жертвовать жизнью за Революцию. Увы. Жоли показался мне неизлечимым идеалистом, которого совсем ни-

что не устраивает. Хотя и то сказать, ему совсем ни в чем не везло. Я, впрочем, обеспокоился из-за его намеков на обязательную воинскую службу и постарался состарить и бороду и шевелюру. Довел себя до вида, будто бы мне шестьдесят лет.

В противоположность Жоли, я наблюдал на площадях и базарах, что у обывателей новые законы встретили теплый прием. Народ обрадовался, узнав о предписании понизить до прежнего уровня плату за жилье, возросшую во время осады и войны. Народ ликовал, слыша о выдаче трудящимся из ломбардов всех инструментов и орудий труда, заложенных по бедности. И о пенсиях женам и детям павших в рядах Национальной гвардии. И об отсрочке выплат по векселям. Обо всех этих прекрасных новшествах, опустошавших кассы коммуны и ублажавших голоту.

Голота же пресловутая, скажем кстати, судя по тому, что болтали на пляс Мобер и в пивных заведениях квартала, аплодируя отмене гильотины (еще бы!), возмущалась постановлением, отменившим проституцию: оказались без работы почти все обитатели квартала! Все парижские потаскухи эмигрировали в Версаль. И не знаю, куда полагалось теперь ходить национальным гвардейцам, чтобы выпускать пары.

Ну а мещан страшили антиклерикальные законы: отделение церкви от государства и конфискация церковного имущества. Не говоря уж, сколько шума поднималось, когда арестовывали монахов или попов.

В середине апреля авангард версальских вооруженных сил пробился в северо-западные районы и вошел в Нейи, расстреливая всех бойцов-федератов, которых удавалось захватить. От холма Мон-Валерьен стреляли по Триумфальной арке. Через несколько дней я стал свидетелем одного из самых невероятных зрелищ за всю осаду. Я наблюдал демонстрацию масонов. Трудно представить себе масонов в качестве коммунаров. Однако вот она, их демонстрация, торжественное шествие со штандартами, в фартуках, с требованиями к версальскому правительству о прекращении огня, чтобы вынести из обстреливаемых населенных пунктов раненых и оказать им помощь. Они дошли до Триумфальной арки. Колонна не обстреливалась, ибо, само собой понятно, множество их собратьев находилось в рядах противников, у легитимистов. Но хотя ворон ворону глаз не выклюет и хотя версальские масоны старались устроить передышку на один день, прекращение огня объявлено не было, и

парижские масоны примкнули к Коммуне.

Да, кстати. Если мне удается восстанавливать то, что в дни Коммуны творилось на улицах Парижа, то это потому, что я вел наблюдение не с улиц, а из-под улиц. Благодаря Лагранжу. Лагранж в одном послании запросил меня о парижских подземельях. О канализации-то парижской много судачат и часто пишется в романах. Но под сетью стоковых канав под всем городом и даже за его пределами пролегают еще и заброшенные известняковые копи и древние катакомбы. Они изучены лишь частично. В распоряжении военного штаба имелась карта галерей, связывающих укрепления внешнего кольца с центром города. При приближении пруссаков армия срочно перекрыла многие входы, дабы враги не подстроили какую-нибудь неожиданную гадость. А у пруссаков и в голове этого не было. Даже при возможности залезть они побоялись бы, что не вылезут и потеряются. Или наткнутся, хуже того, на мины.

Те подземелья и вправду были совсем немногим знакомы. Они знакомы только грешному жулью, которое использовало лабиринты для своей контрабанды, умело обходя таможни и ускользая от облав. Мне было велено как раз

выведывать у таких ушлых деятелей сведения о путях и проходах и составлять чертежи.

Помнится, подтверждая получение приказа, я не удержался и спросил в ответном послании: «Не может ли штаб выслать точные карты города?» И получил от Лагранжа раздраженный ответ: «Не задавайте дурацких вопросов. В начале войны наш штаб печатал только немецкие карты. Война планировалась на чужой территории. Французских карт не имеется в наличии».

В периоды, когда хорошая еда и хорошее вино стали редкостью, мне не затруднительно было обновлять старые знакомства: я искал их по жалким кабакам и приглашал по одному в более приличные столовые, где угощал цыплятами и поил сносным вином. Так те не то что рассказывали — еще и сами бежали показывать. Для подобных прогулок нужны только мощные лампы и, чтоб не сбиться — где направо, а где налево, — положено оставлять на стенах цепочки помет, причем опознаваемого вида. Спокон веков в этих подземельных меандрах ориентируются именно так. Кто-то рисует гильотину, другой — чертенят. Все это углем на стене. Некоторые пишут имя. И поневоле думаешь: вдруг кто-то имя-то написал, а сам потом из подземелия не

вышел? Попав на пути в оссарий с черепами, пугаться не советую. Наоборот, по черепам легче узнается место. Удобнее искать дорогу до правильной лесенки, из которой можно выбраться в знакомый кабачок, а оттуда под божье небо и увидеть божии звезды.

В общем, от конца марта до конца мая я довольно хорошо изучил подземелья, всякий раз переправляя чертежи Лагранжу, чтобы он имел возможность размечать ходы. Но со временем я увидел, что мои посылки не очень-то полезны, потому что правительственные войска отвоевывали парижские улицы и не пользовались подземельными ходами. У Версаля было уже пять армейских корпусов с обученными солдатами и с единственной военной доктриной, которая выяснилась почти сразу: пленных не брать. Любой захваченный федерат становился мертвым федератом. Было даже отдано приказание, я видел своими глазами, как оно действует, чтобы каждый раз, когда пленных оказывалось больше десяти, расстрельный взвод заменяли пулеметом. К служивым военным добавлялись нанятые «брассардьеры», повязочники — отпущенные каторжане, на рукаве с трехцветной повязкой, они свирепее нормальных солдат.

В воскресенье двадцать первого мая в два часа дня восемь тысяч человек в саду Тюильри присутствовали на концерте, выручка с которого шла вдовам и сиротам солдат Национальной гвардии. Никто в этот день не знал, до чего суждено возрасти числу этих сирот и вдов. Как стало известно впоследствии, в то время как концерт еще не кончился, в полпятого, версальцы вошли в город через ворота Сен-Клу, захватили Отей и Пасси и расстреляли всех национальных гвардейцев, которых удалось взять в плен. К семи часам вечера в городе было уже не менее двадцати тысяч солдат версальского войска. Генеральный штаб Коммуны занимался бог знает чем и не обратил внимания на штурм. Вот уж точно, для революции потребны кадры с хорошим военным образованием. Но у кого есть хорошее военное образование, тот не лезет в революцию и обычно поддерживает власть. Потому я не вижу причин (рациональных причин) вообще производить революции.

Утром в понедельник версальцы докатили свои пушки до самой Триумфальной арки. К коммунарам откуда-то поступил приказ прекратить слаженную оборону и оборонять баррикадным способом каждый свой квартал. Если это правда,

то идиотизм штабных федератов превосходит любую вообразимую, даже для них, степень.

Баррикады громоздились повсюду. Население их строило, якобы с энтузиазмом, даже в тех кварталах, где Коммуну не признавали: в окрестностях Оперы или в Сен-Жерменском предместье, где национальные гвардейцы выволакивали из домов элегантных дам и требовали, чтобы те жертвовали для баррикад своей драгоценной мебелью. Через улицы тянули бечевки, по их линиям начинали укладывать булыжники, выворачивая их из мостовой. Шли в работу и мешки с песком. А из окон на тротуары летели, с согласия владельцев или без согласия, стулья, комоды, скамьи и матрасы. Многие жильцы рыдали, сгрудившись в последних комнатах оголенных квартир.

Офицер указал мне на пыхтящих своих молодцов и сказал: — Присоединяйтесь, гражданин, это ведь за вашу свободу мы умрем тут!

Я притворно присоединился, пошел подбирать отлетевшую за угол табуретку да и был таков.

Парижане вот уже сотню лет с азартом строят баррикады, которые держатся до первого пушечного выстрела. Главное — построить. Это и есть их геройство. Многие ли останутся на этих бар-

рикадах, когда начнется кутерьма. Большинство ретируется, как я. А останутся самые глупые, и их перестреляют.

Только с воздушного шара можно было бы разобраться и понять, что происходило в Париже. Вроде бы коммунаров выбили из Военной академии, то есть были утрачены все хранившиеся там пушки Национальной гвардии. Вроде бы сражения шли рядом с площадью Клиши. Вроде бы правительственные войска проходили с севера и немцы их пропускали. Во вторник они оказались уже на Монмартре. Были захвачены в плен повстанцы — сорок мужчин, три женщины, четверо детей. Их привели на место казни Леконта и Тома. Поставили на колени и расстреляли всех.

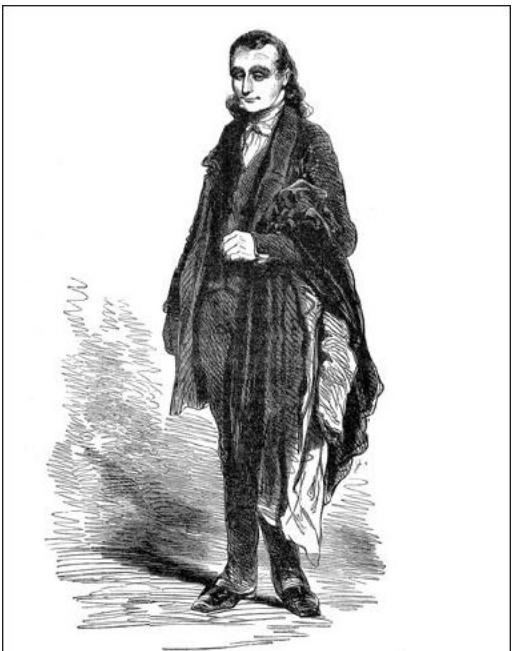
В среду я увидел — горят правительственные здания, горит Тюильри. То ли коммунары их подпалили, чтобы замедлить наступление противника, то ли сработали обезумевшие якобинки, «поджигательницы» *(pétroleuses),* которых ловили прямо с ведерками петролеума, то бишь керосина… то ли это наделали правительственные войска своей навесной стрельбой из гаубиц без видимой цели. А может, постарались старые бонапартисты, желая уничтожить городские архивы, где кое-что против них, безусловно, ле-

жало. Я подумал, что, будь я Лагранжем, именно эти архивы бы и поджег. Но тут же возразил себе: нет, порядочный агент документы упрятывает, не уничтожает. Документы могут всегда пригодиться для шантажа.

Из достаточно неуместной педантичности и ужасно опасаясь оказаться в середине ожесточенной смуты, я в последний раз нанес визит на голубятню. И не впустую: там ждало сообщение от Лагранжа. Что-де хватит переписываться голубями. Чтобы я посетил его по определенному адресу неподалеку от Лувра, где у него теперь работа. Сообщался также пароль, чтобы пройти через военные блокпосты.

Тогда же я узнал, что солдаты правительственного войска уже достигли Монпарнаса. И тут я вспомнил, что именно в районе Монпарнас я инспектировал недавно погребок одной винной лавки. Из погреба шел ход под улицей д'Ассас и дальше под улицей Шерш-Миди и утыкался в подвал заброшенного склада на перекрестке Красного Креста, который еще держался в руках коммунаров. Учитывая, что все мои рекогносцировки подземелий так пока что и не пригодились, а мне хотелось все-таки показать, что я не зря беру свое жалованье, я послушался и пошел к

Лагранжу.



...Повернул голову господин средних лет с удивительно незапоминающимся лицом. <...>
– Капитан Симонини, полагаю. Меня зовут Эбютерн...

От острова Сите дойти до Лувра было нетрудно, но у церкви Сен-Жермен-л'Оксерруа я задержал-

ся, наблюдая уличную сценку. Проходили там мужчина и женщина с ребенком, совершенно не такого вида, какой бывает у баррикадников. Но они попались ораве пьяных повязочников. Те хорошо попраздновали, видимо, по случаю взятия Лувра. Они стали тянуть мужчину в одну сторону, жена вцепилась и тянула в другую, жена удерживала мужа с мольбами и плачем, так что повязочники пихнули к стене и изрешетили выстрелами всех троих.

Я почел за благо проходить через заставы регулярных взводов. Они хотя бы понимали человеческую речь и, в частности, мои пароли. Так я добрался до комнаты, где кто-то у стены втыкал цветные флажки в большую карту. Лагранжа не было. Я произнес его имя. Повернул голову господин средних лет с удивительно незапоминающимся лицом. Он не протянул мне руки. — Капитан Симонини, полагаю. Меня зовут Эбютерн. Отныне вы работаете не на Лагранжа, а на меня. Государственные службы нуждаются в обновлении, это нормально после каждой войны. Господин Лагранж заслужил спокойную пенсию, удит рыбу сейчас где-нибудь на покое. Подальше от неприятной кутерьмы.

Вопросы явно были бы неуместны. Я рассказал

ему о подземном ходе от улицы д'Ассас до перекрестка Красного Креста. Эбютерн сказал: насчет перекрестка — интересно, потому как он получил известие, что коммунары готовят там войска для контрудара, ожидая атаку правительства с юга. Он спросил адрес виноторговца и велел мне добираться туда своим ходом и ждать, а он отправит на встречу со мной повязочников.

Я решил возвращаться от реки в район Монпарнас без лишней спешки, чтобы дать возможность посланцам Эбютерна первыми попасть на место. На пути, еще на правом берегу, аккуратно лежали на тротуаре двадцать трупов расстрелянных. Трупы были совсем свежие и различного социального происхождения и возраста. Один был молодой, с рабочими руками, полуоткрытым ртом. Рядом с ним почтенный буржуа, кудреватый, стриженые усики, руки скрещены на груди почти не мятого редингота. Сбоку от него — артистическая личность. Еще рядом притулился изуродованный, с черной дыркой вместо левого глаза и замотанной полотенцем головой, будто бы добрый кто-то, сжалившись (а может, наоборот, безжалостный любитель порядка?), позаботился сложить осколки этого разнесенного пулями черепа. Дальше — женщина, похоже, при

жизни смазливая.

Так лежали они под солнышком мая. Вокруг жужжали первые сезонные мухи, приглашенные на пир. Лежали, с виду будто бы случайно собранные, согнанные и расстрелянные единственно для острастки. Они лежали рядышком на тротуарах, а по мостовой шел взвод правительственных солдат и катились пушки. Примечательное выражение имели эти лица. Даже и писать неловко: беззаботности. Похоже, сон примирил их с судьбой и общим уделом, сблизившим их.

Мой взгляд остановился на последнем в их ряду, который как-то кривовато притулился, как будто был доложен позже. Лицо его частично было замазано запекшейся кровью. Однако я без труда узнал Лагранжа. Государственные службы, понятное дело, проводили обновление.

У меня не такая трепетная душа, как у бабенки, я даже таскаю трупы аббатов по канализационным канавам, но все-таки видение казненного Лагранжа меня расстроило. В районе Монпарнас меня вполне могли опознать как Лагранжева подручного. И смех весь-то был в том, что опознать в равной степени могли и коммунары и версальцы. В обоих случаях возникло бы недоверие ко мне. А по тем временам вызвать недоверие означало

быть расстрелянным.

Сообразив, что там, где полыхают пожары, по-видимому, коммунаров уже не остается, а версальцам еще рановато там быть, я решился перейти Сену и пройти по всей длиннейшей улице Бак и дальше, по поверхности, добраться до перекрестка Красного Креста. Там я планировал поглядеть, что делается, сойти по лестнице в заброшенный склад и до винной лавки идти под землей.

Страх, что кто-нибудь меня не подпустит к заветному складу, не оправдался. Вооруженные люди просто толклись на порогах и выжидали. Говорили кто что горазд. Пытались угадать, откуда появятся версальцы. Собирали и разбирали баррикады, перетаскивая их на угол с угла. Национальная гвардия ждала подкреплений. Из всех домов этого элегантного района им советовали не лезть на рожон и расходиться. Версальцы-де тоже французы. И даже республиканцы. И Тьерде объявил, что выйдет амнистия всем, кто без сопротивления сдастся в плен…

Дверь на склад оказалась приоткрыта, я вскользнул и хорошенько притворил ее за собой. Двинулся потом в подвал, а оттуда в подземелье и дошел до Монпарнаса, не сбиваясь с пути.

Там уж ждали три десятка повязочников, я их принял и немедленно повел в обратный путь. Из склада эти молодцы понеслись по этажам, думая напугать обывателей. Но в квартирах они находили хорошо одетых людей. Те встречали их радушно и тотчас же подводили к окнам, откуда проглядывался перекресток. Приблизительно в этот момент с Драконовой улицы прискакал на лошади офицер и прокричал всем строиться. Ясно, чтобы отбивать атаку версальцев с улиц Севр или Шерш-Миди. На углу этих улиц коммунары выворачивали из мостовой булыжники, возводя еще одну баррикаду.

Пока повязочники устраивались за окнами, выходящими на площадь, я рассудил, что мне не расчет торчать в таких местах, куда рано или поздно залетит коммунарская пуля. И я спустился, когда внизу еще все суетились. Понимая, какую траекторию будут описывать пули из окон дома, я устроился на углу улицы Старой Голубятни, чтобы в случае необходимости мигом убраться в другую щель.

Большая часть коммунаров, чтобы строить баррикаду, ружья-то свои составила в сторонку. Поэтому выстрелы из окон застали их врасплох. Коммунары не могли понять как следует, откуда

и кто стреляет. Сначала они беспорядочно палили в улицы Гренель и Фур. Я попятился. Неровен час зацепили бы и улицу Старой Голубятни.

Наконец до них дошло, что стреляют с этажей. Завязалась перестрелка между окнами и площадью. С тем различием, что версальцы ясно видели, куда им целить. Коммунары же не могли угадать, за какими окнами стоят стрелки. В двух словах: расправа была и нетрудной и быстрой. На площади ревели: «Предательство!» Это всегда так ревут. Кто не умеет делать дело, горазд валить вину на другого. Какое же тут предательство? — рассуждал я. Это вы не умеете воевать. А лезете, тоже мне, в революцию.

Теперь они старались вышибить ворота заброшенного склада, чтобы ринуться по лестнице наверх. Я думаю, повязочники уже давно удрали в подземный ход. И коммунарам достался вполне пустой дом. Это я думаю. Но что там наяву происходило — не знаю, потому что тоже не стоял на месте и не ждал неприятных событий. Как я узнал потом, действительно версальское войско в наступлении продвигалось по улице Шерш-Миди в солидном количестве, поэтому последних защитников Красного Креста отделали, думаю, по первое число.

По глухим переулочкам я добрался до своего заветного тупика, избегая дорог, где слышалась ружейная пальба и свистели пули. По всем стенам были расклеены свежие листовки. Комитет общественного спасения призывал граждан к последней защите («На баррикады! Враг уже в наших стенах. Без колебаний!»).

В пивнушке на Мобер я услышал последние известия. Шесть сотен коммунаров расстреляны на улице Сен-Жак. Взорвана пороховня в Люксембургском саду. Коммунары ради мести вытащили из тюрьмы Рокет заложников, среди которых был архиепископ Парижа, и поставили всех их без исключения тоже к стенке.

Расстрелять архиепископа означало спалить корабли. Возврат к обычной жизни теперь был возможен только через кровавую баню.

А тем временем, пока я слушал эти бурные рассказы, входили женщины. Радостный крик несся от всех столов. Это прелестницы возвращались в свои кабаки! Правительственные солдаты везли с собой из Версаля всех тех шлюх, которых запретила Коммуна. Они возвращались и заполняли города. Так что и эта сторона обычной жизни восстанавливалась.

Нечего было мне делать средь этой сволочи.

Они опоганивали единственное благое начинание Коммуны. Да, дни Коммуны окончательно закатывались под бряцание сабельной рубки на Пер-Лашез. Сто сорок семь чудом выживших, согласно рассказам, было захвачено в плен и расстреляно, от места не отходя.

Научатся не совать нос куда их не приглашали.

18. Протоколы

Из дневников за 10 и 11 апреля 1897 г.

Война окончилась, Симонини зажил по-прежнему. Хваление небесам, при подобном количестве убитых, вопросы наследования во множестве семей встали остро. Убиты были в основном молодые, не успевшие написать завещания. Симонини был завален работой и удоволен вознаграждениями. Как превосходен мир после того, как принесут порядочную очистительную жертву. В дневнике его совсем мало говорится о рутинной работе нотариуса. Чувствуется одна непреходящая забота: как бы пристроить в хорошие руки документ о ночном пражском слете. Симонини не знал, чем в то время занимался Гёдше, но мечтал его опередить. В частности, потому, что, как это ни курьезно, евреи на все дни Коммуны куда-то поисчезали. Матерые заговорщики, организовывали закулису Коммуны? Или, напротив, жадные сборщики капиталов, попрятались в Версаль и отсиделись, готовя послевоенный триумф? Но ведь они приспешники масонов, а масоны в Париже примыкали к Коммуне, а Коммуна убила архиепископа: без евреев

все это не могло обойтись. Они детей убивают, понятно же, что и архиепископов.

Под все эти размышления он себе жил, пока в 1876 году в его дверь не позвонил какой-то пожилой в сутане человечек. Симонини решил, что этот из обычных сатанистов, за просфорами. Но, всмотревшись попристальнее, под побелевшими, однако аккуратно уложенными волосами обнаружилась постаревшая приблизительно на тридцать годков физиономия иезуита, падре Бергамаски. Иезуиту было трудней уверить себя, что это точно Симонино, знаемый подростком, а ныне обросший большою бородой (которая после объявления мира моментально почернела, сохранив ненавязчивую проседь, как и положено сорокалетнему). Потом глаза его все-таки просияли, и он проговорил с улыбкой: — О, Симонино, это ты, мой мальчик? Что ж не пускаешь меня в дом? Зачем ты держишь меня на пороге? Он улыбался, хотя… Если мы не желаем называть это улыбкой тигра, назовем, ну, улыбкой кота. Симонини провел его на верхний этаж и спросил: — Как вы нашли меня? — Эге, мальчик, — отвечал ему Бергамаски. — Ты что, не знаешь, что иезуит ушлее черта? Пьемонтцы выгнали наших братьев из Турина, но я сохранил связи со стары-

ми знакомыми. От них мне стало известно, что ты, во-первых, подвизаешься нотариусом и строгаешь поддельные завещания, но это мне знать без надобности, а вот во-вторых, дошло до меня, что именно ты, оказывается, преподнес пьемонтским тайным службам лживое донесение, где фигурирую и я в качестве советника Наполеона Третьего, будто я агитирую против Сардинских королевств и Франции на пражском кладбище. Недурно заверчено. Жаль, что ты списал все это у безбожника Сю. Ну, мне захотелось поквитаться с тобой. А ты как раз отправился в Сицилию с Гарибальди. Дальше и вовсе исчез из Италии. Генерал Негри ди Сен-Фрон отзывчиво относится к запросам Общества Иисуса. Он посоветовал мне ехать в Париж, где наши братья обмениваются сведениями с имперскими осведомительскими службами. От них я и узнал, что ты связался с русскими и что твой донос о нашем якобы собрании на пражском кладбище перелицован в донос на евреев. И в это же время мне доложили, что ты шпионил за неким Жоли. Я ознакомился с редким экземпляром его книги, содержавшимся в кабинете у Лакруа, это был герой полиции, отдавший жизнь в вооруженной борьбе с карбонариями-динамитчиками. Я обнаружил, что

Жоли все списал у Эжена Сю. А ты списывал уже у Жоли. И, дополнительно ко всему, немецкие собратья по иезуитскому ордену сообщили мне, что некий Гёдше тоже изложил байку про церемонию на кладбище, и в его рассказах евреи говорят приблизительно те же самые вещи, которые ты наплел в донесении для русских служб. Я-то знаю, что первоначальная история, где участвуют иезуиты, была сфабрикована тобою. И на несколько лет раньше, чем вышел романишко Гёдше.

— Наконец хотя бы кто-то отдает мне должное!

— Погоди, я не кончил. Дальше, по случаю войны, осады и Коммуны, Париж стал вредноват таким, как я, носителям ряс. И я удалился. Но теперь все же пришлось ехать в Париж и разыскивать тебя. Потому что года два назад история с евреями на кладбище вдруг вышла в печать в одной санкт-петербургской книжонке! Там ее выдают за кусок из романа, основанного на исторических фактах. То есть в основе опять-таки книга Гёдше. Ну вот. Через год тот же текст перепубликовали в Москве. В общем, там у них готовится какое-то государственное гонение на евреев, евреев пытаются представить как угрозу. Однако евреи — угроза также и нам, иезуитам. Они со своим «Еврейским союзом»

прячутся за спинами масонов. Его Святейшество в конце концов принял решение дать бой этим врагам церкви Христовой. Тут-то и пригодишься ты, Симонино, дружок мой, чтобы искупить вред, который нанес мне и моим сотоварищам в Пьемонте. Ты оклеветал иезуитское Общество, теперь отслуживай.

…Ну и дьявол. Эти иезуиты побили Эбютерна, Лагранжа и Сен-Фрона, сумели выведать все обо всем. Секретные службы иезуитам не нужны, потому что они сами и являются секретной службой. У них есть собратья в каждом дальнем уголке мира. Они следят за всем, что где бы то ни было сказано на каком бы то ни было из языков, образовавшихся при крушении Вавилонской башни.

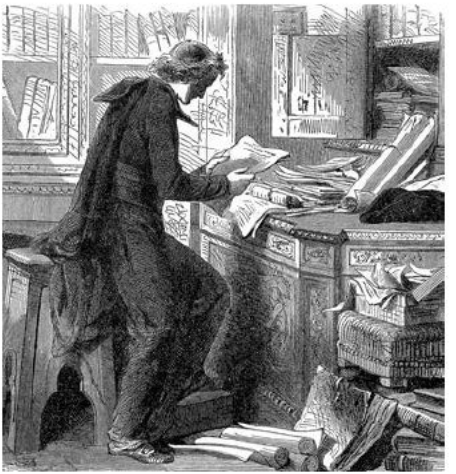
После поражения Коммуны жители Франции, даже ярые антиклерикалы, сделались шибко верующими. Поговаривали о строительстве храма на Монмартре в знак общественного искупления трагического и безбожного прошлого. Наблюдалось духовное возрождение. А значит, возрождать сделалось выгодно.

— Идет, святой отец, — произнес Симонини. — Говорите, что от меня требуется.

— Требуется развить и усугубить. Поскольку

речью твоего раввина с немалым успехом торгует Гёдше, надо, во-первых, обогатить речь и приукрасить ее по мере возможностей. А во-вторых, сделать так, чтобы Гёдше перестал ею торговать.

— А как воздействовать на этого жулика?



...Бергамаски прибавил еще, что для вящей убедительности хорошо бы вернуться и к пророчествам аббата Баррюэля, и особенно к тому письму, которое в свое время направлял аббату Баррюэлю симонинцевский дедушка...

— Скажу немецким братьям, чтоб не спускали с него глаз, а в случае чего нейтрализовали. По тем деталям его жизни, которыми мы располагаем, — он поддается нажиму. Ты должен приняться за

работу и сделать из выступления раввина новый документ, почетче и поподробнее, с привязками к нынешней политике. Перечитай, кстати, книжицу Жоли. Надо заострить этот, как его, еврейский макиавеллизм. Их всемирные замыслы по части разрушения государств.

Бергамаски прибавил еще, что для вящей убедительности хорошо бы вернуться и к пророчествам аббата Баррюэля, и особенно к тому письму, которое в свое время направлял аббату Баррюэлю симониниевский дедушка. Сохранилась ли у Симонини копия, которую, в частности, вполне можно презентовать как оригинал, отправленный Баррюэлю?

Копия, конечно, нашлась в глубине шкафа в старой шкатулке. Началась торговля с Бергамаски о цене за столь важный документ. Иезуиты известны скаредностью. Симонини мало что сумел выторговать. И в июне 1878 года вышел номер «Контемпорэн» с публикацией воспоминаний отца Гривеля, близкого к Баррюэлю. Еще там были и другие сведения, собранные Симонини из разных мест, и письмо покойного дедушки. Пражское кладбище подождет, учил падре Бергамаски. Сильно много сенсаций разом — напрасная трата. Публика поохает и забудет. Необходимо их

дозировать, сенсации. Подавать маленькими порциями. И при каждой новой сенсации следует активно напоминать о предыдущих.

Симонини в своем отчете не скрывал открытого довольства тем, что дедушкино письмо зажило новой жизнью. Он как будто даже тщеславился добродетельностью поступка, как тот, кто выполняет нравственный долг.

Он запоем редактировал, расцвечивая и обогащая, речи раввина. Перечитал Жоли и убедился, что тот свободней, независимей от Эжена Сю, нежели казалось при первом чтении. И что своему Макиавелли-Наполеону Жоли приписывает множество таких низостей, которые замечательно поддаются перелицовыванию в низости евреев.

Материала собралось слишком много, и был он слишком разносортен. Порядочной раввинской речи, которая могла бы произвести сильное впечатление на католиков, следовало целить на то, что евреи умышленно подрывают нравственность. Вдобавок к этому имело смысл позаимствовать у Гужено де Муссо идею физического превосходства евреев, а у Брафмана — идею о том, как евреи порабощают христиан через ростовщичество. В то же время для республиканцев

требовалось другое. Чтобы их пробрать, следовало жать на тему всепроникающего еврейского контроля над органами печати. А на предпринимателей и мелких вкладчиков, на всех тех, кто доверяется банкам, но всегда с опаской, поскольку принято считать, что банки — вотчина евреев, на этих, думается, мог бы подействовать рассказ о финансовых интригах мирового еврейства.

Вот так, по шажку, по идеечке, вырабатывался у Симонини замысел, который сам, хоть автор и не знал, а был по сути еврейским и каббалистическим. Не к одной только сцене на пражском кладбище надлежало сводиться делу. Не к одной только речи раввина. Он создаст несколько вариантов речей. Предложит священникам один вариант, предложит социалистам другой. Русским потребуется свое, а французам вовсе иное. Не стремиться к законченности. Секрет в том, чтоб наштамповать некоторое число заделов, которые, разнообразно сочетаясь, составят собой много разных оригинальных речей. И он сможет продавать речи всякий раз другим покупателям, по потребностям каждого, идеальные для каждого случая. В общем, как хороший нотариус, он запасется протоколами разных показаний, свидетельств и признаний, полезными для лю-

бых адвокатов, занятых самыми различными кляузами. Так и случилось, что Симонини назвал свои записи «Протоколами». И отнюдь не все передал отцу Бергамаски, а решил для него отобрать исключительно тексты, рассчитанные на духовенство.

Симонини кончает рассказ о своей тогдашней работе характерным примечанием: к декабрю 1878 года стало известно о кончине Гёдше. Он, похоже, залил себе до смерти глотку одуряющим немецким пивом. И тогда же схоронили несчастного Жоли, от всегдашней своей печали он пустил наконец себе пулю в голову. Да покоится с миром, зла он ведь не сделал никому.

Вероятно, в порядке поминок сочинитель дневника преестественно наклюкался, его почерк все кривился и кривился, и запись вообще оборвалась наконец. То есть он над дневником заснул.

А на следующий день, ближе к вечеру пробудившись, Симонини обнаружил в дневнике пометы аббата Далла Пиккола. Тот утром как-то сумел пробраться в его кабинет, прочел все то, что понаписал его альтер эго, и откомментировал.

Что он там приписал? Он приписал, что ни смерть Гёдше, ни самоубийство Жоли не могли

быть сюрпризами для капитана, хотя явно капитан, если и не стараясь нарочно все позабывать, непроизвольно вытесняет из памяти некоторые эпизоды.

А на самом деле было так: после того как напечатали в «Контемпорэн» письмо его дедушки, Симонини получил записку от Гёдше. Она была написана на грамматически неверном, но очень решительном французском. «Дражайший капитан, — говорилось в ней. — Предполагаю, что опубликованный в “Контемпорэн” материал — это только закуска перед тем, что готовится. Мы с вами знаем, что в определенной мере собственность на этот документ — моя. И я мог бы доказать, предъявив “Биарриц”, что я единственный автор текста, а вы не имеете к нему отношения. Ни в которой степени. Вы даже не редактировали. Даже не расставляли запятые. На этом основании предлагаю вам все прекратить. Предлагаю назначить встречу. Пусть присутствует и нотариус (но только не из вам подобных). Запишем, кто же собственник и автор рассказа о пражском кладбище. Ежели не согласитесь, я во весь голос прокричу, что вы наглый обманщик. И вдобавок оповещу господина Жоли. Он еще не в курсе дела, что вы похитили его литературное

творение. И учтите, что Жоли — адвокат, так что дельце вам сулит дополнительные неприятности».

Встревоженный Симонини обратился к отцу Бергамаски. — Ты сам займись Жоли, а мы займемся Гёдше, — прошелестел тот.

Симонини задумался, как же ему заниматься Жоли, а уже подоспел посыльный с билетиком от Бергамаски: бедный господин Гёдше мирно испустил дух в собственной постели, помолиться за его душу, хоть и был он проклятым протестантом.

И Симонини понял, в каком же смысле ему назначают заниматься. Эти занятия в восторг его не приводили. Вдобавок он себя чувствовал должником Жоли. Но он не мог ставить под удар свой и Бергамаски план из-за каких-то моральных заковырок. Только что мы видели, что он рассчитывал интенсивно пользоваться текстом Жоли, и, естественно, без надоедливых и назойливых протестов со стороны автора.

Поэтому он снова побывал на улице Луи-Филиппа и приобрел пистолет, достаточно маленький, чтоб держать его дома, и пускай слабосильный, однако соответственно и бесшумный. Он знал, где живет Жоли, он в свое время видел квартиру Жо-

ли. Хоть она и маленькая, стены в ней завешаны коврами и гобеленами, превосходно скрадывающими звук. На всякий случай он наметил свидание на утро, когда набережная наполнится шумами экипажей и омнибусов, сворачивающих как с Королевского моста, так и с улицы Бак.

Позвонив в дверь к адвокату, он вошел. Тот встречал его с легким недоумением, однако спросил, желает ли гость вареного кофею. Затем Жоли рассказал о самых последних неприятностях. Большинство парижан, читающих журналы, хоть они все ничтожества (имел он в виду и читателей и редакции), полагало его коммунаром, в то время как он отвергает и насилие и революционную дурь. Да, он восстает против политической беспардонности этого Греви, который выдвинул свою кандидатуру в президенты республики. Он печатает за свои деньги обличительные листовки. Но его обвиняют… Кого? Его, Жоли! Что он бонапартист и заговорщик против республики. Гамбетта с пренебрежением высказывается о «продажных писаках с тюремным прошлым». Эдмон Абу относится к нему как к поддельщику. Коротко говоря, половина французских журналистов бросается на него с лаем. И только «Фигаро» печатает его обличительный текст, а все прочие

отказались печатать даже объяснительные письма в редакцию.

Вообще-то Жоли выиграл свою битву. Он заставил Греви отказаться от самовыдвижения. Но Жоли относится к таким людям, которые не удовлетворяются полумерами. Они желают, чтобы справедливость восторжествовала в полной мере. Двух обидчиков он вызвал на дуэль, а на десять газет подал в суд за отказ в приеме объявлений, диффамацию и публичное оскорбление достоинства. — Я лично сам взялся защищать себя и могу вас заверить, Симонини, что я огласил все замалчиваемые прессой скандалы. Не говоря уже о тех, которые и до того были гласны. И знаете, что я сказал этим негодяям, к коим причисляю и судей?



...В определенный момент что-то у человека внутри ломается и нет уже ни энергии, ни воли. Говорят, что необходимо жить. Но жизнь – такая вещь, которая постепенно подводит к самоубийству...

«Господа, я не побоялся империи, хоть она и затыкала всем вам рты. А теперь мне смешно глядеть на вас! Вы подражаете ее худшим качествам!» Тогда они попробовали лишить меня

слова. Но я сказал: «Господа, империя судила меня за подстрекательство к ненависти, пренебрежение к правительству и оскорбление величества. Но даже и кесаревы судьи позволяли мне говорить. Поэтому я прошу у судей Республики предоставить мне по меньшей мере ту свободу, которой я пользовался при Империи!»

— И каков был ответ?

— Я выиграл процессы. Все газеты, кроме только двух, были признаны виновными.

— Так что же вас сейчас беспокоит?

— Все. Тот факт, что адвокат противника, хоть и расхваливал мои труды, но сказал: я-де, впадая в крайность, гублю свою будущность, и в наказание за гордыню меня преследует неуспех. Я на всех напал, со всеми перессорился и не был избран депутатом, не был назначен министром. Мне говорили, я достиг бы большего как литератор, нежели как политик. Но это тоже не очевидно, поскольку книги мои преданы забвению. Хоть я и победил в суде, из жизни модных салонов я выключен. Победил, но оказался в проигрыше. В определенный момент что-то у человека внутри ломается и нет уже ни энергии, ни воли. Говорят, что необходимо жить. Но жизнь — такая вещь, которая постепенно подводит к самоубийству.

Симонини подумал: ну так я просто сделаю святое дело. Избавлю этого злополучника от отчаянного поступка, в чем-то даже унизительного, от последнего неуспеха. И вместе с тем ликвидирую опасного свидетеля. Симонини подал хозяину кипу бумаг и попросил разобраться, требуется-де его суждение. Бумаги были обыкновенными газетами, но это обнаруживалось не сразу. Жоли сидел в кресле и листал, придерживая стопу страниц, которые норовили распадаться и выскальзывать из рук.

В полном спокойствии, покуда тот, недоумевая, разглядывал газеты, Симонини разместился за изголовьем его сиденья, поднес пистолет сзади тому к голове и выстрелил.

Жоли накренился и плавно ополз на пол со струйкою крови из дырочки в виске и с болтающимися руками. Вложить ему в пальцы пистолет было делом минуты. И удачно, что еще оставалось шесть или семь лет до времен, когда начали применять белый порошок, напыляя который есть возможность выявить неповторимые отпечатки рук, прикасавшихся к оружию. В год, когда Симонини сводил счет с Жоли, еще была вера в теории Бертильона — в обмеры скелетов и костей подозреваемых. Никому не закралась бы мысль,

что кончина Жоли — не самоубийство.

Симонини сложил свои газеты, вымыл чашки от вареного кофия и оставил помещение в порядке. Как потом он узнал, через два дня обеспокоенный сторож, не встречая жильца своего, оповестил комиссариат участка Святого Фомы Аквинского. Двери вышибли, труп нашли. Из рассказа газетчика следовало: пистолет валялся на полу. Получается, Симонини не слишком крепко угнездил его трупу в ладонь. Хотя какая, в общем, разница. Тут же, нечаянная радость, на столе оказалась приготовленная горка писем: матери, сестре и брату… Ни в одном открыто не говорилось о самоубийстве, но все они были пронизаны глубоким и благородным пессимизмом. Как будто нарочно написаны. Как знать, не готовился ли бедолага как раз свести счеты с жизнью. В этом случае, конечно, получается, что Симонини трудился зря.

Не в первый уж раз Далла Пиккола осведомлял напарника о том, что мог бы вызнать только под тайной исповеди и что напарник в своей памяти не держал. Симонини это коробило, и он даже черкал на полях записей Далла Пиккола свои раздраженные отповеди.

Понятно, что документ, который вам переска-

зывает Повествователь, напичкан неожиданностями, и их такое множество, что даже кажется: когда-нибудь, по прошествии лет, этот документ может стать настоящим романом…

19. Осман-бей

11 апреля 1897 г., вечер

Ваше преподобие, я напрягаюсь, чтобы восстановить былое, а вы меня постоянно перебиваете менторским тоном, тычете носом в упущения… Вы меня отвлекаете. Действуете на нервы. Ну ладно, допускаю, что я убил и Жоли. Но все это в интересах цели. А цель оправдывала те незначительные средства, которые пришлось ввести в действие. Берите пример с другого священника, с Бергамаски. Смотрите, как он политически прозорлив и хладнокровен. И укротите ваш нездоровый пыл. Без шантажа со стороны Жоли и Гёдше я мог теперь отдать себя своим новым «Пражским протоколам» (так я планировал назвать их). И вознамерился выдумать что-нибудь оригинальное, потому что старье насчет сборища на кладбище превратилось уже в затасканный, почти беллетристический штамп. Прошло несколько лет после опубликования письма дедушки. Вдруг на страницах «Контемпорэн» была напечатана речь раввина, на этот раз представленная как достоверный репортаж с места, подписанный английским дипломатом

сэром Джоном Рэдклиффом. Поелику псевдоним, избранный Гёдше для авторства романа, был «сэр Джон Ретклифф», ясно было, откуда торчали уши. Я уже бросил и считать, сколько раз эта сцена кладбищенская перепевалась у самых разных сочинителей. Какой-то Бурнан выпустил труд «Евреи, наши современники». Там то же самое. Там тоже выступает раввин. С той единственною мелкой разницей, что имя Джон Рэдклиф носит он сам. Святейший Господи, ну как прикажете жить на этой планете обдуряльщиков? Так что я искал новые факты для своих протоколов и не гнушался заимствовать их из опубликованных текстов, учитывая, что (кроме досадного исключения — аббата Далла Пиккола) мои потенциальные клиенты не из тех, кто просиживает дни в залах библиотек. Отец Бергамаски как-то сказал:

— По-русски выпустили книгу о Талмуде и евреях. Какого-то Лютостанского. Попробую раздобыть ее и попрошу наших собратьев перевести для справок. Однако есть другое лицо, к которому еще важнее было бы нам с тобой подобраться. Ты слыхивал ли о некоем Осман-бее?

— Он турок, что ли?

— Говорят, серб. Однако пишет и печатается

по-немецки. Его брошюра о завоевании мира евреями уже переведена на разные языки. Но, думаю, ему постоянно требуется информация, ибо он промышляет антиеврейской пропагандой. Говорят, будто русская политическая полиция выделила ему четыреста рублей на поездку в Париж, чтобы он изучил «Всемирный еврейский союз». А ты что-то слышал на сей счет от твоего дружочка Брафмана, как мне помнится.

— Я очень мало, честно говоря, слышал.

— Ну так придумай, сунь чего-нибудь этому бею. А бей, бей тебе что-нибудь сунет в ответ.

— Как я найду его?

— Он тебя сам разыщет. Я уже почти не работал для Эбютерна, но время от времени встречался с ним. И вот при встрече перед фасадом Нотр-Дам я спросил его, не знает ли он, кто такой Османбей. Он знал. Оказалось, Осман-бея знают полицейские всего мира.

— Он, похоже, сам еврей по рождению, как и Брафман и другие оголтелые ненавистники иудеев. Длинная история. Его звали Миллингер или Миллинген, он сменил потом имя на Кибридли-Заде, выдавал себя за албанца. Высылался из некоторых стран за разные темные дела, большею частью за мошенничества. Сиживал по

нескольку месяцев в тюрьме. Взялся за евреев, полагая нажиться. Помнится, вдруг в Милане почему-то публично отказался от собственных филиппик против евреев. И тут же опубликовал в Швейцарии новые антиеврейские книжки. Через год он уже сам продавал их, разнося по частным квартирам, в Египте. Однако самым явным успехом его работа увенчалась в России, где он дебютировал россказнями об убиении христианских младенцев. Сейчас он накинулся на «Еврейский союз». Поэтому мы хотим его удалить из Франции. Много раз уже я докладывал вам, что нам нежелательно ссориться с «Союзом». По крайней мере, сейчас это представляется несвоевременным.

— Но он же едет в Париж, если только уже не приехал.

— А, вы поосведомленней меня. Прекрасно, вы и возьметесь за ним приглядывать. А мы окажемся вам благодарны, как бывали и в предыдущих случаях. Так что у меня получилось уже две причины встречаться с Осман-беем. Бергамаски хотел, чтоб я продал Осман-бею информацию о евреях. Эбютерн хотел получать информацию об Осман-бее, о его намерениях.

Через неделю Осман-бей сам собой возник, под-

пихнув записку под входную дверь моей лавки. В той записке был адрес каких-то номеров в Маре.

Почему-то полагая, будто Осман-бей интересуется хорошей кухней, я решил позвать его в «Гран Вефур», угостить пулярдовым фрикасе «Маренго» и майонезом де-воляй. Я написал ему об этом. Он наотрез отказался от приглашения и назначил мне встречу вечером на углу площади Мобер и улицы Мэтра Альбера. Фиакр там приостановится, мне же надлежит подойти поближе и назвать себя.

Когда вечером действительно на указанном углу остановился фиакр, оттуда выглянула физиономия, с которой очень бы не хотелось повстречаться по наступлении темноты на какой-нибудь из улочек моего квартала. Длинные нечесаные волосы, загнутый нос, хищные глаза, землистая кожа, худ как глист, и вдобавок дергается левый глаз. — Вечер добрый, капитан Симонини, — сказал он мне сразу же и добавил: — В Париже стены имеют уши. Единственный способ говорить — перемещаясь по городу. Кучер услышать не может. Да если бы и мог, он у нас глух как пень.

Так началось наше первое собеседование, под вечер, сходивший на город, под дождик, капав-

ший из одеяла тумана, укладывавшегося на дома, сползавшего почти что на тротуар. Возница, похоже, получил указание править по самым безлюдным и малоосвещенным дорогам. Вообще-то мы могли бы беседовать и на бульваре Капуцинок. Видно было, Осман-бей любит театральность во всем. — Париж как будто стал пустыней. Глядите на прохожих, — разглагольствовал Осман-бей с улыбкой, озарявшей его лицо так, как восковая свеча умеет осветить изнутри череп. Этот испитой, изможденный человек имел отличные зубы. — Они же рыскают, как призраки. Думаю, при блеске дня они уходят и упокоиваются в склепах своих.

Тут уж мне надоело. — Любопытно и стильно. Похоже на лучшего Понсона дю Террая. Но все-таки давайте конкретнее. Мне интересен некто Ипполит Лютостанский. — Мошенник, доносчик. В прошлом — католический священник. Его лишили сана за отношения, как вам сказать, ну, не самые чистоплотные… с маленькими мальчиками. Одно уж это его дурно аттестует. Потому что, как бог свят, мы все понимаем, что плоть слаба, но священники, должны же они соблюдать хотя бы внешний декорум. Выгнали из католиков, тогда он стал православным монахом. Мне до-

статочно известна так называемая Святая Русь, чтоб заверить вас, что в монастырях, начисто отъединенных от мира, старцев объединяет с послушниками тоже чувство… взаимное… как его назвать… закадычности… Но я не интриган. Чужою нравственностью не интересуюсь. Знаю только, что ваш Лютостанский получил кучу денег от российского правительства за рассказы о человеческих жертвоприношениях у евреев. Ну, обычные дела, по линии христианских младенцев. Он сам, как мы сказали, не то чтобы перед младенцами чист. А, вот еще, о Лютостанском известно: он вечно предлагает себя еврейским общинам, обещая за сходную оплату отречься от всего, что напубликовал. Но вы ж понимаете! Разве же евреи согласятся отстегнуть хотя бы грошик. — Подумал и добавил: — Кстати, я забыл сказать, что он сифилитик. Слыхивал я, что настоящие писатели наделяют самых ярких героев собственными чертами. Потом Осман-бей терпеливо прослушал то, что я намечал сказать ему, с пониманием ухмыльнулся на мое живописание сборища в Праге и оборвал меня: — Капитан Симонини, вот это! Да — вот это точно литература! Почище Понсон дю Террая, которого вы нашли в моем рассказе. Бог с ними, с писателями. Меня

интересуют только бесспорные доказательства, что есть амуры между «Еврейским союзом» и мировым масонством. А также — еще интереснее не ковыряться в прошлом, а предвосхищать будущее — доказательства, что есть интрижки между французскими и прусскими евреями. «Союз» — это сила. Они накидывают золотую паутину на весь земной шар. Они торопятся заграбастать в собственность всех и вся. Ну и необходимо разоблачить их. Обличить их. Силы, подобные «Союзу», были всегда. Даже до Римской империи. Тем-то они и сильны. Им по три тысячи лет. Подумайте, как они помыкали Францией через такого еврея, как Тьер.

— Что, Тьер еврей?

— А кто не еврей? Они повсюду, они за спиной у каждого, лезут в наши банковские счета, командуют нашими армиями, влияют на церковь и на правительство. Я подкупил одного сотрудника «Всемирного еврейского союза»… купить во Франции можно любого… и он передал мне копии писем, посылавшихся в разные еврейские комитеты в страны, граничащие с Россией. Комитеты расположены по всем внешним линиям границ; пограничники блокируют главные дороги, а тем временем вестовые проскальзывают по полям,

по болотам и по водным путям. Говорю же вам, паутина. Я донес об этом заговоре царю. Этим спас Святую Русь. Я, один я ее спас. Я люблю мир. Я хочу, чтоб человечество жило в кротости. Пусть понятие насилия уничтожится. Ну и если бы из мира исчезли евреи, эти толстосумы, финансирующие производителей пушек, наступила бы эра благоденствия.

— Как же…

— Ну а так, что когда-нибудь люди выищут разумное этому решение. Окончательное решение. Истребление всех евреев. Дети? А что дети? Их туда же. Выглядит похоже на царя Ирода? Речь идет о злом семени. Недостаточно вырубить поросль, нужно выкорчевать. Не желаешь комаров — истребляй личинок. Мы начнем с «Всемирного еврейского союза», но это временно. «Союз» не поддастся уничтожению, пока полностью не будет уничтожена их раса.

В конце катания по пустынному Парижу Османбей сделал мне предложение:

— Капитан, от вас я получил слишком мало. Вы не можете ждать, чтобы я даром вас снабжал интересными штучками про «Всемирный еврейский союз», о котором я вскорости самостоятельно узнаю все. Предлагаю соглашение.

Я разберусь в евреях из «Союза», а вы в масонах. Приехав сюда из России с ее мистицизмом и православием, не зная экономического и умственного своеобразия Парижа, я к масонам пробраться не могу. А господ вашего пошиба они принимают. С цепочкой через весь жилет. Вы в их ряды протиснетесь без труда. Вы побывали с Гарибальди в походе. Вот уж масон из масонов. Итак: вы сервируете мне масонские дела, а я вам — дела «Альянс Израэлит Юниверсель».

— Условимся и достаточно?

— Порядочным людям незачем записывать. Мы же условились.

20. Русские?

12 апреля 1897 г., 9 часов утра

Знаете, аббат, мы с вами вправду разные люди. Есть доказательства. Сегодня утром, около восьми, я пробудился (в собственной опочивальне), в ночной сорочке отправился в кабинет и, заходя, увидел: черная тень метнулась, удирая, опрометью по лестнице. Краешком глаза я углядел, что кто-то перелопатил на столе все бумаги. Я ухватил трость с начинкой, которая удачно оказалась под рукой, и ринулся в магазин. Черный зловещий ворон вылетал на улицу. Я бросился следом. И надо ж, до чего не повезло, по всему чувствовалось, что бессовестный лазутчик хитро подготовил себе путь бегства — я с размаху рухнул через табурет, никогда не стоявший именно на этом месте. С той же клюкой в руках я помчался, охая и хромая, вылетел за двери: никого, хоть убейся, не было видно. Посетитель как сквозь землю пропал. Однако это явно были вы, готов поспорить. Я поднялся к вам на второй этаж — и что увидел? В кровати никого не было.

12 апреля, полдень

Капитан Симонини, отвечаю вам проснувшись (в собственной постели). Гарантирую, что я с утра не мог никак быть у вас в квартире, ибо спал. Но как только я проснулся, приблизительно в одиннадцать, был перепуган кем-то, и это явно были вы, улепетывали по коридору, по тому самому, где грим и бутафория. Еще в шлафроке я бросился в самую вашу квартиру и увидел, как вы сбегаете в ваш плачевный магазин и выныриваете в дверь. Я тоже налетел на табуретку. Когда я выбрался в тупик Мобер, от посетителя уже не оставалось и тени.

12 апреля сразу после обеда

Преподобный аббат, что со мной, объясните? Мне, конечно, нездоровится. Время от времени я теряю сознание. А когда прихожу в себя, нахожу в дневнике следы ваших прямых вмешательств. Что же, мы с вами — одно? Поразмышляйте над этим во имя здравого смысла, во имя логики и разума: ежели обе наши встречи имели место в одно время, разумно было бы посчитать, что встречи были между вами и мной. Но встречи были в разное время. Естественно, если я вхожу в дом и вижу, что кто-то убегает, я могу точно заявить, что убегающий — не я. Но что убегающий — вы, утверждается при уверенности, в нынеш-

нем случае безосновательной, что в это утро в доме находились только я и вы. Если только я и вы, создается парадокс. Поясню. Вы копались в моих бумагах в восемь часов утра, я за вами побежал. Я копался в ваших бумагах в одиннадцать, вы за мною побежали. Как же это получается? Мы оба помним, в котором часу в наш дом кто-то проник, но ни один из нас не помнит, в котором часу каждый из нас сам забирался к другому в квартиру?

Мы, естественно, могли бы забыть обстоятельства, или захотеть их забыть, или умолчать по некой причине. Но лично я искренен и ничего не умалчиваю. Идея, что двое разных лиц одновременно и симметрично испытали желание замолчать некие факты, — это не из жизни, а из романа. Даже Монтепен не выдумал бы такой сюжет.

Гораздо возможнее, что людей было трое. Таинственный месье Ктотаков забирается ко мне рано утром, и я думаю — это вы. В одиннадцать тот же Ктотаков проникает в ваши апартаменты. И вы думаете — это я. Разве невероятно? При безумном количестве шпионов, кишащих везде?

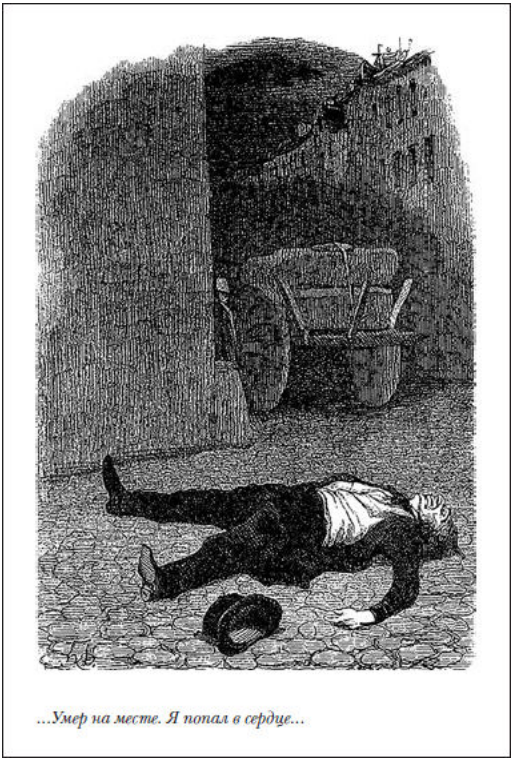
Но это вовсе не означает, что мы — раздельные люди. Одна и та же личность в свою бытность

Симонини может помнить о посещении Ктотакова утром в восемь, после этого все забыть и, уже преобразившись в Далла Пиккола, помнить, что Ктотаков посещал его в тот же день в одиннадцать.

Увы, вопрос о наших личностях при вводе третьего не разрешается. Он еще пуще осложняет жизнь нам обоим (или единому, при допущении, что мы — единое лицо). Вводится кто-то третий, имеющий возможность лазить к нам, когда ему хочется. А ведь еще может нас быть не три, а четыре! Ктотаков Первый в восемь забирается ко мне, что не мешает Ктотакову Второму в одиннадцать навестить вас. В каких отношениях состоят между собой двое Ктотаковых?

И вообще, уверены ли вы, что за вашим Ктотаковым гнался некто, бывший вами? А не мною? Согласитесь, оригинальная формулировка вопроса.

Так или иначе, запомните крепко, у меня бесподобная трость с начинкой. Еще один незваный гость в доме — и я разглядывать его не собираюсь. Я просто ткну. Вряд ли этот непрошеный — я сам. Вряд ли я убью сам себя. Скорее кого-нибудь из Ктотаковых, Первого или Второго, или же вас. Зарубите себе это, пожалуйста, на носу.



...Умер на месте. Я попал в сердце...

12 апреля, вечер

Ваши слова, прочитанные по выходе из долгого оцепенения, меня обеспокоили. Будто сквозь сон, замаячил где-то образ доктора Батая (но кто он?).

Как в Отее, пьяноватый, он сует мне маленький пистолет со словами: «Однако боязно, мы зашли чересчур далеко, масоны хотят нас убить, лучше иметь оружие». Меня страшил сильнее пистолетик, нежели угрозы, потому что я знал (но откуда?), что с масонами-то всегда договорюсь. Дома я уложил в ящик этот пистолет. Дома здесь, в квартире на рю Мэтра Альбера.

После ваших слов я насторожился, подошел к шкапу, выдвинул ящик. Со странным ощущением, как будто выполнял это во второй раз. Встряхнулся. К черту все сны.

Приблизительно в шесть вечера я осторожно шел через гримерный коридор в вашу комнату. Темная тень стала наступать на меня, сгорбившись, с небольшой свечой. Это могли бы быть вы, боже, но я будто разума лишился. Выстрелил. Он тут же рухнул к моим ногам, замер и вовсе не двигался уже.

Умер на месте. Я попал в сердце. Я стрелял впервые и, думаю, последний раз в жизни. Кошмарное происшествие.

Я обшарил его карманы. Все письма, письма, сплошная кириллица. Лицо он имел скуластое и с раскосыми, как у калмыка, глазами, а волосы светло-русые. Без всякого сомнения, славянин.

Чего ему от меня было надобно?

Ну не мог я держать в доме труп. Пришлось отволакивать его в нижний ярус, туда, где ваш погреб. Я отпер ведущий в подпол люк. На этот раз хватило храбрости сойти туда. С трудом я протащил мертвеца до самого низа по лесенке и с риском задохнуться в гнилых миазмах доставил на то место, где, я полагал, должны были лежать кости второго Далла Пиккола. Я думал так, но оказалось, что налицо даже два сюрприза. Первый — что испарения и вся эта подземная гниль в силу какого-то феномена химии — а химия царица наших времен — создали условия для консервации того, что должно было быть моим бренным естеством. Так что, кроме ожидаемых костей, там сохранялись ошметья кожи, сохранялось подобие человеческого облика, хотя и мумифицированного. Второй сюрприз… Рядом с предполагаемым Далла Пиккола я обнаружил еще двоих покойников, мужчину в священнической сутане и полураздетую женщину. В процессе разложения. У них был смутно знакомый вид. Что это за мертвецы? Почему от них поднимается у меня буря на сердце и невыразимые видения мелькают в уме? Не знаю и вроде бы не желаю знать. Однако наши с вами взаимные истории,

поди, гораздо сплетеннее, чем казалось бы.

И не пишите мне в ответ, что и вы пребываете в той же самой ситуации. Мне, имейте в виду, надоели эти игры в перекрестные сказки.

12 апреля, ночь

Дорогой аббат, я не то чтобы любитель убийств. В особенности без повода. Но все-таки сходил и поглядел в этот подкоп. Я не спускался туда прорву лет. Господи. И впрямь там набралось четыре трупа. Один оставлен мной столетия назад. Другого уложили вы только что. Ну ладно. А остальные-то два откуда взялись?

Кто был у меня в клоаке и трупами ее загромоздил?

Русские? А что русским занадобилось от меня — то есть от вас — то есть от нас?

О, кель истуар!

21. Таксиль

Из дневника за 13 апреля 1897 г.

Симонини все тщился уяснить, кто же это лазил к нему. К нему и к Далла Пиккола. Он смутно припомнил, что в начале восьмидесятых годов посещал салон Жюльетты Адан (той самой, которая бывала в книжном магазине на улице де Бон под именем мадам Ламессен). Там он познакомился с Юлианой Дмитриевной Глинкой (известной в Париже еще и как Юстина или Жюстина Глинка), а через нее — с Рачковским. Ежели кто-то обыскивал его квартиру или квартиру Далла Пиккола — всенепременно по приказу одного из этих двоих, которые, как он вроде теперь вспоминает, наперебой искали какое-то сокровище. Но истекло с тех пор уже лет пятнадцать. И каких лет! С которой же стати эти русские снова преследуют его по пятам? А может, это масоны? Он чем-то разлютовал масонов. Возможно, откапывают в его квартире компрометирующие документы, которыми он завладел. Все истекшие годы он исследовал масонскую среду. Отчасти для Осман-бея, отчасти для Бергамаски, постоянно теребившего его, потому что в Риме готовились

переходить во фронтальное наступление на масонство (и на евреев, одушевителей масонства) и требовался свежий материал. А материала было мало. Настолько мало, что иезуитский «Чивильта́ каттолика» дошел до перепечатывания письма дедушки Симонини к Баррюэлю, хотя за три года перед тем его уже опубликовал журнал «Контемпорэн».

Симонини пытался восстановить события. В те поры он прикидывал, есть ли смысл поступить всерьез в какую-нибудь ложу. Его впрягут в послушание, обяжут посещать сходки, он не сможет отказывать в любезностях своим побратимам. Все это ограничит свободу его действий. И к тому же не исключено, что масонская ложа, принимая его, начнет ворошить настоящее и прошлое. А этого никак не следовало допускать. Так что разумнее, пожалуй, выходило шантажировать какого-нибудь масона и через него выуживать сведения. Нотариус, оформивший такую уйму поддельных завещаний и, благодарение небесам, столь внушительных, не мог же не иметь в клиентах кого-нибудь из масонского начальства.

К тому же не было нужды употреблять прямолинейный шантаж. С тех пор как Симонини понял, что трансформация из филера в лазутчика

приносит кое-какие результаты, но по его амбициям недостаточные, и что разведывать значит жить почти нелегально, а он с годами все сильнее стремится к богатой и уважаемой социальной жизни, он открыл для себя лучшую формулу, по призванию: не будучи шпионом, создавать о себе такую легенду, будто он шпион. Даже двойной или тройной шпион. Чтобы было непонятно, для кого на самом деле он собирает информацию и насколько вообще информирован.

Слыть шпионом было очень престижно. Многие выпытывали у него секреты, полагая их неоценимыми. Они готовы были щедро тратиться, чтобы хоть что-то конфиденциальное выведать. Но поскольку никому не хотелось обнаруживать себя, такие охотники лицемерно обращались к нему как к нотариусу, беспрекословно оплачивая астрономические, выставлявшиеся за ничто счета. Забавно: платили и не получали информации. Попросту думали, будто подкупили его, и смирно ждали каких-то будущих сокровенностей.

Повествователь думает, что Симонини опередил свой век. С распространением свободной печати и новых оповестительных способов, от телеграфа до радио, секретные сведения становятся все большею редкостью, и это вообще

приводит к упадку профессии тайного агента. Так лучше никаких секретных сведений не знать, а только делать вид, будто знаешь. Это как житье на ренту или на доход от запатентованной идеи. Посиживаешь и в ус не дуешь, а все наперебой похваляются, что получили от тебя сногсшибательные разоблачения. Слава твоя прочнеет. Деньги сами собой подкатывают.

На кого же нацелиться? Кого и шантажом-то не надо пугать? Кто сам забоится разоблачений? Первое, самое очевидное имя — Лео Таксиль. Симонини по его заказу снабжал его в свое время поддельными письмами (от кого? кому? Нет возможности припомнить…), и Таксиль важно рассказывал о своей принадлежности к ложе «Храм ревнителей французской честности». Но годится ли кандидатура Таксиля? Симонини почел благом осторожничать и первым делом пошел разузнавать о Таксиле у Эбютерна. Его новый попечитель, не то что Лагранж, не менял места свиданий, а ходил на одно и то же место: в Нотр-Дам, в глубину серединного нефа.

Симонини задал вопрос, что известно тайным службам о Таксиле. Эбютерн рассмеялся: — Мы от вас получаем известия. А не наоборот. Ладно, я на этот раз отвечу. Имя мне не новое. Но Таксиль

не по профилю тайной службы. Этим типом занимаются жандармы. Подождите, вам сообщат.

Сведения поступили приблизительно через неделю. Интересно. Мари-Жозеф-Габриэль-Антуан Жоган-Пажес, он же Лео Таксиль, родился в Марселе в 1854 году, учился в иезуитской школе и вполне естественно ощутил желание, расставшись с иезуитами лет в восемнадцать, пойти работать в антиклерикальную прессу. В Марселе он водился с непотребными бабенками, среди прочих — с проституткой, получившей двенадцать лет исправительных работ за убийство квартирной хозяйки, и еще с одной, арестованной за попытку покушения на жизнь любовника. Можно предположить, что полиция приписывала Таксилю разные неблаговидные и случайные знакомства, хотя и непонятно почему, учитывая, что Таксиль служил у них, у полиции, осведомителем и докладывал в участок обо всех республиканских обществах, в которые имел доступ. Но вероятно, даже полиция гнушалась некоторых его делишек: скажем, за ним значилось распространение так называемых «гаремных карамелек», то есть афродизийных таблеток. Живя еще в Марселе, в 1873 году он разослал по газетам письма от имени рыбаков, которые якобы упреждали народ, что

марсельские бухты переполнены акулами. Это наделало шуму. Еще он публиковал антирелигиозные статьи, был приговорен к тюремному заключению и бежал в Женеву. Там он распустил слух, будто на дне Леманского озера водолазы нашли древнеримский город. Повалили туристы. За злостное распространение заведомо ложных сведений он был вытурен и из Швейцарии. Выехал в Монпелье, а оттуда в Париж, где открыл «Антиклерикальную книжную лавку» на улице Школ. Был принят в масонскую ложу и тут же вычищен за недостойное поведение. Похоже, противоцерковная позиция уже не приносила ему таких доходов, как в прежнее время. Похоже, Таксиль оказался кругом в долгах. Да, да, Симонини все яснее припоминал, что там было с Таксилем. Этот Таксиль сочинил целую подборку книг не только антицерковного, но и вообще антирелигиозного характера. «Жизнь Иисуса» представляла собой пасквиль в скабрезных карикатурах. Одна Мария с голубком дорогого стоила. Таксиль написал, кроме «Иисуса», роман в зловещих красках, «Сын иезуита», который ярко свидетельствовал, что за фрукт его сочинитель: достаточно сказать, что на авантитульном листе красовалось посвящение Джузеппе Гарибальди, «которого люблю как от-

ца» (ну, любишь, и ради бога), но уже на титуле заявлялось, что в книгу включено и предисловие Гарибальди, само же предисловие было озаглавлено «Антиклерикальные мысли» и являло собой инвективу против церкви и церковников («Когда предо мною поп, хуже того — иезуит, квинтэссенция поповства, паскудность его существа доводит меня до дрожи и до рвотных позывов»). В предисловии не было ни одного слова о Таксиле. Ясно, что Таксиль вытащил его неведомо откуда и включил в свой том в таком виде, будто оно писано специально для его книги.

С подобной личностью Симонини не хотел компрометировать себя. Он решил представиться нотариусом Фурнье. Нашел замечательный парик сложного цвета, наподобие каштанового, аккуратно уложенный на пробор. Бачки того же оттенка. Лицо теперь непривычно заострилось. Толстый слой пудры привнес загадочную бледность. Симонини примерил перед зеркалом дураковатую ухмылку, обнажающую золотые резцы. Собственные он загородил тонкой пластинкой, настоящим шедевром талантливого дантиста, от которой он еще и шепелявил, соответственно маскируя и лицо и речь.

На улицу Школ, в книжную лавку, была посла-

на синяя цидулка по пневматической почте с приглашением на следующий день в «Кафе Риш». Превосходная аттестация для знакомства. В кафе хаживали именитые люди. На угощение рыбой соль или бекасами а-ля Риш бахвал-парвеню не мог не отозваться всем нутром своим.



...«Жизнь Иисуса» представляла собой пасквиль в скабрезных карикатурах. Одна Мария с голубком дорогого стоила...

Лео Таксиль лицо имел пухлое, кожу сальную, мощные усы и широкий лоб с залысинами, которые утирал. Одет он был кричаще и изъяснялся раскатистым баритоном с неистребимым мар-

сельским акцентом.

Он не мог понять, для чего нотариусу Фурнье понадобилось его видеть. Но постепенно поверил, польщенный, что нотариус просто любопытен до человеческой натуры, что он «философ», как любили называть таких чудаков романисты, и, охочий до антицерковных дискуссий, интересуется Таксилевым опытом. Поэтому Таксиль с полным ртом нахваливал свои боевые подвиги. — Когда я навел страху на марсельцев нашествием акул, все купальные заведения от Каталан до пляжей Прадо пропустовали не одну и не две недели. Городской голова произнес речь, что акулы явно приплыли с Корсики вслед за кораблем, с которого выбросили в море тухлую копченину. Из управы потребовали прихода армейских подразделений для высылки их в море на буксирах. И что же? Точно, прибыла целая сотня хорошо вооруженных солдат, снабженных достаточным количеством боеприпасов, под командой генерала Эспивана! А что было на Женевском озере! Корреспонденты со всех концов Европы! Затопленный город, утверждали они, восходил к эпохе Цезаревой «Галльской войны», когда озеро было так узко, что Рона пересекала его поперек, даже не смешиваясь с водными стру-

ями в нем самом. Местные лодочники возили на середину озера туристов, поливали маслом гладь вод, чтобы лучше удавалось дно увидеть. И видный польский археолог опубликовал у себя в Польше репортаж о том, что сумел разглядеть в озере всю сетку улиц и даже статую на коне. Вообще в людях изумительно, что они готовы верить всему. Хотя чему тут удивляться? Иначе бы христианская церковь не продержалась две тысячи лет. Симонини поинтересовался ложей «Храм ревнителей французской честности».

— Трудно ли вступить в ложу?

— Да нет, если средств хватает и есть готовность платить членские взносы, а это немалые деньги. И если есть согласие чтить и соблюдать все правила взаимовыручки. Что до нравственных требований… О них очень много говорят. Но еще в прошлом году оратор Главной Ритуальной Коллегии держал бордель на Шоссе д'Антен. Один из самых влиятельных в Париже «Тридцати трех» — разведчик. И даже глава разведывательного управления. Его зовут Эбютерн.

— Но как поступают в масоны?

— Проходят все испытания! О, кто бы знал! Не знаю, верят ли они в этого своего Верховного Архитектора Вселенной, о котором любят

распространяться. Но ритуальные правила соблюдают. Кто бы знал, чего я натерпелся, проходя эту церемонию приема в ученики! И тут Таксиль пошел рассказывать такое, что волосы вставали дыбом. Симонини не был уверен, что Таксиль, маниакальный лжец, не врет. Он и спросил, как же сейчас тот раскрывает тайны, которые адепт обязан, по идее, ревниво хранить. И как решается высмеивать ритуал. Таксиль отмахнулся:

— Да что вы, у меня уже теперь обязательств нет. Эти болваны ведь меня выгнали из ложи. Выходило из рассказа, что Таксиль как-то поучаствовал в создании новой газеты в Монпелье, под названием «Ле Миди Репюбликэн», где на первой странице первого номера красовались одобрительные и поддерживающие письма разных знаменитостей, таких как Виктор Гюго и Луи Бланк. И вдруг внезапно те же самые знаменитости послали письма по другим газетам, масонского направления, отрицая самый факт отправки чего бы то ни было в «Ле Миди…» и негодуя на беззаконное использование их фамилий. В ложе начались разбирательства. Защита Таксиля строилась, в качестве основного аргумента, на предъявлении оригиналов писем, а дополнительно — на объяснении поведения Виктора

Гюго старческим маразмом. Дополнительным аргументом полностью опровергался основной и наносилось непозволительное оскорбление славе и отечеству и самому франкмасонству.

Ну, Симонини и припомнил те самые два письма, которые лично сфабриковал в должное время. Да, именно, подписи были — Гюго и Бланк. Похоже, у Таксиля это выветрилось из памяти. Он так насобачился всех вокруг дурить, не исключая и себя, что говорил о тех двух письмах с горящими глазами, с самозабвением. Они были подлинными, и точка. Хотя, даже и вспомни он о нотариусе Симонини, как бы он увязал того с нотариусом Фурнье?

В общем, Таксиль питал ненависть к бывшим побратимам. Симонини моментально смекнул, что, пощекотав авторское самолюбие, можно было бы наискать препикантнейших штучек для Осман-бея. Но тотчас же в его плодовитом мозгу проклюнулась новая идея, в первый миг бывшая лишь впечатлением, лишь росточком интуитивного плана. Но потом она моментально преобразилась в разработанную тактику.

За первой встречей, в которой Лео Таксиль проявил себя порядочным обжорой, последовали новые. Лженотариус сводил его к «Папаше Алю»,

в популярный трактир у Клиши, где кормили знатным цыплячьим соте и еще более известной требухой по-каннски, а их погреб! о, их винный погреб! — и под причмокивания и облизывание пальцев задал вопрос, не согласится ли Таксиль за приличную награду набросать для какого-нибудь издателя воспоминания бывшего масона. Услышав о награде, Лео Таксиль выказал себя более чем расположенным к этому занятию. Симонини условился с ним о новой совместной трапезе и поспешил к иезуиту Бергамаски.

— Вот послушайте-ка, отец, — сказал он иезуиту. — Мы имеем в лице Таксиля отъявленного антиклерикала, чьи писания уже не приносят ему прежнего дохода. И имеем в нем же знатока масонского мира, на который он до крайности обозлен. Ну не славно ли было бы, если бы наш Таксиль оборотился в католицизм, отрекся от собственных антицерковных книжек и предался бы развенчанию разных тайн масонства? Ну а вам-то, иезуитам, при этом достался бы кипучий пропагандист и пламенный агитатор.

— Но люди же не обращаются в новую религию по нашей просьбе.

— Я думаю, этот обратится. Я думаю, это вопрос денег. Сыграем на самых чувствительных

струнах — на страсти к мистификациям, на внезапной перековке. Пообещаем ему статейку на первой странице национальной газеты… Как звали того грека, который, желая прославиться, спалил великий храм богини Дианы в Эфесе?

— Его звали Герострат. Ну, ну, да… — задумчиво покивал Бергамаски. — Конечно, путь Господа неисповедим.

— Сколько мы ему намерены уплатить?

— За перемену веры? Оставаясь при убеждении, что искренние обращения должны быть бесплатными… *ad majorem Dei gloriam*, к вящей славе господней, не будем щепетильничать. Никак не больше пятидесяти тысяч. Он станет ныть, что это мало, но ты ему разъясни, что плюс к тому и спасение души. И что, выпуская антимасонские книжки, он может рассчитывать на наши сети распространения. Следовательно, могут выйти в итоге, кто знает, даже и сотни тысяч экземпляров.

Симонини не был уверен, что Таксиль пойдет на соглашение, и поэтому в превентивном порядке наведался к Эбютерну и оповестил того, что существует иезуитский заговор с целью подбить Таксиля сделаться борцом с масонами. — Будь то правдой, — отвечал ему Эбютерн, — получится,

что впервые в жизни мой интерес совпадает с иезуитским. Видите ли, Симонини… учтите, с вами говорит не последний рядовой, а наивысший сановник ложи Великого Востока, единственного истинного масонства, светского и республиканского, и вдобавок хотя и антиклерикального, но не антирелигиозного, поскольку наша ложа признает Верховного Архитектора Вселенной, которого можно отождествлять и с христианским богом и с внеличной космической силой. Попадание в наш строй такого лоботряса, как этот Таксиль, нас до сих пор изрядно бесит. Хотя мы его и вычистили. И было бы небесполезно, если бы этот отступник взялся распространять обличения до такой степени жуткие, что никто бы ни словечку в них не поверил. Ватикан готовится напасть на нас. Есть причины ожидать, что папа поведет себя не по-джентльменски. А масонство ослаблено: в нем сотни разных уклонов. Рагон вот уж сколько лет назад насчитал семьдесят пять подвидов масонства, пятьдесят два ритуала, тридцать четыре ордена, из которых двадцать шесть андрогинных, и тысячу четыреста ритуальных степеней. Есть тамплиерское масонство, есть шотландское, Хередом, Сведенборг, ритуал Мемфиса и Мизраима, основанный вертопра-

хом и авантюристом Калиостро, и Вейсгаупт с его высшими неведомцами. Есть сатанисты, люциферианцы, палладисты, поди разбери. У меня у самого от них голова кругом. Сатанинские обряды — главное, что портит нашу репутацию. И подумать, их не чураются самые уважаемые члены. Скорее всего, по эстетским соображениям. Сами не знают, какое наносят всем зло. Вот Прудон пробыл масоном, кажется, чуть-чуть, а глядите, что за моление Люциферу написал Прудон: «Прииди, Сатана, прииди, ты, оболганный знатью и духовенством, дай обнять тебя, дай прильнуть к тебе». Что поделаешь. И итальянцы туда же. Раписарди сочинил поэму «Люцифер». Вообще это сюжет не о Люцифере, а о Прометее, и сам Раписарди не был даже и масоном. Но такой отъявленный масон, как Гарибальди, расхвалил этого Раписарди до небес, и поэма Раписарди теперь стала как Евангелие, а масоны наши все как на подбор стали сатанистами. Пий Девятый подозревал злыдни дьявола в каждом шаге масонов. И как нарочно для папы Пия, итальянский поэт Кардуччи… Кардуччи был отчасти республиканец, отчасти монархист, отпетый фанфарон и, к сожалению, отъявленный масон. Он сочинил гимн Сатане, приписывая ему, среди прочего,

изобретение паровоза. Для начала воспел Сатану, потом стал говорить, что Сатана у него — лишь метафора. Но по его-то милости культ Сатаны опять стал всем казаться масонским основным развлечением. Коротко говоря, для всего нашего сотоварищества было никак бы не вредно, если бы бумагомарака, уже давно дискредитированный перед всеми на свете, с позором выкинутый из масонства, ренегатствовавший многократно и публично, избрал бы нас мишенью глумлений и закидал очернительскими книжонками. Сразу притупилось бы оружие Ватикана, то есть Ватикан попал бы в подпевалы порнографа. Обвините человека в убийстве — вам поверят. Но скажите, что он кушает детей на обед и на ужин, как Жиль де Рэ, и никто вас не воспримет всерьез. Превратите антимасонскую пропаганду в бульварные фельетоны — она изживет себя. Так что да, да, да, пусть нас забрасывают грязью, это необходимо!

Из чего очевидно, что Эбютерн обладал экстраординарным умом, сильно превосходя по пройдошливости своего предшественника Лагранжа. Он не мог сразу сказать, какую сумму ложа Великого Востока инвестирует в эту затею. Но через день или два опять возник: — Сто тысяч франков. Только пусть это будет первосортный

мусор, без дураков.

Симонини располагал суммой в сто пятьдесят тысяч франков для приобретения мусора. Таксиля он мог удовольствовать, при посулах сказочных тиражей, и семьюдесятью пятью. Этому голодранцу и семьдесят пять покажутся манной небесной. Вторая половина отойдет самому Симонини. Комиссионные пятьдесят, не самый плохой процент, честное слово.

От имени кого он будет заказывать книжки Таксилю? От имени Ватикана? Нотариус Фурнье не слишком похож на папского нунция. Нет, нотариус Фурнье не более чем передаточная инстанция. Он только передаст Таксилю приглашение на встречу с кем-то наподобие падре Бергамаски. Священники для того и нужны, чтобы обратившийся вываливал на них исповедь о своей непривлекательной биографии. Но, кстати о непривлекательной биографии, может ли Симонини доверять отцу Бергамаски? Нет, не будем Таксиля отдавать иезуитам. История помнит атеистов, продававших не более ста экземпляров своих брошюр, и они же, пав с раскаянием ниц у алтарей и рассказывая о духовном опыте возвращения в лоно церкви, повышали тиражи до двух

тысяч экземпляров и даже до трех. Антиклерикалы — это только республиканцы в городах. А санфедисты, те, кто грезит о прошедших великих временах, о короле и кюре, — это вся провинция. Даже не включая в подсчет людей полностью неграмотных (да и тем, если надо, прочтет вслух священник), этим потенциальным новым покупателям имя легион. В точности как дьяволам. Бергамаски в этом деле не нужен. Симонини справится сам. Он предложит Таксилю частное сотрудничество для производства новых разоблачительных книг. Подпишет с ним отдельное соглашение, по которому компаньон Таксиля будет иметь право на десять или двадцать процентов общей выручки.

На 1884 год пришелся последний удар Таксиля по чувствам католиков — он опубликовал «Любовные похождения папы Пия Девятого», осквернив память покойного понтифика. В тот же год действующий папа, Лев Тринадцатый, выпустил энциклику *Humanum Genus,* содержавшую «отповедь философскому и моральному релятивизму мирового масонства». Далее, в энциклике *Quod Apostolici Muneris* папа, «пригвоздив» социалистов и коммунистов за их убийственные ошибки, прямо переходил к разносу масонских

обществ в общем плане, громил их за их доктрины, а также отдельным порядком разоблачал приемы, посредством которых они опутывают адептов и закабаляют их, толкая на преступления, поскольку «их постоянное притворство, стремление оставаться скрытыми и в то же время закрепощать людей, делать безвольными рабами, подчиняя собственным планам, о коих жертвы имеют слабое представление, и пользоваться ими в качестве слепых орудий своих злоумышлений, самых предосудительных, выставляя преступником того, чьей десницей осуществилось зло, а безнаказанными — истинно виноватых, вот изуверства, отрешающие от них самое естество». Что уж говорить о натурализме и о релятивизме их учений, утверждающих, что ум человека — высший суд всех на свете вещей. По подобным посылкам и могли быть следующие результаты: экспроприируют светскую власть Ватикана, вынашивают планы уничтожения церкви. Таинство брака отменят, заменив простым гражданским договором. У священства отнимут прерогативу обучать молодое поколение и вверят ее светским школам. Молодежи внушат, что «люди имеют равные права и совершенно одинаковые кондиции; что каждый человек от природы независим;

что никто не имеет права помыкать другими людьми; что подчинение людей чужой воле, кроме воли, исходящей от них самих, — тирания». Молодежь научится от масонов, что «начало всех прав и всех гражданских обязанностей — народ, то есть государство». И что государство должно быть полностью внецерковным.

Естественно, что, «отменив страх Божий и почитание Закона Божия, поправ могущество правителей, допустив и узаконив распутство в виде революций, разнуздывая страсти толпы, не встречая ни с одной стороны преткновений по упразднении всех наказаний, остается ждать революцию и всемирный бунт… Их объявленные цели — открытое действие многочисленных ассоциаций коммунистов и социалистов, какового направления не чуждается и секта масонов».

Пора, пора было запускать новообращенного Таксиля. В этом месте записка Симонини принимает запутанный характер. Похоже, он сбился с рассказа и не сумел припомнить, кто и когда «переобратил» Таксиля. Память подшутила над Симонини. Он может только утверждать, что Таксиль через несколько лет стал вождем католического антимасонства. Оповещая направо и налево о своем возврате к матери-церкви, мар-

селец опубликовал сначала *Les frères troispoints* («Трехточковые братья»: это о трех точках тридцать третьей ступени масонства), а потом *Les Mystères de la FrancMaçonnerie* («Тайны франкмасонства» с драматическими иллюстрациями, изображающими сатанические заклинания и кошмарные ритуалы), и на закуску — *Les soeurs maçonnes,* книгу о «масонских сестрах», то есть о женских ложах, которые до того времени были неизвестны. На следующий год вышли Таксилевы книжки «Разоблаченное франкмасонство» и «Масонская Франция».



...марселец опубликовал сначала Les frères des trois-points *(«Трехточковые братья»: это о трех точках тридцать третьей ступени масонства), а потом* Les Mystères de la Franc-Maçonnerie *(«Тайны франкмасонства» с драматическими иллюстрациями, изображающими сатанические заклинания и кошмарные ритуалы)...*

С самого начала, с первых же описаний инициаций, читателей трясло от ужаса. Таксиль в свое время был приглашен на восемь вечера в масонскую ложу. Впустил его брат привратник.

В восемь с половиной Таксиля заперли в Кабинете Размышлений. Это была конурка с черными стенами, с настоящими черепами и скрещенными берцовыми костьми и с надписями «Если любопытство тебя привело сюда — уходи!» и в подобном духе. Внезапно газовая горелка затухла, стена резко ушла вниз, очам непосвященного открылся склеп, в нем тускло тлели траурные светильники. Свежеотрубленная человеческая голова лежала на колоде, на кровавом покрове, Таксиль попятился, загробный голос из расщелины в стене грянул: «Дрогни, непосвященный! Это голова предателя, он разгласил наши заповедные тайны!» Естественно, присовокупляет Таксиль, элементарный школьный фокус, голову высунул кто-то из собратьев, прятавшийся в полой колоде. Плошки были заправлены пропитанной борным спиртом паклей и крупною солью — «адская смесь» бродячих фокусников, дающая при горении зеленоватый свет, сообщающий лицу лжеказненного трупный вид. В других инициациях, пишет Таксиль, применялся эффект запотевших зеркал, на которые посылались из волшебного фонаря мрачные фантасмагории: люди в масках окружали опутанного цепями пленника и пыряли стилетами. Это в пример того,

сколь неподобающими средствами пользовалась ложа, чтобы околпачивать впечатлительных новобранцев.

По завершении этой части некий Ужасающий Брат подготавливал посвящаемого. Он снимал с него шляпу и сюртук и правую туфлю, заворачивал ему до колена правую штанину, оголял ему руку и грудь со стороны сердца и завязывал глаза. А затем его крутили вокруг его оси несколько оборотов, проводили по лестницам то вверх, то вниз, наконец доставляли в Ожидательный Зал. Открывалась дверь, в то же время Сведущий Брат на каком-то инструменте, состоящем из визгливых пружин, воспроизводил кандальный скрежет и лязг. Новообращаемого заводили в следующую залу. Там Брат Сведущий колол его в голую грудь шпагой, а Досточтимый Брат вопрошал: «Что, непосвященный, против вашей груди? Что вокруг глаз?» Ищущему полагалось отвечать: «Пелена тяжелая покрыла мне очеса, острый меч у груди моей». Досточтимый на это: «Господин, сей меч разит всегда, он разит вероломцев, это символ угрызений, угрызения разорвут ваше сердце, ежели, на беду, вы окажетесь предателем общества, в которое желаете поступить. Пелена, закрывающая очеса, это символ слепоты, в кото-

рой жил человек, господствуемый страстями и погруженный в суеверие и невежество».

Потом еще один человек завладевал новичком. Его опять вращали за плечи. Когда голова у него окончательно шла ходуном — толкали на высокую ширму, обтянутую несколькими слоями толстой бумаги, наподобие той, которой в цирках обворачивают обручи, куда скакать лошадям. Звучал приказ отправить его в пещеру. Беднягу изо всех сил зашвыривали в центр ширмы. Бумага прорывалась. Испытуемый вылетал на матрас, приготовленный с противоположной стороны.

Добавить к этому бесконечную лестницу, на деле бывшую беличьим колесом, и всякий, кто вслепую подымался, за каждой ступенью находил еще ступень. В притворных мытарствах было место и кровопуску, и клеймению. Кровопуск: Брат Хирург брал руку ищущего, тыкал достаточно сильно в эту руку зубочисткой, другой брат в это время наливал немного теплой воды на предплечье, чтобы создать впечатление — изливается кровь. А каленое железо имитировалось так. Кто-то из масонов потирал шерстяной тряпкой поверхность тела претендента и прикладывал туда кусочек льда, или теплую поверхность только что задутой свечки, или донышко стакана, в

котором только что сожгли бумажку. Наконец, Досточтимый читал лекцию о потайных знаках и особых секретных словах, которыми обмениваются посвященные.

В общем, эти книги Таксиля Симонини вспоминал как читатель, а не как соавтор. Тем не менее он мог точно сказать, что любую книгу Таксиля до ее опубликования (а значит, он читал ее заранее) он ходил пересказывать Осман-бею, выдавая за добытые агентурные данные. Правда, надо заметить, что Осман-бей скоро стал ему указывать на то, что все им давеча нашептанное публикуется, как по заказу, в новой книге Таксиля. На это Симонини догадался отвечать ему, что да, Таксиль — его осведомитель. И не виноват же Симонини, что, выдав масонские секреты, Таксиль пытается дополнительно на них зашибить деньгу и публикует донесения в форме книг. Надо бы его оплачивать, Таксиля, дополнительно — чтобы не печатал свои личные мемории. При этих словах Симонини сверлил глазами Осман-бея. Но тот отвечал, что выбрасывать на ветер деньги, пытаясь ими заткнуть рот хвастуну и балаболу, не в его правилах. Отчего бы Таксилю молчать о тех новостях, которые он как раз только что продал? И, увы, недоверчивый Осман в обмен на

сообщаемые данные ни разу не выдал Симонини каких-либо сведений о том, что сам он, Осман, вызнавал относительно «Всемирного еврейского союза».

Что ж, коли так, то и Симонини перестал докладывать ему. Теперь же Симонини спрашивал себя, пиша все это: почему я помню, как докладывал Осман-бею новости от Таксиля, но не помню, как я получал от Таксиля новости?



...Звучал приказ отправить его в пещеру. Беднягу изо всех сил зашвыривали в центр ширмы. Бумага прорывалась. Испытуемый вылетал на матрас, приготовленный с противоположной стороны...

Почему, почему. Если б он все свое прошлое помнил, не было бы нужды заниматься восстановлением. Кель истуар!

Эти мудрые слова завершили день. Симонини

бросил все и лег спать. А проснулся, по своим понятиям, на следующее утро. Мокрый от пота, будто после кошмарной ночи с желудочным расстройством. Вернулся за конторку — и внезапно осознал, что утро уже не следующее, а послеследующее. Он проспал не одну, а две беспокойных ночи. Тем временем вездесущий аббат Далла Пиккола, не удовлетворясь количеством трупов, которые засунул в симониниевскую персональную клоаку, опять протерся в персональный дневник Симонини и засунул туда истории, о которых Симонини знать не знал, ну вот никакого понятия о них не имел.

22. Дьявол в XIX веке

14 апреля 1897 г.

Разлюбезный капитан Симонини, повторяю: именно о том, что начисто вылиняло из вашей давней памяти, мои воспоминания свежи и ярки. Как будто вчера я встречался с месье Эбютерном, а потом с падре Бергамаски. Я ходил к каждому от вашего имени забирать деньги, которые предназначались (как вы им говорили) Лео Таксилю. Затем от имени нотариуса Фурнье я посетил Таксиля. — Месье, — сказал я ему. — Не стану, размахивая священной рясою, уговаривать вас вернуться к тому Христу, над которым вам нравится хихикать. И пускай вы угодите прямиком в адский огонь, мне от этого ни холодно и ни жарко. Не хочу сулить вам вечную жизнь, а хочу подсказать вам, что серия книг, обличающих преступления масонства, имеет шанс получить широкое хождение среди просвещенной публики. Вы, не знаю, способны ли вообразить, сколь существенна для книг поддержка всех монастырей и приходов и архиепископств, и не только во Франции, а даже и во всем мире. Чтоб доказать вам, что я тут не с увещеваниями, а с деньгами,

перейду к простой арифметике. Достаточно, если вы подпишете документ, гарантирующий мне (то есть олицетворяемой мною благочестивой организации) двадцать процентов будущих доходов от литературных прав. Я познакомлю вас с людьми, которые о масонских тайнах знают даже побольше вашего.

Воображаю, капитан Симонини, что эти двадцать процентов расчислялись из пропорции десять вам и десять мне. Теперь о безотзывном авансе! Я продолжил: — Плюс семьдесят пять тысяч франков. Не спрашивайте, от кого. Моя сутана, может быть, вам подшепнет. Семьдесят пять тысяч франков вам сейчас в руки. Еще до начала работы. На чистом доверии. Однако вы должны широко распубликовать известие о вашем возврате в церковное лоно. На эти семьдесят пять, повторяю, семьдесят пять тысяч вы не выплачиваете никакой процентной ставки, потому что в лице моем и моих распорядителей перед вами такие люди, деньги для которых — дьяволов помет. Пересчитайте. Ровно семьдесят пять.

До сих пор у меня перед глазами эта сцена. Будто снята на дагеротип. Такое ощущение, что Таксилю не столько сказали «семьдесят пять тысяч», не столько пообещали будущие дохо-

ды от книг (хотя на пачки банкнот глаза его и сверкнули), сколь его возбудила перспектива переворота на сто восемьдесят градусов, чтоб ему, закоснелому антиклерикалу, сделаться пламенным католиком. Он уже предвосхищал всеобщее удивление, когда появятся известия об этом в газетах. Это поизящней, чем находка римского города в Женевском озере.

Он веселился, смеялся, громоздил планы и будто видел наяву готовые книжки с обложками, с иллюстрациями. — Прямо так и вижу, целый трактат, пороманнее иного романа, о секретах масонства. На обложке крылатый Бафомет и отрезанная голова как отсылка к сатанинским обрядам тамплиеров. Клянусь господней требухой… пардон, господин аббат… это будет главная новость дня. И вообще, не имеет значения, что я там писал, но ведь быть католиком, верующим, искренним, и не вздорить со священниками, это же преотлично! Подумайте о моей семье! А соседи! Эти соседи глядят на меня так, будто Господа Иисуса распинал я лично. Значит, с кем, по вашему плану, мне предстоит работать? — Познакомлю вас с оракулом. С существом, которое в состоянии гипноза рассказывает невероятные вещи о палладистских обрядах.

* * *

Оракулом должна была быть Диана Воган. О ней я, странным образом, помню все. Прекрасно помню, вскоре я наведался в Венсенн. Ноги сами привели меня в клинику доктора Дю Морье. Клиника размещалась в небольшом здании с садиком. Там и сям сидели пациенты достаточно спокойного вида, радуясь солнечным лучам и не обращая внимания друг на друга. Я представился Дю Морье. Напомнил, что вы обо мне предупреждали. И туманно помянул дам-благотворительниц, помогающих девушкам с расстройствами рассудка. Доктор просиял. — Сразу сообщу вам, — сказал он, — что Диана сегодня в состоянии, которое я зову нормальным. Капитан Симонини, полагаю, описал вам этот казус. Нормальное — это состояние Дианы развращенной, которая считает себя принадлежащей к тайной масонской секте. Чтоб ее не будоражить, я вас представлю тоже как собрата-масона… Хочу надеяться, священнослужителю не зазорно… Он ввел меня в просто обставленную палату: шкаф и кровать. На зачехленных креслах сидела миловидная барышня. Узел мягких, отливающих медью волос, надменный взор, рот маленький,

четко очерченный. Губы покривились с вызовом:

— Доктор Дю Морье хочет вернуть меня в материнские объятия церкви?

— Нет, Диана, — отвечал Дю Морье. — Это наш собрат, хотя он и в рясе.

— Какого послушания? — резко перебила Диана. Я сумел вывернуться.

— Мне не дозволено говорить, — и добавил шепотом: — Сами понимаете почему. Прием сработал.

— Понимаю, — зашептала Диана. — Вас прислал Великий Магистр из Чарльстона. Я счастлива, что вы ему перескажете мою версию событий. Собрание было на улице Ниверова Креста, в ложе Сродненных Неразделимо Сердец. Я явилась туда смиренно, чтобы обожать единственного доброго бога Люцифера и клясть дурного бога Адоная, для католиков он бог-отец. Я приблизилась, полна горения, поверьте мне, к алтарю Бафомета, где ожидала меня София Сафо. София Сафо допросила меня о догмах палладизма, и смиренно я ответствовала на вопросы: что есть долг Тамплиерской Мастерицы? Развенчивать Христа, проклинать Адоная, почитать Люцифера. Не этого разве желает Великий Магистр? — захлебывалась Диана,

пожимая мои руки.

— Ну да, — осторожно отвечал я.

— И возгласила заповедный призыв: «Приди, приди, великий Люцифер, ты, великий, оболганный священниками и монархами!» Я трепетала, когда все сходбище, потрясая кинжалами, вторило мне: «Некам, Адонай, Некам!» И тогда, восходящей в алтарь, мне София Сафо поднесла дискос, из тех, которые я прежде видела в магазинах литургической утвари. Я гадала, зачем в таковом месте отвратительный священный сосуд римского служения. Великая Мастерица пояснила мне это. Поскольку Иисус предал истинного Бога, на горе Преображения заключив надругательский договор с Адонаем, он извратил порядок вещей мира, преображая хлеб в свое собственное тело, и мы обязаны прободать кощунственную просфору, посредством коей отправители культа ежедневно воспроизводят предательство Иисусово. Скажите мне, хочет ли Великий Магистр, чтобы этот обряд входил в чин инициации?

— Не в моих полномочиях высказываться. Лучше продолжайте. Как вы действовали.

— Ну, я отказалась, разумеется. Прободая просфору, мы подтверждали бы, что верим: она воистину частица плоти Христовой. А паллади-

сты не приемлют веры в эту ложь. Прободание просфоры — католический обряд верующих католиков!

— Думается, что вы правы, — отвечал я. — Перескажу вашу аргументацию Великому Магистру.

— Спасибо, брат, — отвечала Диана, целуя мне руки. Потом с каким-то отсутствующим видом расстегнула верхние пуговицы блузки и, выставив белое плечо, призывно посмотрела. И вдруг как-то вся запрокинулась на кресле, и пошли конвульсии. Доктор Дю Морье закричал сиделку. Вдвоем они перенесли Диану в кровать. Доктор сказал:

— Обыкновенно, когда у нее такой припадок, она проходит несколько стадий. Покуда не утратит сознание. На первой стадии, видите, налицо контрактуры челюсти и языка. Чтобы облегчить, достаточно краткого нажатия на область яичников… Челюсть пациентки опускалась и отходила налево, рот перекашивался и растворялся так широко, что виден был дугообразно завернутый язык, с кончиком в глотке, как будто бы Диана его хотела проглотить. Потом язык расслабился и резко был выброшен изо рта. Она то втягивала, то выкидывала его, подобно змее. Это долго тянулось. Наконец рот вернулся в прежнее состояние

и больная заговорила:

— Язык… обдирает мне нёбо… Паук в ухе… После передышки у больной снова начались контрактуры языка и челюсти. Снова эти симптомы снимались нажатием на пах. Но потом дыхание ее затруднилось, она выкрикивала обрывочные фразы, взгляд не сходил с одной точки, зрачки были заведены вверх, все тело — жесткое. Руки скрючены, непрерывно двигаются по кругу, заломленные запястья сталкиваются, ноги вытянуты…

— Конско-варусная косолапость, — прокомментировал Дю Морье. — Больная на эпилептоидной стадии. Идет нормально. Теперь пронаблюдаем клоунскую стадию. Лицо страдалицы побагровело, рот открывался и захлопывался, оттуда ползла белая пена широкими пузырями. Вопли и стоны «Ух! Ух!» исходили от больной. По лицу бежали судороги, веки судорожно моргали. Будто эта больная делала акробатические упражнения. Тело изгибалось дугою, опираясь только на ступни и на затылок. Несколько мгновений нам показывали развинченную марионетку из цирка, с невесомыми всеми членами. Потом она опустилась на кровать. После этого я увидел те позы, которые Дю Морье мне описывал как

«томные». Кокетливые (она отражала воображаемое нападение), игривые, с подмигиванием и подмаргиванием. Затем вдруг мы увидели непристойную позу профессионалки любовного промысла, она шевелила похабно языком, принимала призывно-любовные позиции, взор ее был мокр, руки вытянуты вперед, губы выпячены в ожидании поцелуя. Вдруг она так закатила глаза, что видны были только белки, и потек эротичный бред.

— Властелин мой, — хрипло рычала она, — наслади тельный змей, сильный аспид… Клеопатра! Я твоя Клеопатра! Вот же грудь. О, любимый, входи же в меня, входи весь, целиком входи…

— Диана думает, что принимает священную змею, проникающую в ее тело. Другим истеричкам свойственно видеть Святое Сердце Иисуса, соединяющееся с их собственным сердцем. Видеть предмет фаллической формы, видеть овладевающего ими мужчину, видеть того, кем они были изнасилованы в детстве, — говорил мне Дю Морье, — для истеричек практически одно и то же. Вы, наверное, помните по гравюрам святую Терезу работы Бернини. Ее не отличить от нашей бедолаги. Мистическая святовидица — истеричка, попавшая к духовнику вместо того,

чтоб к психиатру.



...Будто эта больная делала акробатические упражнения. Тело изгибалось дугою, опираясь только на ступни и на затылок...

Тем временем Диана приняла положение распятой на кресте. Наступала новая стадия. Стадия мутных угроз неизвестно кому, жутких разоблачений... Все это в бурных корчах, на кровати. — Дадим ей отдохнуть, — сказал Дю Морье. — Пробудится она во втором состоянии

и начнет сокрушаться из-за ужасных вещей, которые наговорила. Все до единого слова будет помнить. Вы не забудьте предупредить ваших благотворительниц-дам о припадках, чтобы они не пугались. Нужно только держать ее покрепче и засовывать ей в рот платок, чтобы язык не откусила. А лучше всего вливать понемногу капель. Капли я дам.

И добавил: — Штука в том, что эту особу надо держать взаперти. А я не могу. Тут же не тюрьма, а клиника. Все свободно перемещаются. Необходимо, с терапевтической точки зрения, чтобы они друг с другом общались. Тогда у них у всех создается впечатление, что они ведут нормальное и спокойное существование. Здесь не ненормальные. Здесь просто люди с расшатанными нервами. Дианины припадки могут подавить других пациенток. А то, что она выкрикивает в своем «распущенном» состоянии, может подавить кого угодно. Независимо от того, соответствуют ли эти вопли чему-либо на самом деле. Все равно они могут кого угодно подавить. Надеюсь, что ваши милосердные дамы найдут способ хорошенько изолировать ее.

Впечатление от этой встречи было, что доктор очень хочет избавиться от Дианы, хочет, чтобы

ее содержали в тюремном режиме, и не хочет, чтобы она общалась с кем бы то ни было. И не только. Доктор очень стремился, чтоб никто не принимал на веру рассказываемое Дианой. Поэтому с самого начала предупреждал, что все ее утверждения — сумасшедший бред.

* * *

Я снял квартиру в Отее. Не хоромы, но пригодную для житья. Прямо у входа была типичная мещанская гостиная с диваном красного дерева в потертом утрехтском бархате. Шторы из бордовой парчи, часы с колонками на камине, по обе стороны от них — цветочные композиции под стеклянными колпаками. Зеркало, подзеркальник, натертый плиточный пол. Проходишь в комнату. Я мысленно отвел эту комнату Диане. Стены обиты муаровым серым шелком, пол покрыт широким с розами ковром. Занавески на окне и на кровати из одинаковой ткани, со сквозными фиолетовыми полосами, оживляющими колорит. Над кроватью печатная картинка с влюбленными пастушками. На стеллаже мозаиковые часы из искусственных камней. По бокам часов пухлявые амуры держали ирисовую гирлянду, она была канделябром.

Второй этаж был отведен под две спальни. В одной я поселил полуглухую старуху, любительницу выпить. Ее достоинства на этом не кончались: она была не местная и была готова на все, лишь бы только подзаработать. Не помню уж кто мне ее подрядил, эту идеальную кандидатку для надзора за Дианой, когда никого не было дома. Старуха могла при случае и угомонить Диану во время очередного припадка.

Кстати, вот сейчас, пиша это, я сообразил, что не подаю старухе признаков жизни вот уже месяц или больше. Достаточно ли я ей оставил денег на прожитие? Надо бы ехать срочно в Отей. Но я не помню адреса. Отей, доеду, ну а дальше что? Неужели ходить по домам и спрашивать, где тут проживает умалишенная палладистка с раздвоением личности?

* * *

В апреле Таксиль опубликовал заявление о своем обратном обращении в католичество, а уже в ноябре в магазины поступила его книга с животрепещущими разоблачениями масонства («Трехточковые братья»). Тогда же я привез его на квартиру, где жила Диана. Пояснил, что существуют две совсем разные Дианы и что для

нас ценна не девушка-паинька, а нераскаянная палладистка.

За несколько месяцев я хорошо изучил эту барышню и научился переводить ее из дикого состояния в тихое, вовсю используя капли доктора Дю Морье. Я также пришел к выводу, что не очень-то удобно дожидаться, покуда сами собою придут припадки, и что удобнее всего научиться вводить ее в припадок. Похоже, именно это делает доктор Шарко со своими истеричками.

Не умея употреблять магнетизм, как доктор Шарко, я пролистал в библиотеке руководства более традиционного плана, например «О причинах сна наяву» настоящего (а не вымышленного Александром Дюма) аббата Фариа. По прочтении этого и некоторых других трактатов я попробовал действовать: зажимал между колен колени девушки, стискивал большие пальцы ее рук своими руками и не отрываясь смотрел ей в глаза. Так мы сидели не менее чем по пяти минут, после чего я отпускал ее пальцы, клал руки ей на плечи, проводил ладонями от ее ключиц к локтям и до самых ногтей, и так пять или шесть раз. Еще я возлагал ладони ей на голову, двигал ладонями у нее перед лицом на расстоянии нескольких сантиметров, погружал большие пальцы ей в

солнечное сплетение, а прочими пальцами проникал под ребра, проводил ладонями по всему ее телу до колен или даже до самых кончиков пальцев ног.

Стыдливость Дианы «благостной» этого не выдерживала. Девушка вопила, как будто (господи прости) я ее насиловал, но действовал мой метод хорошо, потому что она внезапно стекленела, несколько минут пребывала в трансе, а потом становилась Дианой «распущенной». Переводить ее в «благостный» вид оказалось проще, ибо Диане похотливой, наоборот, нравились поглаживания и она старалась даже растянуть восторг, поддаваясь и повертываясь и придушенно стеная. К счастью, это быстро переходило в гипнотический сон, без того я не знал бы, как спасаться: я и сам взбудораживался от сближения и ее отталкивающую призывность сдерживать не умел.

* * *

Думаю, любой мужчина согласится, что Диана — привлекательная особа, по крайней мере насколько способен судить я, коего сан и служение отъединяют от убогих радостей пола. А Таксиль, несомненно, являл собой как мужчина образец здорового полового аппетита.

Доктор Дю Морье, передавая мне пациентку, вынес и сундучок с элегантными вещами, которые были при Диане в день помещения в клинику: знак, что ее семья не бедствовала. Так что к приходу Таксиля, явная кокетка, она старательно нарядилась. При всей своей «неотмирности» Диана в обеих ипостасях ценила дамские штучки и разбиралась в них.

Таксиль очаровался мигом. «Невредная бабенка», — шепнул он, причмокивая. Позднее, повторяя за мной гипнотические пассы, он растягивал их, даже когда пациентка полностью засыпала. Я вмешивался робко: «Наверное, достаточно», — дабы он прекращал ее щупать.

Подозреваю, что, оставь я его наедине с Дианой в ее «нормальном» состоянии, он отважился бы и на иные вольности, а та совсем не была бы против. Поэтому я следил, чтоб собеседования с девушкой всегда проходили втроем. И даже вчетвером. Для вызова воспоминаний и порывов Дианы сатанической было полезно присутствие и аббата Буллана.

* * *

Буллан… Когда его отрешил парижский архиепископ, аббат переехал в Лион и поступил

в общину «Кармель», основанную Вентрасом, духовидцем, служившим мессу в широком белом подризнике, на котором красовался крупный красный перевернутый латинский крест, и в диадеме с индийским фаллическим символом. Когда Вентрас молился, он витал в воздухе, доводя до экстаза приверженцев. Во время его литургий источалась кровь из облаток. Но перешептывались и о его гомосексуальных наклонностях, а также о назначении им «жриц любви» и об искуплении грехов посредством раскрепощения чувств. В общем, Буллан во всем этом просто купался как рыба в воде. По смерти Вентраса Буллан был провозглашен его преемником.

В Париж он наезжал что ни месяц. Такой материал, как Диана, ему и не снился — для его демонологических опытов (изгнать бы бесов по-хорошему, предлагал он, но я уж знал, как он их изгоняет…). Буллан пошел тогда на седьмой десяток, но сохранял свежую силу и взор его был, я вынужден признать, магнетичен.

Буллан выслушивал Дианины излияния, которые Таксиль набожно протоколировал, но цели Буллана казались мне далековатыми. Он что-то вещал девице на ушко, что-то подсказывал, что — мы не могли расслышать. И тем не менее он

был полезен, так как среди тайн масонства, подлежащих обнаружению, были, естественно, и прободания кинжалом святых просфор, и всякие разновидности черных месс, по каковой части Буллан был известный дока. Таксиль записывал подробности демонических священных обрядов и вставлял в свои книги, утверждая, будто его масоны только тем и занимались, что проделывали все это.



...Когда Вентрас молился, он витал в воздухе, доводя до экстаза приверженцев...

* * *

Опубликовав таким манером несколько книжек, Таксиль исчерпался по части масонских

познаний. Свежие идеи ему поступали только из уст «плохой» Дианы, когда она бывала в трансе и с вытаращенными глазами описывала обряды, в которых, возможно, участвовала, или о которых слыхала в Америке, или которые выдумывала сама. От ее историй перехватывало дух. Скажу, что, невзирая на весь мой опыт (полагаю, солидный), я частенько бывал фраппирован. Скажем, когда мы услышали, каким именно образом проходила инициацию не любимая Дианой София Вальдер, она же София Сафо. Я только не понимал, осознает ли Диана инцестуозность сюжета. В любом случае она рассказывала не порицая. Через нее и нам передавалось то возбуждение, которое царило среди восторженных наблюдателей скандальной сцены. — Ее же собственный отец, — со вкусом повествовала Диана, — ее уложил, усыпил и каленым железом провел по ее устам. Так он уверился, что тело отрешено от внешних воздействий. На шее у нее было монисто в виде кусающей свой хвост змеи. Ну вот, отец ожерелье с нее снимает, вынимает из корзинки живую змею, укладывает Софии на лоно… Змей прекрасен, он ползет как танцует. Проползает по ее телу до шеи и ложится на место мониста. А оттуда восходит к лицу, проникает дрожащим язычком

между губ и с шипением целует. Он такой обольстительно… скользкий… София пробуждается, из уст течет пена, она подымается и застывает подобно статуе, отец ей расстегивает корсаж и обнажает груди! Тогда он палочкою чертит на этих грудях вопрос, и буквы выделяются алым цветом на плоти, и змей, уснувший змей с шипением ползет и хвостом чертит буквы, на голых грудях Софии чертит ответ.

— Откуда ты знаешь об этих вещах, Диана?

— Когда я проживала в Америке, отец приобщил меня к палладизму. Впоследствии я переехала в Париж. Меня, вероятно, хотели удалить. В Париже я встретилась с Софией Сафо. Мы с нею враждовали. Когда я не пожелала делать, что она требовала, она передала меня доктору Дю Морье. Сказала, что я безумица.

* * *

Я у доктора Дю Морье, ищу следов Дианы:

— Поймите, доктор, мое сообщество не может помогать этой юной даме, не зная, откуда она происходит, кто ее родители. Доктор смотрит на меня как на стенку.

— Я не знаю. Я уже сказал вам, что не знаю. Она поступила от дальней родственницы. Род-

ственница умерла. Адрес родственницы? Можете удивляться. Я его затерял. Год назад у меня в кабинете случилось возгорание, много документов уничтожилось. Я не знаю о прошлом Дианы ничего.

— Но она ведь прибыла из Америки?

— Не исключено. Но по-французски говорит без акцента. Вы скажите вашим милосердным попечительницам, чтобы не особенно ломали себе голову. Ей нипочем не удастся победить болезнь и зажить нормальной жизнью. Пусть относятся к ней снисходительно и дадут скончать ее дни… На столь продвинутой стадии истерии долго не живут. У нее случится осложненное воспаление матки. Медицинская наука окажется бессильна. Я уверен, что доктор лжет. Может, он сам палладист, а вовсе не член ложи Великого Востока? Его задействовали, чтоб изолировать неприятельницу секты? Согласен, это мои домыслы. Но пререкаться с Дю Морье значит попросту терять время.

Я расспрашиваю Диану и в первом и во втором ее состоянии. Она ничего не помнит. На шее у нее золотая цепь с медальоном, с портретом женщины, похожей на нее. Медальон с застежкой. Я прошу показать, что внутри. Она бурно протесту-

ет, в голосе страх и звериное упорство. — Его мне мама дала, — вот ее единственный ответ.

* * *

Прошло не менее четырех лет, как Таксиль открыл свою антимасонскую кампанию. Католический мир дал такой ответ, какого мы и не ждали: в 1887 году Таксиля пригласили через посредничество кардинала Рамполлы на частную аудиенцию к папе Льву Тринадцатому! Публичная поддержка церкви обеспечила стремительный успех в книгоиздательском плане. А следовательно, и в экономическом.

К тому же времени относится полученная мной краткая, но выразительная записка: «Аббат, эта история выходит за рамки наших договоренностей. Повлияйте. Эбютерн».

Назад, однако, ходу не было. И выплаты гонораров волнующе текут прямо в руки, и католический мир побуждает, стимулирует, жмет. Таксиль, геройский воитель с сатанистами, не откажется от своего крестового похода.

Тут же получаю еще более лапидарные записочки от Бергамаски: «Кажется, все идет успешно. Как насчет евреев?»

Точно… Бергамаски ведь настаивал на том,

чтоб я добивался у Таксиля опубликования пикантных откровений не только о масонах, но и о евреях. Но ни Диана, ни Таксиль ни одним словом евреев не удостаивают. Что до Дианы, я нисколько не удивлен. Может, в Америке, в месте, откуда приехала она, не так много евреев, как у нас здесь. То есть, может, она просто не сталкивалась с ними? Однако ведь масонство проникнуто еврейством? Я спросил у Таксиля. — Почем я знаю? — отозвался тот. — Проникнуто? Мне никогда не попадались масоны-евреи. Или они не рекомендовались как таковые. Отроду раввинов не встречал, ни в одной ложе. — Они же туда не в раввинском виде ходят. Но мне рассказывал один иезуит, а он знает… Оказывается, монсеньор Мёрен, архиепископ, не простой кюре, собирается опубликовать в своей новой книге, что все масонские ритуалы имеют каббалистическую подкладку, что иудейская каббала приводит масонов к демонопоклонству… — Ну, пусть тогда монсеньор Мёрен об этом и пишет, а мне и без него есть чем заниматься. Почему Таксиль увертывался, интересно? Не еврей ли он сам? Я решил разобраться и обнаружил, что его журналистские и книгописательские бравады довольно часто кончались в зале суда. Его привлекали

и за клевету, и за оскорбление общественного приличия, присуждали к солидным взысканиям. Он был кругом в долгу у ростовщиков-евреев и продолжал быть им должен. Он должал им еще больше, когда весело растранжиривал немалые поступления от своего прибыльного антимасонского промысла. Так что евреев он старался не тревожить и не злить, не то они могли засадить его в долговую яму. Полно, в деньгах ли был вопрос-то? Таксиль — конечно, жох, но кое в чем сентиментальный. Он был слезливо нежен к своей семье. И по какой-то причине сочувствовал евреям, жертвам гонений. Он говорил, что папы покровительствовали обитателям гетто, почитая их за граждан страны, хотя и за граждан второго сорта. Постепенно Таксиль сильно занесся. Он поверил в себя как в глашатая католической мысли, легитимистской и антимасонской. Даже решил податься в политику. Не успевалось следить за всеми его махинациями. Одна из них оказалась роковой. Таксиль выдвинулся в какой-то отдел городской управы в Париже и там конкурировал, а также и сильно полемизировал с такою важнеющей журналистской шишкой, как Дрюмон, отличавшийся яростным антиеврейским и антимасонским ражем, а также пользовавшийся

немалым влиянием среди верующих. Так вот, раздраженный Дрюмон дал понять, что знает, что Таксиль — надуватель. Впрочем, «дал понять» — это слишком мягкое выражение.

В 1889 году Таксиль выпустил печатный памфлет против Дрюмона и, не зная уж, как бы его похуже зацепить (поскольку антимасонами были оба), высказался о буйной юдофобии Дрюмона как о некоем помрачении рассудка. Попутно Таксиль вякнул нечто малоодобрительное о российских погромах. Дрюмон же был драчливым спорщиком и выстрелил в ответ целой книжицей, где зубоскалил по поводу господинчика, вообразившего себя глашатаем римского католицизма, принимающего от епископов и кардиналов восторги и объятия, в то время как всего-то пару лет назад теми же устами изрыгались в адрес папы, духовенства и монашества, не говоря уже об Иисусе и Пречистой Деве Марии, сквернословия ярые и непотребные. И мало того, он откопал кое-что и гораздо хуже.

А надо сказать, что я не раз видался с Таксилем дома у него, в том здании, где некогда на первом этаже работала «Антиклерикальная книжная лавка», и от меня не укрылось, что многократно наш покой нарушала его супруга, приходив-

шая пошептать что-то на ухо беседовавшему со мной мужу. Как я догадался впоследствии, многочисленные несгибаемые богоборцы все еще продолжали ходить по этому адресу за литературой, содержавшей выпады против клира и религии. Автором этих книжиц являлся не кто иной, как Таксиль в свою бытность антиклерикалом. А теперь Таксиль, памятуя, что на складе залежались нераспроданные печатные экземпляры, осторожно посылал за ними жену (никогда не показывался сам) и втихомолку приторговывал. Не бросать же даром хороший товар. Я, впрочем, с самого начала не верил в искренность Таксилева обращения. Единственное, что по этому поводу можно было философски изречь: деньги не пахнут. Однако и Дрюмон тоже пронюхал про его хитрости. Поэтому он инкриминировал марсельцу не одни только тайные симпатии к евреям, но и тайно сохраняемый антиклерикализм. А этого с походом доставало, чтобы пробудить ужасные сомнения у богобоязненных Таксилевых читателей. Пора было контратаковать. — Таксиль, — сказал я. — Не желаю знать, почему вы не согласны лично выступить против евреев. Но нельзя ли запустить в эту работу кого-нибудь годящего? — Только чтоб я не попадал в поле зре-

ния, — ответил Таксиль. И добавил: — Да, моих разоблачений начинает не хватать. Так же как и пустословия милой Дианы. Мы уже вырастили публику, которая требует брать покруче. Эта публика покупает мои книги не столько чтоб узнать пакости врагов Святого Креста, сколько потому, что увлечена сюжетом. Это как с приключенческими романами, дело кончается тем, что читатель волейневолей переживает за негодяя.

* * *

Так появился на свет доктор Батай. Таксиль связался, вернее, возобновил знакомство со старым приятелем, флотским врачом, попутешествовавшим по экзотическим странам, совавшимся в самые экзотические религиозные конгрегации, а главное — начитанным любителем приключенческих романов, таких как Буссенар и фантастические репортажи Жачколио («Спиритизм в мире», «Путешествия по таинственным странам»). Я сразу поддержал идею искать сюжеты в мире художественного вымысла. Ваши дневники тоже свидетельствуют, что основное вдохновение вы почерпнули из Дюма и Эжена Сю. Люди заглатывают истории странствий и истории преступлений, так же скоропалительно

забывают прочитанное и, встречая то же самое второй раз, уже как чистую правду, смутно припоминают, что кое-что подобное им попадалось, так что безоговорочно верят услышанному.

Человека, разысканного Таксилем, звали доктор Шарль Хакс. Университетский диплом его был по кесаревым сечениям, научные работы — по морской торговле, а повествовательный дар пока еще не нашел выхода. Он пребывал в острейшей алкогольной зависимости и без денег. Насколько я из его речей понял, он думал опубликовать капитальный труд против всех религий, а особенно против христианства как ярко выраженной «истерии креста». Однако, услышав предложение Таксиля, вмиг дал согласие на тысячу страниц, клеймящих обожателей дьявола, во славу и заступу истинной церкви.

Помню, в 1892 году мы приступили к делу. Планировалось 240 брошюр, публикуемых в течение тридцати месяцев. Гигантская программа под названием «Дьявол в xix веке» с большим хихикающим Люцифером на обложке. Распяленные крылья нетопыря, хвост дракона и громовый подзаголовок: «Здесь тайны спиритизма и люциферианского масонства, полнейшие развенчания палладизма, теургии и гоэтии и всего совре-

менного сатанизма, магнетизма оккультного, люциферианских медиумов, каббалы времен конца века, розенкрейцерской магии, скрытых форм одержимости, провозвестников Антихриста». Автором значился таинственный доктор Батай.

По нашей идее, во всех выпусках серии должно было воспроизводиться только то, что уже было опубликовано в других местах. Таксиль и Хакс натащили груду чужого материала и спровори-ли сборную солянку из хтоничческих культов, дьявольских явлений, жутких ритуалов, новоявленных тамплиерских служений в честь конечно же Бафомета, и так далее, и так далее. Иллюстрации тоже были сплошь своровано из других руководств по оккультизму, которые большей частью все перекопированы друг с друга. Единственным свежим материалом были портреты великих магистров масонских орденов. Они немножко напоминали те изображения, которые американцы вешают для поимки разыскиваемых преступников.



...Гигантская программа под названием «Дьявол в XIX веке» с большим хихикающим Люцифером на обложке. Распяленные крылья нетопыря, хвост дракона...

* * *

Работа велась лихорадочно. Хакс-Батай, по принятии хороших доз полынной, вываливал

Таксилю все свои измышления, а Таксиль придавал им литературную форму. Потом иногда еще Хакс добавлял подробности медицинской науки или же искусства отравлений, сочинял описания городов и экзотических обрядов, которые он в самом деле видывал, а Таксиль привносил штришок-другой на основании последних бредней Дианы. Например, Батай повествовал о Гибралтаре, о скале, похожей на пористую губку, пронизанной ходами, пустотами, кавернами и потаенными гротами, в которых вершатся обряды самых богомерзопакостных сект. Или о масонских трюках в сектах Индии. Или о явлениях Асмодея. А Таксиль подсаживал туда же Софию Сафо. Проштудировав «Инфернальный словарь» Колена де Планси, Таксиль предлагал, что пусть София открывает тайну: легионов ада ровно шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть, в каждом легионе по шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть демонов. Хотя и упившись на тот момент абсентом, Хакс сохранял способность перемножать в уме. То есть, говорил он, чертей ровно сорок четыре миллиона, четыреста тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть душ. Мы проверяли и поражались — результат был правильный. Хакс хлопал ладонью по столу и

восклицал: «Видите, я не пьян!» И поздравлял сам себя, пока не сваливался на пол.

Упоительно было выдумывать масонскую фабрику ядов в Неаполе. Вершиной Батаевой фантазии оказался рецепт манны, названной так без всякой химической причины. Чтобы сделать манну, надо вырастить жабу в колбе, населенной гадюками и аспидами, питать ее ядовитыми грибами с добавлением наперстянки и цикуты, потом всех тварей уморить голодом и оросить стервятину хрустальной пеной и эуфорбией, уложить в аламбик, высушить на медленном огне и отделить обугленную падаль от огнестойких порошков. В результате получаем даже не один, а два сильных яда, один жидкий, второй порошкообразный. Смертоносное воздействие обоих одинаковое. — Представляю, скольких епископов эти страницы доведут до экстаза, — хрюкал Таксиль, почесывая в промежности, что делал при большом удовлетворении. Он знал, что говорил. После каждой новой брошюры «Дьявола» на нас сыпались новые отклики от новых прелатов, которые благодарили Батая за срывание масок, выведение на чистую воду, и что наконец спадает пелена с глаз общественности.

Периодически мы привлекали и Диану. Она

одна была способна измыслить «Мистический ковчежец Великого Чарльстонского Магистра». Речь шла о шкатулке, таких на свете существует только семь. Открыв, видишь там серебряный рупор, похожий на охотничий рог, только меньше. С его левого края отходит серебряный витой проводок, запуская который в ухо удается улавливать голоса людей, говорящих в другие шесть рупоров, независимо от их местонахождения. А у правого края приделана жаба из кровавого камня, извергающая огоньки, тем свидетельствующая, что контакт возник. И еще там семь золотых статуэток, отображающих и семь кардинальных добродетелей палладистской иерархии, и семь верховных лиц масонства. Великий Магистр, двигая одну из статуй, вызывал соответствующего своего наместника в Берлине или в Неаполе. Если наместник в ту минуту не находился перед Ковчежцем, ему в лицо вдруг дышал невесть откуда горячий ветер, и наместник шептал в ответ: «Смогу через час». На столе у Великого Магистра жаба человеческим голосом возглашала: «Через час».

Сперва мы гадали, не окажется ли вся эта муть просто карикатурной, учитывая, кстати, что уже несколько лет назад Меуччи запатентовал свой

телектрофон или, как сейчас научились говорить, телефон. Но изобретение Меуччи, разумеется, было рассчитано на богатых. Нашим читателям неоткуда было знать о таких вещах. А столь несусветное нововведение, как Ковчежец, было шедевром воистину дьявольского искусства.

Мы видались у Таксиля или в Отее. Могли бы и в берлоге Батая, но смешанная вонь, витавшая у него на квартире (дешевый алкоголь, нестираная одежда, прокисшие объедки), не располагала к частым посиделкам.

* * *

Мы дошли до генерала Пайка, Великого Магистра Мирового Масонства, управляющего из Чарльстона судьбами мира. Что нового можно было о нем сказать? На этом свете самое новое — то, что уже было опубликовано.

В то время вышел модный труд монсеньора Мёрена, архиепископа Пор-Луи (где этот чертов Пор-Луи? знать бы!), под заглавием «Франкмасонство. Синагога Сатаны». Доктор Батай, немного знавший по-английски, отыскал еще и трактат «Тайные общества» (Чикаго, 1873) генерала Джона Фелпса, великого борца с масонством и с ложами. Мы просто повторили то, что нашли у

Мёрена и Фелпса, и у нас замечательно оформился Великий Старец, Верховный жрец мирового палладизма, весьма вероятно — основатель ку-клукс-клана и заговорщик в деле убийства Линкольна. Мы решили, что Великий Магистр Генерального Чарльстонского совета будет носить титулы Генерального Брата, Суверенного Коменданта, Магистра-Эксперта Великой Символической ложи, Тайного Учителя, Совершенного Учителя, Приближенного Секретаря, Профоса и Судии, Избранного Магистра из Семи, Светлейшего Избранного из Пятнадцати, Возвышенного Избранного Рыцаря, Владыки Двенадцати Колен, Великого Мастера-Архитектора, Великого Избранного Шотландского Священного Свода, Совершенного и Возвышенного Каменщика, Господина Востока, Рыцаря Меча, Принца Иерусалима, Правителя Запада и Востока, Суверенного Князя Розенкрейцеров, Главного Патриарха, Досточтимого и Пожизненного Распорядителя всех Масонских лож, Прусского Ноахитского Кавалера, Великого Магистра Ключа, Господина Ливана и Властелина Скинии, Всадника Медного Змия, Суверенного Командора Храма, Рыцаря Солнца, Вождя-Адепта, Великого Шотландца Святого Андрея Шотландского, Великого и Избранного

Кавалера Качдоша, Совершенного Посвященного, Заведующего Инспектора Инквизитора и Командора, Ясновельможного Стража Королевской Темницы, а также титулы Тридцати Трех, Всемогущего и Мощного Правителя Командующего Генерала Великого Магистра Хранителя Священного Палладиума, Первосвященника Мировых Франкмасонов.

Мы привели кусок его письма с осуждением перегибов, допущенных собратьями в Италии и Испании, которые, «побуждаемые законной неприязнью к поповскому Господу», славили Господня противника, зовомого Сатаною, — а это-де изобретенное священниками существо, чье имя не должно упоминаться в ложах. Пишущий громил какую-то генуэзскую ложу, где впечатляют зрителей транспарантом «Слава Сатане!». Он яро клеймил этот сатанизм, это христианское суеверие… Клеймил, как выяснялось, по следующей причине: масонам необходимо бороться с сатанизмом, чтобы оберегать свою люциферианскую линию. Это-де священники с их верой в существование дьявола вымыслили Сатану и сатанистов, ведьм и колдунов, ведунов, черную магию. А люциферианe — приверженцы магии светоносной, и светоносной была и магия тамплиеров, их

вещих наставников. В отличие от черной магии. Черная — это наука последователей Адоная, коварного бога, обожаемого христианами, по вине коего лицемерие почитается святостью, порок добродетелью, ложь истиной, вера в абсурдное — богословием. Все действия Адоная выдают его жестокость, коварство, человеконенавистничество, варварство и антинаучность. Люцифер, не в пример тому, это добрый бог, по сравнению с Адонаем он как свет в сравнении с тенью. Мы побеседовали с Булчланом, он поведал нам о разных вариантах культа того, кто, по нашим представлениям, просто черт. — Некоторые считают Люцифера падшим ангелом, который раскаялся и может стать будущим Мессией. Для чисто женских сект Люцифер — божество тоже женское, положительное, противное мужескому злому богу. Другие полагают, что он Сатана, проклятый Богом, но при этом думают, что Христос не слишком помог человечеству, и предаются обожанию Люцифера как недруга Божия. Вот они-то настоящие сатанисты, они справляют черные мессы и прочее в этом роде. Есть обожатели Сатаны, которым попросту нравятся колдовство, порча, чары. Другие же делают себе из сатанизма самую настоящую религию. Эти основывают со-

общества — Жозефен Пеладан и, самый вредный, Станислас де Гуайта, отравитель. Ну и есть палладисты. Их круг — это круг посвященных, куда входил даже и карбонарий Мадзини. Говорят, что и захват Сицилии гарибальдийцами — дело рук палладистов, врагов Бога и монархии.

Я спросил у него, как это он обвиняет в сатанизме и чернокнижии Гуайту и Пеладана, в то время как мне из парижских сплетен известно, что именно они обвиняют в сатанизме как раз его.

— Э, — сказал он, — в мире оккультизма все так взаимоперетекает… Добро и зло… что добро для одних — зло для других. Но и в волшебных сказках тоже разница между феей и ведьмой — это вопрос возраста и внешности.

— Как совершается колдовство?

— Ну вот рассказывают, будто Великий Магистр из Чарльстона поссорился с неким Горгасом, из Балтимора, это глава диссидентской ветви шотландского обряда. Ну, Великому Магистру удалось, подкупив прачку, раздобыть носовой платок того. Он погрузил его в соляной раствор, постоянно подсыпал в раствор соль и произносил заклинание: *«Sagrapim melanchtebo rostromouk elias phitg».* Затем высушил тряпицу над костром из сучьев магнолии. Три недели подряд по суббо-

там молился Молоху, воздымая руки, воздымая вверх этот платок, будто дарение нечистой силе. В третью субботу перед закатом он сжег платок на спиртовом огне, высыпал пепел на медное блюдо и оставил на ночь. Утром замесил тот пепел с комом воска. Вылепил куколку. Эти дьявольские творения называются дагидками. И вот он положил дагидку под стеклянный колпак. Пневматическим насосом вытянул оттуда воздух и образовал пустоту. И его врагу в тот же миг приключились корчи, он не мог понять, откуда они взялись.

— И что, умер?

— Не имеет значения. Вероятно, Великий Магистр не ставил перед собой такую цель. Что для нас с вами существенно, это доказательство, что магия действует и на расстоянии. Именно этим способом работают Гуайта с его товарищами против меня. Больше Буллан откровенничать не хотел. Диана, слушавшая его, не сводила с аббата восторженных глаз.

* * *

Мне удалось нажать на Батая, и тот ввел главу о роли евреев в масонских сектах, начав издалека — с оккультистов восемнадцатого века. Он

провозгласил, что пятьсот тысяч масоновевреев пасутся в закамуфлированном виде в непосредственной близости от официальных лож, а у их собственных лож не имеется имен, у них только шифры.

Это было как раз вовремя. В те же годы в газетах появилось удачно найденное словцо — антисемитизм. Тем самым мы попадали в «официальное» направление. Спонтанная неприязнь к евреям приобретала характер учения, такого же, как христианство или идеализм.

На этих встречах, как уже сказано, присутствовала Диана. Как только мы завели разговор о еврейских масонских ложах, она громко и отчетливо несколько раз проговорила: «Мельхиседек, Мельхиседек». О чем она думала? Ее речь продолжалась: «На совете у патриарха… Отличительный знак евреев-масонов… На шее цепь из серебра с золотой пластиной. Изображает скрижали Завета… Моисеев закон…»

Идея была подходящая. И поэтому наши евреи сошлись в храме Мельхиседека и обменялись отличительными знаками, паролями, условными приветствиями и клятвами. Все это должно было быть декорировано в недвусмысленно еврейском колорите. Мы привели образцы этих

формул: «Граззин Гаизим, Яван Аббадон, Бамахек Бамеарах, Адонай Бего Галхол». Разумеется, ложа ничем иным не занималась, кроме застращивания святой католической римской церкви и лично Адоная.

Таксиль, прикрываясь Батаем, умудрялся удовлетворять своих заказчиков-церковников, не волнуя своих же кредиторовевреев. Хотя мог бы, кстати, уже и расплатиться. В первые же пять лет он заработал триста тысяч франков чистых потиражных. Из них шестьдесят тысяч досталось мне.



...так что мы тут же заменили его на другой, гораздо более женственный...

* * *

В 1894 году газеты вовсю трубили о некоем капитане Дрейфусе, продававшем военную

информацию в прусское посольство. Просто подарок: изменник был, оказывается, еврей. За дело Дрейфуса немедля ухватился Дрюмон, так я подумал, что и подшивка «Дьявола» должна была бы отозваться какими-то убойными разоблачениями. Таксиль же упирался, полагая, что в военные шпионские разбирательства лучше не ввязываться. Лишь позднее я понял: он был прав. Одно — разглагольствовать о еврейской составляющей масонства, совсем другое — втягивать туда Дрейфуса, тем утверждая, что Дрейфус, кроме того что еврей, еще и масон. Что было бы очень неосторожно, потому что масонов было полным-полно в армии. В масонах состояли, вероятно, те самые высокие чины в министерстве обороны, которые отправили Дрейфуса под суд.

* * *

Однако были, были там ценные жилы для разработки. В глазах той публики, которую мы успели сформировать, наши козыри были не меньше, чем козыри Дрюмона. Примерно через год после начала выпусков «Дьявола» Таксиль сказал: — В сущности, все, что попадает в «Дьявола», это работа доктора Батая. Разумно ли так доверять ему? Требуется раскаянная палладистка. Пускай

честно расскажет самые сокровенные секреты секты. И вдобавок, бывает ли приличный роман без женской линии? Софию Сафо мы показали как-то неаппетитно. Вряд ли ей светят симпатии публики, даже если она вернется в католичество. Нужна какая-нибудь сама по себе приятная, даром что сатанистка, но с таким-нибудь каким-то обещанием исправления на челе… такая какая-нибудь палладистка, которую по неопытности охомутали франкмасоны. И она постепенно, понемножечку будет выпутываться из их тенет и возвращаться в гостеприимные объятия религии отцов своих. — Ну, значит, Диана, — сказал на это я. — Диана просто воплощение грешницы, способной исправиться. Она даже практически по нашему заказу то исправляется, то грешит.

Так свершился в восемьдесят девятом выпуске «Дьявола» выход на сцену Дианы. Вывел ее Батай. Чтобы придать достоверность ее явлению, вслед за этим пришло письмо от Дианы Батаю: недовольна-де тем, как ее вывели, и недовольна изображением, которое по традиции «Дьявола» напечатано рядом с текстом.

Должен сказать, портретик был действительно какой-то мужеподобный, так что мы тут же заменили его на другой, гораздо более женственный,

пояснив, что рисовальщик специально встретился с Дианой в одной парижской гостинице.

Дианино письмо появилось в серийном издании «Палладиум возрожденный и освобожденный». Это был печатный орган палладистов, отколовшихся от основного ядра и отважившихся предавать гласности во всех подробностях культ Люцифера и кощунственные ритуалы, сопряженные с этим культом. Ужас перед палладизмом, продолжавшим быть все еще в моде, доходил до того, что некий каноник Мюстель в «Ревю Католик» превознес уклонистку-палладистку Диану чуть ли не как вновь обратившуюся. Диана в ответ послала Мюстелю два билета по сто франков на бедняков его прихода. Мюстель призвал всех читателей молиться за возврат Дианы на истинный путь.

Даю честное слово, что Мюстеля мы не изобретали и не оплачивали. Он сам, как нанятой, отплясывал под нашу музыку. С его журналом заодно выступал и «Религиозный еженедельник», подчинявшийся монсеньору Фаве, епископу Гренобля.

В июне девяносто пятого Диана наконец вернулась в стан добропорядочных католиков и стала публиковать воспоминания, все так же в

фельетонах, под названием «Мемуары бывшей палладистки». Кто имел подписку на «Палладиум возрожденный и освобожденный» (натурально, прекративший выходить), мог бесплатно поменять абонемент на эти «Мемуары» или же получить обратно деньги. Помнится мне, что, за исключением нескольких фанатиков, публика вполне приняла смену направления. Диана перековавшаяся рассказывала столь же фантастические байки, сколь и Диана грешившая, а публика ждала как раз баек. Что подтверждало принцип Таксиля: без разницы, рассказываешь ли о коридорных амурах Пия Девятого или о мужеложстве сатанистов-масонов. Читатель хочет запретного. Точка.

Ну а запретного Диана сулила сколько угодно. «Опишу и предам гласности все происходившее в Треугольниках, все, чему я всемерно противилась, презирала несказанно. А также опишу то, что мне представлялось ценным. Пусть нас читатель рассудит…»

Правильно, Диана. Вот и готова новая мифическая линия. Она сама об этом не знала, жила в дурмане от снадобий, которыми ее усмиряли, и меняла свое поведение по мере того, как мы ее ласкали (господи, о чем я, одни ли только мы!).

* * *

Я возвратился душой в те суматошные времена. Ангельская обращенная Диана собирала охапки восторгов и оваций от священников и епископов, домохозяек, раскаявшихся грешников. В журнале «Пилигрим» была заметка, что какую-то тяжелобольную Луизу допустили к паломничеству в Лувр благодаря заступничеству Дианы, и у нее случилось чудотворное выздоровление. «Ля Круа», крупнейшая газета католического мира, захлебывалась: «Мы только что ознакомились с первой главой “Мемуаров бывшей палладистки”, которую мадемуазель Воган любезно предоставила нашему изданию. Мы все еще во власти невыразимого чувства. Сколь предивно нисхождение благодати Господней на те души, которые посвящают себя…», и так далее. Монсеньор Лаццарески, уполномоченный от Ватикана при Центральном комитете Антимасонского Союза, устроил в честь Дианиного обращения трехдневное благодарственное богослужение в церви Святого Креста в Риме. Гимн в честь Жанны д’Арк, якобы созданный Дианой (мы взяли арию из оперетки, сочиненной одним дружком Таксиля по заказу какого-то султана или халифа

мусульманского), исполнялся на антимасонских праздниках Римского комитета. Его пели даже в церквах.

Дальше — больше. Без какого бы то ни было нашего участия вышла на сцену одна ударившаяся в мистицизм кармелитка из Лизье. Она уже почиталась едва ли не святой, невзирая на юный возраст. Эта сестра Тереза, радетельница Младенца Иисуса и Пречистого Лика, когда ей попался экземпляр воспоминаний излечившейся Дианы, до того расчувствовалась, что ввела Диану как действующее лицо в сценарий театрального действа, написанного ею для сестер в Господе. Пьеса называлась «Триумф смиренности», и у нее там действовала даже Жанна д'Арк. Тереза отправила Диане свой фотографический снимок в виде Жанны д'Арк.

Воспоминания Дианы переводились на многие языки. Кардинал-викарий Парокки прославлял ее переориентацию в таких словах, как «преславное ликование благодати». Монсеньор Винченцо Сарди, апостольский секретарь, писал, что Провидение расположило Диану в оную скверную секту особенно для того, чтобы примернее поразить ее (секту). В журнале «Чивильта́ каттолика» утверждалось, что мисс Диана Воган, «выведенная из

потемок на божий свет, ныне применяет опыт свой на благо служения церкви путем писаний, с которыми не бывало сравнимых по точности и полезности».

* * *

Буллан зачастил в Отей. Каковы его отношения с Дианой? Иногда, неожиданно нагрянув в Отей, я заставал их обнявшимися, причем у Дианы глаза в экстазе закачены к потолку. Ну, нельзя было исключить, что это как раз начало вхождения во второе состояние, то есть она как раз только что покаялась и оба умиляются на ее очищение. Но Таксиль уж точно вызывал подозрения. Их я застукал на диване, причем она была раздета и в объятиях багрового и сопящего Таксиля. Ну и прекрасно, сказал себе я, должен же кто-то удовлетворять плотские желания «дурной» Дианы, так и хорошо, что это не я. Мне и в принципе подумать гадко о плотских взаимоотношениях с женщиной. А уж с придурковатой — б-р-р! Когда я присаживаюсь подле Дианы «хорошей», она опускает невинную головку мне на плечо и со слезами просит прощения. Теплая тяжесть у щеки, веяние раскаяния из ее уст — меня пронимает дрожь. Я отстраняюсь, предлагаю Диане перейти

в исповедальню и, преклонив колени перед образами, молиться им.

* * *

Палладистские круги (как, они реальны? В анонимках говорится о них как о реальных. Говоря о чем угодно, делаешь это реальным) невесть чем грозили предательнице Диане. И еще что-то случилось, но не припомню что. Вроде бы смерть аббата Буллана. Хотя я вижу его в картинах памяти… рядом с Дианой… довольно недавно.

Слишком я перенапрягаю память.
Мне нужен отдых.

23. Двенадцать правильно истраченных лет

Из дневников за 15 и 16 апреля 1897 г.

Далее не только записи в дневнике Далла Пиккола переплетаются, хочется сказать «неистово», с записками Симонини, и оба часто повествуют об одном, но с противоположных позиций, — но и вдобавок симониниевский текст становится сбивчивым, будто пишущему трудно припоминать разные факты, людей и ситуации. Симонини восстанавливает, путаясь во временах и в порядке событий, период начиная с перековки Таксиля до девяносто шестого или же седьмого. То есть около дюжины годов. Череда недлинных замечаний, почти стенографических. Как если бы он пытался зафиксировать то, что внезапно промелькивало в памяти. Иногда встречаются и более пространные изложения бесед, рассуждений и драматических эпизодов. Повествователь ввиду отсутствия определенной манеры изложения (она отсутствует у автора) ограничился тем, что рассортировал события по небольшим главам, поправил хронологию, разделил исто-

рии и постарался придать им системность, хотя на самом деле, скорее всего, события совершались одновременно и без всякой системы. Ну, например, Симонини выходил с собеседования с Рачковским и шел на собеседование с Гавиали. Но, как говорится, не обессудьте.

Салон Адан

Симонини вспоминает, что после того, как наставил Таксиля на путь истинный (и с которой стати Далла Пиккола сам претендует теперь на эту роль наставника, никак не ясно!), он принял решение если не влиться в ряды масонства, то по крайней мере сблизиться с республиканцами, среди которых, как он думал, масоны найдутся в любом потребном числе. Обратился к тем, с кем познакомился на рю де Бон, прежде всего к Туссенелю, и получил допуск в салон Жюльетты Ламессен, ставшей уже госпожою Адан, то есть женой депутата из фракции левых республиканцев, основателя «Земельного кредита» и пожизненного сенатора. Деньги, высокая политика, культура осеняли собой этот пышный салон, находившийся сперва на бульваре Пуассоньер, а потом на бульваре Мальзерб, хозяйка которого не только сама была небезызвестной литераторшей

(даже опубликовала жизнеописание Гарибальди), но и принимала у себя государственных мужей — Гамбетту, Тьера, Клемансо, а также важных писателей: Прюдома, Флобера, Мопассана и Тургенева. Симонини соприкоснулся даже с полуживым, забронзовелым, практически неподвижным — от старости, от пурпурных риз, от последствий инсульта — Виктором Гюго.

Симонини к такому не привык. Вскоре после этого он свел знакомство с доктором, которого кличет Фройдом и с которым вместе ужинал в «Маньи» (см. запись в дневнике от 25 марта), и только ухмылялся, слушая, что тот вынужден был приобрести перед визитом к Шарко себе фрак, черный жилет и галстук. Симонини-то и сам потратился, и не только на такой же фрак и галстук, но и на прекрасную новую бороду, отменного качества, от лучшего (и самого неболтливого) производителя париков в Париже. Тем не менее, пусть какие-то следы юношеского ученья еще при нем и удерживались, пусть что-то он и помнил, а в парижские годы кое-что даже и почитывал, но не выдерживал и трех минут в живом, блестящем разговоре людей осведомленных, остроумных, порой глубоких, причастных к самым последним новостям. Поэтому он помалкивал,

слушал очень внимательно и ограничивался только намеками на какие-то подробности своей высадки с «Тысячей» в Сицилии. Всякая тема, связанная с Гарибальди, во Франции шла на ура.

Но что его изумляло — это что он было готовился слышать и запоминать разговоры и во славу Республики (это по тем временам было еще ничего), и даже во славу революции, однако, поразительное дело, Жюльетта Адан окружила себя по преимуществу какими-то русскими, исповедовавшими упоенный царизм… Она ненавидела все английское, как и ее приятель Туссенель. В своем «Новом журнале» она печатала такую личность, как Леон Доде, считавшийся явным реакционером, что разительно противоречило позиции его отца Альфонса — знаменитого демократа… но, к чести госпожи Адан будь сказано, она принимала у себя обоих.

Не совсем ясно, какого происхождения был антисемитский душок, ощущавшийся во многих беседах в этом салоне. Свойственная социалистам неприязнь к еврейскому капиталу, особенно острая у Туссенеля? Мистический антисемитизм Глинки, связанной с русским оккультным миром и очарованной культами кандомблэ, которыми она увлекалась в юности, проживая с отцом-ди-

пломатом в Бразилии? Глинка была наперсницей (шушукались о том) великой жрицы парижского спиритизма мадам Блаватской.

Неблагосклонность Жюльетты Адан к евреям была открытой. Симонини присутствовал у нее на публичных чтениях отрывков из русского писателя Достоевского, которые были почти текстуальным повторением того, что Брафман, знакомец Симонини, рассказывал о Всемирном кагале.

— Достоевский пишет: «Чтобы терять столько раз свою территорию, свою политическую независимость, законы, почти даже веру, — терять и всякий раз опять соединяться, опять возрождаться в прежней идее, хоть и в другом виде, опять создавать себе и законы и почти веру — такой живучий народ, такой необыкновенно сильный и энергический народ, такой беспримерный в мире народ не мог существовать без *status in statu,* который он сохранял всегда и везде, во время самых страшных, тысячелетних рассеяний и гонений. Некоторые признаки этого *status in statu,* по крайней мере, хоть наружно, это: отчужденность и отчудимость на степени религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире лишь одна народная личность — еврей, а

другие хоть есть, но все равно надо считать, что вроде их и не существовало. “Выйди из народов и составь свою особь и знай, что с сих пор ты един у бога, остальных истреби, или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что всё покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своем не сообщайся. И даже когда лишишься земли своей, политической личности своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами — всё равно, — верь всему тому, что тебе обещано, раз навсегда верь тому, что всё сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй и — ожидай, ожидай…” Вот суть идеи этого *status in statu*, а затем, конечно, есть внутренние, а может быть, и таинственные законы, ограждающие эту идею».

— И понаторел же в риторике этот Достоевский, — цедил Туссенель. — Поглядите, он даже выказывает будто бы понимание, и симпатию, и даже, я отважусь сказать, уважение к евреям. «Или и я враг евреев? Неужели правда, что я враг этого несчастного племени? Напротив, я пишу, “всё, что требует гуманность и справедливость, всё, что требует человечность и христианский закон, — всё это должно быть сделано для евреев”». Замечательное вступление. А после этого

вступления Достоевский разбирает во всех подробностях, как эта несчастная раса собирается уничтожить наш христианский мир. Здорово заверчено. Только не ново. Тот же прием был у Маркса, которого вы, может, не читали. В «Коммунистическом манифесте». У него захватывающее начало: «Призрак бродит по Европе». После этого предлагается обзор с птичьего полета истории социальной борьбы от Древнего Рима до наших дней. Страницы, посвященные буржуазии как революционному классу. Незабываемые страницы. Маркс показывает эту новую безудержную силу, рвущуюся по планете. Кажется, что он описывает духновение Творца в начале книги Бытия. А в конце этого славословия (клянусь, я читал его с трепетанием!) разговор внезапно перемещается на подземные силы, которые триумфом буржуазии были выпущены из заточения: капитализм порождает изнутри себя своих могильщиков, пролетариев. А пролетарии похаживают и поддакивают: «Да, да, теперь мы намерены вас уничтожить и завладеть вашим всем». Чудненько. Так же обходится Достоевский с евреями. Он долго оправдывает еврейский заговор, который необходим для их исторического выживания, а потом объявляет: этого врага следует уничто-

жить. Достоевский — настоящий социалист.

— Ну какой он социалист, — с улыбкой перебила Глинка. — Он просто видит вперед. И рассказывает правду. Глядите, как он опередил даже и самое, казалось бы, разумное возражение. То есть, что если в веках существовало государство в государстве, единственно лишь гонения привели к нему, гонения породили его, религиозные, с Средних веков и раньше, и явился этот *status in statu* единственно лишь из чувства самосохранения. И это прекратилось бы, будь еврей сравнен в правах с коренным населением. Иллюзия, предостерегает Достоевский! Если б он был и сравнен в правах, то ни за что не отказался бы от своего *status in statu.* От наглой мысли, что обязан прийти Мессия, который низложит все народы мечом своим к подножию евреев. Потому-то-де евреи, по крайней мере в огромном большинстве своем, предпочитают лишь одну профессию — торг золотом и много что обработку его, и это всё будто бы для того, что когда явится Мессия, то чтоб не иметь нового отечества, не быть прикрепленным к земле иноземцев, обладая ею, а иметь всё с собою лишь в золоте и драгоценностях, чтоб удобнее их унести, когда, — Достоевский тут выразился стихами — предвкушают евреи:

«Загорит, заблестит луч денницы: / И кимвал, и тимпан, и цевницы, / И сребро, и добро, и святыню / Понесем в старый дом, в Палестину».



...В результате они управляют биржами и распоряжаются кредитами. Натурально, социализм только антисемитским и может быть...

— Мы во Франции больно с ними церемонничаем, — отозвался Туссенель. — В результате они управляют биржами и распоряжаются кредитами. Натурально, социализм только антисемитским и может быть. Видели же вы, что евреи расхозяйничались тут у нас, именно когда из-за Ла-Манша просочились все эти капиталистические веяния…

— Упрощаете, месье Туссенель, — парировала Глинка. — В России среди тех, кто отравлен революционными идеями того Маркса, которого вы тут нахваливали, множество евреев. Они везде. И покосилась в окно гостиной, как будто «они» поджидали с кинжалами у подворотни. Будто снова впав в отроческий страх, Симонини вообразил, как Мордухай ночами грузно прокрадывается в его спаленку…

Работать на охранку Симонини распознал в Глинке возможную клиентку. Стал садиться от нее недалеко и как мог кокетничал (через силу). Отнюдь не дока по женской части, все же он видел, что у Глинки лицо кунье и близко посажены глазки, в то время как Жюльетта Адан, хотя она и не та уж, какой была тому двадцать лет, все же оставалась видной дамой, сохраняющей величавость и шарм.

Так что и Симонини не очень-то сильно ударял за Глинкой, а в основном слушал ее болтовню, притворно ахая рассказам о видениях, которые имела эта дама в Вюрцбурге, где ей явился гуру, вообще-то обитавший в Гималаях, и причастил ее неведомо каких тайн. Глинке явно можно было сбывать антиеврейские материалы, подогнанные под ее эзотерический вкус. Тем более что, по слухам, Юлиана (или Юстина) Глинка была племянницей генерала Оржеевского, заметной фигуры русской тайной полиции. Через генерала она получала заказы на работу для Охраны, то есть императорской тайной службы. Глинка поэтому являлась не то помощницей, не то сотрудницей, не то конкуренткой нового заведующего заграничной агентурой Департамента полиции, Петра Рачковского. Левое издание «Ле Радикаль» подозревало, что Глинка существует на средства, получаемые за систематическое выслеживание и выдачу русских террористов за границей. Значит, она посещала не только салон Адан, но и другие общества, для Симонини неизвестные.

Приспособить для Глинки повесть о раввинах на пражском кладбище. Вычеркнуть долгие экономические рассуждения и установить главный

упор на мессианство в разглагольствованиях этих раввинов.

Немного порывшись в Гужено и иных современных писаниях, Симонини вложил в уста раввинов фантастические резонерства о новом пришествии Деспота, избранного Всевышним, о явлении Царя Израиля, призванного разметать умыслы гоев. Об этом он специально вставил туда не менее двух страниц. Сплошная мессианская демагогия: «со всей мощью и силой Сатаны царство Сына погибели, Торжествующего Израиля грядет в наш невозрожденный мир. Царь Деспот сионской крови, Антихрист, близится к трону всемирной державы». В то же время, понимая, что царизм опасается и малого намека на республиканскую идею, Симонини присовокуплял: только-де республиканская система и всенародное голосование позволят евреям протащить, манипулируя большинством, законы в собственную пользу. Нужно быть такими идиотами, как эти гои, — гоготали раввины на кладбище, — чтобы ждать от республиканского правления больших свобод, чем от самодержавия. Все наоборот: при самовластии правят мудрецы, а при либеральном режиме правит плебс, и этим плебсом заправляют евреи и их приспешники. Как

при этом вяжется республиканское правление с Царством Деспота, похоже, автора не волновало. Наполеон Третий действительно продемонстрировал, что из республиканца может вылупиться император.

Переворошив рассказы дедушки, Симонини надумал обогатить раввинские орации длинным парафразом басни о потайном мировом правительстве. Забавно, что Глинка впоследствии не уловила, до чего близко соображения Симонини повторяют мысли Федора Достоевского. Хотя, может быть, как раз уловила, и именно поэтому пришла в восторг: старинный документ поддерживал Достоевского и этим подкреплял его подлинность.

Поэтому на пражском кладбище зазвучали выступления, из коих явствовало, что каббалисты-евреи снаряжали в походы крестоносцев, дабы за их счет возвратить Иерусалим на место пупа вселенной. Втягивая в дело среди прочего (у Симонини была возможность черпать откуда угодно полной ложкой) и вездесущих тамплиеров. Их планы потерпели фиаско, арабы опрокинули войска крестоносцев в море, с тамплиерами, как известно, тоже произошла неприятность, но не будь этого — коварным за-

мыслам евреев тогда же бы и сбыться.

По той же логике, — настаивали раввины в Праге, — гуманизм, французская революция и американская война за независимость тем паче способствовали подрыву оснований христианства и самодержавия, подготавливая завоевание евреями мира. Разумеется, преследуя эти цели, мировое еврейство прикрывается респектабельным фасадом, то есть мировым же франкмасонством.

Тут Симонини ловко вдернул в рассказ куски из текста старого Баррюэля, понимая, что уж его-то Глинка и ее российские заказчики наверняка не знают. Действительно, генералу Оржеевскому, которому Глинка принесла свой детальный рапорт, немедленно пришло в голову сделать из богатого материала два разных текста. Один, короткий, соответствовал рассказу о сходке в Праге и был растиражирован на страницах российских журналов, не памятуя (а может, и памятуя, но не придавая значения, поскольку публика все забывает, — или же, не исключаю, и вовсе спроста, то есть никто ничего знать не знал), что речь раввина, вынутая из книги Гёдше, уже была запущена в оборот десятью годами прежде в Санкт-Петербурге, после чего воспроизведена в

антологии «Антисемитский Катехизис» Теодора Фритша. Из второй же части сделали отдельный памфлет «Тайна еврейства». Оржеевский лично удостоил его предисловием. Предисловие гласило, что наконец этот документ отыскан и впервые предается печати, и прослеживались глубинные связи между масонами и евреями. Те и другие — глашатаи нигилизма. Обвинение в нигилизме для России тех времен звучало увесисто.

Естественно, Оржеевский прилично вознаградил Симонини. Глинка же наконец дошла до страшившего его в перспективе и тем более устрашившего въяве пароксизма благодарности, то есть решила попотчевать его своим телом. Симонини еле спасся, дав понять дарительнице, неудержно трясясь и испуская целомудренные вздохи, что судьба его не так уж далека от удела Октава де Маливера, о котором уже десятки лет судачат читатели и поклонники Стендаля.

Глинка остыла к Симонини, а он к Глинке. Но однажды, входя в «Кафе де ля Пэ» для легкого обеда а-ля фуршет (отбивные и почки на гриле), Симонини увидел ее за столиком в компании мясистого, достаточно вульгарного господина, с которым она пререкалась. Симонини поздоровался, Глинке ничего не оставалось, как представить

его Рачковскому. Тот смерил его взглядом с явным интересом.

Тогда Симонини не понял, к чему такие взгляды. Понял, когда через некоторое время прозвучал звонок в лавку: вот он Рачковский. С широкой улыбкой, властно и непринужденно вошел, моментально определил, где лестница на второй этаж, и, поднявшись в кабинет, покойно уселся на креслах сбоку письменного стола. — Предлагаю, — отчеканил он, — деловой разговор.

Он был светловолос, как положено русскому, с проседью — поскольку миновал возраст тридцатилетия, губы имел чувственные и полные, немалый нос, брови славянского дьявола, людоедскую, хотя и сердечную, ухмылку и медоточивый голос.

«Скорее гепард, чем лев», — написал о нем Симонини в дневнике и задумался: что было бы неприятнее, получить приглашение темной ночью на пустынную набережную от Осман-бея или безмятежным утром от Рачковского в его служебный кабинет в посольство России на рю де Гренель. Выходило, что лучше — от Осман-бея. — Ну-с, капитан Симонини, — продолжил Рачковский. — Не знаю, известно ли вам, что есть Охрана, как вы любите выговаривать тут на

Западе, или охранка, как называют ее русские эмигранты.

— Мне уже намекали…

— А мы без намеков. Мы при ярком свете солнца. Охранное отделение, то есть Отделение по охранению порядка и спокойствия, есть розыскная служба, созданная по постановлению министра внутренних дел после покушения на императора Александра Второго в целях безопасности монаршего семейства. В последнее время этой службе пришлось взять на себя противодействие террористической и нигилистской угрозе и в этих целях создать особые наблюдательные отделения, в частности, за рубежом, в местах скопления эмигрантов. Поэтому я и нахожусь сейчас во Франции на службе у своей страны. При свете солнца. Нам скрывать нечего. Те, кто скрывает, — террористы. Понятно?

— Понятно. Но чем могу я…

— До этого мы дойдем. Без опасений откройтесь мне в случае, если имеете какую бы то ни было связь с террористами и с их кружками. Мне известно, что в свое время вы принесли пользу французским спецслужбам, выявив опасных антибонапартистов. Выдавать можно только друзей, ну или знакомых. Я тоже не овечка. Я тоже

когда-то имел общение в России с террористами. Прошлогодний снег. Но именно это дало мне возможность сделать карьеру по линии борьбы с ними. Только тот способен в этой конторе работать, кто знаком не понаслышке с подрывными группировками. Чтоб защищать закон, необходимо и побывать в шкуре нарушителя. Во Франции вы знаете это по Видоку, который стал главой полиции после того, как отбыл срок на каторге. Не стоит доверять полицейским, м-мм, чистеньким. Щеголькиc. Вернемся к нашему дельцу. Общеизвестно, что среди террористов много евреев, интеллигентиков. По поручению некоторых особ, влиятельных при дворе, я уполномочен доказать, что за подрыв моральных устоев русского народа, вплоть даже до жизненной угрозы ему, несут ответственность евреи. Вы услышите обо мне, будто мне покровительствует сам Витте, у которого слава либерала, и что он не приветствует таких тем. Но мой принцип — ни в коем случае не прислуживаться перед текущим начальником. Запомните. Всегда готовиться к приходу будущего начальства. Не буду терять время. Я ознакомился с материалом, переданным Глинкой. По большей части мусор. Я вижу, что крыша у вас подобрана соответственно. Лавка

старьевщика. Мастак перепродавать старье дороже, чем новые вещи… А вот вы напечатали в «Контемпорэн» довольно острые документы, отыскавшиеся в архиве дедушки. Я пребуду очень удивлен, не отыщи вы их продолжения. Вы слывете специалистом по многим частностям… Симонини пожинал плоды своей стратегии: если не быть, то казаться разведчиком.

— Ну, мне желательно взять качественный материал. Я умею отличать злаки от плевел. Хорошо оплачу. Но если не увижу качества, рассержусь. Ясно?

— Но что именно вас интересует?

— Если бы я знал, не стал бы оплачивать вас. У меня и без вас состряпают любой документ. Но я им должен задавать содержание. И не эти вот бла-бла-бла о том, что евреи ожидают Мессию. Это не волнует помещика, мужика. Ждут евреи Мессию или не ждут, русским подданным я должен объяснить одно: что это сулит лично для них.

— Но почему вы хотите знать исключительно о евреях?

— Потому что у меня в России евреи. Будь дело в Турции, я занялся бы армянами.

— То есть ваша цель — уничтожение евреев, как и у Османбея, если вы с ним знакомы?

— Осман-бей маньяк. Он сам еврей. От таких подальше. Я не собираюсь уничтожать евреев. Могу сказать, что евреи мое оружие. Я намерен укреплять моральные устои русского народа и не желаю (или, лучше сказать, не желают те, чьи желания для меня закон), чтобы этот народ поворотил свое недовольство против царя. Так что нужно иметь врага. Незачем искать его, ну не знаю, среди татар или среди монголов, как искали наши бояре в старину. Порядочный враг, устрашающий и узнаваемый, должен быть прямо в доме или у самого порога дома. Вот поэтому евреи. Провидение господне ниспослало нам их. Так используем, черт возьми, и да ниспошлет он всегда нам еврея или двух, чтобы было кого ненавидеть. И бояться. Дарить надежду собственному народу — именно для этого нужен враг. Говорят, патриотизм — последнее прибежище подонков. Не имея моральных принципов, мерзавцы обычно заворачиваются в знамя. Все канальи беспокоятся о чистоте своей канальей расы. Нация — это из лексикона обездоленных. Самоосознание строится на ненависти. Ненависти к тем, кто отличается. Ненависть необходимо культивировать. Это гражданская страсть. Враг — это друг всех народов. Нужно кого-то ненавидеть, чтобы

оправдывать собственную мизерность. Ненависть — истинная природная страсть. Аномальна как раз любовь. За нее Христа и распяли. Христос выступал против человеческой природы. Никого не пролюбишь всю жизнь. Не пролюбишь: вот и измены, и матереубийства, и предательства друзей. А проненавидеть всю жизнь очень даже можно. Лишь бы предмет страсти не девался никуда и все торчал на одном месте, разжигая нашу ненависть. Ненависть греет душу.

Дрюмон Симонини закручинился от этого разговора.

Похоже было, что Рачковский говорит серьезно и если не получит материала — «рассердится».

А он-то, Симонини, ну не то чтобы расстрелял все патроны, вовсе нет — у него было собрано много всяких листов для разнообразных протоколов, — но он не мог отделаться от чувства, что его работа годна и на более важную цель. Не разрисовывать антихристовы деяния по заказу разных Глинок, а обслуживать нечто существенное. Ну в общем, не мог он за бесценок отдавать свое усовершенствованное кладбище. Хотел нагнать цену. Выжидал.

Посоветовался с падре Бергамаски. Тот, как мы помним, хотел от него получать улики против

масонства. — А про евреев уже опубликована книга, — проронил иезуит. — «Еврейская Франция» Эдуара Дрюмона. Сотни страниц. Он знает, поди, побольше тебя.

Симонини только открыл и сразу: — Да там то, что писал старина Гужено полтора десятка лет тому. — Ну и что. А продается великолепно. Видно, читатели не помнят Гужено. А в России читатели, конечно, и Дрюмона не знают. Не ты ли гений перелицовок. Давай, поразнюхай, что там говорят и чем занимаются Дрюмон и его товарищи.

Заручиться доступом к Дрюмону оказалось нетрудно. В салоне Адан Симонини втерся в доверие к Альфонсу Доде и получил приглашение на вечера, проводившиеся попеременно с вечерами Адан, в доме Альфонса Доде в Шанрозе, где гостей принимала грациозная Жюли Доде, а гостями бывали Гонкуры, Пьер Лоти, Эмиль Золя, Фредерик Мистраль и как раз именно Дрюмон, свежеиспеченный автор «Еврейской Франции». Познакомившись, Симонини постепенно развил и углубил это знакомство, сперва записавшись в «Антисемитскую лигу», которую тот основал, а впоследствии — предложив свои услуги для созданного Дрюмоном журнала «Либр Пароль»

(«Свободное слово»).



...Симонини постепенно развил и углубил это знакомство, сперва записавшись в «Антисемитскую лигу», которую тот основал, а впоследствии – предложив свои услуги для созданного Дрюмоном журнала «Либр Пароль» («Свободное слово»)...

У Дрюмона имелись грива и большая черная борода, крючковатый нос, огненные очи. По расхожей физиогномике он был вылитый еврей-

ский пророк. Да и в антииудаизме Дрюмона было нечто мессианское. Будто Предвечный Творец специально уполномочил его сживать со свету свой избранный народ. Симонини был обворожен антиеврейской оголтелостью Дрюмона. Тот евреев не терпел восторженно, истово, на грани сексуального запала. Не философский, политический антисемитизм Туссенеля, не богословский, как у Гужено, — нет, это были эротические спазмы. Послушать, как Дрюмон источал свои речи на нудных заседаниях редакционного комитета. — Я с удовольствием пишу предисловие к трактату Депорта о кровавом завете у евреев. Здесь не средневековые случаи! О нет! И в теперешнее время еврейские баронессы в изящных салонах вливают кровь христианских младенцев в пирожные, угощают друзей! Затем: — Семиты корыстны, любостяжательны, скаредны, суетливы, ловки, хитры, а мы энтузиасты, герои, рыцари, бессеребреники, прямодушные, открытые почти даже до наивности. Семит прозаичен, не видит дальше собственного носа, вы знаете, что в Библии нет ни слова о потустороннем мире? А у арийцев запредельность — страсть. Ариец вскормлен идеалами; наш христианский бог находится вверху небес, еврейский появляется когда-ни-

будь на горе, когда-нибудь из куста и никогда не свыше. Семиты — торгаши. Арийцы землепашествуют, слагают стихи, схимничают и прежде всего сражаются, бросая вызов судьбе. У семитов отсутствуют творческие дары. Кто и когда видел евреев — музыкантов, живописцев, поэтов? Кто и когда видел еврея, сделавшего хотя бы одно научное открытие? Ариец — изобретатель, а семит — использователь изобретений арийца.

Дрюмон повторял за Вагнером: «Невозможно представить себе, чтобы деятель древности или же современной эпохи, герой или любовник, мог бы быть сыгран евреем и чтоб публика при этом не тряслась бы от хохота. Что, кстати, хуже всего отталкивает — это еврейский выговор. Оскорбительно нашему слуху это резкое, сиплое, визгливое их произношение. Естественно, что врожденная сухота еврейского духа, столь ненавидимая нами, острее всего ощущается при пении, ибо пение отразило все, что есть самого живого и искреннего в личности. За евреями можно признавать любые способности, кроме певческих, в которых им отказано самою природой». — Как так, — спросил кто-то из слушателей, — а музыкальный театр? Россини, Мейербер, Мендельсон, Джудитта Паста, они

все евреи… Другой слушатель сказал: — Все же, думаю, не музыка главнейшее из искусств. Не говорил ли этот самый немецкий философ, как его… Что музыка ниже живописи и литературы, потому что способна раздражать тех, кто ее не хочет слышать? При тебе играют мелодию, которую ты не любишь, а ты вынужден слушать. Как если бы кто-то вынул из кармана надушенный платок, запах от которого тебе противен. Слава арийцев — это литература. Ныне она в упадке. А на первом месте музыка, раздражительница чувств вырожденцев и дегенератов. Самое музыкальное из животных, после крокодила, — еврей. Пианисты, скрипачи, виолончелисты… — Да, но большей частью исполнители, паразиты на чужом таланте, — обрывал Дрюмон. — Вы тут говорили, Мейербер, Мендельсон, это все второй сорт, а Делибес и Оффенбах — совершенно не евреи. Вспыхивает дискуссия, чужды ли музыке евреи или же музыка является еврейским искусством по преимуществу. Мнения тотчас разделились.

Ну а когда начался шум вокруг Эйфелевой башни… Еще в период проектирования, не говоря уж — после постройки, «Антисемитская лига» ярилась просто исступленно. Архитектором был немецкий еврей. Кричали: вот иудейский ответ

на Сакре-Кер! Де Биз, пожалуй, самый задиристый из антисемитов, в качестве доказательства низменности еврейской расы употреблявший аргумент, что евреи пишут задом наперед, шумел:

— Уж и форма сама этого вавилонского строения доказывает, что мозги у них не как у нас… И еще была тема алкоголизма. Это был бич Франции в те времена. Говорили, что в Париже потребление спирта — сто сорок одна тысяча гектолитров в год!

— Алкоголь, — бормотали в компании, — вливают в нас масоны и евреи, потому что они привыкли вливать яды. Аква-тофана — это же их. А теперь они изобрели отраву, неотличимую от воды. Содержит опиум и молотых шпанок. Вызывает слабость, идиотизм, со временем и смерть. Подливают это в выпивку. Вызывают самоубийства.

— Ну а порнография! Туссенель… даже и социалисты пишут иногда правду… Он писал, что свинья — эмблема иудеев, потому что они, как и свиньи, катаются в низости и бесчестии. С другой стороны, даже в Талмуде сказано: счастливым предзнаменованием бывает, если еврей видит во сне экскременты. Все похабные журнальчики напечатаны евреями. Подите на улицу Полумеся-

ца, на рынок порнографических листков. Сплошь еврейские лавочки. Распутство, разгул, разврат, капуцины совокупляются с девицами, священники порют голых женщин, прикрытых одними волосами, приапизм во всех возможных видах, оргии монахов-забулдыг. А прохожие хихикают! Даже с маленькими детьми! Совершеннейший триумф, извините мне это слово, триумф Ануса. Каноники-содомиты. Ягодицы послушниц, подставляемые под розги развратников-попов…



...Алкоголь, – бормотали в компании, – вливают в нас масоны и евреи, потому что они привыкли вливать яды. Аква-тофана – это же их...

И еще одна излюбленная тема. Все евреи — перекати-поле.

— И всегда переселяются! Все чтоб от кого-то убежать! Не открывают новые земли, — кипятил-

ся Дрюмон. — Ариец едет, открывает Америку и неизведанные богатства. Семит дождется, пока ариец откроет богатства, и тут как тут — уже явился за ними. А сказки у них, это тоже… вообще-то сказок евреи не смогли придумать ни одной. У них, конечно, не хватает фантазии. А братья семитские их, арабы, рассказывают тысячу и одну. Про бурдюки, полные золота, пещеры, набитые награбленными алмазами, кувшины с джиннами… Пожалуйте на готовенькое! Арийские сюжеты совсем другие. Вы вспомните походы за Граалем. Про то, что счастье добывается кровью и потом.

— И так-то вот, — подытоживал кто-то из Дрюмоновых друзей, — евреи исхитрились пережить все свои бедствия…

— Конечно! — брызгал пеной Дрюмон. — Их переморить ведь невозможно. Другой народ, приехав в новую обстановку, страдает от изменившегося климата, от непривычного питания, болеет. Они же только укрепляются от внешних трудностей, и то же самое, например, происходит и с насекомыми.

— Ну как цыгане. Цыгане тоже не болеют. Хотя едят по преимуществу дохлятину. Им людоедство, видимо, идет на пользу. Для этого и похищают

детей…

— Ну, я не знаю, так ли полезно для долголетия людоедство. Возьмите хоть вот африканских негров. Они, естественно, людоеды, но мрут как мухи там у себя в своих африканских дебрях.

— А как же вы иначе объясняете живучесть еврея? У них ведь средняя продолжительность жизни пятьдесят три года. У христиан же только тридцать семь лет. С самого давнего Средневековья известно, что евреи неуязвимее к эпидемическим заразам. В них будто чума сидит, которая защищает их от нашей нормальной человеческой чумы. Симонини подмечал, что большинство задеваемых тем уже и ранее было обсосано у Гужено. Но в окружении Дрюмона не принято было беспокоиться об оригинальности высказываемых мыслей. Беспокоились только об их праведности.

— Хорошо, — говорил Дрюмон. — Телесные напасти ничто для них. Но умственные — не сказал бы. Жизнь среди сделок, спекуляций и заговоров вредна для каждой нервной системы. В Италии среди евреев один умалишенный на триста сорок восемь человек. А у католиков — один на семьсот семьдесят восемь. Шарко имеет интересные результаты по русским евреям. Он смог собрать

данные, потому что те бедны. А во Франции они богаты и скрывают свои злоключения в клинике доктора Бланша за солидную плату. Вы знаете, что у Сары Бернар в спальне установлен белый гроб?

— И плодятся они с удвоенной силой. По сравнению с нами. Их уже за четыре миллиона.

— Возьмите Библию, книгу Исход. Там сказано, что сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля.

— Что наполнилась, то наполнилась, это точно. Кого даже не подозреваешь… Вот Марат. Его настоящая фамилия Мара́. Сефардская семья, сбежали из Испании и замаскировались под протестантов. Он был изъеден проказой. Умер в грязи. Душевнобольной. С манией преследования и маниакальный убийца при этом. Типично для еврея. Мстил христианам, засылал их на гильотину. Посмотрите на его портрет в музее Карнавале. Вот перед вами лунатик, невропат, подобный Робеспьеру и прочим якобинцам. Асимметрия половин лица! Свидетельство неуравновешенности.

— Революцию устроили в основном евреи. Знаем. Но Наполеон Бонапарт с его ненавистью

к папе, друг разных масонов, разве Наполеон семит?

— А знаете, похоже. Дизраэли дает понять, что да. На Балеарах и на Корсике укрывались евреи, изгнанные из Испании. Там они стали марранами и прикрылись именами тех господ, которым служили. Орсини, Бонапарте.

В каждой компании есть кто-то, любящий обязательно что-нибудь ляпнуть не вовремя и не по делу. И вот звучит несолидный вопрос:

— А как Иисус? Он же еврей был, а умер молодым, к деньгам был равнодушен, все насчет царствия небесного… Ответ дал Жак де Биз:

— Господа, что Христос был еврей — заблуждение, внедряемое именно евреями, то есть святым Павлом и четырьмя евангелистами. На самом же деле Христос был кельтской расы, как и мы, французы. Латиняне поработили нас гораздо позже. И вот еще перед тем, как лишились настоящей мужской доблести из-за латинян, кельты были народом-завоевателем. Слышали ли вы что-нибудь о галатах, дошедших до самой Греции? Галилея тоже носит свое имя в честь галлов. Это галлы ее колонизовали. И вообще, фигура непорочной девы, родившей сына, это кельтский друидический миф. Иисус, достаточно

вглядеться в его портреты, был голубоглазый блондин. Он боролся против еврейских порядков, против еврейских суеверий, против еврейских пороков. В противовес тому, чего ждали евреи от Мессии, он проповедовал, что царство его не от мира сего. Притом что евреи монотеисты, Иисус был за идею Троицы. Вдохновленный, ясно, кельтским многобожием. И за это они его убили. Еврей Каифа приговорил его, еврей Иуда предал его, еврей Петр отрекся… Как только Дрюмон основал «Либр Пароль», приключился панамский скандал, Дрюмон его лихо использовал и выжал из политического казуса все, что мог.

— Что тут гадать, Симонини! Фердинанд де Лессепс, тот самый, что провел Суэцкий канал, получает задание провести и Панамский. Предполагается инвестировать шестьсот миллионов франков. Лессепс организует анонимное акционерное общество. Работы начинаются в 1881 году при тысяче сложностей. Лессепсу не хватает денег. Он открывает общественную подписку. Но из собранных денег изрядная доля уходит на подкуп журналистов, чтобы они не освещали постепенно возникающие сложности. Ну, например, тот факт, что к 1887 году удалось пройти едва ли больше половины перешейка, а использовано

было уже больше миллиона четырехсот тысяч франков. Лессепс просит помощи у Эйфеля, еврея, построившего ту самую отвратительную башню. Продолжает сбор денег по подписке. Деньги идут на подкуп корреспондентов, министров. И так вот около четырех лет назад Акционерное общество канала объявляет банкротство и восемьдесят пять тысяч честных французов, до того поддерживавших это предприятие, теряют все свои вложенные деньги.

— Эта история известна.

— Да. Но сейчас я имею возможность доказать, что бок о бок с Лессепсом орудовали еврейские финансисты, заправлял ими барон Жак де Рейнах. Барон из наградного прусского дворянства. Так что завтрашняя «Либр Пароль», вот вы увидите, грянет! И грянула. В эпицентр скандала попали журналисты, правительственные функционеры, бывшие министры. Рейнах покончил с собой, многих высоких чиновников посадили, Лессепса спас срок давности, Эйфель неведомо как выкрутился. Дрюмон торжествовал. Он прославился как борец с безнравственностью и собрал кучу увесистых доводов для своей антиеврейской кампании.

Бомба-другая

Еще до знакомства с Дрюмоном, однако, Симонини был призван Эбютерном в хорошо знакомый неф Нотр-Дам.

— Капитан Симонини, — сказал тот. — Несколько лет назад мы договаривались, что ваш Таксиль развяжет очернительную кампанию против масонов, да так, чтобы на нас напустились самые непрезентабельные антимасоны всей Франции. От вашего имени аббат Далла Пиккола гарантировал, что ситуация будет всегда под контролем, и взял на это немалые денежные средства. Так вот, я теперь думаю, что ваш Таксиль зарывается. Аббата прислали мне вы. Попытайтесь на аббата повлиять. И на Таксиля повлияйте тоже. Будьте уж так любезны. В этом месте Симонини отмечает, что у него провал в памяти. Он смутно помнит, что аббат Далла Пиккола должен был взять на себя Таксиля, но чтобы он аббату от своего имени поручал? Когда?.. Он, помнится, говорил Эбютерну — займется этим делом. Еще говорил, что в текущее время интересуется евреями и собирается попасть в окружение Дрюмона. Поразился, насколько Эбютерну по душе пришлись и идея проникнуть к Дрюмону, и вообще среда

Дрюмона.

— Как, не подчеркивалось ли разве, — переспросил Симонини Эбютерна, — что правительство не хочет быть замешанным в антиеврейскую пропаганду?

— Ситуация меняется, — отвечал на это Эбютерн. — Видите ли, капитан, до недавнего времени евреи были либо оборванцами (в России и в Риме, в гетто), либо, как у нас, банкирами. Бедные евреи давали деньги в рост или лечили, а те, кому удавалось всплыть, финансировали монархов и жирели на императорских долгах, потворствуя разжиганию войн. Эти были завсегда на стороне власти и не совали носы в политику. Внимание на финансы, отчуждение от индустрии. Потом произошло нечто новое, замеченное нами не сразу. После событий революции у государств появилась потребность в гораздо большем объеме финансирований, нежели тот объем, что предоставляют евреи. И те утратили монопольное положение в кредитной сфере. Тем временем постепенно, понемногу, опять же мы лишь сейчас замечаем подобные вещи, но революция действительно привела, по крайней мере у нас, к равенству всех граждан Франции. И (по-прежнему кроме голодранцев, обитающих в

гетто) евреи превратились в буржуа. Не только в высшую буржуазию, в капиталистов, но сплошь и рядом в мелкую буржуазию. В специалистов, в чиновников и в военных. Знаете, сколько во Франции офицеров-евреев? Ну, в общем, больше, нежели вы думаете. И армией дело не кончается. Евреев полным-полно в кружках анархистов и коммунистов. В прежние времена революционеры были снобами и чурались евреев, считая их капиталистами, а евреи и вправду каким-то боком обычно поддерживали правительство. А теперь стало модно быть евреем-оппозиционером. Кем был Маркс? Он не сходит с уст у наших революционеров. Кем он был? Неимущим мещанином. Жил за счет аристократки-жены. И не станем забывать, например, что они захватили образование. От Коллеж де Франс до Школы высших исследований. Захватили все парижские театры. Большинство газет. К примеру, «Журналь де деба». А ведь это официальный орган головного банка… Симонини не понимал чего еще Эбютерну, после того как евреи все на свете захватили, о них хочется узнать. Тот ответил, разводя руками:
— Сам не знаю. Не ослаблять внимание. Решить для себя, можем ли мы доверять этой новой категории евреев. К слову, я никак не поддерживаю

фантастические теории всемирного иудейского сговора с целью захвата высшей власти! Наоборот, я вижу, что буржуа-евреи совершенно не относят себя к своему исконному корню. Часто даже брезгуют былым еврейством. Однако все-таки как граждане они ненадежны. В любое время могут предать. Стоит им стакнуться с другими евреями, ну, например, с прусскими… В прусскую войну кто шпионил, помните? Сплошь и рядом евреи Эльзаса! Уже прощаясь, Эбютерн добавил:

— О, забыл. Во времена Лагранжа у вас проходил такой Гавиали. Вы его сдали под арест.

— Да, предводитель заговорщиков с улицы Квашни. Они все теперь в Кайенне или вроде того.

— Кроме как раз Гавиали. Он убежал и ныне обретается в Париже.

— Разве можно удрать с Чертова острова?

— Можно удрать отовсюду, если имеешь фарт.

— Почему не арестовываете?

— Потому что может пригодиться хороший бомбодел. Как раз сейчас. Он теперь тряпичником в Клиньянкуре. Может, вы снова зазнакомитесь?

Отыскать тряпичника в Париже — не такой труд. Хотя шастают они повсюду, но лавчонки их все в районах Муфтар и улицы Святого Ме-

дара. Ну вот, Эбютерн тоже имел сведения, что искомое лицо ошивается у Клиньянкурских ворот. Его кто-то приютил в скопище бараков, крытых валежником, под сенью подсолнухов, неведомо отчего расцветших около лачуг в том провонявшем околотке города. Где-то там была и так называемая «Ресторация Сырые Ноги», называемая так потому, что клиентов заставляли ждать очереди на улице в любую погоду. Когда они входили, каждый платил одно су и имел право запустить большую вилку в котел, и что выловится, то выловится. Кому повезло — вынет кус мяса, а кому не повезло, морковку.

У тряпичников были там свои меблирашки. Каждая каморка — койка и стол и два разнокалиберных стула. Святые образки на стене или картинки из старых романов, попавшиеся среди мусора. Отколотое зеркало, используемое для бритья по праздничным дням. Каждый тряпичник волок к себе свои неоценимые находки. Кости, фарфор, стекло, старенькие ленты, лоскуты шелка. День начинался у каждого в шесть утра, а вечером около семи городовые (называемые фликами) обходили кварталы и если застигали тряпичника все еще за копанием в мусоре — штрафовали его.

Симонини отправился искать Гавиали. Где бы тот мог быть? В одном пивном заведении наряду с вином наливали по заказу и абсент, по слухам — отравленный (будто недостаточно отравы было в обычном!). Там ему и указали — вот-де твой друг. Симонини в свое время приходил к Гавиали бритым. И сейчас он не надел бороду. Прошло двадцать лет, но узнать капитана все еще было нетрудно. Кого трудно было узнать, это Гавиали.

Морщинистое белое лицо, клочная борода. Желтоватый галстук, больше всего напоминавший веревку, свисал из-под сального воротника. Торчала худющая шея. На голове его был драный цилиндр, на плечах — пальто, бывшее некогда зеленым, под ним — свалявшийся жилет. Его башмаки были так грязны, как будто бы их не чистили много десятилетий, со влипшими в кожу шнурками. Среди тряпичников Гавиали не выделялся, никто из них не был лучше него.

Симонини назвался, рассчитывая на растроганную встречу. Но Гавиали смотрел в упор и не двигался с места.

— Вы смеете ко мне соваться, капитан? Симонини растерялся.

— Вы за кого же меня держите? — продолжал тот. — Я же видел! Когда ввалились жандармы

и палили по всем нам, вы влепили пулю бедолаге, которого сами и погнали к нам в качестве посыльного. После этого все мы, то есть кто выжил, оказались в одном и том же трюме корабля, идущего на каторгу. Только вас там не было. Не так трудно было выводы-то подвести. Мы за пятнадцать лет в Кайенне догадались-таки. Вы создали заговор, чтобы сдать всех нас. Создавать и сдавать — ваше ремесло.

— Ну и что? Хотите мстить? Поглядите, на что вы похожи. Я скажу два слова полиции — и вернут вас опять в Кайенну, откуда вы сбежали.

— Нет и речи, капитан. Я поумнел за это время. От подлянки не застрахован никто. Где заговоры, там и доносчики. Это игра в полицейского и вора. Еще я слыхал от кого-то, что с течением лет революционеры становятся защитниками трона и алтаря. Мне до трона и алтаря никакого дела нет. Но я поставил крест на эпохе великих идеалов. При так называемой Третьей республике не поймешь, где же тиран, кого убивать. Только одну вещь я не разучился делать пока. Бомбы. Вы разыскали меня. Значит, вам понадобились бомбы. Что же, если вы готовы платить. Видели, где я живу. Мне другую квартиру и ресторан — я и буду рад. Кого же теперь прикажете губить? Я

продажен, как все бывшие революционеры. И это тоже ремесло. Вы по себе ведь знаете.

— Да, мне нужны бомбы, Гавиали, пока не знаю, как и где они будут употребляться. Поговорим, когда пора придет. Могу обещать вам деньги, могу закрыть все, что связано с вашим прошлым, сделать новые документы.

Гавиали повторил, что готов послужить тому, кто платит, Симонини дал ему достаточно денег, чтобы тот хотя бы месяц мог прожить без охоты за тряпками. Ничто так не научает послушанию, как отсидка.

Что ожидалось от Гавиали, Эбютерн сказал довольно скоро. В декабре 1893 года Огюст Вайян, анархист, швырнул небольшой гремучий снаряд, нафаршированный гвоздями, в палате депутатов и прокричал: «Долой буржуазию, да здравствует анархия!» Это был символический поступок. «Хотел бы убить, зарядил бы крупнокалиберными пулями, — сказал Вайян на суде. — Не вру же я, чтоб доставить вам удовольствие перерубить мне шею».

Чтоб неповадно было, шею ему все равно перерубили. Но от этого легче не стало. Тайная полиция беспокоилась, как бы подобные поступки не стали образцами геройства, не повлекли

бы за собой подражателей. — Дурные учителя, — втолковывал Эбютерн капитану, — оправдывают террор, подстрекают к террору, разжигают общественное мнение, а сами сидят себе в клубах и ресторанах, беседуя о поэзии и попивая шампанское. Вон щелкопер, Лоран Тайяд, он еще и депутат и поэтому пользуется удвоенным авторитетом. Он написал о Вайяне: «Какое дело нам до жертв, ведь жест его был прекрасен!» Для государства Тайяды опаснее Вайянов, а головы им сложнее отрубать. Зададим же урок этим интеллигентам, пусть им не все сходит с рук.

Задавать урок и было как раз поручено капитану Симонини. И Гавиали. Через несколько недель в ресторане «Фуайо», именно в той половине, где имел привычку сиживать Тайяд, уписывая свои дорогие яства, взорвалась бомба, и Тайяд остался без глаза (Гавиали — просто гений, бомбу ему заказывали такую, чтобы жертва не погибла, но сильно покалечилась). Правительственные газеты разразились саркастическими комментариями в духе: «Ну как, месье Тайяд, был ли прекрасен и этот жест?»

В выгодном свете предстали правительство, Гавиали и Симонини, а Тайяд, кроме глаза, потерял и репутацию. Всех довольнее был по этому

случаю Гавиали. До чего приятно вернуть силы и веру в себя человеку, утратившему и то и другое из-за несправедливостей жизни. Этой мыслью потешил себя Симонини под конец операции.

В те же самые годы Эбютерн поручал Симонини и другие задачи. Панамский скандал уже не волновал никого. Сообщения, если они не меняются, надоедают. Дрюмон всем этим интересоваться вообще перестал. Другие же пытались шевелить тлеющие угли, правительство вяло беспокоилось из-за, как говорится, малых искр, не разгорелось бы из них революционное пламя! Так что целью являлось — отвести внимание от старой темы, и Эбютерн потребовал от Симонини организовать ему какой-нибудь беспорядок, способный попасть на первые полосы газет.

Поскольку беспорядок устроить не так легко (резонно возразил на это Симонини), они решили с Эбютерном попробовать работать в студенческой среде. Студенты на подъем легки, особенно в случаях, если воду мутит умело запущенный к ним профессиональный бузотер.

Симонини не имел прямых контактов со студенческим миром, но сразу же подумал, что станет искать революционеров, а желательней всего даже анархистов. Кто лучше всех ори-

ентировался в анархистах? Тот, кто внедрял к анархистам провокаторов, а потом арестовывал. То есть Рачковский. Симонини пошел к нему. Рачковский, выскаливая все свои волчьи зубы в приятельской улыбке, вопросительно глянул на него. — Студентов бы, готовых расшуметься по заказу. — А, проще простого, — отвечал русский на это. — Их сколько угодно в «Шато-Руж».



...Там толпились не бродяги, а потрепанные старые и непомерно разукрашенные шлюхи, девчонки четырнадцати лет нахальнейшего вида, с синяками под глазами и с бледными приметами туберкулеза, и местные хлюсты в тяжелых кольцах с поддельными камнями и в пальтецах поавантажнее, чем у посетителей первого зала...

«Шато-Руж», расположенный в Латинском квартале на Галандовой улице в тупике непроходного двора, был, по виду, малинником. Фасад был крашен в тона окровавленной гильотины.

Входишь, вонь горклого жира, плесени, перестоявшихся супов: кухонный чад налип за долгие годы на обсаленные стены. Откуда кухонный чад, непонятно, потому что вообще-то всю еду посетители приносили с собой, а заведение обеспечивало только питье и тарелки. В чумном угаре дешевого табака и просочившегося из горелок газа, по трое и по четверо с каждого бока столика, сгрудившись, клошары большею частью спали, навалившись головой на плечо соседа.

Две дальние комнаты вмещали несколько иную публику. Там толпились не бродяги, а потрепанные старые и непомерно разукрашенные шлюхи, девчонки четырнадцати лет нахальнейшего вида, с синяками под глазами и с бледными приметами туберкулеза, и местные хлюсты в тяжелых кольцах с поддельными камнями и в пальтецах поавантажнее, чем у посетителей первого зала. В пряной кутерьме мелькали разряженные дамы и господа во фраках: наведываться в «Шато-Руж» становилось модно, сулило неизведанные эмоции. Поздно вечером, выходя из театра, они подкатывали в каретах. Париж упивался уголовной романтикой, а хозяин, кажется, даром пускал к себе мазуриков и даже давал им бесплатную выпивку, на радость солидным

буржуа, с которых за тот же самый абсент драли вдвое.

В «Шато-Руж», по указанию Рачковского, Симонини разыскал некоего Файоля, по профессии торговца зародышами. Этот пожилой человек, завсегдатай «Шато-Руж», расходовал на восьмидесятиградусный арак все, что зарабатывал за день хождением по госпиталям за эмбрионами и недоносками, которых перепродавал студентам медицинского факультета. Он испускал такую вонь алкоголя и мертвечины, что вынужден был сидеть особняком даже и в тамошнем зловонии. Но о нем говорили, что у него полно знакомых среди студентов, особенно среди вечных студентов, тех, кто обычно поглощен попойками, а не исследованием зародышей и в принципе не против устроить кавардак, как только предоставится оказия.

Оказия как раз была. Случаю заблагорассудилось, чтоб именно тогда народ Латинского квартала сильно озлобился на старого долдона сенатора Беранже, так называемого Непорочного Папулю. Тот как раз внес на обсуждение законопроект об оскорблении общественного вкуса, и были первые наказанные, естественно — из студентов. Папуля обратил острие закона

против некоей Сары Браун, которая, полуголая, полногрудая (и, разумеется, потная… — с ужасом дорисовывал Симонини), выступала в соседнем заведении *Bal des Quat'z Arts* («Танцулька четырех искусств»).

Студентов лучше не задевать, не замахиваться на бесхитростные их зрелища. Та группа, в которой имел влияние Файоль, постановила: устроить ночью кошачий концерт под окнами у сенатора. Осталось только выведать, на какую ночь назначена вылазка, и устроить так, чтобы поблизости от тех окон оказались по своим делам любители помахать кулаками. За совсем невысокую плату Файоль взял организацию на себя. Симонини только передал Эбютерну, в который день все произойдет и в каком часу.

Как только студенты загалдели, подоспела ватага не то солдат, не то жандармов. На всякой долготе и широте ничто не бесит молодежь так, как полиция. Тут сразу и булыжники в воздухе, и угрожающие крики, и — будто по заказу — первый же выстрел дымовой шашкой, выпущенный одним из солдат чисто для острастки, угодил в глаз бедняге, проходившему по переулку. Вот и труп, а что еще надо. Натурально, пошли строиться баррикады. Вспыхнуло настоя-

щее восстание. Были введены в действие бойцы Файоля. Студенты стопорили на ходу омнибусы, вежливо просили пассажиров освободить места, выпрягали лошадей и переворачивали повозки. Образовывались баррикады. Тут наскакивали другие сорванцы, поджигали весь завал. За совсем недолгое время заварушка превратилась в мятеж, а мятеж обещал перейти в революцию. Первые страницы газет были заняты этими новостями, никого уже не волновала Панама.

Бордеро

Больше всего денег Симонини удалось заработать в 1894 году. Получилось это, можно сказать, неожиданно: случай, как бывает, помог.

В те времена Дрюмон не уставал сетовать на то, что во французской армии засилье евреев. — Этот факт замалчивают, не желают говорить о потенциальных предателях Родины, угнездившихся в вооруженных силах. Ведь же самое важное в государстве — армия. А там засели жиды…

При слове «жид» губы выпучивались, оратор будто изготовлялся всосать иудеев со всеми их паскудствами. — Поневоле теряешь веру в вооруженные силы, — не унимался Дрюмон. — Но за это они нам заплатят. Знаете, какими

способами сегодня эти евреи набиваются в компанию к порядочным людям? Или становятся кадровыми офицерами, или входят в гостиные к аристократам в виде евреев-художников, евреев-педерастов. О, герцогиням приелись амуры с джентльменами старой складки! Со священнослужителями! Графинь теперь влечет к экстравагантному, экзотическому, мерзкому, они теперь падки на нарумяненных, надушенных пачулями брандахлыстов, неотличимых от женщин. Но мне на весь этот разврат в дворянском обществе, по чести говоря, наплевать. Не лучше их были виконтессы, грешившие с разными Людовиками. А вот моральное разложение в армии — это погибель французской цивилизации. Лично я убежден: большая часть офицеров-евреев составляет шпионскую сеть, работает на пруссаков. Но у меня попросту нет доказательств, нет доказательств.

— Доказательства ищите! — громыхал он на подчиненных в редакции газеты.

Там же, в редакции «Либр Пароль», Симонини увидел майора Эстергази. Фатовского вида, тот не уставал поминать о своем великосветском происхождении, о своем венском образовании, хвастал бывшими и будущими дуэлями. Было известно,

что он как в шелку в долгах. Редактора пятились, когда он приближался с конфиденциальным видом, все понимали, что начнется вымогательство и что одолженные майору деньги никогда не возвратятся. Он был манерным, будто женщина, и подносил ко рту узорчатый платочек: подозревали у него туберкулез. Его офицерская карьера была причудливой. Сначала в кавалерии (итальянская кампания 1866 года), потом в рядах папских зуавов, наконец, в Иностранном легионе — это в войну 1870 года. Шептались, будто он потом перешел в военную контрразведку. Хотя, конечно, будь это так, вряд ли в подобных случаях люди вывешивают знаки отличия на верхнюю одежду. Дрюмон очень серьезно относился к Эстергази, надеялся, верно, наладить через того связи с военным командованием. Симонини получил от Эстергази приглашение на ужин в «Бёф а-ля мод». Заказали миньон из ягненка с латуком, обсудили карту вин, Эстергази перешел к делу:

— Капитан Симонини, наш друг Дрюмон ищет доказательств, которых не найдет нипочем. Вопрос не в том, чтобы узнать, есть ли прусские шпионы еврейской национальности. Черт побери, шпионы в этом мире есть везде и всегда, нет причин потрясаться этому. Шпионом больше,

шпионом меньше. Политическая проблема — это доказать их наличие. Вы согласитесь: для выявления шпиона или заговорщика не обязательно находить доказательства. Дешевле и проще их создать, а по возможности создать и самого шпиона. Соответственно, в интересах нации, мы должны выбрать одного офицера, еврея, пусть у него будет какая-нибудь слабость, бросающая на него тень, и мы должны доказать, что он передал важную информацию в прусское посольство в городе Париже.

— Кто это мы?

— Статистический отдел французской разведслужбы под командованием полковника Сандера. Вы, может, знаете, что этот отдел, с таким нейтральным названием, работает в основном по немцам. Раньше этот отдел собирал информацию о том, что делают немцы у себя в Германии. Любую информацию: газеты, рапорты офицеров, отчеты о командировках, сведения из жандармерий, донесения наших уполномоченных, работающих по обе стороны границы, с целью узнавать как можно более полно об организации их армии, о точном количестве кавалерийских дивизий, о жалованье личного состава, короче говоря, обо всем. А в текущий период служба

приняла решение заняться и тем, что творят эти самые немцы у нас дома. Это вызвало кое у кого недовольство. Слияние разведки и контрразведки… Но эти два вида деятельности имеют между собой много общего. Мы должны знать, что происходит в немецком посольстве, это территория неприятеля, то есть дело разведки. А в немецком посольстве собирают сведения о нас: вот вам уже работа контрразведки. В посольстве нам помогает такая мадам Бастиан, уборщица, согласно легенде неграмотная, на самом же деле знающая немецкий. Она каждый день выносит мусорные корзины и предоставляет нам все те записки и документы, которые пруссаки (а вам известно, до чего пруссаки туповаты) считают уничтоженными. Вся-то задача сводится к тому, чтоб изготовить документ, в котором французский офицер изложит донельзя секретные сведения о вооружении войска Франции. Вторым шагом будет — сделать из этого вывод, что автор записки имеет отношение к этим секретным сведениям. И мы его выявим. Нужна, разумеется, бумажка. Недлинный список, препроводительная бумага, это называется бордеро. Мы обращаемся к вам, потому что вы, нас известили, несравненный производитель таких документов. Симонини не

стал гадать, кто это известил разведслужбу о его несравненности. Будем думать, Эбютерн.

— Благодарю за комплимент. Видимо, следует воспроизвести почерк определенного человека.

— Да, у нас есть идеальный кандидат. Его зовут капитан Дрейфус. Разумеется, из Эльзаса. Служит в нашем отделе. Он на испытательном сроке. Дрейфус женат на богачке, с виду хлыщ, его едва переносят сослуживцы. И едва переносили бы, даже если бы он был не еврей. Защищать его не станет никто. Превосходный экземпляр для заклания. Когда у нас будет документ, мы немедленно организуем проверку, и почерковедческая экспертиза покажет на Дрейфуса. А дальше дело будет за такими, как Дрюмон: раздуют грандиозный скандал, уличат евреев, обелят достоинство французских вооруженных сил, которые сумели найти и вырвать с корнем опасные сорняки. Понятно?

Понятнее некуда. В первые дни октября Симонини предстал перед полковником Сандером. У полковника было землистое, незначительное лицо. Лучшая внешность для главы разведывательного и контрразведывательного управления.

— Вот образчик почерка Дрейфуса. А вот текст, который нужно переписать. Сандер протянул

ему два листочка.

— Как видите, это сообщение адресовано военному атташе посольства, фон Шварцкоппену. Здесь говорится о намерении передать военные документы, а именно описание гидравлического тормоза для пушки диаметра сто двадцать и некоторые другие сведения. Которые немцев в высшей степени интересуют.

— Не вставить ли какую-нибудь техническую подробность? — подал голос Симонини. — Это скомпрометирует сильнее.

— Думаю, вы понимаете, — ответил Сандер, — что когда разразится скандал, бордеро придется опубликовать. Не печатать же нам в газетах технические сведения. Не тяните, капитан. Чтобы вам работалось удобнее, есть для вас кабинет, все там приготовлено. Бумага, перья и чернила — те, что используются у нас в канцелярии. Работайте усердно. Вы можете, конечно, не торопиться, сколько угодно переписывайте, пока не получится тот самый почерк.

И Симонини работал усердно. Бордеро он сделал на папиросной бумаге. Оно состояло из тридцати строк, восемнадцати на лицевой стороне и двенадцати на оборотной. Симонини постарался, чтобы строчки на первой странице

ложились реже, а на второй странице гуще, и почерк на второй чтоб был бы нервнее, как будто писавший заторопился. Но Симонини не забыл и подумать, что если кто-то решает выбросить подобную бумагу, он обязательно ее рвет и комкает, в статистическую службу эту бумагу принесут уже превращенной в жеваные ошметки. Поэтому слова надо писать аккуратно, раздельными буквами, чтобы их было не очень трудно обратно сложить.



...А дальше дело будет за такими, как Дрюмон: раздуют грандиозный скандал, уличат евреев...

В общем, он потрудился и преуспел. Сандер передал бордеро военному министру генералу Мерсье и в то же время затребовал проверки всего офицерского состава. Почерк совпал с почерком

Дрейфуса. Того арестовали пятнадцатого октября. Две недели эту новость умело скрывали и умело организовывали кое-какие слабые утечки, раззадоривая любопытство журналистов. Потом шепотом было названо имя. Сначала под великим секретом. Потом и гласно было объявлено, что виновный в шпионаже — капитан Дрейфус.

Как только вышло позволение от Сандера, Эстергази моментально оповестил Дрюмона. Тот заметался по комнатам редакции, размахивая письмом от Эстергази и ликуя: «Доказательства! Мы получили доказательства!»

«Либр Пароль» от первого ноября вышла с заголовком на всю первую полосу: «Измена родине. Арестован офицер-еврей Дрейфус». Наступление было объявлено, Франция полыхала возмущением.

Однако утром этого же дня Симонини, пока в редакции раскупоривали шампанское, глянул походя на письмецо, которое прислал Эстергази, чтобы уведомить журналистов о Дрейфусе. Бумага валялась на письменном столе Дрюмона, с кругляком от поставленного сверху стакана, но текст читался прекрасно. Глаз Симонини, прокорпевшего несколько часов над воспроизведением Дрейфусова почерка, ни секунды не

колеблясь, опознал ту же самую руку. Кто на свете точнее, чем фальсификатор, может определить оригинал?

Что-то странное стряслось. Без сомнения, Сандер дал ему в качестве образца листок, написанный не Дрейфусом, а Эстергази. С чего вдруг? Удивительно. Неведомо. Но неопровержимо. По ошибке? Нарочно? Если нарочно, то зачем? Или Сандера тоже подвели его помощники, сунув не тот образец? Коль мы уверены в доброй воле Сандера — немедленно извещаем его о подмене. А можем ли мы быть уверены? А если Сандер неспроста? Дать ему понять, что его раскусили, — тоже рискованно. Сказать майору? Но за такое по головке не погладят. Молчать? Чтобы они могли в один прекрасный день свалить на него вину: Симонини-де перепутал?

Он ни в чем не виноват. Хотелось выйти сухим из этой воды. И вообще Симонини гордился тем, что все его подделки, если можно так выразиться, неподдельны. Он решил идти на риск и отправился к Сандеру, который позволил встречу неохотно: скорее всего, опасался шантажа. А услышав правду (только это и было правдой во всем нагромождении обманов), пожелтел еще хуже лицом. Вид его убедительно выражал:

«Невозможно поверить в это». — Вы, полковник, — не отставал Симонини, — не могли не сохранить фотографию бордеро. Так добудьте образцы почерков Дрейфуса и Эстергази и сравним все три образца.

Сандер отдал приказание, вскоре на его столе лежали три листа. Симонини объяснял: — Ну вот, изволите видеть. В тех словах, где две «s» *(adresse, intéressant)*, у Эстергази первая *«s»* всегда помельче, а вторая крупная. И они не соединяются. Именно это я подметил, потому что скрупулезно воспроизводил эти две *«s»*, переписывая бордеро. А у Дрейфуса, поглядите. Я вообще впервые вижу его почерк. У него во всех случаях крупнее именно первая, и тут вот такой хвостик, они соединены. Достаточно вам или продолжить? — Мне достаточно. Я не знаю, кто тут мог, и зачем, напутать. Но разберусь. Однако все улики теперь у генерала Мерсье. Он может захотеть сравнить образчики почерка со скорописью Дрейфуса. Правда, он не графолог, не эксперт. Хорошо, что почерки все-таки похожи. Главное — чтобы генералу не взбрело смотреть на образцы почерка Эстергази. Конечно, не знаю, зачем ему может понадобиться почерк Эстергази. Если только вы не пойдете ему докладывать. Попробуйте хорошенько забыть

эту историю и, очень прошу, не ходите больше в мою канцелярию. Ваше вознаграждение будет соответственно повышено.

После этого Симонини не имел никакой нужды ходить справляться о положении, потому что о Дрейфусе голосили все газеты. В Генеральном штабе кое-кто педантичный нашелся все-таки. Поступил запрос на анализ почерка, затребовали проверку доказательств. Сандер обратился к знаменитому графологу Бертильону. Тот составил заключение, что и впрямь почерк, которым написано бордеро, не полностью идентичен почерку Дрейфуса, но что речь идет о бесспорном случае сознательного камуфляжа. Дрейфус изменил-де (не полностью, но частично) почерк, чтобы произвести впечатление, будто письмо создано не им, а другим человеком. Невзирая на разнообразные, но не первостепенные детали, конечно же автор бумаги — не кто иной, как Дрейфус. Как тут можно было усомниться? «Либр Пароль» ежедневно дудела в эту дуду, доходя даже до инсинуаций, что делишко-то гляди вот-вот замнут, потому что Дрейфус — еврей, и евреи будут выгораживать своего. Сорок тысяч офицеров есть во Франции, вопил Дрюмон, с какой стати Мерсье доверял тайны национальной безопасности

космополиту, эльзасскому еврею? Будучи либералом, Мерсье уже и до того подвергался атакам Дрюмона и националистической печати. Его травили за снисходительность к евреям. Поэтому он, естественно, не мог покрывать еврея-предателя. Так что Мерсье не то что не противодействовал следствию, но, наоборот, проявлял немалую активность.

Дрюмон не утихал: — Испокон веку евреев не подпускали и близко к армии, французские вооруженные силы блюли исконную чистоту. А коль теперь они уже затесались в наше воинство, они того и гляди станут хозяевами Франции, и Ротшильды будут узнавать от них все планы мобилизации… Вы, конечно, догадываетесь, зачем им нужно это все…

Напряжение доходило до предела. Капитан драгунов Кремье-Фоа открытым письмом обвинил Дрюмона, что тот оскорбляет всю еврейскую часть офицерства, и потребовал сатисфакции. Состоялась дуэль. В довершение непонятицы выяснилось, что у Кремье-Фоа секундантом был… кто же? Майор Эстергази. Маркиз де Морес из редакции «Либр Пароль» в свою очередь вызвал капитана Кремье-Фоа, однако начальство, прознав об этом, запретило капитану участвовать в

новой дуэли, его перевели на казарменное положение, и вместо него вышел на поединок капитан Майер и получил ранение в легкое, от которого умер. Бурные споры, негодование, попытки противодействовать разгоранию религиозных войн. А Симонини потирал руки, наблюдая оглушительный результат всего лишь одного часа его работы за писчей конторкой.

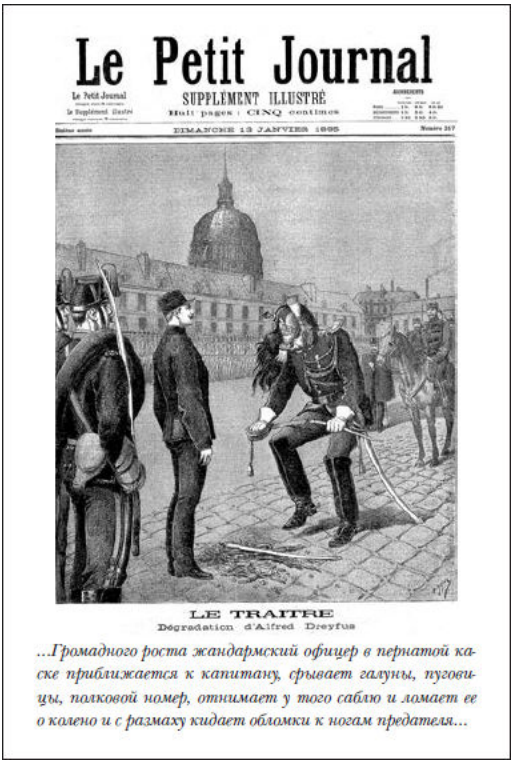
В декабре был созван военный совет. Появился еще один документ — письмо военного атташе Италии Паниццарди к германцам. Писавший упоминал «эту каналью Д.», от которого якобы купил планы каких-то укреплений. «Д.» означало «Дрейфус»? Никому и в голову не приходило усомниться. Лишь много спустя выяснилось, что «Д.» означало «Дюбуа», а Дюбуа был мелкий служащий в министерстве, сбывавший разные сведения по десяти франков штука… Но тогда было уже поздно. Двадцать второго декабря Дрейфуса признали виновным. В начале января месяца его лишили звания во дворе Высшей Военной школы. В феврале должны были отправить на Чертов остров.

Симонини был на торжественной церемонии разжалования, в дневнике описывается впечатляющий ритуал: выстроенные в каре части,

Дрейфуса ведут почти километр вдоль рядов соратников, а те, сохраняя бесстрастие, выражают ему все свое презрение. Генерал Даррас обнажает саблю, фанфара поет тонким голосом, Дрейфус в парадном обмундировании строевым шагом приближается к генералу. Его конвоируют четыре артиллериста под командованием сержанта. Даррас оглашает приказ о разжаловании. Громадного роста жандармский офицер в пернатой каске приближается к капитану, срывает галуны, пуговицы, полковой номер, отнимает у того саблю и ломает ее о колено и с размаху кидает обломки к ногам предателя.

Дрейфус невозмутим. Многие журналисты специально отмечают это и находят здесь очередное доказательство его коварства. Симонини вроде бы слышит, как во время церемонии тот воскликнул: «Я неповинен!», однако держась прямо и не склоняя головы. Саркастический Симонини сказал себе: гляди-ка, еврейчик до чего крепко присоседился к французским офицерам с их культом достоинства. Не ставит под сомнение решения командования, и коли начальство решило, что его надлежит разжаловать как предателя, он подчиняется приказу, не сопротивляясь. Может быть, даже в тот миг он тоже думает, что предал.

А о невиновности своей твердит, потому что это с его точки зрения входит в сценарий.



Le Petit Journal

SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ

Huit pages : CINQ centimes

DIMANCHE 13 JANVIER 1895

LE TRAITRE

Dégradation d'Alfred Dreyfus

...Громадного роста жандармский офицер в перчатой каске приближается к капитану, срывает галуны, пуговицы, полковой номер, отнимает у того саблю и ломает ее о колено и с размаху кидает обломки к ногам предателя...

Симонини так запомнил этот эпизод. Но потом

он нашел в старой папке вырезку из «Репюблик франсэз», подписанную каким-то Бриссоном. В газете сцена описывалась совершенно по-другому:

Когда генерал бросил ему в лицо позорное обвинение, он заслонился и прокричал: «Да здравствует Франция, я неповинен!»

Жандармский чин тем временем заканчивает. Золотые нашивки сорваны и лежат на земле. Даже красные полоски, отличительный знак рода войск, выхвачены с мясом. В своем доломане, который теперь одного черного цвета, в кепи, потерявшем все краски, Дрейфус кажется облаченным в одежду каторжника… Он все время выкрикивает: «Я неповинен!»

За оградой толпа. Толпе виден только силуэт Дрейфуса. Из публики летят проклятия, резкие свистки. Дрейфус все это слышит, исступление наблюдателей совсем сокрушает его.

Когда его проводят мимо находящихся в строю офицеров, те кричат: «Убирайся, Иуда!»

Дрейфус яростно дергает головой и снова и снова повторяет свое: «Я неповинен!»

Теперь нам удается разглядеть его черты. Мы смотрим на него несколько секунд, рассчитывая увидеть какую-то тайну, услышать какой-то голос души, к которой только судье удавалось

приблизиться и заглянуть в ее укромные тайники. Но на его лице царит только злоба, злоба, доходящая до исступления. Губы растянуты в ужасающей гримасе, глаз налился кровью. И мы понимаем, что приговоренный так стоек и воинствен с виду именно потому, что его подхлестывает бешенство, рвущее в клочья нервы…

Что скрыто в душе этого человека? Какие движут им побуждения? Почему он так яро защищает идею невиновности? Надеется, может быть, сбить с толку общественное мнение, поколебать нашу уверенность, кинуть тень на приговоривших его судей? Промелькивает в сознании и мысль жгучая, будто молния: а если он действительно невиновен? Какая адская пытка!

Симонини, переписывая это, не испытывал ни малейшего угрызения, поскольку он-то в вине Дрейфуса был уверен, сам и сделал его виноватым. Но, что говорить, несоответствие его воспоминаний и этой статьи в газете свидетельствовали о том, до чего дело Дрейфуса разбудоражило страну и как каждому виделось в нем то, что хотелось видеть.

И все же, пошел этот Дрейфус к черту. На Чертов остров. Пошел совсем. Симонини он больше не интересовал.

Оплата, которую ему тайно передали, далеко превзошла любые его расчеты.

Приглядывая за Таксилем

В течение всего времени, как помнит Симонини, он не выпускал Таксиля из виду. Особенно потому, что о Таксиле много говорили в окружении Дрюмона, причем дело Таксиля интерпретировалось поначалу как сомнительный курьез, а позднее — как достаточно раздражающий скандал. Дрюмон считал себя антимасоном, антисемитом и серьезным католиком и на свой лад был таким. Соответственно он не мог терпеть, чтоб священными хоругвями козырял какой-то ловчила. Что Таксиль — ловчила, Дрюмон утверждал с самых давних времен и изрядно продернул его в книге «Еврейская Франция», твердя, что все антицерковные писания Таксиля опубликованы издателями-евреями. Шли годы, их отношения все портились и портились, поскольку в них привходила политика.

Что было дальше, мы знаем от аббата Далла Пиккола: оба самовыдвинулись в ходе муниципальных выборов на должность советника парижской мэрии, причем в расчете на один и тот же электорат. Начались открытые боевые

действия.

Таксиль опубликовал «Месье Дрюмон, психологический этюд», в котором с едким сарказмом критиковал противника за неуемный антисемитизм, считая, что антисемитизм приличествует не столько католикам, сколько социалистической и революционной печати. Дрюмон ответил памфлетом «Завещание антисемита», где сомневался, точно ли Таксиль сделался честным католиком, припоминал неприятелю всю грязь, которой тот поливал в свое время святой престол, а что до попустительства Таксиля по отношению к еврейству, то это, настаивал Дрюмон, вызывает ряд самых тревожных вопросов.

Учитывая, что в одном и том же 1892 году начали выходить и «Либр Пароль» — боевой политический листок, заклеймивший панамский скандал, — и «Дьявол в xix веке», который трудно назвать вызывающим доверие изданием, понятно, по какой причине Дрюмонова газета беспрерывно клевала Таксиля и со злорадным хихиканьем комментировала его умножавшиеся неприятности. А хуже всякой критики, ехидничал Дрюмон, вредили Таксилю некомильфотные попутчики. По поводу таинственной Дианы то и дело публиковались фривольные открове-

ния авантюристов, все они хвалились близким знакомством с женщиной, которую, вероятно, никогда не видели.

Доменико Марджотта, автор книжки «Заметки одного из тридцати трех: Адриано Лемми, Верховный Глава Франкмасонов», отправил Диане это свое сочинение и письмо, что-де присоединяется к ее бунту. Подпись выглядела так: Секретарь ложи «Савонарола» (Флоренция), Достопочтенный член ложи «Джордано Бруно» (Пальми), Верховный Великий Генеральный инспектор (тридцать третьей ступени Древнего и Принятого Шотландского обряда), Суверенный Князь мифа Мемфиса и Мизраима (девяносто пятой ступени), Инспектор ложи «Мизраим» в Калабрии и Сицилии, Почетный Член Национального Великого Востока Гаити, Активный Член Высшего Федерального совета Неаполя, Генеральный инспектор масонских лож трех Калабрий, Великий Пожизненный Магистр Масонского Восточного Ордена Мизраима или Египта в Париже (девяностой ступени), Комендант Ордена Кавалеров-Защитников Мирового Масонства, Почетный Пожизненный Член Высокого и Генерального Совета Итальянской федерации в Палермо, Постоянный Инспектор и Главный Делегат Великого Директорского Цен-

тра в Неаполе и действительный член Нового Реформированного Палладиума. Похоже было на то, что он большой человек у масонов, однако все кончалось новостью, что он недавно расторг с масонами все отношения. Дрюмон говорил, что этот Марджотта вернулся в католицизм, потому что верховное и секретное управление сектой досталось не ему, хоть он того заслуживал, а некоему Адриано Лемми.

И про эту-то темную личность Марджотта рассказывал все: как Лемми начал карьеру с воровства — в Марселе подделал векселя неаполитанской компании «Фальконе и Ко» и украл мешок жемчуга и триста золотых франков у жены своего друга-врача, пока она ему готовила чай на кухне, как потом сидел в тюрьме, а затем оказался в Константинополе, где нанялся к старому травщику-еврею и объявил, что готов отречься от крещения и принять обрезание. Евреи ему во всем пособничали, и он смог сделать уже описанную выше карьеру в масонских ложах.

Ну и вот, кончал свой рассказ Марджотта, «так проклятое Иудино семя, из которого произросли все несчастья человечества, использует все свое немалое влияние, дабы захватить высшее и всеохватное командование, поставив на самый

верх масонства одного из своих, да еще и самого преступного среди прочих».

Церковный мир приветствовал все эти обвинения: в книгу Марджотты, которую он опубликовал в девяносто пятом году («Палладизм. Культ Сатаны-Люцифера в масонских треугольниках»), были включены письма в поддержку автора от епископов Гренобля, Монтобана, Экса, Лиможа, Манда, Тарантеза, Памье, Орана, Аннеси, а также от Лудовико Пьяви — патриарха Иерусалимского.

Беда, однако, что разоблачения Марджотты бросали тень на добрую половину итальянской политической верхушки, а в особенности на личность Криспи. Криспи некогда был правой рукой Гарибальди, а ныне — первым министром Итальянского королевства. Покуда речь шла об антимасонских публикациях, где пережевывались фантасмагорические рассказы о страшных ритуалах, можно было жить и не опасаться. А вот когда дело дошло до тонких связей масонства и высокой политики, появился риск наступить на мозоль кому-нибудь могущественному и мстительному.

Таксиль по идее это знал, но он чересчур увлекся войной с Марджоттой, и вот выходит в свет

за подписью Дианы книга почти в четыреста страниц, «Один из тридцати трех: Криспи». Она представляет собою сборный салат из общеизвестных фактов, таких как скандал вокруг Римского Банка, в который Криспи был втянут, вперемешку с отчетами о договоренностях, которые Криспи заключил с демоном Хаборимом, и с рассказом об участии Криспи в камлании палладистов, когда все та же София Вальдер объявила, что она беременна дочерью, которой, в свою очередь, на роду написано родить Антихриста.

— Оперетка какая-то, — выходил из себя Дрюмон. — Ну кто может считать это политической борьбой! Дианина книга, однако, была благосклонно воспринята Ватиканом — и Дрюмон от бешенства не находил себе места. А надо знать, что Ватикан имел зуб на Криспи. Криспи установил на римской площади Цветов памятник Джордано Бруно, жертве их поповской нетерпимости, и тот самый день Лев Тринадцатый весь провел в искупительном молебствии у ног статуи святого Петра. Можно представить себе, до чего понтифик обрадовался, прочитав о Криспи все эти компрометирующие сведения. Папский секретарь монсеньор Сарди по поручению Его Святейшества отправил Диане не только тра-

дицонное апостольское благословение, но и живейшую благодарность с пожеланием, чтобы та крепила силы в своем достохвальном уличении «зловредной секты». Что секта зловредная, было очевидно, ибо демон Хаборим описывался с тремя головами, одна из них человечья с волосами как пламя, вторая котовья и третья змеиная. Хотя, конечно, Диана особо оговаривала, точности ради, что лично она не видела Хаборима в вышеописанном виде и что ей он всегда являлся в облике благообразного старца: серебряная борода, струистые власы.

— Как можно не заботиться о минимальном правдоподобии! — неистовствовал Дрюмон. — Вызнала, видите ли, тайную тайных итальянской политики! И кто? Американка, недавно переселившаяся во Францию! Естественно, публика не думает об этой и подобных мелочах, книга Дианы продается, но уж Его Святейшество! Его-то Святейшество мог бы не ставить себя в такое положение! Будто он верит любому пустозвонству. Надо же охранять церковь от ее собственных слабостей, господа! Первые сомнения в самом факте существования Дианы прозвучали как раз-таки со страниц «Либр Пароль». Раздались голоса и других католических изданий: «Авенир», «Юни-

вер». Обнаружились, однако, и такие католики, которые в лепешку готовы были разбиться, только бы доказать существование Дианы. В «Розье де Мари» появилось свидетельство председателя Союза адвокатов Сен-Пьера, Лотье, он клялся, что видел Диану в обществе Таксиля, Батая и того самого рисовальщика, который выполнил ее портрет. Правда, не в самый недавний период, а тогда, когда Диана еще была палладисткой. Тем не менее лицо ее, надо полагать, уже сияло неотвратимой духовной решимостью вернуться в лоно католицизма, потому что автор характеризовал ее следующими словами: «Она юна, ей двадцать девять лет, она грациозна, скромна. Рост ее выше среднего. Лицо открытое, честное и прямое. Взгляд сияет умом и выдает также решительность и привычку повелевать. Одевается элегантно и со вкусом, без подчеркнутости и того изобилия украшений, которыми так потешно грешит большинство богатых иностранок… Глаза у Дианы редкого цвета, порою морской синевы, порой цвета чистого золота». Девушке предложили шартрез, она отказалась из ненависти ко всему церковному. Пила она только коньяк.

Таксиль был главной фигурой на большом антимасонском конгрессе в Тренто в сентябре 1896

года. Однако именно тогда усилились подозрения и посыпались критические высказывания от немецких католиков. Некий отец Баумгартен затребовал свидетельство о рождении Дианы и записку от священника, принимавшего у нее клятвенное отречение от ереси. Таксиль отбивался, что доказательства-де у него в кармане, однако их не предъявил.

Еще один аббат, Гарнье, опубликовал в «Пёпль Франсэ» через месяц после Тридентского конгресса, что испытывает подозрения, не является ли Диана масонской мистификацией. Некий отец Байи в самом, пожалуй, авторитетном органе печати — «Ля Круа» — тоже написал о своих сомнениях. «Кёльнише Фольксцайтунг» вдруг вернулась памятью во времена, когда Батай-Хакс публично богохульствовал против Господа и всех его святых, прямо перед тем, как он сразу же немедленно принялся выпускать брошюры «Дьявола». Диану отстаивали ее непрошеный гарант — каноник Мюстель со своим «Ревю католик» — и уже знакомый нам кардинал-викарий Парокки, который написал ей: «Усиливайтесь против грозы клевет, не погнушавшихся поставить под сомнение самый факт Вашего существования».

Что ни говори, Дрюмону было не отказать в

развитой журналистской интуиции, и полезные знакомства у него имелись просто-таки везде. Симонини ломал голову, как тот смог, но ведь разнюхал же Дрюмон историю Хакса-Батая! Он вышел прямо на Хакса и вдобавок захватил того в состоянии подпития, обычно сопряженного с меланхолией и раскаянием. И тут рвануло! Хакс разразился излияниями сначала на страницах «Кёльнише Фольксцайтунг», а после этого на страницах «Либр Пароль». «После выхода энциклики *Humanum Genus*, — излагал он благодушно, — я почувствовал, что легковерность и непроходимую глупость католиков можно обратить в живую монету. Они ждали только Жюля Верна, чтобы он придал страховидность их разудалым бредням. И Жюлем Верном стал работать я. Брал вздорные вымыслы, помещал в экзотическую обстановку, никто же и не думал проверять… А католики заглатывали. Идиотия этой публики такова, что даже сегодня, скажи я, что блефовал, — не поверят мне».

Тогда Лотье повинился в «Розье де Мари», что, похоже, он обманывается и что та, о которой он свидетельствовал, — не Диана Воган. И наконец, загремели нападки иезуитов: отец Порталье разразился ими на страницах очень серьезного

журнала «Этюд». Мало того! Газеты наперебой оповещали, что монсеньор Нортроп, епископ Чарльстона (где живет и работает Пайк, Верховный Магистр Верховных Магистров), срочно поехал в Рим, чтобы заверить папу Льва Тринадцатого, что масоны в его городе — все люди порядочные и в их храмах не имеется никаких статуй Сатаны.

Дрюмон ликовал. Таксиля ликвидировали. Борьба против масонов и евреев возвращалась в серьезные руки.

24. Однажды ночью во время мессы

17 апреля 1897 г.

Разлюбезнейший капитан, ваши последние страницы вмещают в себя неописуемое количество историй. И ведь это только ваши истории, а есть еще и мои, в которых я тогда участвовал. Вы ведь знаете, вам же не могли не рассказывать (еще бы, при той массе слухов, которую распространяли Таксиль с Батаем!), что происходило со мной. Может быть, вы и больше помните, нежели я. Мне нелегко восстанавливать. Если сейчас апрель 1897 года, значит, Таксиль и Диана в моей жизни заняли не менее дюжины лет, и не упомнишь, сколько всего смогло случиться за это время. Скажем, мы как-то устранили Буллана. Но когда это было? Примерно через год после начала выпусков «Дьявола». Или даже меньше чем через год. Буллан приехал однажды в Отей, переполошенный, с пеной у рта, которую он не переставая утирал платком. — Я погиб, меня убивают! Доктор Батай решил, что раз так, самое лучшее — стаканчик спиртного. Буллан не стал отказываться. После стаканчика он бессвязно забормотал что-то про порчу и про сглаз.

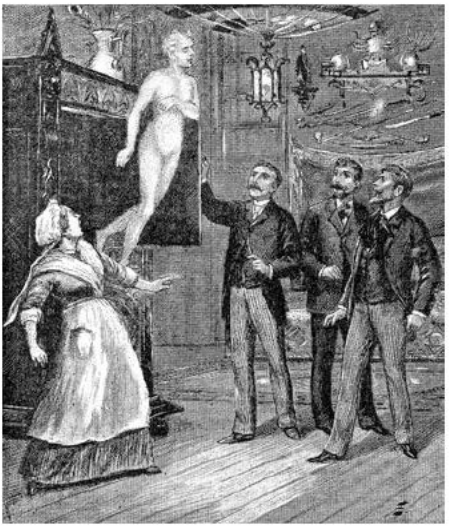
У него, оказывается, были дурные отношения со Станисласом де Гуайта и со всем каббалистическим орденом розенкрейцеров, а также с Жозефином Пеладаном, который потом, в порядке диссидентства, учредил объединение Католических Розенкрейцеров, — об этом, ясное дело, в «Дьяволе» немало уже было опубликовано. На мой вкус, розенкрейцеры Пеладана мало чем отличались от секты Вентраса, где Буллан был провозглашен верховным понтификом. Все это были солидные мужчины, расхаживавшие в саккосах, усеянных каббалистическими знаками. Не было ясно, на стороне ли они Господа Бога или же дьявола, и, подозреваю, как раз поэтому Буллан и Пеладан были на ножах. Потому что паслись на одной территории и пытались приваживать одни и те же заблудшие души.

Приспешники Гуайты изображали его утонченным аристократом (он был маркиз). Этот коллекционер гримуаров с пентаграммами, трактатов Луллия и Парацельса, рукописей своего учителя белой и черной магии Элифаса Леви и прочих герметических сочинений неописуемой редкости квартировал, по слухам, в полуподвальном этаже на авеню Трюден. Принимал у себя оккультистов, и только оккультистов. Не

выходил на божий свет по нескольку недель. И именно там, рассказывали, Гуайта и дрессировал привидение, которое держал у себя в шкафу, напичкивался алкоголем и морфием, давал волю бредовому воображению.

До чего много сил посвящал он зловещим материям, вычитывается из одних уж названий его работ: «Опыты проклятых наук». Изобличаются Люциферовы козни, сатанинские кляузы, дьявольские прохиндейства Буллана, описываемого как извращенец, «возвысивший блудодеяние до литургического действа».

История эта не нова. Уже в 1887 году Гуайта и его приближенные созвали «инициационный трибунал» и вынесли приговор Буллану. Моральный, предположительно? Буллан, наоборот, утверждал, что приговор был буквальный. Он буквально ощущал удары, агрессию, бомбардировку оккультными флюидами, град неосязаемых дротиков, которыми Гуайта и прочие гвоздили его, оставаясь на безопасном расстоянии. И вот Буллана совсем отчаянно припекло.



...И именно там, рассказывали, Гуайта и дрессировал привидение, которое держал у себя в шкафу, напичкивался алкоголем и морфием, давал волю бредовому воображению...

— Что ни вечер, ложусь, не поверите: лупит, мутузит, костыляет! И не иллюзия больных чувств, а взаправду колотит и трясет! Потому что даже кота подбрасывает, будто по нему пропустили

электричество! Мне известно, Гуайта сотворил восковую фигуру, он пронзает фигуру булавкой, я испытываю нестерпимую боль. Я попробовал контрчародейство. А Гуайта тут же унюхал опасность. Он в этом ремесле меня превосходит: поворотил мои же чары против меня. Глаза у меня заволакиваются, в груди у меня тяжелеет, не знаю уж, сколько часов удастся мне еще просуществовать на этом свете. Не понимали мы, в какой мере рассказ Буллана совпадает с действительностью, но это не имело значения. Бедняге явно приходилось туго. И тут Таксиля посетила одна из его гениальных идей.

— А вы скажитесь-ка мертвым. Оповестите надежных посредников, что испустили дух в Париже, находясь там по делу. Не возвращайтесь в Лион. Побрейтесь, остригитесь, перемените внешность. Подобно Диане, проснитесь совершенно новым человеком, но, не в пример Диане, им и останьтесь. До тех пор как Гуайта и его присные, уверовавши в вашу гибель, не перестанут изводить вас.

— Как же мне жить, не возвращаясь в Лион?

— Ну как! Вы можете пожить тут в нашем доме, в Отее, по крайней мере пока скандал не утихнет, а ваших недоброжелателей не уличат. Диане ведь

тоже необходима компания и уход, и вы, конечно, принесете больше пользы как ежедневный смотритель, чем как эпизодический гость.

— Однако, — добавил Таксиль, — если у вас есть надежные друзья, до объявления смерти отправьте им встревоженные письма, полные предчувствий близкой гибели, и обратите их подозрения на Гуайту и Пеладана, чтобы неутешные последователи развязали хорошенькую обвинительную кампанию против этих ваших убийц.



...Он буквально ощущал удары, агрессию, бомбардировку оккультными флюидами, град неосязаемых дротиков, которыми Гуайта и прочие гвоздили его, оставаясь на безопасном расстоянии...

Так и сделали. Единственным человеком, кто был посвящен в настоящие обстоятельства дела, была мадам Тибо, ассистентка, жрица, наперсница (а может, даже нечто большее) аббата

Буллана. От нее и исходило достигшее ушей всех парижских друзей и почитателей умилительное описание его агонии. Не могу сказать, как она решила вопрос с лионцами. Думаю, захоронила порожний гроб. Вскоре после этого она поступила домоправительницей к другу и посмертному заступнику Буллана Гюисмансу, популярному писателю, и готов поспорить, что не раз и не два одинокими вечерами, когда меня не было в Отее, она наведывалась к нам повидаться со своей прежней пассией.

Получив уведомление о смерти Буллана, журналист Жюль Буа накинулся на Гуайту на страницах «Жиль Блаза», раскрывая перед общественностью и колдовские того приемы, и убийство Буллана. «Фигаро» опубликовала интервью с Гюисмансом, в котором подробно растолковывалось, как действовало чернокнижие Гуайты. Потом опять в «Жиль Блазе» тот же Буа выступил с требованием выкопать труп, произвести вскрытие, удостовериться, что печень и сердце действительно имеют следы перфораций от нематериальных дротиков Гуайты. И пусть заведут судебное дело.

Гуайта вышел с ответами тоже в «Жиль Блазе». С явной иронией по поводу своего предполагаемого смертоносного ведовства: «Хотя пусть так,

если вам угодно! Я умею вырабатывать тонкие яды колдовским искусством! Я улетучиваю их в пар, возгоняю, перегоняю на сотни лье, загоняю в ноздри тех, кто мне особенно несимпатичен. Я Жиль де Рэ будущего столетия!» И он вызывал на дуэль и Гюисманса и Буа.

Батай хихикал, напоминая публике, что в результате всех великих волхвований как с той, так и с этой стороны ни у кого не появилось ни царапины. Однако тулузская газета возражала, что налицо недвусмысленное проявление некромантских чар: одна из лошадей, кативших на место дуэли ландо Буа, рухнула без видимой причины; перепрягли; другая лошадь тоже рухнула неизвестно почему, и ландо перевернулось, и Буа в конце концов добрел на поле чести с ног до головы избитый, в ссадинах и синяках. Еще он жаловался, что одна из его пуль застряла в стволе пистолета, и это тоже явное свидетельство сверхъестественных подлых происков.

Друзья Буллана довели до сведения газетчиков, что розенкрейцеры Пеладана заказали мессу в Нотр-Дам, но в момент освящения святых даров обнажили кинжалы и нацелили их прямо на алтарь. Поди знай, правда ли. Для «Дьявола» подобные репортажи были — бальзам на сердце, и

даже менее невероятны, чем те, к которым была приучена их публика. Но становилось ясно, что без Буллана «Дьявол» захиревает. Требовалось немедленно спасать положение. — Вы умерли, — сказал Буллану Батай. — И что теперь напишут и наговорят о вас покойном, не стоит вам на это обращать внимание. А на тот случай, если вы когда-нибудь воскреснете, мы разведем вокруг вас такую таинственность, что вам же выйдет одна только сплошная польза. Поэтому не волнуйтесь, что бы вы о себе ни прочитали. Это будет касаться Буллана персонажа. Буллана, которого уже нет.

Буллан не стал протестовать. А как маньяк и нарциссист, он даже радовался, читая, что нагораживает Батай, описывая предполагаемую Буллановy колдовскую мастеровитость. На самом же деле его ничего не интересовало, кроме Дианы. Буллан был околдован Дианой. Не отходил от нее, с болезненной настойчивостью осаждал, и я почти боялся за нее, вконец замороченную его фантазиями, как будто и без того она была мало оторвана от реальности.

* * *

Вы хорошо определили, что случилось потом. Католический мир раскололся. Одна из половин

поставила под вопрос сам факт действительного существования Дианы Воган. Хакс предал всех. Постройка Таксиля кренилась и падала. Нас немолчно травила целая свора противников. Опаснее всех были подражатели Диане, вроде этого Марджотты, о котором у вас сказано. Мы понимали, что кое в чем пересолили и что трехголовый дьявол, обедающий с первым министром итальянского правительства, — это в общем-то немножко неудобоваримая сцена, что бы и кто бы на эту тему ни говорил.

Немногочисленные встречи с отцом Бергамаски позволили мне понять, что в то время, как римские иезуиты («Чивильта́ Каттолика») решительно все еще поддерживали Диану, иезуиты французские (достаточно взглянуть на ту самую статью отца Порталье, которую вы выше процитировали) были явно намерены дезавуировать всю историю. Новое краткое собеседование с Эбютерном — и я понял, что масоны тоже ждут не дождутся, когда придет этому фарсу конец. Причем если католики рассчитывают разобраться шепотком, вполголоса, и прикрыть историю, не опорочив собственное начальство, — масонам желательно получить громкий скандал, чтобы все годы антимасонской пропаганды Таксиля

стали выглядеть как бессмысленное кваканье.

И наступил день, когда ко мне пришло одновременно две записки. В одной из них падре Бергамаски писал: «Можете пообещать Таксилю пятьдесят тысяч франков, чтобы он свернул все это дело. Братски во Х-те, Бергамаски». Другая была от Эбютерна: «Пора закругляться. Дайте Таксилю сто тысяч, пусть скажет, что он все выдумал».

Значит, у меня есть прикрытие и справа и слева. Можно переходить к действиям. Разумеется, не раньше, нежели я получу на руки обе обещанные суммы.

Ренегатство Хакса облегчило мою задачу. Оставалось подтолкнуть Таксиля к обращению, или переобращению, как ни называй это, суть одна.

У меня опять имелось сто пятьдесят тысяч франков, а Таксилю за глаза должно было хватить и семидесяти пяти, ибо я имел увещевания повесче денег. — Таксиль, с Хаксом кончено. Не могу себе представить Диану на публичном допросе. Я подумаю, как убрать ее. Но по-настоящему беспокоите меня вы. До меня дошли слухи, что масоны решили от вас избавиться. А вы сами писали о том, до чего жестоки они с предателями. В прошедшие времена католики встали бы на

вашу защиту. В нынешнее время, как вы видите, и иезуиты от вас отмежевываются. Что же, сейчас вам открыта уникальная возможность. Некая ложа, не спрашивайте меня кто, потому что дело это секретное, предлагает вам семьдесят пять тысяч франков, если вы на весь мир громко заявите: все, что написали, вы навыдумывали. Понимаете, какая выгода от этого для масонской ложи. Она обелит себя от навоза, которым вы перемазали масонов. И тем же навозом изгваздает католиков, за их блаженное легковерие. Что же до вас, то вам получится великий барыш: дополнительная популярность. Новые ваши книги распродадутся пуще предыдущих. Замечу, что на данный момент продажи среди католиков падают. Вы вернете себе читателей — антиклерикалов и масонов. Имеет смысл!

Настаивать долго не пришлось. Таксиль фигляр, идея показаться перед публикой в новом фарсе несказанно пришлась ему, и глаза уже лихорадочно блестели.

— О, послушайте, дорогой аббат, значит, так, арендуем зал, сообщаю журналистам, что в определенный день выступит Диана Воган и предъявит собравшимся фотографический снимок демона Асмодея, который она сняла с личного

позволения Люцифера. На афише припишем, что разыгрывается также и лотерея, главный приз будет пишущая машинка стоимостью четыреста франков, машинки не надо, разыгрывать ничего не будем, потому что я просто выйду и скажу, что Дианы не существует. Коль не существует Дианы, то логично, что не существует и пишущей машинки. Так и вижу эту потрясающую сцену! Напечатают во всех газетах. Обязательно на первых страницах. Изумительно. Дайте мне время подготовиться к этому важному выступлению. А также, если вас не затруднит, я хотел бы забрать аванс из этих семидесяти пяти тысяч франков. Понимаете, накладные расходы… На следующий день зала была уже арендована Таксилем — зала Географического общества. Но только на пасхальный понедельник. Пришлось мне сказать Таксилю:

— Что делать. До Пасхи еще почти целый месяц. До этого дня избегайте показываться. Чтобы не возникало новых сплетен. А я подумаю, куда упрятать Диану. Таксиль колебался, губа у него дрожала, усы над губой тоже:

— Я не хотел бы… чтобы Диану… ну, устранили.

— Какие глупости. Вы говорите с духовным

лицом. Диану отвезут откуда в свое время взяли. Мне показалось, что ему не по себе при мысли о потере Дианы. Но страх перед мщением масонов пересиливал. Этот тип не только махинатор, а и капитулянт. Интересно, как бы он отреагировал, скажи я, что да, действительно, имею намерение устранить Диану? Думаю, из-за страха перед масонами он принял бы в конце концов это как данность. Лишь бы только не лично ему поручили провести устранение.

Пасхальный понедельник будет 19 апреля. Наш разговор с Таксилем проходил за месяц до того. Значит, 19 или 20 марта. Сегодня 17 апреля. Что же, складывая понемножку события последнего десятилетия, я довел свою историю до прошлого месяца. Этот дневник должен был послужить мне, а равно и вам, для нахождения причины моей потерянности. Причина все еще не нашлась. Может быть, великая встряска имела место как раз в одну из четырех последних недель?

Я как будто страшусь дальше припоминать…

18 апреля, рассвет

Пока Таксиль изощрялся и гадал, чем ошарашить публику, Диане в голову не приходило, что готовится нечто экстраординарное. Между первой и второй своими фазами она удивленно

вслушивалась в наши лихорадочные переговоры и, казалось, вникала в них, только когда имя или название местности освещали слабеньким светом какие-то грани ее сознания.

Она все больше напоминала растение. Единственным проявлением животной природы была все ярче выражаемая чувственность, обращаемая на кого придется — на Таксиля, на Батая, пока он еще был, на Буллана (разумеется!) и — хотя я и берегся, дабы не подать ей никакого повода — даже и на меня.

К нам Диана попала двадцатилетней, ну, двадцатилетней с небольшим, а сейчас ей уже перевалило за тридцать пять. Тем не менее (говаривал Таксиль со все более сальною улыбочкой), созревая, она прибавляла в цене. Похоже, в глазах Таксиля женщина старше тридцати может иметь какую-то привлекательность… Тупая витальность наполняла ее тело силой, как дерево соками, а глаза ее туманились, и в них зыбилась тайна.

Но по части этих вывертов физиологии я неопытен. Господи, зачем я занимаюсь телесной формой этой женщины, притом что ей была отведена роль всего лишь только мизерного орудия?

* * *

Я тут писал, что Диана не понимала, что происходит. Ошибка. В марте (вероятно, из-за того, что ее не посещали ни Таксиль, ни Батай) она вдруг утратила покой. Истерика за истерикой, демон (так она выражалась) искушал ее свирепо, ранил, грыз, перекручивал ей ноги, наносил удары по лицу — и она показывала синяки вокруг глаз. На ладонях у нее прорезались какие-то язвы, походившие на стигматы. Непонятно было, с какой стати силы ада так обрушиваются именно на палладистку, почитательницу Люцифера. Она тянула меня за одежду, будто взывая о помощи. Я пошел в комнату Буллана, знавшего в заклинаниях толк. Мы вернулись уже вдвоем. И действительно, как только Буллан вошел, Диана вцепилась в его руки, трясясь. Он завел ей ладони за затылок, спокойной речью утишил ее дрожь, после этого плюнул прямо ей в рот. — Кто же тебе говорит, дочь моя, что тебя испытывает господин твой Люцифер? Не вернее подумать ли, что, попирая и карая тебя за веру палладистскую, изуверствует Враг, превосходнейший твой Враг, сей эон, именуемый Иисусом Христом? Или кто-либо из его так называемых святых? Растерявшись,

Диана отвечала: — Однако, уважаемый аббат, я по той-то причине и палладистка, что не готова признать какую бы то ни было власть злодейтельного Христа, до такой степени, что однажды я отказалась прободать кинжалом просфору, поскольку сочла безумством признавать присутствие духа в том, что для меня только колобок из теста. — И ты ошиблась, дочь моя. Полюбуйся, как поступают христиане, провозглашающие верховность этого своего Христа. Не утверждают же они поэтому, будто дьявола не существует. Более того: христиане страшатся дьяволовых подвохов, вражды, соблазнов. Точно то же и у нас. Веруя в господа нашего Люцифера, полагая, что врагом его является Адонай, выступающий в обличье Христа, мы допускаем его духовное существование и проявление через злодейства. Значит, следует тебе склонить выю и уничижить образ противника тем единственным способом, который допускается для верных люцифериан. — И каков этот способ? — Черная месса. Не видать тебе благорасположения Люцифера, нашего повелителя, если не возвеличишь его славной черной мессой, в знамение отречения от христианского бога. Диана, похоже, была согласна. Буллан спросил меня, можно ли сводить ее на

сборище сатанистов, дабы она уверилась, что сатанизм, люциферианство и палладизм имеют единые цели и единое очистительное назначение. Мне не больно-то хотелось отпускать Диану из дому, но ей явно было полезно хоть немного проветриться.

* * *

Я застал Буллана в доверительной беседе с Дианой. Он ей тихо говорил: — Ну как, тебе понравилось вчера? Что у них там было вчера? Еще он говорил:

— Хорошо. Сегодня я служу еще одну мессу в Пасси. Замечательная ночь! Двадцать первое марта, весеннее равноденствие! Богатейшими оккультными смыслами славится эта ночь! Ну, если ты соглашаешься прийти, я тебя должен буду отдельно приготовить, духовно приготовить, сейчас же, с глазу на глаз, и под тайной исповеди.

Я понял, что приходится выйти. Буллан оставался с нею более часа. Наконец меня пустили обратно. Буллан сказал, что Диана завтра едет в заброшенную церковь в Пасси, но чтобы я сопровождал ее. — Да, господин аббат, — покивала Диана. Глаза ее непривычно горели, а щеки рде-

ли. — Да, да, прошу вас.

Мне б отказаться, но разжигало любопытство. И не хотелось выглядеть ханжою перед Булланом.

* * *

Пишу, трясусь, рука почти сама идет по бумаге, не помню больше ничего, а только переживаю. Все, что рассказываю, видится мне так явно, будто повторяется здесь и сейчас.

Вечер 21 марта. Вы, капитан, начали дневник 24 марта и в самом начале указываете, что я утратил память утром двадцать второго. Значит, если что-то ужасное произошло, это должно было быть вечером двадцать первого.

Вот я и восстанавливаю. Но трудно. Наверное, у меня жар. Голова горит.

С Дианой из Отея мы едем, наняв фиакр. Возница на меня скоса глянул, точно ему не понравился такой заказчик, даром что одетый в сутану. Но, заслышав, сколько обещается чаевых, тронул без разговоров. Все дальше от центра, все темнее аллеи, и в конце концов попадаем в переулок, обставленный заброшенными хижинами. Вдали показывается тупик, замкнутый осыпавшимся фасадом древней часовни.

Сходим. Кучер, похоже, торопится уехать до

такой степени, что, пока я шарю по карманам в поисках одного-двух франков, он выкрикивает:
— Не беспокойтесь, господин аббат, мне довольно и этого! — Холодно и страшно, — говорит Диана, прижимаясь ко мне.

Я от нее отстраняюсь. Но при прикосновении, не видя ее, только дотрагиваясь до ее локтей под верхней робой, я отмечаю, что она одета странновато: мантилья с капюшоном окутывает ее от макушки до пят, в темноте она неотличима от монаха из тех, которые прошмыгивают в подземельях строгих монастырей на страницах готических романов, что были модны в начале нашего столетия. Я этой, кажется, накидки не видел у нее никогда. Хотя, разумеется, мне не приходило в голову шарить у нее в сундуке, который она привезла с собою от Дю Морье из психиатрической лечебницы.

Дверь капеллы оказалась незапертой. Мы вошли в придел, озарявшийся свечами, горевшими в алтаре и на многих треножниках, расставленных полукругом по периметру апсиды. Свет сиял венцом около престола. Престол был под темным покровом, вроде погребального. Где положено быть или распятию, или иконе, находилась статуя козлоподобного демона, с воздетым фаллом

непропорционального размера, не менее чем в тридцать сантиметров. Свечи не белые и не кремовые, а черные. В середине аналой, на нем разложены три черепа. — Я уже все знаю от аббата Буллана, — зашептала Диана, — это мощи волхвов, настоящих волхвов, не подложных. Это Теобен, Мензер и Заир. Те, кто были предупреждены возгоранием падучей звезды и спешно покинули Палестину, дабы не быть свидетелями при рождении Христа.

Перед престолом, тоже полукругом, выстроились юные девы — слева и отроки — справа. Все они так молоды, что почти невозможно понимать различие полов, весь полуциркульный строй составлен из изящных андрогинов. Тем в них труднее разбираться, что их головы увиты увядшими розами. Мальчики, правда, обнажены. Они показываются друг другу, меряются своими доблестями. Девочки в коротких туниках из почти прозрачного тюля, просвечивают маленькие груди и угловатые бока. Ничто не скрыто. Все они очень хороши, хотя на лицах читается скорее лукавство, чем детская невинность. Тем самым отроки и соблазнительнее. Я обязан признать (дико, впрочем, что я, прелат, исповедуюсь перед вами, капитаном!), что во время как меня не то

чтобы страшат, но никак не тешат солидные дамы, я вполне подвластен пригожеству недоспелых существ.

Вереница томных послушников проплывает по алтарю, выносят нам небольшие кадильницы, раздают кадильницы участникам. Укрепляют какие-то смолистые ветки на треножниках. Зажигают. Вспыхивают огоньки в кадилах, возносится от этих кадил дым густейший и на редкость беспокойный запах экзотических курений. Обнаженные эфебы разносят всюду какие-то чаши. Одна из чаш достается мне. — Испейте, аббат, — говорит мне подросток с дерзким взглядом. — И проникнитесь духом нашего обряда.

Я выпиваю, после чего вижу и слышу все как в тумане.

Входит Буллан. На нем белая хламида, алый орарь и на шее — распятие вверх ногами. Распятие несет на себе черного козла, вставшего дыбом, выпятившего рога. При первом движении священнослужителя, по небрежению ли, по случайности, или с извращенною намеренностью, платье спереди расходится, и высовывается огромный фалл, какого я и предположить не мог в таком обрюзгшем человеке, притом напряженный, вероятно от воздействия снадобья,

заблаговременно им принятого. Ляжки его обтянуты чулками, темными, но прозрачными, в точности как те, на картинках, публикуемых в «Шаривари» и других еженедельниках, доступных даже аббатам и кюре, некоторым почти поневоле, где изображается Селеста Могадор, когда она отплясывает канкан в «Танцевальном зале Мабия».

Пастырь поворотился тылом к молящимся и начал мессу по-латыни, андрогины подпевали ему.

— Во имя Астарота, Асмодея и Вельзевула. Миром Сатане помолимся.

— Сатано, ликуй.

— Об изобилии вожделений наших земных помолимся.

— Поклонихомся.

— Заступи и сохрани нас, простри тьму свою на нас и порази врагов наших, Люцифере, твоею силою.

— Тебе, Сатано.

— Блудодейства наши умножи.

— Всякой непотребе потворник.

— Яко подобает тебе слава, честь и поклонение.

— Благослови, душе моя, Сатану и вся внутренняя моя всю татьбу его. После этого Буллан

вытащил из складок одежды крест, положил себе под ноги и потоптал:

— Крест, тебя я попираю в память и отмщение старинных Магистров Храма. Ибо ты лжеорудие обожествления лжекумира и лжегоспода Христа Иисуса. В это мгновенье Диана без предупреждения, будто испытывая наитие (но, я уверен, по наущению Буллана, он же ее инструктировал с глазу на глаз), двинулась вперед, прошла весь неф между расступившимися крыльями толпы и прямо стала перед алтарем. Тогда, повернувшись к правоверным (или к левоверным, если можно так сказать), торжественным движением она разметнула плащ и просияла наготой. У меня, боюсь, не отыщется подходящих слов, капитан Симонини… В общем, она уподобилась откровенной Изиде. Только лицо было упрятано под тонкой и черной маской. Спазмом сперло у меня горло. Я впервые лицезрел женщину в непереносимой остроте ее распахнутого тела. Волосы рыжего золота, обычно затянутые в пучок, разметаны и бесстыдно ласкаются к ягодицам, к вызывающе округлым шарам. Это языческая статуя. Гордо поставленная шея. Подобная столпу на мраморной опоре плеч. А груди… Я впервые взираю на сосцы женские. Твердо, гордо, сатанически выпирают

они вперед и вверх. Между ними единственное украшение не из плоти — кулон. Его Диана не снимает никогда.

Поворотившись, с развратной податливостью она одолевает три ступени, ведущие на алтарь. Священник укладывает ее откинутой головой на подушку (черный бархат, серебряная бахрома). Волосы растекаются по обе стороны престола. Живот плавно вздымается. Бедра разведены, и не прячется медвяное руно, опушающее врата в грот женской тварности. И тело угрожающе сияет в алом отблеске свечи.

Господи боже, не могу найти приличествующих слов. Что я вижу! Самородный ужас перед женским телом отступает, и улетучивается робость. Мной всецело владеет новое чувство, будто неиспробованный сок бежит по моим жилам.

Буллан на грудь Дианы возлагает малый фалл из слоновой кости. На лоно — убрус узорчатый, а поверх убруса — дискос из темного камня.

Он берет с дискоса просфору, явно не из тех, капитан Симонини, коими вы торгуете. Нет, просфору собирается святить сам Буллан, отправитель таинств святой римской церкви, хотя и расстриженный, прямо на лоне распростертой бесстыдной Дианы.

И говорит: — В воспоминание твое, Господи Сатано, жрется сие, недостойный твой раб, освящаю. Аминь.

Берет просфору, дважды кладет на пол, дважды вздымает к небу, переворачивает через правое ребро, переворачивает через левое, приговаривает: — С юга взыскуем благоволения Сатаны, с востока взыскуем благоволения Люцифера, с севера взыскуем благоволения Велиала, с запада взыскуем благоволения Левиафана, да распахнутся адовы створы, да приидут, взываем, Дозорщики Кладезя Бездны. Отче наш, иже еси во адове, да проклянется имя твое, да сгинет царствие твое, да презрится воля твоя на земле и на небе! Славься имя Зверя!

И хор алтарников громко: — Шесть, шесть, шесть!

Число Зверя!

И вопиет Буллан: — Величит душа моя Люцифера, имя же его Погибель. Учитель блуда, любовей противоприродных, благого кровосмешения, божественной содомии, Сатано, славься! Тебе же, Иисус, повелеваю воплотиться в просфоре сей, возобновятся да страсти твои, и наново да приимешь муки твои от гвоздей, коими распяли тебя! Прободай тебя копие Лонгиново! — Шесть,

шесть, шесть, — повторяют отроки.

Буллан поднял просфору и опять завыл: — В начале была плоть, и плоть была у Люцифера, и плоть была Люцифер. Она была в начале у Люцифера, все через плоть начало быть, и без плоти ничто не начало быть, что начало быть. И плоть стала словом и обитала с нами, полная мглы, и мы узрели тусклую славу единородной дщери Люцифера, чье имя вопль, и ярость, и алчба.

Частица на лоне Дианы. Частица влагается ей в чрево. И снова вынута, и воздета к своду нефа, с воплем громогласным: — Приидите и пожрите!

Двое андрогинов простираются перед ним, подымают его хламиду и лобзают его возбужденный член. Потом юные алтарники толпой низвергаются к его стопам, и в то время, как мальчишки ублажают сами себя, девочки сбрасывают одежды и сплетаются парами, исторгают развратные вопли. Воздух теперь пахуч, невыносимо резкий фимиам чувствуется везде. Собравшиеся запыхтели пылко, потом сладострастно застонали, и обнажились, и кинулись совокупляться друг с другом и с кем попало, не различая ни возраста, ни пола. В мареве вдруг вижу: мегера семидесяти годов, в морщинах вся, чьи груди мотаются капустными листами, на худосочных

ногах, извивается по полу в исступлении, а прелестный отрок жадно целует у нее то, что некогда было вульвой.

Обратившийся в содрогание, озираюсь, не уяснить, как мне выбраться из этого лупанария, скорченный трясусь, все заволокло ядовитым дымом, будто в облаке, я опоен, ничего не смыслю, и вокруг какая-то красная хмарь. Неожиданно, через морок, замечаю, подбирается ко мне Диана, как была нагая, но теперь без маски, подбирается от алтаря, а перед нею, гляжу, своры безумцев, не завершив свальный грех, расползаются от прохода, раздвигая для Дианы дорогу.

Прочь от них, не слиться с табунами одержимых! Я все пятился, покуда не уперся лопатками в столб. Диана, тяжело дыша, налегает на меня, о господи. Спотыкается перо и обмирает ум у меня, набухая слезами отвращения. Я и ныне, в точности как тогда, весь залит слезами. Я не мог кричать, рот у меня залепило что-то не мое, и я рухнул наземь, одуряемый ароматами. Это тело, совокупляющееся с моим. Я во власти крайнего предсмертного возбуждения. Обуреваем черной силой, подобно истеричке из Сальпетриера, руками трогаю (своими собственными руками! будто по собственному желанию!) чужую плоть.

Прохожу в ее разверстую рану, будто ведомый страстностью знания хирург. Но в то же время заклинаю чаровницу оставить меня. Кусаю ее, защищаясь, на что она хрипло кричит, еще, еще, больнее, я запрокидываю голову… О, предсказания доктора Тиссо! Ведь упреждал же он, что от этого безумства воспоследует исхудание тела, станет землистым лицо (недвусмысленное провозвестие смерти), а еще заволакивается взор, нарушается сон, появляется сухой зев, болевое ощущение в глазных яблоках, зловонные багровые высыпания на лице, рвота белыми сгустками, болезненное сердцебиение, и в результате будут иметь место сифилис и слепота.

Ничего уже не вижу, и вдруг у меня наступает самое мучительное, невысказуемое и невыносимое ощущение за всю жизнь. Будто вся кровь из жил моих внезапно вырвалась, пульсируя, из всех отверстий, из напряженных до отказа членов, из носа, из ушей, из кончиков пальцев и даже из заднего прохода, на помощь, на помощь, вот тут-то я и понимаю, что есть смерть, от коей бежит любое живое создание, хотя и ищет ее, поскольку по противоприродному инстинкту хлопочет о размножении собственного семени…

Не могу больше писать. Я не вспоминаю, я

вновь переживаю. А этот опыт непереносим. Желаю только одного — вновь утратить память…

* * *

Выныриваю из обморока. Передо мной опять Буллан. Он держит за руку Диану. Диана уже окутана плащом. У двери экипаж, говорит Буллан. Диану надо бы отвезти домой, она в изнеможении. Диана дрожит. Из уст ее излетает нечто невразумительное.

Буллан услужлив. Будто оправдывается. Да и впрямь ведь именно он втянул меня в эту омерзительную историю. Но когда я сказал ему, что он свободен и о Диане позабочусь я, он запротестовал. Настаивает, чтобы ехать ему с нами. Напоминает, что и он живет в Отее. Похоже, ревнует. Хочется побесить его. Говорю: а я не в Отей поеду. Я отвезу Диану к верным друзьям.

Буллан бледнеет. У него как будто отнимают добытую жертву. — Не имеет значения куда, — говорит Буллан. — Я поеду с вами. Диане явно требуется помощь.

В фиакре я, не подумав, говорю: на улицу Мэтра Альбера. Как будто непроизвольно решил, что теперь Диане настала пора исчезнуть из Отея. Буллан озадаченно смотрит, но молчит, садится

в фиакр и берет Диану за руку.

В течение поездки все молчат. Мы входим ко мне. Я укладываю в кровать Диану. Беру ее за кисть, впервые обращаюсь к ней с тех пор, как все это между нами стряслось. Стряслось в совершеннейшем безмолвии. Я кричу на Диану: — Зачем, зачем?!

Буллан всунулся было, но я отшвырнул его к стенке, и он упал. Лишь тогда я заметил, до чего этот проклятый хил и немощен. Я в сравнении с ним совершенный Геркулес.

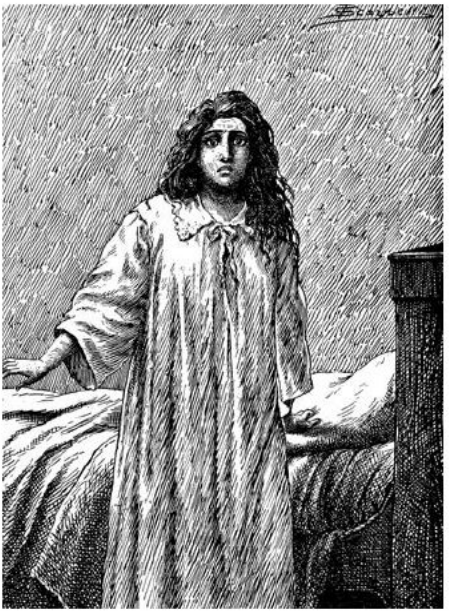
Диана извивается, плащ разъехался у нее на груди, мне ее телеса отвратительны, тороплюсь закрыть их чем попало, рука впутывается в цепь, это медальон, дергаю, разрыв, медальон у меня в руках, Диана борется за него, я отскакиваю в другой конец комнаты и приоткрываю крышку.

В золоте выбито изображение скрижалей Моисеевых и подпись по-еврейски. — Что это? — требую я ответа у Дианы. Та, почти бездыханная, замолкает на ложе. — Что означают эти знаки возле портрета твоей матери? — Мать моя… — лепечет та совершенно беззвучно, — еврейка… Верила в Адоная…

Вот оно что.

Мало того что я совокупился с женщиной, с

отродьем дьяволовым, так еще и с еврейкой! У них же раса наследуется по матери. Значит, ежели семя мое оплодотворило ее нечистое чрево, мне, выходит, судится от рока породить на свет еврея? — У-у, со мной не пройдет! — взвываю я и накидываюсь на блудницу, жму ее горло, она барахтается, я усилил хватку, Буллан пришел в себя и борется со мною, снова отшвырнул его пинком в промежность, он потерял сознание, поник в углу, я снова на Диане (схожу с ума, воистину…), глаза ее потихоньку выкатываются из орбит, язык, раздутый, вываливается из распахнутого зева, она испускает сипение и окончательно мякнет. Я поднимаюсь и отряхиваюсь. Я понял, что я сделал. В углу стонет Буллан, быть может, я лишил его мужской способности. Не важно. Я хорохорюсь, ухмыляюсь. Что бы там ни было, отцом еврея я никогда не буду.



...Мать моя, – лепечет та совершенно беззвучно, – еврейка...

Стараюсь успокоиться. Говорю себе, что тело женщины нужно перенести в клоаку под нижним этажом. Там уже многолюднее, чем на вашем хваленом пражском кладбище, капитан.

Но темно. Нужно же, чтобы кто-нибудь посветил. Весь коридор до вашей квартиры, по лестнице в магазин, через лаз в подпол. Не обойтись без Буллана. Вон он барахтается на полу и пучится на меня, как невменяемый. К тому же я понимал, что не годится отпускать свидетеля преступления. Я вспомнил пистолет, полученный от Батая, выдвинул ящик, наставил оружие на Буллана. Тот продолжает глядеть завороженно. — Сожалею, аббат, — произнес я. — Хотите спасти жизнь, помогите мне убрать это сладчайшее тело. — Да, да, — бормотал он, будто в любовном трансе. Похоже, что мертвая Диана с вываленным языком и вытаращенными глазами казалась ему не менее желанною, чем обнаженная Диана, удовлетворившая мною свое любострастие. И я тоже еле держался на ногах. Как во сне, я завернул ее в плащ, сунул Буллану в руки свечу, ухватил бездыханное тело за ноги и протащил по коридору до самой вашей квартиры, а затем по лестнице в магазин и оттуда в клоаку. На ступеньках труп с зловещим стуком ударялся головой. Наконец я уложил покойную подле останков Далла Пиккола (другого).

Буллан, казалось, сошел с ума. Он давился смехом. — Сколько тут трупов, — сказал он. — По-

хоже, предпочтительней проживать тут, нежели наверху, в том мире, где Гуайта поджидает меня… Не остаться ли мне с Дианою? — Извольте, аббат, — отвечал я. — Это соответствует моему желанию.

Я выхватил пистолет, выстрел пришелся ему в середину лба.

Буллан криво рухнул на ноги Дианы. Пришлось нагнуться и переложить его обок ее тела. Они легли рядышком, как любовники.

* * *

Ну, вот я и восстановил в ходе рассказа, вот я и раскопал в истерзанной памяти досконально все, что произошло со мной за минуту до того, как я утратил способность помнить.

Круг замкнулся. Теперь я знаю. Теперь, утром 18 апреля, в пасхальное воскресенье, я сумел реконструировать происшествия 21 марта. Это случилось ночью, в весеннее равноденствие, с тем, кто, как я думал, являлся аббатом Далла Пиккола…

25. Привести в порядок мысли

Из дневников 18 и 19 апреля 1987 года

Тот, кто за плечом Симонини читает эти записи Далла Пиккола, видит внезапно, как текст обрывается, рука не удерживает перо, пишется бессмысленная загогулина, тело пишущего сползает на пол, линия выходит за край страницы и испачкивает бледной чернильной кляксой зеленый бархат стола. Перевертывается лист — это уже пишет капитан Симонини. Он проснулся в одеянии священника, в парике Далла Пиккола, но ни минуты на этот раз не колеблясь в убеждении, что он — Симонини. Пробежал оставленные на столе, истерически заполнявшиеся неровным почерком страницы, последнее, что сумел оставить предполагаемый Далла Пиккола, и пока читал их — потел, сердце бешено стучало, и как раз там, где записка обрывалась, Симонини вспомнил вместе с ним (аббатом), что и он (Симонини) был, что они были, нет… постойте… он теряет сознание… они теряют. Обморок проходит. Туман рассеялся. Прояснилось. Это одно лицо — он и Далла Пиккола. То, что вчера вечером вспомнил Далла Пиккола, постепенно начинает припоми-

нать и Симонини. Как в сутане Далла Пиккола (не того, с торчащими зубами, которого убил давно, а другого, возрожденного нарочно и эксплуатируемого много лет) получил ужасный опыт черной мессы. Что происходило потом? Кажется, Диана, царапаясь, сдернула с него накладные волосы. Чтоб удобнее тащить покойницу, он освободился и от рясы. После этого, не в состоянии мыслить, вернулся в свою квартиру на Мэтра Альбера и улегся спать, а проснулся утром 22 марта и не мог понять, куда же подевалась его одежда.

Телесное слияние с Дианой, открытие безобразного ее происхождения — слишком много ему пришлось пережить. Тою же ночью он утратил память, то есть ее утратили и Далла Пиккола и Симонини, после чего раздвоенные личности чередовались в течение месяца. Тот же недуг, что был у Дианы. Переход от одного состояния к другому через кризис, эпилептический припадок, бред. Безотчетно, всякий раз пробуждаясь в новом качестве и при этом думая, что это простое пробуждение от сна.

Терапия доктора Фройда помогла (даром что доктор знать не знал, помогает ли его система или нет). Рассказывая «второму себе» эпизоды, с мучением добываемые, как во сне, из оцепенения

памяти, Симонини дошел до переломной точки, до травматического эпизода, забросившего его в амнезию, расщепившего его на пару двойников, каждый из которых помнил только половину общего прошлого, и тогда он и «второй он» смогли заново скомпоновать личность воедино, хотя каждый двойник как мог старался утаить от другого кошмарную, невоспоминаемую причину наступившего забытья.

Легко представляем себе, до чего Симонини изнемог от воспоминаний. Чтоб увериться, что он действительно восстанавливается для новой жизни, он закрыл дневник и вознамерился выйти в мир, навстречу встречам, теперь уже не пугавшим, потому что он знал, кто он. Нужно было позаботиться и о питании. Но для начала, поразмыслив, он решил отказать себе в чревоугодии. Чувства его еще недавно подверглись тяжелым нагрузкам. Как отшельник из «Фиваиды», он начнет с чего-то вроде епитимьи. То есть посетит «Фликото». На тринадцать су поест, как положено, неважнецки.

Возвратившись, записал еще две-три подробности, нужные для реконструкции. Вообще-то потребность в дневнике отпадала. Ведь дневник он завел, чтобы узнать то, что он теперь знал. Но

дневник уже сделался привычкой. Веря, что есть на свете Далла Пиккола, отличный от него самого, он почти целый месяц льстил себе иллюзией, будто есть на свете кто-то, с кем можно разговаривать. Разговаривая, осознал, до чего он одинок. С самого детства. Предположительно (догадка Повествователя!) Симонини раздвоился именно в поисках собеседника. Как можно знать.

Но стало ясно, что Второго не существует. И что дневник — одинокое времяпрепровождение. Что ж, продолжим. Не то чтоб слишком нравился себе он сам, но все остальные вызывали такое раздражение, что на их фоне самого-то себя он почти что мог переносить.

Он вывел на сцену Далла Пиккола (своего собственного, потому что настоящего он убил), когда Лагранж дал ему задание заняться Булланом. Он подумал, что для этого и подобных заданий фигура священника удобна, вызывает меньше подозрений. Забавно было также и воротить на этот свет того, кого он самолично препроводил на тот.

Когда он только еще купил, и очень дешево, дом и лавку в Моберовом тупике, он почти не использовал комнату, имевшую выход на улицу Мэтра Альбера. Когда же возник Далла Пиккола,

жилая площадь пришлась несказанно кстати. Ее быстро обмеблировали дешевой обстановкой, и там поселился фантоматический аббат.

Далла Пиккола интересовался сатанизмом и оккультизмом, собирал данные, а также с удовольствием являлся к одрам умирающих, приглашаемый родственниками, которые потом посещали и Симонини по поводу завещания. Это было удобно, потому что на случай перепроверки последней воли завещателя в деле имелась всегда справка от исповедника, что последние слова покойного в точности совпадали с этим представляемым завещанием. А когда пошла Таксилева эпопея, Далла Пиккола сделался вообще необходим и практически на себе тянул всю эту работу в течение более чем десяти напряженных лет.

Симонини в облике Далла Пиккола общался и с отцом Бергамаски, и с Эбютерном, и они ничего не заподозрили: до того он удачно перевоплощался. Далла Пиккола был блондинист, брит, имел брови кустистые и ходил в синих очках, закрывавших полностью глаза. Мало этого. Он ведь и почерк себе выдумал иной, мелкий, женственный, и голос с измененным по необходимости тембром. Превращаясь в Далла Пиккола, Симонини не только иначе говорил, он и писал иначе,

и по сути дела иначе рассуждал.

Жалко, что сейчас аббату Далла Пиккола пришло время умереть (судьба всех аббатов с этим именем), но целью Симонини было — полностью покончить с этой историей. Отчасти для того, чтоб утратилась память постыдных событий, причинивших ему такую травму. Отчасти потому, что в понедельник после Пасхи Таксиль, по обещанию, готовился совершить клятвенное публичное отречение. И наконец, потому, что теперь, после кончины Дианы, надлежало устранить все воспоминания о закрученной им интриге. На случай, если кому придут в голову щекотливые вопросы.

У него были только воскресенье и утро понедельника. Снова надев рясу Далла Пиккола, он побывал у Таксиля. Оказывается, тот почти целый месяц ходит в Отей, не застает Дианы, не застает Симонини, старуха отвечает, что ничего не знает. Выхода нет, кроме как подозревать, что их обоих похитили масоны. Симонини сказал: ему-де удалось вытрясти из Дю Морье настоящий адрес Дианы в Америке, в Чарльстоне, и он нашел способ организовать ее обратный переезд в Америку. Так что Диана отправлена восвояси как раз перед тем, как Таксиль выступит с само-

разоблачением. Он передал Таксилю пять тысяч франков аванса из обещанных семидесяти пяти и откланялся до встречи назавтра вечером в Географическом обществе.

Затем в том же обличье Далла Пиккола он поехал в Отей. Великое изумление старухи, не имевшей сведений вот уж как месяц ни о нем, ни о Диане, ни что говорить бедному месье Таксилю, приходившему множество раз. Старухе было рассказано то же самое: найдена семья Дианы, Диана возвращена в Америку. Неплохое выходное пособие окончательно умиротворило мегеру, которая уложила свое барахло и убралась куда-то в тот же вечер.

На ночь глядя Симонини сжег все документы и следы их совместного житья за все годы, а когда совсем стемнело, оттащил ящик с тряпками и безделушками Дианы к Гавиали. У старьевщика не было привычки спрашивать, откуда поступают вещи. Следующим утром Симонини был уже у хозяина отейской квартиры и, ссылаясь на срочную командировку в далекие земли, отказался от найма дома, уплатив без разговоров за шесть месяцев. Хозяин побывал с ним на квартире, уверился, что обстановка и стены в приличном состоянии, принял ключи и закрыл входную

дверь на двойной оборот.

Осталось убить Далла Пиккола второй раз. Несложное дело. Смыть грим и повесить сутану на гвоздь. Далла Пиккола исчез с лица земли. Из предосторожности были собраны аналой и все требники и перенесены в магазин для продажи маловероятным коллекционерам. Освободилось удобное помещение. В будущем его можно будет опять употребить.

Никаких следов. Кроме тех, что живут в памяти у Таксиля и Батая. Но Батай, после такого-то предательства, безусловно, не покажется на глаза. Что до Таксиля, с ним предстояло завершить дела не позднее как сегодня вечером.

Девятнадцатого апреля капитан Симонини пошел тешить себя самоизобличением Таксиля. Таксиль был знаком, как мы помним, с Далла Пиккола, а также с мнимым нотариусом Фурнье (бритый шатен, золотые резцы). Бородатого Симонини Таксиль видел в своей жизни только один раз, когда ходил подделывать письма Гюго и Бланка, но с того дня миновало вот уже пятнадцать лет, и, конечно, ему не придет на ум далекий каллиграф. Поэтому Симонини, на всякий случай в большой белой бороде и зеленых очках, отчего сразу стал похож на члена ученого

совета, уселся на одно из лучших зрительских мест, чтобы спокойно получить удовольствие от зрелища.

О событии протрубили газеты. Зал был набит. Любопытные; поклонники Дианы Воган; масоны, журналисты и даже уполномоченные от архиепископа и от апостольского нунция.

Таксиль говорил напористо и много, по южному обыкновению. Ошеломив публику, которая ждала Диану как иллюстрацию всего, что Лео Таксиль напубликовал за эти пятнадцать лет, он с первых слов пошел бодать католических журналистов, а перед самым эффектным моментом возгласил: «Лучше смеяться, чем плакать, как учит народная мудрость». Задержался еще несколько минут на своей любви к мистификациям («Я марселец или нет все-таки?» — на что публика заржала). Чтобы как следует прочувствовали, какой тут надувальщик перед ними, рассказал со вкусом байки про марсельских акул и про затопленный город на дне озера в Женеве. Но ничто, сказал он, не сравнится с самой дивной мистификацией его жизни. Выдержал паузу — и полился немыслимый рассказ о плутовской его набожности, о том, как удалось обмануть исповедников и духовников, посланных проверять,

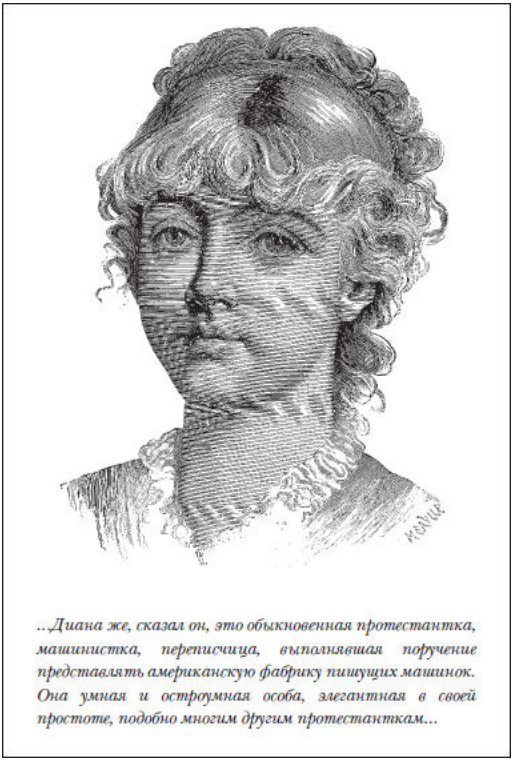
насколько искренним было его раскаяние.

Уже в начале раздались первые залпы смеха, потом речь оратора каждый миг прерывали: не помня себя вопили священники из зала, все безумнее прогневлявшиеся. Одни вставали и выходили, другие размахивали стульями, угрожая прибить его. В общем, шикарный содом. Голос Таксиля все-таки перекрывал бучу. И громко слышалось: — А вот еще, чтобы доставить удовольствие церковникам, после энциклики *Humanum Genus* я взялся за масонов. Но в сущности, — продолжал Таксиль, — масоны мне должны быть благодарны, потому что мои репортажи об их ритуалах помогли им освободиться от смехотворных привычек, старомодность которых понятна каждому масону, в ком живо стремление к прогрессу.

Ну а католики… с первых-де дней его возврата в лоно церкви Таксиль понял, что многие веруют, будто Верховный Зодчий Мира, Высшее существо масонов — дьявол. Осталось только немножечко повышивать по этой самой канве.

Сумятица продолжалась. Таксиль процитировал свою беседу со Львом Тринадцатым, когда Его Святейшество спросил: «Чего вам хотелось бы, сын мой?», а Таксиль ответил: «Ваше Свя-

тейшество, умереть в эту минуту у ваших ног было бы для меня наивеличайшим счастьем из возможных!», вопли слились в сплошной ор. Визг: «Уважайте Льва Тринадцатого! Вы не смеете произносить его имя!» Кто-то верещал: «Что мы слушаем тут? Какая низость!», другие выли: «Ах, пройда! Прохиндей! Какое скотство! Ах!», а большинство просто каталось от хохота.



..Диана же, сказал он, это обыкновенная протестантка, машинистка, переписчица, выполнявшая поручение представлять американскую фабрику пишущих машинок. Она умная и остроумная особа, элегантная в своей простоте, подобно многим другим протестанткам...

— И вот так, — разглагольствовал Таксиль, — я выращивал древо современного люциферства, куда привил палладистский ритуал моего собственного изобретения, лично моего, от первого

слова и до последнего. Потом настал черед старого друга-алкоголика, ставшего доктором Батаем, а также вымышленной Софии Вальдер, или Сафо, и, наконец, как Таксиль писал всю печатную продукцию от имени Дианы Воган. Диана же, сказал он, это обыкновенная протестантка, машинистка, переписчица, выполнявшая поручение представлять американскую фабрику пишущих машинок. Она умная и остроумная особа, элегантная в своей простоте, подобно многим другим протестанткам. Сначала она просто заинтересовалась чертовщиной, потом вошла во вкус, потом уже превратилась в его сообщницу. Они с азартом занялись своим штукарством, писали письма епископам и кардиналам, получали письма от личного секретаря римского папы, предупреждали Ватикан о люциферских комплотах…

— Однако, — не унимался Таксиль, — мы увидели, что и масонские круги верят нашим бредням. Когда Диана разгласила очередной дутый секрет, что-де Верховный Магистр Чарльстона назначил Адриано Лемми своим преемником на должность высшего люциферского жреца, многие итальянские масоны, среди которых и один депутат парламента, приняли это за чистую монету и стали жаловаться, почему Лемми их не проин-

формировал. После чего они создали в Сицилии, в Неаполе и во Флоренции три Независимых Высших палладистских совета, избрав мисс Воган почетным членом. Пресловутый господин Марджотта письменно свидетельствовал, что знает госпожу Воган, а на самом деле это я однажды рассказал ему, будто они уже встречались, и он с легкостью дал себя убедить. Издатели поддались на мистификацию, но им совершенно не на что жаловаться, потому что со мной они выпустили серию почище «Тысячи и одной ночи».

— Досточтимые слушатели, — продолжал он. — Если видите, что вас одурачили, лучшее, что можно сделать, это хохотать вместе со зрителями. Достоуважаемый аббат Гарнье (это он уже прямо к самому остервенелому из оппонентов), чем вы больше яритесь, тем смешнее это кажется публике.

— Вы стервец! — закричал Гарнье, махая палкой. Друзья еле удерживали его.

— А с другой стороны, — безмятежно продолжал Таксиль, — не будем же мы строги к людям, честно верившим, что наши дьяволы лично посещают церемонии инициации. Разве порядочные христиане не верят, будто Сатана перенес Иисуса Христа на верх горы, откуда показал ему царства

целого мира? А как он мог показать разом все царства, если мы знаем, что земля шарообразна?

— Молодец! — закричали ему.

— Пожалуйста, без кощунства! — закричали другие.

— Господа! — Таксиль явно подбирался к финалу. — Должен покаяться в детоубийстве. Палладизм погиб. Я породил его и убил его. Ну, бедлам уже такой, что дальше некуда. Аббат Гарнье залез на стул и произносит зажигательную речь, но ему шикают и угрожают. Таксиль стоит на сцене и гордо озирает беснующуюся толпу. Это взлет его славы. Если он мечтал о венце короля надувателей, мечта сбылась. Он смотрит, ему орут снизу, размахивая кулаками и палками: «Вы не стыдитесь?» А чего ему стыдиться? Что ли того, что все теперь говорят о нем?

Кому это все и впрямь было всласть, так это капитану Симонини. Он слушал, смотрел и вдобавок нежился мыслями о том, сколько сюрпризов ожидает Таксиля в ближайшие дни.

Разыскивать Далла Пиккола, чтобы забрать свои деньги, марсельцу будет негде. В Отее или пустой дом, или другие жильцы. Адрес на улице Мэтра Альбера ему не давали. Нет у него и адреса нотариуса Фурнье. Он никогда не догадается

увязать Фурнье с тем поддельщиком, который много лет назад сфабриковал для него письмо Гюго. Буллан улетучился. Таксиль понятия не имеет, что Эбютерн, отдаленный знакомец его по масонской ложе, знает правду о нем. У Таксиля нет сведений о Бергамаски. В общем, как ни крути, Таксилю не с кого потребовать жалованье, поэтому Симонини инкассировал не половину, а все целиком (к сожалению, не совсем целиком, пять тысяч франков ушли в аванс).

Забавно было представить себе незадачливого вымогателя, как он блуждает по Парижу и ищет несуществующего аббата, несуществующего нотариуса и сатаниста с палладисткой, чьи трупы лежат рядочком на дне клоаки, и ищет Батая, который, застать его трезвым, и то ничего разумного не скажет. Ищет пачку наличных, уже нашедшую себе лучшего хозяина. Преследуемый католиками, ненавистный и масонам, и весь в долгах перед типографами: куда понесет он бедную потную главу?

Э, отвечал себе Симонини, этот марсельский охмуряла вполне заслуживает то, что имеет.

26. Окончательное решение

10 ноября 1898 года

Прошло восемнадцать месяцев с тех пор, как я отделался от Таксиля, от Дианы и, что гораздо важнее, от Далла Пиккола. Если и болел — излечился. Силой самогипноза, а может, помог рецепт Фройда. И тем не менее месяцы эти прошли под знаком постоянной тревоги. Верь я во что-нибудь, сказал бы: мучают угрызения. Но что такое угрызения? И как они могут мучить? Тем же вечером, когда я так налакомился зрелищем обдуренного Таксиля, хотелось растянуть приятное настроение. Жаль только, не с кем было попраздновать эту победу. Но я недурно умею сам себя веселить. Я пошел, как те богачи, кто покинул «Маньи», в «Бребан-Вашетт». После выгодного для меня банкротства аферы «Таксиль» я наконец мог кое-что себе позволить. Ресторатор припомнил меня, но что радостнее — я припомнил ресторатора. Он пошел подробно просвещать меня по части салата «Франсильон», придуманного в честь моднейшей пьесы Александра Дюма. Сына. Сына? До чего же я постарел, как выясняется… Рецепт салата «Франсильон»: отваривается картофель

в бульоне, режется на ломти, приправляется в теплом виде солью, перцем, олеем и оцтом из Орлеана. Полстакана белого вина, лучше Шато д'Икем. Посыпается тонко нарезанными травками. Тем временем в курбуйоне отвариваются очень большие мидии со стеблями сельдерея. Выкладываем их на картофель, перемежая пластинками трюфеля, потушенного в шампанском. Готовить за два часа до подачи. Подавать на стол при комнатной температуре.

И все-таки я неспокоен, и, чувствую, душа хочет снова прибегнуть к благотворному дневнику. К исцелительному способу, рекомендованному доктором Фройдом. Дело в том, что продолжаются разнообразные беспокойства. Мною владеет неуверенность. Первое, хотелось бы поточнее узнать, кто этот русский, лежащий внизу в клоаке. Он был… а может, их было и двое… в этой комнате 12 апреля. Кто-то из них, может, возвращался и после этого? Не раз приводилось искать что-нибудь, перо ли, стопку ли бумаги, и находить это там, куда я точно не клал. Кто же был, копался, передвигал, искал что-то? Что искали?

Русские, то есть Рачковский. Это какой-то сфинкс. Он был тут два раза. Всякий раз хотел от меня получить какие-то неизданные бумаги,

наследство деда. Я увертывался. Во-первых, не готов, еще не сделал эти бумаги. Во-вторых, пускай раззадорится как следует.

В последний раз он сказал, что больше ждать не согласен. Настаивал, чтобы я назвал цену. Я не корыстолюбив, ответил я. Мой дед действительно оставил документы, где запротоколировал во всех подробностях ночные разговоры на кладбище в Праге. Но здесь у меня документов нет. Я должен буду оставить Париж, съездить за документами, совершить путешествие. — Ну так езжайте, — оборвал меня Рачковский. И тут же намекнул, туманно, но определенно, что дело Дрейфуса мне может выйти и боком. А он-то что знает, откуда знает? Дрейфуса заслали на Чертов остров, но разговоры о его деле не затухали. Напротив, раздавались голоса тех, кто верил в его невиновность, так называемых дрейфусаров. Нашлись графологи для перепроверки экспертизы Бертильона. Все это забурлило в декабре 1895 года, когда Сандер ушел с поста (у него был прогрессирующий паралич или что-то такое) и на его место заступил Пикар. Пикар с самых первых дней повадился совать везде нос, захлопотал и о деле Дрейфуса, хотя его и закрыли за несколько месяцев до того. И вдруг в марте про-

шлого года в традиционном месте — в мусорнике немецкого посольства — находят обрывки телеграммы, которую немецкий военный атташе посылал Эстергази. Ничего сногсшибательного. Но с какой же стати немецкий военный атташе поддерживает сношения с французским офицером? Пикар устроил Эстергази проверку. Были взяты образчики его почерка. И всем стало очевидно, что почерк майора невероятно похож на почерк бордеро. Это все я узнал из газет: Дрюмон ухватил на лету новость и сразу завозмущался в своей «Либр Пароль», что какой-то путаник мешается в давно уже улаженные дела и переворачивает все вверх тормашками. — Он ходил докладывать к генералам Буадеффру и Гонзу, которые, по счастью, к нему не прислушались. Наши генералы — не душевнобольные. В ноябре я налетел в одной редакции на Эстергази, он очень нервничал и пожелал переговорить со мной с глазу на глаз. Пришел ко мне домой он, однако, не один, а с каким-то полковником Анри. — Симонини, болтают, будто почерк на бордеро мой. Вы копировали с письма или с какой-то записки Дрейфуса, ведь так же? — Ну естественно. Сандер дал мне образец.

— Да. Я знаю. Только почему Сандер сделал это

без меня? Должен был позвать меня, я проверил бы, точно ли там почерк Дрейфуса.

— Я делал, что мне говорили.

— Знаю, знаю. Вы теперь займитесь-ка со мной этой историей. Вам прямой расчет. Учтите, если это дело нечисто, а вас втянули, то теперь вы неудобный свидетель и вас могут захотеть устранить. Я бы сказал, что вся эта история вас прямо касается. Зря я, конечно, связался с военными. Нет теперь покоя. Эстергази объяснил, что от меня требуется. Дал мне образец почерка итальянского атташе Паниццарди: требовалось написать письмо. Паниццарди должен сообщить немецкому военному атташе, что Дрейфус согласен сотрудничать.

— Полковник Анри, — сказал Эстергази, — найдет это письмо и передаст генералу Гонзу. Я сделал работу, Эстергази отсчитал мне тысчонку франков, что потом происходило, мне неизвестно, знаю только, что в конце девяносто шестого года Пикара перевели на Четвертый стрелковый полк в Тунис. Однако именно тогда, когда я прихлопывал Таксиля, Пикар, похоже, снова поднял голову. Сыскались какие-то у него друзья. Положение опять осложнилось. Естественно, поначалу просочились неофициальные сведения

о возможном пересмотре дела. Потом это было напечатано. Дрейфусарская пресса (как была, малочисленная) сообщала об этом с большой уверенностью, а антидрейфусарская — как о необоснованных измышлениях. Тем временем напечатали и телеграммы, адресованные Пикару. Из них выходило, что будто именно он и велел подкинуть в мусорную корзину фальшивую телеграмму от немцев на имя Эстергази. Насколько я понял, это так нелепо защищались Эстергази и Анри. Прелестный обмен любезностями. Даже и не придумывали новых ходов. Просто отшвыривали противнику в точности то, что получали от него. Господи, до чего же военные не способны ни к разведке, ни к контрразведке. Профессионалы (Лагранж, Эбютерн) никогда не допустили бы такой халатности. Но чего ждать от людей, которые сегодня в Службе информации, а завтра в Четвертом стрелковом полку, или, скажем, сперва служат в папских зуавах, а сразу после того — в Иностранном легионе? Кстати, эта неуклюжая попытка не дала никаких результатов, и на Эстергази завели-таки дело. А что, если он свалит теперь на меня всю историю и обнародует, что бордеро написано мною?

* * *

Ровно год сплю плохо. По ночам слышу шумы в доме. Хотел пойти поглядеть в магазин, но опасаюсь наткнуться на какого-нибудь русского.

* * *

В январе состоялся закрытый процесс, Эстергази был полностью оправдан от всех обвинений и подозрений. Пикара наказали заключением на два месяца в крепость. Однако дрейфусары не отвязались. Один довольно тривиальный писатель, Золя, напечатал огненную статью «Я обвиняю!». Группка бумагомарак и так называемых ученых требует пересмотра процесса. Кто они такие? Прусты, Франсы, Сорели, Моне, Ренары, Дюркгеймы? В литературном салоне Адан мне они что-то не попадались. Какой-то Пруст. Я кое-что сумел о нем выяснить: двадцать пять лет, педераст, сочинитель, к счастью, непечатаемый. Моне: безвестный пачкун, пару-другую его картинок мне случалось видеть, взгляд на божий мир загноившимися глазами. Писателишка, живописец, какое они могут иметь мнение о военном суде? О, несчастная Франция. Правильно жалуется

Дрюмон. Эти, с позволения сказать, «интеллигенты», пользуясь определением третьеразрядного адвокатишки — Клемансо, лучше бы занимались своим делом, в котором они, надеюсь, немножко больше смыслят…

Золя судили и, по счастью, дали ему срок: один год. Есть еще во Франции правосудие, ликует Дрюмон, которого как раз в мае избрали депутатом в парламент от Алжира. Подбирается хорошенькая фракция антисемитов в нижней палате. Полезно для защиты антидрейфусарской политики.

Так что все, казалось бы, складывалось к лучшему. Пикару в июле присудили шесть месяцев тюрьмы, Золя, увы, успел удрать в Лондон, и я уж думал, что никто не станет снова ворошить эту кучу, как вдруг какой-то капитан Кюинье неожиданно выскочил с открытием, что письмо Паниццарди насчет сотрудничества Дрейфуса — фальшивка. Не знаю уж, с чего он это взял. Я, честное слово, сработал просто на славу. Командование, однако, прислушалось. Поскольку письмо нашел и предъявил в свое время полковник Анри, понеслись разнотолки о «фальшивке Анри». К концу месяца прижатый к стенке Анри во всем сознался, был посажен в Мон-Валерьен, а на следующий день он лишил себя жизни,

перерезав бритвой горло. Повторяю в коий раз: военные способны загубить любое дело. То есть как? У них в руках опасный предатель, а они разрешают ему держать в камере бритву? — Да не самоубился он! Его самоубили! — возбужденно выкрикивал Дрюмон. — Больно много у нас развелось евреев в Генеральном штабе! Открываю всенародную подписку, финансируем процесс по реабилитации Анри!



...Больно много у нас развелось евреев в Генеральном штабе!..

Но через четыре или пять дней Эстергази перебежал в Бельгию, а оттуда в Англию. Тем практически признав свою вину. Я подумал, что главный вопрос сейчас — не захочет ли он выго-

раживаться мной.

* * *

Я ворочался в кровати и отчетливо слышал странные шумы снизу. Сошел утром — магазин и даже подвал перерыты, перевернуты, открыта дверца люка, ведущая в клоаку.

Встал вопрос — не пора ли теперь мне тоже, как и Эстергази, унести ноги. Я, однако, не успел задуматься. В дверь настойчиво звонил Рачковский. Не пройдя даже наверх, он уселся на один из продаваемых стульев, никогда и никому не нравившихся. — Что вы скажете, если я сейчас пойду и сообщу, что в дыре у вас в подполе лежат четыре упокойника и один из них — мой человек, которого уже обыскались по всему свету? Хватит тянуть. Даю вам ровно два дня, чтобы вы съездили за протоколами. Тогда я готов забыть все, что увидел у вас внизу. По-моему, честное предложение.

Итак, Рачковский проведал про клоаку. Это неудивительно. Что он еще знает? Учитывая, что дать ему бумаги безусловно придется, я попытался добиться дополнительных поблажек для себя: — И хорошо бы вы мне помогли уладить недопонимание с вооруженными силами…

Он осклабился: — Боитесь, узнают, что вы написали хваленое бордеро?

Да, он знает все.

Рачковский сложил ладони, будто для внимательного размышления, и растолковал:

— Вы, мнится мне, ни черта не поняли, что происходит, и боитесь только, что вас назовут. Успокойтесь. Всем во Франции необходимо, по резонам безопасности государства, чтобы бордеро было подлинным.

— Почему?

— Потому что французская артиллерия перевооружается пушками 75 мм. Так что требуется, чтобы немцы думали, будто работа ведется в направлении пушек 120 мм. Немцам аккуратно внушают, что шпион был намерен выдать им конструкцию стодвадцатимиллиметровой пушки. То есть самая главная подловка как раз тут. Вы, как здравомыслящий человек, естественно, скажете, что логика немцев должна была быть такой:

«Доннерветтер! Да будь бордеро подлинным, у нас были бы и секретные сведения! А не только перечень их, выброшенный в корзинку!» То есть вы полагаете, что немцы раскусили подвох. А я, наоборот, не исключаю, что они таки поймались

на приманку. Дело в том, что в секретных службах никто не ставит никого в известность о том, что знает. И каждый подозревает, что сосед его по кабинету — двойной агент. Так что, может быть, там прозвучали десятки взаимных обвинений. «Как! Приходит такое важное сообщение, а вы хотите нас убедить, будто бы даже военный атташе о том не знает, притом что именно он адресат уведомления! А может быть, знает, да молчит?» Возникает чудовищная неразбериха, летят головы… Нет, прямой сейчас расчет всем придерживаться обнародованной версии. В бордеро должны верить все. Потому-то срочно и выпихнули Дрефуса на этот Чертов остров. Чтоб не дать ему оправдываться. Чтобы он не сказал, что никак не мог обещать сведений по стодвадцатимиллиметровой пушке, потому что речь всегда шла о пушке 75 мм. Ему даже пистолет давали — застрелись, не позорься. Хотели не доводить до гласного суда. Но Дрейфус упрям и собирался защищаться, потому что думал, будто не виноват. А офицеру не следует думать. Хотя, вероятно, ему о семьдесят пятой пушке и известно-то не было. Станут они сообщать такие секреты всякому, кто приходит на испытательный срок. Ладно, главное в нашем деле — осмотрительность. Ясно?

Если б узналось, что бордеро спроворили вы, вся бы комбинация полетела и немцы бы догадались, что стодвадцатимиллиметровая пушка — ложный след. Они тупоголовы до невозможности, боши, но не вконец же. Вы ответите, что на самом деле не только немецкие спецслужбы, но и французские находятся в руках бездарей. Нет сомнения. Иначе они бы работали на Охрану, которая поворотливее и, как вы видите, имеет осведомителей и среди этих, и среди тех.

— А Эстергази?

— Этот пижон — двойной агент. Прикидывался, будто шпионит за Сандером для посольских немцев, и тут же шпионил за немцами для Сандера. Ему было поручено дело Дрейфуса. Но Сандер вовремя понял, что Эстергази вот-вот сгорит и что немцы его заподозрили. Сандер сознательно дал вам образец почерка Эстергази. Решено было заваливать Дрейфуса, но на случай осечки имелся вариант перегрузить ответственность за бордеро на Эстергази. Естественно, Эстергази слишком поздно сообразил, в какую же мышеловку его заманили.

— Если так, почему он не назвал моего имени?

— А потому что его бы заглушили и отправили бы в крепость, если не в омут. А так он себе спо-

койно получает пенсию в Лондоне. Дрейфуса ли будут считать автором, или Эстергази, несомненно одно: бордеро должно выглядеть подлинным. Так что вы, отъявленный фальшивщик, обвинению не подлежите. В данном случае вы за каменной стеной. Но по поводу этих мертвяков в подвале я могу вас прижать. Ну, выкладывайте ваши документы. Послезавтра ждите моего человека, Головинского. Не заботьтесь об окончательной отделке. Подлинные окончательные бумаги делать не вам, потому что оригиналы должны быть написаны по-русски. Вы только должны подобрать новый материал, подлинный и убедительный, вдохнуть жизнь в старые картинки пражского кладбища, которые уже развешаны по всем парикмахерским. Пусть все это и будет откликом речей, произносившихся ночью на кладбище в Праге, меня устраивает, но лучше без конкретных указаний, когда была эта сходка, и детали пускай там будут современные, а не фантазии времен Средневековья.

Пришлось усаживаться за работу.

* * *

Проработал два дня и две ночи, компоновал свои и вырезанные заметки, накопленные за

десять лет общения с Дрюмоном. Сперва, по чести, я не предполагал использовать их. Все это были куски, опубликованные в «Либр Пароль». Но как знать, может быть, для русских это свежий материал. Тогда вопрос в отборе и подборе фактов. Совершенно ясно, что Головинскому и Рачковскому несущественно, обладают ли евреи музыкальным или творческим даром. Головинскому с Рачковским важно, что евреи разоряют порядочных людей.

Я перечитал все то, что уж и раньше закладывал в речи раввина. В моей давнишней продукции евреи намеревались захватить железные дороги, горное дело и леса, налоговую администрацию, собственность на землю. Они нацеливались на прокурорскую и адвокатскую работу, на сферу образования, рассчитывали просочиться в философию, политику, науку, искусство, а первым делом в медицину, потому что для врача открыты двери всех семей, и шире, чем для священника. Расшатывать религиозность. Насаждать вольную мысль и упразднить из школ Закон Божий. Подмять торговлю алкоголем и взять контроль над прессой. Святые угодники, что, что еще могли бы злоумышлять евреи? Нет, этот материал, конечно, поддается вторичному использованию.

Рачковский знает только ту версию тирады раввина, которую давали Глинке. Там направление было религиозное, апокалиптическое. Так что есть что добавить туда. Я решил подобрать все то, что подействует на среднего читателя. И переписал красивым почерком более чем полувековой давности на хорошо состаренной бумаге. Вышли документы, найденные дедушкой в гетто, где он жил молодым. Документы представляли собой переводы протоколов с некоего стародавнего собрания на кладбище в Праге.

Когда днем позже в лавку старьевщика вошел Головинский, я диву дался: как мог Рачковский доверить такую ответственную работу молодому, неповоротливому и близорукому, плохо одетому простофиле мужицкого вида! Разговорившись, я понял, что не так-то он прост. У него был отталкивающий французский с грубым русским акцентом, но он сразу съехидничал: почему это раввины туринского гетто изъясняются на французском? Я сказал ему, что в Пьемонте в прежние времена все, кто был грамотен, употребляли французский. А эти документы — переводы. Задним числом я подумал, что даже не знаю, на идише или на древнееврейском говорили те, на кладбище, раввины. Но уже не имело значения,

коль скоро документы были уже написаны, и написаны по-французски.

— Видите, — растолковывал я Головинскому. — Например, в этом протоколе намечается внедрять идеи философоватеистов, сбивать с толку гоев. Читайте: «Вот почему нам необходимо подорвать веру, вырвать из уст гоев самый принцип Божества и Духа и заменить все арифметическими расчетами и материальными потребностями». Это я правильно рассчитал: учиться арифметике никто не любит. Припомнив нарекания Дрюмона на непристойные публикации в печати, я решил, что, по крайней мере в глазах благонамеренных читателей, продвижение пошлых и вульгарных развлечений может быть хорошеньким признаком еврейского заговора.

— «Чтобы они сами до чего-нибудь не додумались, мы их еще отвлекаем увеселениями, играми, забавами, страстями, народными домами… Скоро мы станем через прессу предлагать конкурсные состязания в искусстве, спорте всех видов: эти интересы отвлекут окончательно умы от вопросов, на которых нам пришлось бы с ними бороться… Отвыкая все более и более от самостоятельного мышления, люди заговорят в унисон с нами… Для разорения гоевской про-

мышленности мы пустим в подмогу спекуляции развитую нами среди гоев сильную потребность в роскоши, всепоглощающей роскоши. Поднимем заработную плату, которая, однако, не принесет никакой пользы рабочим, ибо одновременно мы произведем вздорожание предметов первой необходимости, якобы от падения земледелия и скотоводства; да, кроме того, мы искусно и глубоко подкопаем источники производства, приучив рабочих к анархии и спиртным напиткам и приняв вместе с этим все меры к изгнанию с земли всех интеллигентных сил гоев… Мы еще будем направлять умы на всякие измышления фантастических теорий, новых и якобы прогрессивных: ведь мы с полным успехом вскружили прогрессом безмозглые гоевские головы».

— Чудно, чудно, — одобрял Головинский. — А насчет студентов как? Кроме этой арифметики? В России студенты воду мутят. Их надо бы поприструнить.

— Пожалуйста! «Когда же мы будем у власти, то мы удалим всякие смущающие предметы из воспитания и сделаем из молодежи послушных детей начальства, любящих правящего как опору и надежду на мир и покой. Классицизм, как и всякое изучение древней истории, в которой более

дурных, чем хороших, примеров, мы заменим изучением программы будущего. Мы вычеркнем из памяти людей все факты прежних веков, которые нам нежелательны. Мы поглотим и конфискуем в нашу пользу последние проблески независимости мысли, которую мы давно уже направляем на нужные нам предметы и идеи… Перейдем к прессе. Мы ее обложим, как и всю печать, марочными сборами с листа и залогами, а книги, имеющие менее 300 страниц, — в двойном размере. Эта мера вынудит писателей к таким длинным произведениям, что их будут мало читать, особенно при их дороговизне. То же, что мы будем издавать сами на пользу умственного направления в намеченную нами сторону, будет дешево и будет читаться нарасхват. Налог угомонит пустое литературное влечение, наказуемость поставит литераторов в зависимость от нас. Если и найдутся желающие писать против нас, то не найдется охотников печатать их произведения. Прежде чем принять для печати какое-либо произведение, издатель или типографщик должен будет прийти к властям просить разрешение на это». Что же до газет, еврейский план предполагает, что еврейское правительство сделается собственником большинства журналов. Этим

будет нейтрализовано вредное влияние частной прессы и приобретется громадное воздействие на умы… «Если мы разрешим десять журналов, то сами учредим тридцать, и так далее в том же роде. Но этого отнюдь не должны подозревать в публике, почему и все издаваемые нами журналы будут самых противоположных по внешности направлений и мнений, что возбудит к нам доверие и привлечет к ним наших ничего не подозревающих противников, которые, таким образом, попадутся в нашу западню и будут обезврежены». Отдельно оговаривается, что подкуп журналистов будет нетрудным делом. Ведь они входят в масонство. «Уже и ныне в журналистике существует масонская солидарность: все органы печати связаны между собою профессиональной тайной; подобно древним авгурам, ни один член ее не выдаст тайны своих сведений, если не постановлено их оповестить. Ни один журналист не решится предать этой тайны, ибо ни один из них не допускается в литературу без того, чтобы все прошлое его не имело бы какой-нибудь постыдной раны… Эти раны были бы тотчас же раскрыты. Пока эти раны составляют тайну немногих, ореол журналиста привлекает мнение большинства страны — за ним шествуют

с восторгом. Когда мы будем в периоде нового режима, переходного к нашему воцарению, нам нельзя будет допускать разоблачения прессой общественной бесчестности; надо, чтобы думали, будто новый режим так всех удовлетворил, что даже преступность иссякла…» Но хотя печать и будет пребывать под цензурным контролем, это никого не беспокоит, разве народу нужна свободная печать? «Все эти так называемые “права народа” могут существовать только в идее, никогда на практике не осуществимой.

Что для пролетария-труженика, согнутого в дугу над тяжелым трудом, придавленного своей участью, получение говорунами права болтать, журналистами — права писать всякую чепуху наряду с делом?..»

— Ах, ах, это годится, — радовался Головинский, — у нас-то все кипятятся, шумят и жалуются на государственную цензуру. Пусть знают, что еврейская цензура еще покруче.

— Какое! Да у меня вдобавок вот что есть: «Чтобы выработать целесообразные действия, надо принять во внимание подлость, неустойчивость, непостоянство толпы, ее неспособность понимать и уважать условия собственной жизни, собственного благополучия. Надо понять, что

мощь толпы слепая, неразумная, нерассуждающая, прислушивающаяся направо и налево. Народ, предоставленный самому себе, то есть выскочкам из его среды, саморазрушается партийными раздорами, возбуждаемыми погонею за властью и почестями и происходящими от этого беспорядками. Возможно ли народным массам спокойно, без соревнования рассудить, управиться с делами страны, которые не должны смешиваться с личными интересами? Могут ли они защищаться от внешних врагов? Это немыслимо, ибо план, разбитый на столько частей, сколько голов в толпе, теряет цельность, а потому становится непонятным и неисполнимым. Только у Самодержавного лица планы могут выработаться обширно ясными, в порядке, распределяющем все в механизме государственной машины; из чего надо заключить, что целесообразное для пользы страны управление должно сосредоточиться в руках одного ответственного лица. Без абсолютного деспотизма не может существовать цивилизация, проводимая не массами, а руководителем их, кто бы он ни был». Ну а затем, поглядите вот рядом в других протоколах: «Поскольку не бывает конституции, отражающей народную волю, план управления

должен выйти готовым из одной головы. Мы, как индийский божок Вишну, будем иметь сто рук, из которых каждая будет щупать пульс у любого из общественных мнений. Мы будем все видеть без помощи официальной полиции. При нашей программе треть наших подданных будет наблюдать за остальными из чувства долга, из принципа добровольной государственной службы. Тогда будет не постыдно быть шпионом и доносчиком, а похвально».

— Великолепно!

— Дальше лучше: «Толпа — варвар, проявляющий свое варварство при каждом случае. Как только толпа захватывает в свои руки свободу, она ее вскоре превращает в анархию, которая сама по себе есть высшая степень варварства. Взгляните на заспиртованных животных, одурманенных вином, право на безмерное употребление которого дано вместе со свободой. Не допускать же нам и наших дойти до того же… Народы гоев одурманены спиртными напитками, молодежь их одурела от классицизма и раннего разврата, на который ее подбивала наша агентура… Наш пароль — сила и лицемерие. Только сила побеждает в делах политических, особенно если она скрыта в талантах, необходимых государствен-

ным людям. Насилие должно быть принципом, а хитрость и лицемерие — правилом для правительств, которые не желают сложить свою корону к ногам агентов какой-либо новой силы. Это зло есть единственное средство добраться до цели, добра. Поэтому мы не должны останавливаться перед подкупом, обманом и предательством, когда они служат достижению нашей цели. Цель оправдывает средства…»

— У нас много говорят о коммунизме. Какова позиция пражских раввинов?

— А вот вы почитайте, какова позиция пражских раввинов. Они говорят: «В политике надо уметь брать чужую собственность без колебаний, если ею мы добьемся покорности и власти. Мы явимся якобы спасителями рабочего от этого гнета, когда предложим ему вступать в ряды нашего войска — социалистов, анархистов, коммунаров, которым мы всегда оказываем поддержку из якобы братского правила общечеловеческой солидарности нашего социального масонства. Аристократия, пользовавшаяся по праву трудом рабочих, была заинтересована в том, чтобы рабочие были сыты, здоровы и крепки. Мы же заинтересованы в обратном — в вырождении гоев. Наша власть — в хроническом недоедании

и слабости рабочего, потому что он не найдет ни сил, ни энергии для противодействия ей». И еще добавьте: «Создав всеми доступными нам путями с помощью золота, которое все в наших руках, общий экономический кризис, мы бросим на улицу целые толпы рабочих одновременно во всех странах Европы. Эти толпы с восторгом бросятся проливать кровь тех, кому они в простоте своего неведения завидуют с детства и чьи имущества им можно будет тогда грабить. Наших они не тронут, потому что момент нападения нам будет известен и нами приняты меры к ограждению своих».

— А про связи евреев и масонов у вас есть что-нибудь?

— Да как же может не быть. Вот вам, черным по белому:

«Пока же, до нашего воцарения, мы, напротив, создадим и размножим франкмасонские ложи во всех странах мира, втянем в них всех, могущих быть и существующих выдающихся деятелей, потому что в этих ложах будет главное справочное место и влияющее средство. Все эти ложи мы централизуем под одно, одним нам известное, всем же остальным неведомое управление, которое состоит из наших мудрецов. Ложи будут

иметь своего представителя, прикрывающего собой сказанное управление масонства, от которого будет исходить пароль и программа. В этих ложах мы завяжем узел всех революционных и либеральных элементов. Состав их будет состоять из всех слоев общества. Самые тайные политические замыслы будут нам известны и попадут под наше руководство в самый первый день их возникновения. В числе членов этих лож будут все почти агенты международной и национальной политики, так как ее служба для нас незаменима в том отношении, что полиция может не только по-своему распорядиться с непокорными, но и прикрыть наши деяния, создавать предлоги к неудовольствиям и т. д. В тайные общества обыкновенно поступают всего охотнее выжиги, карьеристы и вообще люди по большей части легкомысленные, с которыми нам будет нетрудно вести дело и ими заводить механизм проектированной нами машины… Если этот мир замутится, то это будет означать, что нам нужно было его замутить, чтобы расстроить слишком большую его солидарность. Если же среди него возникнет заговор, то во главе его станет не кто иной, как один из вернейших слуг наших».

— Гениально!

— Да. И не забудьте, что богатые евреи потакают антисемитизму, который почти всегда бывает направлен на евреев бедных. А слабосердные христиане жалеют их, жалеют всю скопом их расу. Довольно много страниц, преувеличенно техничных, я позаимствовал у Жоли: кредитное и ссудное право, учетные ставки. Не сильно я много понимал и не был уверен, что со времен, когда писал Жоли, все эти термины не переменились. Но я был полон веры в свой источник и передавал Головинскому страницы за страницами, предназначавшиеся для пристрастных глаз коммерсанта или ремесленника, замученного долгами или даже ростовщиками.

Наконец, во мне еще теплилась память разговоров, слышанных в «Либр Пароль» о метрополитеновой железной дороге, которую думали построить в Париже. Это было вовсе не ново, говорили об этом более десятка лет, однако лишь в июле девяносто седьмого был окончательно утвержден проект и начались работы по прокладыванию линии Пор-де-Венсан — Пор-де-Майо. Самые первые шаги. Но уже была создана «Компания Метро», и вот уже год как газета «Либр Пароль» объявила крестовый поход против акционеров-евреев, входивших в эту компанию.

Мне представилось потому уместным привязать метрополитен к еврейской закулисе, и я вписал: «Вы говорите, что на нас поднимутся с оружием в руках, если раскусят, в чем дело, раньше времени. Но для этого у нас в запасе такой терроризирующий маневр, что самые храбрые души дрогнут: метрополитеновые подземные ходыкоридоры будут к тому времени проведены во всех столицах, откуда они будут взорваны со всеми своими организациями и документами стран».

— Но, — спросил Головинский, — ежели собрание в Праге свершилось множество веков назад, как же раввины планировали метрополитен?

— Во-первых, поглядите в предыдущей версии этой речи раввина, в публикации, печатавшейся десять лет тому назад в «Контемпорэн», там речь датирована 1880 годом, когда, по-моему, уже существовал метрополитен в Лондоне. А если нет, то могли же они пророчествовать. Головинскому очень понравилась эта часть моей работы, со всеми обетованиями. Только он все-таки уточнил:

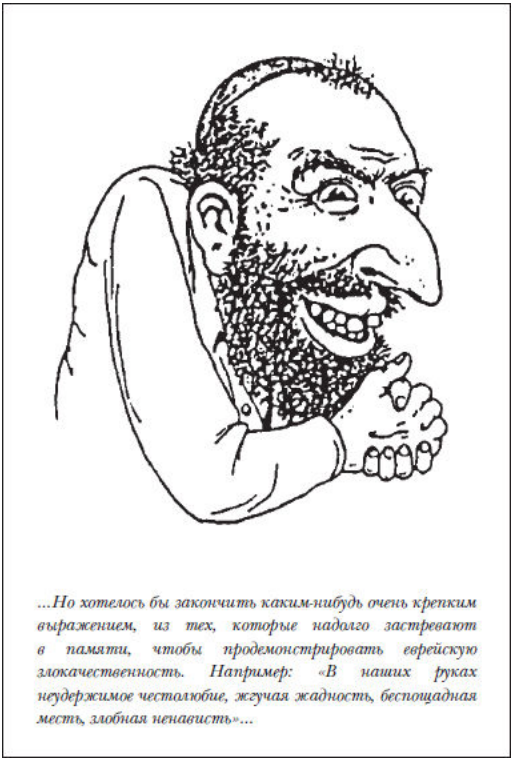
— А не противоречат ли тут идеи одна другой? С одной стороны, евреи хотят запретить роскошь и излишества, а также алкоголь, с другой — они за спорт и развлечения и спаивают рабочих…

— А евреи всегда говорят одно, делают другое,

они обманщики от природы. И если вы публикуете большой документ на многих страницах, знайте, что никто его не станет читать с начала до конца. Каждый раз сообщается новая мерзость, новая перешибает старую. Никто и не вспомнит, что там он вычитал вчера. А кроме того, при внимательном чтении все логично. Пражские раввины хотят использовать роскошь, излишества и алкоголь для совращения плебеев, но когда овладеют властью — тогда они принудят плебеев жить более чем скромно.

— Ясно. Прошу извинить.

— Что вы, что вы. Просто я ведь над этими документами размышлял не один десяток лет, с самой ранней молодости, и теперь знаю все нюансы, — подытожил я с законной гордостью.



...Но хотелось бы закончить каким-нибудь очень крепким выражением, из тех, которые надолго застревают в памяти, чтобы продемонстрировать еврейскую злокачественность. Например: «В наших руках неудержимое честолюбие, жгучая жадность, беспощадная месть, злобная ненависть»...

— Правда ваша. Но хотелось бы закончить каким-нибудь очень крепким выражением, из тех, которые надолго застревают в памяти, чтобы продемонстрировать еврейскую злокачествен-

ность. Например: «В наших руках неудержимое честолюбие, жгучая жадность, беспощадная месть, злобная ненависть. От нас исходит всеохватывающий террор».

— Это неплохо для приключенческого романа. Но почему же евреи, которые, как известно, не дураки, будут так говорить о самих себе?

— Я об этом бы не беспокоился, однако. Раввины ведь в своем кругу, на кладбище, непосвященные их не слышат. Стыд им отроду не присущ. Ведь надо же как-то вызвать нравственное негодование.

С Головинским было приятно работать. Он принимал или делал вид, что принимает мои документы за подлинные, но без колебаний редактировал их по своим потребностям. Правильного сотрудника нашел Рачковский.

— Думаю, — сказал Головинский, — что у меня достаточно материалов для создания того, что получит название «Протоколы собрания раввинов на пражском кладбище». Пражское кладбище уходило от меня к другому. Но бесспорно, я способствовал его триумфу. Я вздохнул с облегчением и пригласил Головинского на ужин в «Пайяр», на углу шоссе д'Антен и бульвара Итальянцев. Дорого, но отменно. Головинский уплел с восторгом и пулярдку по-эрцгерцогски и

утку а-ля пресс. Но не исключено, что этот сын степей с тем же удовольствием набил бы брюхо шинкованной капустой. Я бы не разорялся, официанты не кидали бы изумленные взгляды на грубо чавкающего клиента. И все же он ел с восторгом, пил с восторгом, и, от вина ли, или от искренней увлеченности, глаза его блестели, когда он пошел выкладывать свои религиозные и политические соображения.

— Выйдет шедевр, — говорил он. — Выйдет наружу вся их глубокая ненависть, религиозная и расовая. Ненависть клокочет в каждом слове, изливается, как водопадом желчь. Многие поймут, что назрело окончательное решение.

— Я уже слышал это выражение от Осман-бея. Вы его знаете?

— Только понаслышке. Но ясно же, что эту проклятую расу надлежит вырывать с корнем любою ценой.

— Рачковский не согласен, он говорит, что евреи нужны живыми, дабы имелся пристойный враг.

— Болтовня. Пристойный враг отыщется всегда. И не надо думать, что я, если работаю на Рачковского, то и солидарен с ним во всем. Сам Рачковский учил меня не прислуживаться к

вышестоящему лицу, а готовиться к приходу нового начальства. Рачковский не вечен. В Святой Руси найдутся люди побоевитее. Правительства Западной Европы робки, не смогут отважиться на окончательное решение. А Россия полнится энергией, духовидица, вынашивает мировую революцию. Оттуда и придут очищение и обновление. Не от французиков-размазней с ихними эгалитэ-фратернитэ, и не от ограниченных немцев, не имеющих нужной широты…

Со времен ночной встречи с Осман-беем я предвидел это. Получив письмо моего деда, аббат Баррюэль не дал ему ход, чтоб не доводить до массовой бойни. Однако деду-то мечталось как раз о бойне, о той, которую провозвещали и Осман-бей и Головинский. Думаю, что дедушка мне заповедал осуществление своей мечты. Господи, нет, не моими руками, по счастью, будут убивать целый народ. Но я внес свой вклад, хотя и скромный.

И прилично заработал на этом. Евреи никогда не стали бы мне платить за изничтожение христиан. Во-первых, христиан слишком много, во-вторых, если б на то пошло, они бы все проделали сами. А вот евреев, по моим подсчетам, истребить можно.

Не мне работать с этим, я вообще по возмож-

ности чураюсь физического насилия. Но мне совершенно ясно, как надо действовать. Я был ведь в Париже во времена Коммуны. Нужны обученные и подготовленные бригады. Им дать задание — любого, у кого крючковатый нос и кудреватые волосы, к стенке. Под горячую руку и нескольких христиан. Но сказал же папа рыцарям, штурмовавшим альбигойский Безье: для верности перебейте всех, Господь отберет своих.

Сами же пишут в своих «Протоколах», что цель оправдает средства.

27. Недописанный дневник

20 декабря 1898

Передал Головинскому все оставшиеся материалы. Все, что у меня было собрано для «Протоколов». Чувство пустоты. Как в молодости после защиты диплома. В голове вопрос: «Ну а теперь что?» Избавился и от раздвоения. И некому больше и нечего рассказывать. Закончен труд моей жизни. Этот труд начался, когда я листал «Бальзамо» Дюма на чердаке в Турине. Вспоминаю деда, его невидящий взор, устремленный на призрак Мордухая. Благодаря моему вымыслу Мордухаи всего мира пойдут в очистительный костер. А я? Я, объятый мерехлюндией, хоть и выполнил задачу превосходно. Печаль моя пространней и туманней, нежели та, что мучит путешественников, переплывающих на пароходах моря… Продолжаю фабриковать собственноручные завещания, продаю десяточек-другой просфор в год, но ко мне не обращается Эбютерн. Видимо, списал меня со счетов. И военные не обращаются. Там, конечно, мое имя вычеркнуто из всех перечней и из памяти всех, кто еще мог бы помнить. Ежели таковые остались… Кто? Сандер, в пара-

личе, лежит в безвестной больнице. Эстергази развлекается игрой в баккара в каком-нибудь фасонистом борделе в Лондоне.

Не то чтобы я нуждался в деньгах. Я их достаточно скопил. Попросту скучно. Пошаливает желудок. Мне даже уже не до гастрономических услад. Варю бульоны. Стоит мне пойти в ресторан — ночь не сплю. Мучают рвоты. Мочеиспускание учащенное.

Захаживаю в «Либр Пароль», но антисемитское голошение Дрюмона меня уже не возбуждает. Над описанием пражского съезда раввинов теперь усиленно трудятся русские.

Дело Дрейфуса варится на медленном огне. Всех взбудоражило какое-то резкое выступление одного дрейфусара из католиков на страницах журнала, прежде бывшего категорически антидрейфусарским («Ля Круа»! О, прелестные времена, когда «Ля Круа» билась, чтобы поддерживать Диану! Незабываемо!). Вчера первые полосы все были заняты отчетами о бурном антисемитском митинге на пляс де ля Конкорд. Напечатана карикатура Каран д'Аша: на первой картинке многочисленная семья сидит за праздничным столом, дедушка предупреждает: «Ни слова сегодня о Дрейфусе!», а на второй картинке

та же семья все-таки заговорила о Дрейфусе, все друг друга измолотили в пух и прах.

Да, эта тема разделяет французов на два лагеря и, насколько я могу судить из газет, примерно так же разделяет целый мир. Будет ли новый процесс? Пока что Дрейфус еще томится в Кайенне. Сидит и сидел бы подольше: там самое ему место.



…Сходил я к иезуиту Бергамаски, нашел его состарившимся и дряхлым…

Сходил я к иезуиту Бергамаски, нашел его состарившимся и дряхлым. И то сказать. Мне-то самому уже шестьдесят восемь, так что ему никак не менее восьмидесяти пяти. — Как раз

хотел повидаться с тобой, Симонино, — сказал иезуит. — Я намереваюсь вернуться в Италию и дожить, сколько осталось, в нашей богадельне. Я достаточно потрудился во славу Господа, даже, наверно, слишком. Ты, часом, не плетешь сейчас какие-нибудь интриги? Я начал опасаться интриг. До чего же проще все было, как вспомню, да… во времена твоего дедушки. Там карбонарии, а тут мы. Понятно было, где враги, а где друзья. Короче говоря, я уже не тот, признать придется…

Ну, выживает из ума, что возьмешь. Я по-братски обнял его и ушел.

* * *

Вчера прогуливался у Сен-Жермен-Ле-Повр. На паперти сидел какой-то обтрепыш, безногий, слепой, плешивая голова в лиловых рубцах, наигрывал на дудке, засунутой в одну ноздрю, другая ноздря просто сипло шипела, а рот разевался для забора воздуха, как у утопающего.

Не знаю отчего, меня пронизал страх. Как будто жизнь плоха, ну совсем плоха и хуже некуда.

* * *

Не спится. Верчусь во сне, то и дело является

Диана, растрепанная, бледная.

Рано утром выгуливаю на площадь поглядеть на собиральщиков окурков. Они меня занимают издавна. Ходят со своими вонючими мешочками, прикрученными веревкой к поясу, и железной длинной вилкой накалывают чинарики. Смешно глядеть, как их гоняют официанты из кафе и баров, пинают в зад, поливают из сифонов с зельтерской.

Большинство проводит ночи под мостами на набережной. Рядками сидят они на граните вдоль реки, перебирая свои окурки, отпасовывая вымоченный слюной табак от пепла. Полощут лохмотья, тоже просаженные табаком, раскладывают просушивать, тем временем копаются в находках. Самые решительные берут не только сигарные, но и сигаретные окурки, которые разлеплять еще труднее: набухшая влагой папиросная бумага почти не отцепляется от табака. Весь день потом они снуют по площади Мобер и по околотку, протягивают прохожим свой товар, как только получат монету-другую — спешат в кабак и наливаются спиртовыми ядами. А я наблюдаю их жизнь и так провожу мою. Мою, пенсионерскую, ветеранскую.

* * *

Какая странность. Я, похоже, скучаю по евреям. С младых ногтей я выстраивал, камушек к камушку, памятник к памятнику, заветное пражское кладбище. А Головинский забрал его. И поди знай, что с ним сделают в Москве. Вдруг подошьют мои протоколы в сухую, бюрократичную брошюру, выдернув из эффектной обстановки? Никому и читать-то не захочется. Я потратил жизнь на бессмысленное дело. А может, именно в том облике идеи моих раввинов (ведь все-таки они мои, раввины!) пойдут по всему миру и приведут в конце концов к окончательному решению?

* * *

Я вычитал где-то, что на авеню Фландрий существует в глубине заброшенного двора кладбище португальских евреев. В конце семнадцатого века там был выстроен особняк. Участок и дом принадлежали некоему Камо, который позволял евреям, поначалу в основном германским, захоранивать во дворе усопших, пятьдесят франков за взрослого и двадцать за ребенка. Впоследствии особняк выкупил господин Матар, живодер. Он

использовал кладбищенскую землю, чтобы закапывать вместе с еврейскими останками еще и туши лошадей и быков, которые обдирал. Евреи запротестовали. Португальские евреи купили прилегавший участок земли и стали там захоранивать своих. Ашкеназиты же переместились на другое место, в Монруж. Теперь это кладбище закрыто с самого начала нашего девятнадцатого века, но заходить туда не возбраняется. Два десятка надгробий с надписями частью по-французски, частью по-еврейски. «Всевышний призвал меня на двадцать третьем году. Предпочитаю кончину рабству. Здесь покоится незабвенный Самюэль Фернандес Патто, скончавшийся 28 прериаля второго года Французской республики, единой и неделимой». Что и требовалось: республиканцы-атеисты-евреи. Место прехмурое. Но позволяет представить себе кладбище в Праге, его-то я видел только на картинке. Я способный рассказчик. Мог бы стать сочинителем. Из немногих штрихов соорудил волшебное место, мрачную, лунную декорацию для всемирного заговора. Зачем позволил, чтобы отобрали мое наилучшее творение? Сколько всего я мог бы в этом пейзаже разыграть…

* * *

Вдруг явился Рачковский. Я ему занадобился. Я сказал недовольно: — Вы сыграли не по правилам. — Да мы же в полном расчете, — парировал он.

— Нет. Я вам дал уникальные материалы, а вы? Забыли о моей клоаке, и все? Мне вообще-то кое-что еще причитается. Разве такие необыкновенные материалы даром отдают?

— Это вы хотите не по правилам. Мы договаривались. Документы шли в обмен за мое молчание. А вам денег еще надо. Как хотите. Пусть за документы будут деньги. А за молчание о клоаке еще кой-что. Вообще, Симонини, я не советую ни торговаться, ни злить меня. Как помните, мы говорили, для Франции первостепенно, чтобы бордеро считалось настоящим. Но для России — нет. Мне ничего не стоит бросить вас на растерзание газетам. И сколько вам осталось, столько лет вас и протаскают по судам… Совсем из головы вышло, между прочим: я тут проверял ваше прошлое, встречался с иезуитом Бергамаски и с господином Эбютерном, они сказали, что ваш знакомый, аббат Далла Пиккола, замутил всю аферу с Таксилем. Аббата мне найти не удалось,

аббат растворился в воздухе со всеми теми, кто имел отношение к Таксилевым делам и к особняку, снятому в Отее. Со всеми, кроме Таксиля, который тоже околачивается в Париже, разыскивая улетучившегося аббата. Так что вам еще можно предъявить и это убийство.

— А трупа нет.

— Зато есть другие четыре трупа. Кто закинул в клоаку четырех мертвяков, вполне способен куда-то еще закинуть пятого. Я был в руках этого негодяя.

— Ну хорошо, — сдался я. — Что еще вам угодно?

— В материалах, переданных Головинскому, есть один пассаж, особо впечатливший меня. Проект использования метрополитеновых подземных ходов с умыслом заминировать и взорвать крупнейшие столицы. Чтобы этому плану поверили, необходимо, чтобы на самом деле взорвалось где-нибудь что-нибудь.

— Так где же, в Лондоне? У нас метрополитена еще не построили.

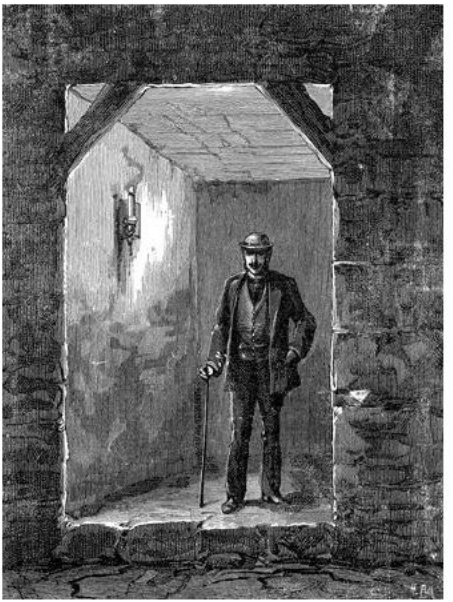
— Но уже начинают копать. Вдоль всей Сены прорыли первые шахты. Я не требую, чтобы взлетел на воздух весь Париж. Пусть треснут две или три поддерживающие балки, желательно

с провалом уличного покрытия. Небольшой такой взрывчик. Просто он прозвучит угрозой и подтверждением. — Понятно. А я зачем? — У вас хорошо получается работа по организации взрывов, и у вас есть знакомые специалисты, если не ошибаюсь. Подойдите к этому вопросу с правильной стороны. Все должно пройти без сучка и без задоринки. По ночам эти колодцы не охраняют. Но предположим даже, что по нелепой случайности террориста заграбастали. Если это француз, ну, годокдругой тюрьмы. Если это русский, развяжется франко-русская война. Я не могу подводить своих. Первым порывом было — раскричаться. Не может он посылать меня на столь безрассудное задание. Я спокойный человек, уже в летах… Но внезапно я почувствовал, что кричать мне не хочется. Чем, по сути, вызвано это ощущение пустоты, которое томит меня все последние недели? Ясно чем. Мне не по нраву, что я перестал быть главным героем авантюры. Вернусь в главные герои. Да и поспособствую любимому пражскому кладбищу. Мой поступок придаст ему достоверности. Оно и без того реальней реального, но еще чуть-чуть… Снова я, совсем один, без никого, выхожу против всей их расы. — Нужно мне поговорить с одним человеч-

ком, — произнес я. — И потом дам вам знать.

* * *

Я пошел проведать Гавиали. Он все так же в старьевщиках, но благодаря моему вмешательству теперь имеет чистые документы и кой-какую денежку про запас. К сожалению, хоть и прошло менее пяти лет, он омаразмел. Кайенна не проходит даром, что ни говори.



...Мне даже неинтересно знать, куда идет эта укрепленная галерея и доходит ли она докуда-нибудь. Достаточно рвануть в самом ее начале, и дело в шляпе...

Руки трясутся, еле удерживает стакан, куда я щедро подливаю. Ползает еле. Почти не в состоянии нагнуться. Я не могу себе представить, как он управляется с ветошью.

На мои разговоры о взрыве Гавиали откликается с радостью. — Не те сейчас уже времена, — говорит он, — когда нельзя было применять лучшие вещества, потому что не хватало времени отбежать. Сейчас все делается с помощью замечательных часовых механизмов. — Как они действуют? — Проще некуда. Берете любой будильник, ставите на заданное время. У него подскочит кнопка и, вместо того чтоб звенеть, активирует детонатор. Детонируется взрывчатая начинка, бабах. Когда вы уже в десяти милях оттуда.

Назавтра он пришел с устройством, леденящим душу именно своей простотой. Несколько проводочков, часы-луковица… Как, этого достаточно, чтобы взлетело на воздух… Чтобы что угодно взлетело, гордо оборвал меня Гавиали.

Через пару дней я отправился смотреть существующие подкопы, как простой любопытный. О чем мог, порасспрашивал ремонтных рабочих. Углядел один там спуск, куда совсем нетрудно спрыгнуть с уличного уровня. Оттуда начинается поддерживаемая балками галерея. Мне даже неинтересно знать, куда идет эта укрепленная галерея и доходит ли она докуда-нибудь. Достаточно рвануть в самом ее начале, и дело в

шляпе.

Я вызвал Гавиали на резкий разговор. Сказал отрывисто: — При всем моем почтении к вашему знанию, но руки у вас трясутся и ноги заплетаются. Вы не сумеете ни влезть в подкоп, ни подсоединить контакты по-человечески.

Его глаза наполнились горькими слезами.

— Это верно, песенка моя спета.

— Кто мог бы сработать за вас?

— У меня нет таких знакомств. Все мои товарищи, не забывайте, в Кайенне. Там, куда вы их заслали. Так что это ляжет на вас. Вы хотите рвануть туннель? Идите сами и подкладывайте бомбу.

— Как можно, я ведь не специалист.

— А тут не нужно специалистом быть. Специалист вам нужен в качестве консультанта. Вот я и консультирую. Глядите. Вот это будильник. Он пробудит механизм в назначенный срок. Вот это батарея. Получив сигнал от будильника, она запустит детонатор. Я лично человек привычки. Привык к элементам Джона Даниэля и использую только их. В элементах этого образца, в отличие от вольтовых, используются жидкие среды. Значит, надо наполнить эту емкость наполовину медным купоросом, а на другую половину — сер-

нокислым цинком. В медную среду вставляется медная пластинка, в цинковую среду цинковая пластинка. Края этой и этой пластины, как вы понимаете, представляют собой один и второй полюс этой батареи. Ясно?

— До сих пор было ясно.

— Замечательно. С батареей Даниэля единственная заминка, что она требует великой осторожности при транспортировке. Но покуда она не подсоединена к детонатору и к взрывчатому заряду, что бы ни случилось, все равно ничего не случится. А когда ее подсоединяют, она уже находится на горизонтальной поверхности, по крайней мере надеюсь, если только исполнитель не полный идиот. Чтобы привести в действие детонатор, даже самого небольшого импульса будет достаточно. Теперь о заряде. В прежние времена, не уверен, запомнили ли вы, я очень хвалил черный порох. Позднее, около десятка лет тому назад, был изобретен балистит. Это десять процентов камфоры, остальное — нитроглицерин и коллодий в равных долях. Когда его выдумали, казалось, что проблем не оберутся, потому что камфора летуча и продукт отличался нестабильностью. Но с тех пор, как за него взялись итальянцы, у них завод в Авильяна, оказалось,

что это превосходно. Не могу сказать, предпочтительнее ли кордит, английского производства, там камфора заменяется вазелином, пятьдесят на пятьдесят. Вторая половина — на пятьдесят восемь процентов нитроглицерин, на тридцать семь гремучая вата, и все вместе заливается ацетоном. Протягивают через сито, получают такие шероховатые макароны. Подумаю, какой из них лучший вариант. Да разница небольшая. Вернемся к главному. Повторяю. Стрелки ставятся на желаемое время. Потом будильник подсоединяется к батарее, а батарея к детонатору, а детонатор к гремучему заряду. Потом будильник запускается. Очень существенно, чтобы порядок действий был именно этот. Сначала подсоединить, потом запустить. Стрелки пойдут, тик-так, тик-так, потом — бум! Ясно, надеюсь? А запустив, мы идем домой, в театр, в ресторан. Машинка сама сработает. Надеюсь, вопросов нет?

— Нет вопросов.

— Капитан, мне неловко говорить что-то вроде «справится и ребенок», но, я уверен, с этим без всякого труда справится бывший капитан армии Гарибальди. Рука у вас крепка, глаз остер, требуется сделать несколько несложных движений. Как я сказал. Главное — не перепутать порядок

действий.

* * *

Я согласился. Если я справлюсь, сразу помолодею. К моим ногам лягут все Мордухаи этого мира. И ляжет шлюшка из туринского гетто. Барчонок я тебе, да? Барчонок? Ну, я тебе покажу барчонка, постой. Погоди немножко.

Свеять наконец с себя вонь похоти Дианы: этот запах изводит меня уже полтора года. Вся моя жизнь прожита, чтобы изжить распроклятущую их расу. Рачковский прав. Только ненависть греет душу. В полной выкладке, в парадном мундире отправлюсь исполнять свой заветный долг. Я надену фрак и лучшую бороду. Те, что были куплены для вечеров у Жюльетты Адан. Чисто случайно в шкафу отыскались несколько граммов кокаина «Парк и Дэвис», добытого в свое время для Фройда. Странно даже, почему я все не отдал. Никогда не пробовал кокаин. Но на этот случай, разумеется, полезно для куражу. Заглотал, запивая тремя стопками коньяка. Оказывается, от этого человек обретает силу льва. Я теперь — лев.

Гавиали хотел со мной, но я не разрешил. Он медлителен и только будет путаться под ногами. Я прекрасно разобрался, что к чему. Я рвану та-

кую бомбу, что все ее надолго запомнят.

Гавиали сыпал последними рекомендациями:
— Поосторожнее тут, поосторожнее там.

Ну ты, к дьяволу, у меня еще мозги не размягчились.

Бесполезные ученые комментарии

Историческое уточнение

Единственный вымышленный герой в этом рассказе — Симоне Симонини. Его дед, капитан Симонини, — реальное лицо, хотя в истории он сохранился только как автор письма к аббату Баррюэлю. Все прочие персонажи (за исключением совсем уж незначительных, вроде нотариуса Ребауденго или Нинуццо) существовали в действительности и делали и говорили то же, что делают и говорят в этом романе. Это касается не только тех, кто выведен под своим подлинным именем (кстати, хотя в это и трудно поверить, существовала и настолько несусветная личность, как Лео Таксиль), но и тех, кто выведен под измененным именем лишь потому, что для художественной экономии я присваивал одному герою (выдуманному) поступки и высказывания двух людей (на самом деле живших и действовавших). А если вдуматься, то скажешь, что и Симоне Симонини, сборный герой, принявший в себя черты и поступки множества различных людей, в определенном смысле существовал. И

даже, вынужден сказать, существует до сих пор среди нас.

Сюжет и фабула

Повествователь сознает, что хаотичное содержание этих дневников (со многими забеганиями вперед и прыжками назад, так называемыми флэшбэками) сбивает с толку читателя и загораживает от него фактическую историю — то есть линию жизни Симонини до последней точки в его дневнике. Дело в расхождении между *story* и *plot*, как это называется у англосаксов, или фабулой и сюжетом, как называли это русские формалисты (кстати, сплошь евреи). Повествователь с некоторым трудом распутал сюжет и считает, что читателю лучше всего бы не обращать внимания на все эти нюансы и просто радоваться чтению. Но для особо въедливой читающей публики, или не сверхсообразительной, предлагается таблица, где увязаны сюжетный и фабульный уровни, которые расходятся, кстати, в любом романе, написанном, как в свое время говорили, «мастеровито». В колонке «Сюжет» передается краткое содержание страниц дневника, по главам, соответственно основному тексту. В колонке «Фабула» воспроизводится, наобо-

рот, фактическая последовательность событий, которые в разные моменты рассказывают или реконструируют Симонини и Далла Пиккола.

Глава	Сюжет	Фабула
1. Прохожий, в то серое мартовское утро	Повествователь вводит тему дневника Симонини	
2. Кто я?	Дневниковая запись от 24 марта 1897 г.	
3. В «Маньи»	Дневниковая запись от 25 марта 1897 г.	1885–1886 гг. Обеды в «Маньи»

Глава	Сюжет	Фабула
12. Однажды ночью в Праге	Дневниковая запись от 4 апреля 1897 г.	1865–1866 Первая версия собрания на пражском кладбище Встречи с Брафманом и Гужено
13. Далла Пиккола пишет, что Далла Пиккола — это не он	Дневниковая запись от 5 апреля 1897 г.	
14. «Биарриц»	Дневниковая запись от 5 апреля 1897 г., перед обедом	1867–1868 Встреча в Мюнхене с Гёдше Убийство Далла Пиккола
15. Далла Пиккола воскрес	Дневниковые записи с 6 по 7 апреля 1897 г.	1869 Лагранж говорит о Буллане
16. Буллан	Дневниковая запись от 8 апреля 1897 г.	1869 Далла Пиккола у Буллана
17. Дни Парижской Коммуны	Дневниковая запись от 9 апреля 1897 г.	1870 Дни Парижской Коммуны
18. Протоколы	Дневниковые записи с 10 по 11 апреля 1897 г.	1871–1879 Возвращение отца Бергамаски Обогащение первоначальной версии «Кладбища» Убийство Жоли
19. Осман-бей	Дневниковая запись от 11 апреля 1897 г.	1881 Встреча с Осман-беем
20. Русские?	Дневниковая запись от 12 апреля 1897 г.	

Глава	Сюжет	Фабула
4. Дедовы времена	Дневниковая запись от 26 марта 1897 г.	1830–1855 гг. Детство и отрочество героя вплоть до смерти дедушки
5. Симонино — карбонарий	Дневниковая запись от 27 марта 1897 г.	1855–1859 гг. Работа у нотариуса Ребауденго, первые контакты со спецслужбами
6. На службе у служб	Дневниковая запись от 28 марта 1897 г.	1860 г. Собеседование с руководителями пьемонтского Тайного Отделения
7. В гарибальдийской «Тысяче»	Дневниковая запись от 29 марта 1897 г.	1860 г. На «Эмме» с Дюма Прибытие в Палермо Встреча с Ньево Первое возвращение в Турин
8. «Геракл»	Дневниковые записи с 30 марта по 1 апреля 1897 г.	1861 г. Гибель Ньево Второе возвращение в Турин Эмиграция в Париж
9. Париж	Дневниковая запись от 2 апреля 1897 г.	1861… Первые годы в Париже
10. Далла Пикола в затруднении	Дневниковая запись от 3 апреля 1897 г.	
11. Жоли	Дневниковая запись от 3 апреля 1897 г., ночь	1865 В тюрьме, слежка за Жоли Ловушка для карбонариев

Глава	Сюжет	Фабула
21. Таксиль	Дневниковая запись от 13 апреля 1897 г.	1884 Симонини встречается с Таксилем
22. Дьявол в XIX веке	Дневниковая запись от 14 апреля 1897 г.	1884–1896 Антимасонская эпопея Таксиля
23. Двенадцать правильно истраченных лет	Дневниковые записи с 15 по 16 апреля 1897 г.	1884–1896 Жизнь Симонини в эти годы В эти годы Симонини встречается с психиатрами в «Маньи», см. главу 3
24. Однажды ночью во время мессы	Дневниковая запись от 17 апреля 1897 г., завершающаяся на рассвете 18 апреля	1896–1897 Конец эпопеи Таксиля Черная месса (21 марта 1897)
25. Привести в порядок мысли	Дневниковые записи с 18 по 19 апреля 1897 г.	1897 Симонини все понимает и избавляется от Далла Пиккола
26. Окончательное решение	Дневниковая запись от 10 ноября 1898 г.	1898 Окончательное решение
27. Недописанный дневник	Дневниковая запись от 20 ноября 1898 г.	1898 Подготовка теракта

Дата	Последующие события
1905	В России выходит книга «Великое в малом» Сергея Нилуса, с предпосланным тексту объяснением: «Мне удалось получить в свое распоряжение от одного близкого мне человека, ныне уже скончавшегося, рукопись, в которой с необыкновенной отчетливостью и ясностью изображены ход и развитие всемирной роковой тайны еврейско-масонского заговора, имеющего привести отступнический мир к неизбежному для него концу. Лицо, передавшее мне эту рукопись, удостоверяет, что она представляет точную копию – перевод с подлинных документов, выкраденных женщиной у одного из влиятельнейших и наиболее посвященных руководителей франмасонства, после одного из тайных заседаний "посвященных" где-то во Франции, этом ожидовленном гнезде франмасонского заговора. Эту-то рукопись, под общим заглавием "Протоколы собраний Сионских Мудрецов", я и предлагаю желающим видеть и слышать, и разуметь». «Протоколы» немедленно переводятся на множество мировых языков.
1921	«Лондон Таймс» публикует материал о связи «Протоколов» с книгой Жоли и объявляет «Протоколы» фальшивкой. С тех пор «Протоколы» регулярно публикуются как подлинный документ.
1925	Гитлер, «Майн кампф» (I, 11): «Распространение еврейского народа, на котором основано его существование во все времена, показано самым великолепным образом в "Протоколах сионских мудрецов", которые евреи так ненавидят. "Франкфуртер цайтунг" постоянно плачется перед публикой, что "Протоколы" якобы представляют собой подделку; это как раз и является самым надежным доказательством их подлинности. То, что евреи совершают, возможно, бессознательно, здесь находит свое осознанное выражение. <...> они раскрывают перед нами с ужасающей достоверностью природу и деятельность

Дата	Последующие события
1925	еврейского народа и обнаруживают внутреннюю логику и конечные цели. Но реальность объясняет это лучше всего. Тот, кто возьмет на себя труд изучить историческое развитие за последние столетия, учитывая откровения этой книги, сразу поймет, почему еврейская пресса поднимает такой рев. Ибо, когда эта книга становится хорошо известна народу, еврейскую опасность можно считать навсегда побежденной».
1939	Анри Роллен, «Апокалипсис нашего времени»: «Их можно считать самой публикуемой книгой на свете после Библии».

© RCS Libri S.p.A. – Milano Bompiani 2010
© Е. Костюкович, перевод на русский язык, 2011
© Е. Костюкович, предисловие, 2011
© А. Бондаренко, оформление, 2011
© ООО «Издательство Астрель», 2011
Издательство CORPUS ®